

Hans Licht

SEXUAL LIFE
IN ANCIENT
GREECE



Ганс Лихт

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ



ББК 51.204.5
США Л65

Перевод с английского В. В. ФЕДОРИНА

Научный редактор Д. О. ТОРШИЛОВ

Художник Н. Н. ОРЕХОВ

Лихт Г.

Л65 Сексуальная жизнь в Древней Греции / Пер. с англ. В. В. Федорина. М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. 400 с.

ISBN 5-232-00146-9

Фундаментальное исследование греческой чувственности на материале античных источников. Подробно освещаются такие вопросы, как эротика в греческой литературе, эротика и греческая религия, греческая гомосексуальность и многое другое. Вышедшая в конце 20-х годов монография Лихта выдержала не одно переиздание, была переведена на несколько языков и ничуть не утратила своей актуальности. Книга представляет интерес как для специалистов (филологов-классиков, историков античной культуры, философов), так и для широкого круга читателей.

© КРОН-ПРЕСС, 1995
© Перевод, В. В. Федорин, 1995
ISBN 5-232-00146-9

© Оформление, Н. Н. Орехов, 1995

СОКРАЩЕНИЯ

Anth. Pal: *Anthologia Palatina* (см. с. 172 сл.)

Ath.: *Athenaei Naucraticae deipnosophistarum libri xv*, ed. G. Kaibel, w. 1—3, Leipzig, B.G. Teubner, 1887—1890.

CAP: *Comico-rutn Atticorum Fragmenta*, ed. I. Kock, w. 1—3, Leipzig, B.G. Teubner, 1880—1888.

CIA: *Corpus Inscriptionum Graecarum*, vv. 1—5, Berlin, 1828—1877, w. 1—2, ed. Aug. Boeckh, v. 3, ed. J. Franz, v. 4, ed. E. Curtius et A. Kirchhoff, v. 5 (Indices), ed. H. Roehl.

CIL: *Corpus Inscriptionum Latinarum*, w. 1—15 с дополнениями, Berlin, 1862—1905, edd Mommsen, Hubner, O. Hirschfeld. K. Zangemeister, W. Heibner et alii.

FHG: *Fragmenta Historicorum Graecorum*, edd. C. et T. Muller, w. 1—5, Paris, Didot, 1841—1883.

PLG: *Poetae Lyria Graeci*, ed. Th. Bergk, w. 2—3, Leipzig, B.G. Teubner, 1882.

TGF: *Tragicorum Graecorum Fragmenta*, ed. A. Nauck, Leipzig, B.G. Teubner, 1889.

ВВЕДЕНИЕ

ГРЕЧЕСКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ИДЕАЛЫ

ХОТЯ ГРЕКИ считали молодость драгоценнейшим достоянием, а ее радости (и прежде всего любовь) наивысшим счастьем, нельзя обойти молчанием и другие идеалы. Гомеровский Нестор («Одиссея», III, 380) взывает к Афродите, растаявшей в чистом небе:

Будь благосклонна, богиня, и к нам и великую славу Дай мне, и
детям моим, и супруге моей благонравной.

[перевод В. А. Жуковского]

Мы вправе сказать, что в этих словах выразился нравственный идеал греков. Упоминание жены и детей доказывает, что речь здесь идет не только о победе на войне или в атлетических состязаниях, но также и об идеальных критериях счастливой жизни в целом.

Согласно Пиндару (*Pythia*, i, 99), прежде всего следует стремиться к счастью, затем к доброй славе; тот, кому удалось их стяжать и сохранить, удостоился высшей награды.

Понятно, что наряду с этими достояниями, так сказать, идеального порядка, существовали также и материальные блага, которые, как казалось грекам, стоят того, чтобы их домогаться и молить богов об их| ниспослании. Феогнид (i, 255) был, насколько мне известно, первым, кто считал высшим счастьем не что иное, как здоровье, а самым приятным после него почитал «добиться того, что кому любо», идеал, I выраставший из самой души греков; Аристотель уверяет, что эти слова были начертаны при входе в дельфийское святилище Лето (*Elh.Eud.*, i, 1; *Erh.Nic.*, i, 8).

Сознательная двусмысленность, заключенная в словах Феогнида «добиться того, что кому любо», заставила недоумевать столь глубокого знатока греческой культуры, как Буркхардт (J.Burkhardt, *Griechische Kullurgeschichte*, ii, 368): «... поэтому остается неясным, говорит ли поэт о любви в собственном смысле слова или вообще о желаниях, которые должны быть удовлетворены». Буркхардт, как и многие другие ученые мужи, написавшие внушительные тома о греческой культуре, явно не отдавал себе отчета в том, что греки знали два вида любви: любовь между мужчиной и женщиной и однополую (гомосексуальную) любовь. Именно поэтому Феогнид выражается с кажущейся неопределенностью, однако его слова-

-пожелание каждому из читателей получить то, что ему приятно и к чему он стремится, — вполне ясны всякому, кто понимает греческую культуру. То, что в этих словах выразился также идеал юности (ибо сердце Феогнида всю жизнь влеклось к прекрасному юноше), мы покажем в главе, посвященной гомосексуальной литературе Греции. Можно убедиться в правильности объяснения приведенного фрагмента Феогнида, сравнив его со стихотворением знаменитой Сафо (фрагм. 5, Diehl):

К Анактории

На земле на черной всего прекрасней
Те считают конницу, те — пехоту,
Те — суда. По-моему ж, то прекрасно,
Что кому любо.

Это все для каждого сделать ясным
Очень просто. Вот, например, Елена:
Мало ль видеть ей довелось красавцев?
Всех же милее
Стал ей муж, позором покрывший Троя.
И отца, и мать, и дитя родное —
Всех она забыла, подпавши сердцем
Чарам Киприды.

.....согнуть нетрудно...

.....приходит

Ныне все далекая мне на память
Анактория.

Девы поступь милая, блеском взоров
Озаренный лик мне дороже всяких
Колесниц лидийских и конеборцев
В бронях блестящих.
Знаю я — случиться того не может
Средь людей, но все же с молитвой жаркой...

[перевод В. В. Вересаева)

В то время Анактория находилась, очевидно, в Лидии.

Следует отметить, что и здесь, в четвертой строке оригинала, Сафо изъясняется с намеренной расплывчатостью, а подбираемые ею слова нарочито двусмысленны; однако общий смысл ясен: женщина ли ты, тоскующая по женщине, или мужчина, охваченный страстью к женщине или мальчику, — предмет твоей любви — прекрасен.

Как бы то ни было, не вызывает ни малейших сомнений тот факт, что красота и любовь в особенности принадлежат к тем радостям жизни, которых жаждали греки и которые их поэтами провозглашались идеалом. Это явствует из каждой страницы любого греческого автора, но здесь, пожалуй, достаточно будет упомянуть очаровательную песенку (PLG, iii, Skolion 8), которую, несомненно, часто певали греки, опьяненные вином и с небывалой остротой ощутившие всю сладость существования:

Лучшее для смертных — здоровье, затем — пленительная красота;
хорошо — когда есть богатство, нажитое честно, когда ты молод и среди друзей.

Уже знаменитый мудрец, государственный деятель и поэт Солон считал, что радостное наслаждение жизнью — это состояние, достойное того, чтобы к нему стремиться, и другие великие умы (такие, как Пиндар, Вакхилид, Симонид) были с ним в этом согласны. И действительно, греческая культура есть не что иное, как хвалебный гимн Гедоне (ἡδονή) или счастливому наслаждению жизнью и в особенности любовью. Сокровеннейшее естество греков — это обнаженная чувственность, которая, правда, изредка оборачивалась жестокостью (как в случае с римлянами), но несмотря на это наложила свой отпечаток на их коллективное существование, ибо, исповедуя чувственность и претворяя свою веру в жизнь, грек не встречал противодействия в лице ригористичных государственных законов или лицемерного осуждения со стороны общественного мнения. Из дальнейшего изложения станет ясно, что данное утверждение отнюдь не является преувеличением; я намерен показать, что все существование греков, а не только их частная жизнь, есть ликующее исповедание веры в чувственность. Поэтому — если не принимать во внимание отдельных исключений из общего правила — великие мыслители Греции также признавали право человека на чувственные наслаждения и даже — без колебаний и сомнений — видели в них необходимое условие человеческого счастья. Только в глубокой старости Софокл (Платон, «Государство», i, 329c) выскажет свое знаменитое суждение о том, что старость заслуживает восхваления, ибо освобождает от деспотизма чувственности; как будет показано ниже, представления великого поэта о данном предмете коренным образом отличались от тех, что были ему приписаны.

Афиней (Ath., xii, 510b), цитирующий вышеприведенные слова Софокла, упоминает затем мнение Эмпедокла, согласно которому некогда род человеческий не знал иных богов, кроме богини любви, в честь которой люди справляли празднества жизни.

ВСЕМОГУЩЕСТВО ЧУВСТВЕННОСТИ В ГРЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В эпоху создания гомеровских поэм велениям чувственности покорствовали и сами боги. Чтобы обрести возможность помочь грекам в их безнадежной борьбе, Гера решает очаровать своими прелестями супруга. Она наряжается и украшается с превеликим тщанием, как о том повествует Гомер («Илиада», xiv, 153), наслаждаясь обстоятельным перечислением деталей. Не довольствуясь этим, под надуманным предлогом она берет у Афродиты «магический пояс любви и желания, которому покорны сердца всех богов и живущих на земле смертных». Афродита повинует великой царице неба: «Так говоря, разрешила на персях иглой испещренный // Пояс узорчатый: все обаяния в нем заключались; // В нем и любовь и желания, лепет любви, изъясненья, // Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных». После этого великая богиня прибегает за помощью к Гипносу, богу сна; она умоляет его погрузить Зевса в сон после того, как царь богов

насладится с ней радостями любви; тогда у нее будут развязаны руки и она сможет помочь грекам.

Устрашенный Гипнос наотрез отказывается исполнить опасное поручение богини; лишь после того как она торжественной клятвой клянется даровать ему в награду одну из Харит, бог сна идет ей навстречу. Вместе с Герой отправляется он на гору Иду, с вершины которой Зевс созерцает бой греков с троянцами. Гипнос превращается в птицу и усаживается на высокую ель поджидать окончания любовных утех Зевса и Геры, описанию которых Гомер отводит более шестидесяти строк.

Гера изобретает различные предлоги, чтобы объяснить, зачем она так принарядилась; притворно прося прощения за то, что собралась в дальний путь, она разжигает в боге желание. Зевс потрясен ее красотой и говорит, что никогда прежде не горел таким желанием при виде женщины, как теперь; с простодушием, равного которому мы не найдем ни в каком другом произведении мировой литературы, чтобы польстить (!) жене, он разворачивает перед ней внушительный список женщин, покоившихся в его объятиях, которые не смогли разжечь в нем страсть, подобную испытываемой ныне.

В ответ на его уговоры без отлагательств предаться любви прямо на месте Гера замечает, что здесь их может увидеть кто-нибудь из богов, и предлагает удалиться в их супружеский покой в Олимпийских чертогах, где она утолит все его желания.

Гере быстро ответил туч воздыматель Кронион:
«Гера, супруга, ни бог, на меня положися, ни смертный
Нас не увидит: такой над тобою кругом распростру я
Облак златой; сквозь него не проглянет ни самое солнце,
Коего острое око все пронизает и видит»

Рек — и в объятия сильные Зевс заключает супругу.

Быстропод ними земля возрастила цветущие травы, Лотос
росистый, шафрани цветы гиацинта густые,

Гибкие, кои богов высоко от земли поднимали.

Там опочили они, и одел почивающих облак

Пышный златой, из которого капала светлая плата.

Так беззаботно, любовью и сном побежденный, Кронион Спал на
вершине Идеиской, в объятиях Геры супруги.

[перевод Н. И. Гнедича]

Хотя эта сцена из четырнадцатой книги «Илиады» является гимном весильной чувственности, непревзойденным по той наглядности, с какой выразила себя здесь наивная поэзия, однако и в «Одиссее» мы обнаружим единственный в своем роде пример прославления всепобеждающей красоты. Я имею в виду эпизод из восьмой книги «Одиссеи» (viii, 266 ел.) — ниже я буду говорить о нем подробнее, — в котором Афродита наставляет рога своему мужу — невзрачному хромому Гефесту, предаваясь любви со статным богом войны Аресом, дышащим молодостью и силой, — любви, конечно же, незаконной, зато тем более сладостной. Однако вместо того, чтобы с болью в сердце скрывать свой позор от других, обманутый муж созывает на

пикантное зрелище всех богов: взорами, исполненными сладострастия, глядят они на обнаженных любовников, которые сплелись в тесных объятиях. Гомер завершает описание этой сцены следующими словами:

К Эрмию тут обратившись, сказал Аполлон, сын Зевеса: «Эрмий, Кронионов сын, благодатный боговвестоносец, Искренне мне отвечай, согласился ль бы ты под такую Сетью лежать на постели одной с золотою Кипридой?» Зоркий убийца Аргуса ответствовал так Аполлону: «Если бмогло то случиться, о царь Аполлон стреловержец, Сетью тройной бы себя я охотно опутать позволил, Пусть на меня бы, собравшись, богини и боги смотрели, Только б лежать на постели одной с золотою Кипридой!» Так отвечал он; бессмертные подняли смех не сказанный.

[перевод В. А. Жуковского]

Итак, здесь нет ни слова порицания, нет даже нравственного негодования; попреки супружеской верности самой богиней любви доставляет блаженным бессмертным только лишний повод для острог и веселья. Весь этот любовный эпизод есть не что иное, как гимн неприкрытой, обнаженной чувственности; это почти животное оправдание того, что зовется «грехом» в эпоху, ставшую свидетельницей победного марша ханжеской морали.

Афиней (xii, 511c) обращает наше внимание на то обстоятельство, что, согласно замечанию Теофраста, никто не называет счастливой жизнь добродетельного Аристида, но все почитают счастливыми сибарита Сминдирида и Сарданапала¹.

Геракл ид Понтийский (Ath., xii, 512a), ученик Платона и сам прославленный философ, написал книгу «О наслаждении», из которой сохранилось немало фрагментов. Так, например, в ней Гераклид утверждает и доказывает, что роскошный образ жизни и, в частности, сладострастие, — это привилегия господствующих классов, тогда как труд и тяготы — удел рабов и бедняков; что все, кто восхваляет роскошь и сладострастие являются людьми утонченными и широко мыслящими, а потому их следует ставить выше, чем остальных. Справедливость этого положения демонстрируется на примере афинян, которые вопреки (а скорее всего — благодаря) своему чувственному образу жизни стали народом героев — победителей при Марафоне.

Подобные мысли не могли возникнуть на пустом месте; в связи с этим важно подчеркнуть, что такие взгляды имели весьма большое значение для общего мнения о правах чувственности. Великий поэт Симонид (PLG, fr.71) открыто вопрошает: «Разве без чувственных наслаждений жизнь смертных была бы счастливой? Разве без них не

¹ Сминдирид был знаменит в древности своей роскошью. Во времена Афиней (xi, 518c) жители Сибариса в Нижней Италии все еще оставались proverbiallyми обжорами, страстными любителями поесть и выпить. Сарданапал, последний царь Ассирии, — типичный образчик распутника.

показалась бы нам незавидной жизнь и самих богов?» И действительно, историк Мегаклид (Ath., xii, 512e; FHG, iv, 443) порицает поэтов за то, что они слишком подробно останавливаются на трудах и лишениях, которые изведал национальный греческий герой Геракл в своем земном существовании. Он указывает на то, что по близости своей к роду человеческому Геракл находил в чувственности величайшее наслаждение, много раз был женат и породил множество детей от разных женщин. Его многочисленные связи с юношами — Иолоем, Гиласом, Адметом и другими — нашим автором не упоминаются². Кроме того, Гераклид напоминает нам о том, что в своей жизни Геракл был крайне равнодушен к радостям застолья, что по всей Греции бьющие из-под земли горячие ключи называются «баними Геракла», наконец, что самые мягкие и нежные ложа носят торговую марку «Геракл». Откуда бы все это пошло, недоумевает он, если бы Геракл действительно презирал чувственность? Со стороны поэтов было сущей безвкусицей вслед за Гомером и Гесиодом изображать Геракла — этого отъявленного чревоугодника и сластолюбца — так, словно всю свою жизнь он проскитался по свету с деревянной палицей, луком и в львиной шкуре³.

В двенадцатой книге своего «Пира софистов» Афиней подробно повествует о присущих древности роскоши и чувственном образе жизни. После нескольких замечаний теоретического характера о пиршествах и пьянстве он, начиная с персов, рассуждает о различных народах древности и сообщает, каким образом каждый из них наполнял свое существование роскошью и негой. Затем он приводит внушительный список персонажей греческой истории, чья чувственность была особенно утонченной. Небезынтересно обнаружить, что многие из них известны нам как выдающиеся деятели и герои Греции. Ниже об этом будет сказано подробнее; пока достаточно упомянуть несколько особенно характерных черт воззрения греков на чувственную жизнь.

Согласно Гераклиду (Ath., xii, 514b; FHG, ii, 95), гарем персидского царя состоял из трехсот наложниц. «Днем они спали, чтобы бодрствовать ночью, которую проводили при ярком свете с музыкой и пением, убаюкая царя. Женщины из гарема сопровождали его и на охоте».

Ксанф (Atf., xii, 515d; FHG, ii, 39) сообщает, что лидийцы кастрировали не только мальчиков, но и девочек, служивших потом евнухами при дворах знати.

По свидетельству Тимея (Ath., xii, 515; FHG, i, 196), у тирренцев было принято, чтобы служанки прислуживали мужчинам обнаженными. Это сообщение подтверждается Феопомпом (Ath., xii, 517; FHG, i, 315), который добавляет: «У тирренцев существовал закон, согласно которому жены были общим достоянием. Они с величайшим усердием ухаживали за телом и часто занимались гимнастическими упражнениями вместе с

² Греческая мифология знает имена четырнадцати его любимцев (ср R Beyer, *Fabulae Graecae quatenus quave aetate amore puerorum commutatae smt*, Leipziger Doktorarbeit, 1910, pp 9-24)

³ Возможно, достойный Мегаклид был не так уж и не прав, во всяком случае, в комедии Геракл представлен типичным сластолюбцем, который предается всевозможным чувственным удовольствиям Древнейший поэт, изображающий его только как усталого страдальца и «мужа скорбей», — Стесихор.

мужчинами или без них; дело в том, что они не находили ничего зазорного в том, что их видят обнаженными. Они обедали не с мужьями, но с первыми встречными, и пили с любым, кто придется им по душе. Тирренцы воспитывают всех детей, произведенных на свет, часто даже не зная, кто их отец. Когда дети подрастают, они начинают жить так же, как их воспитатели, часто устраивают пирушки и вступают в связь со всеми женщинами, что встречаются им на пути. Тирренцы не видят ничего дурного в прилюдных забавах с юношами, играют ли они при этом активную или пассивную роль, ибо педерастия — дело в этой стране самое обыкновенное. И кроме того, им настолько чужда стыдливость в вопросах пола, что, когда хозяин дома наслаждается обществом своей жены, и кто-нибудь приходит и спрашивает его, муж и жена, ничуть не смутившись, сообщают гостю, что сейчас они делают то-то и то-то, называя при этом все непристойности своими именами.

Когда тирренцы находятся среди друзей или родственников, у них заведено следующее. После того как они закончат пировать и собираются отправиться на ложе, слуги приводят к ним куртизанок — прекрасных женщин или мальчиков, — и светильники при этом остаются непогашенными. Вдосталь натешившись с ними, они посылают за мужчинами в расцвете лет и позволяют им насладиться этими куртизанками — как женщинами, так и мальчиками. Они воздают должное любви и соитию, иногда наблюдая друг за другом, но обычно опуская занавески, подвешенные на столбах над кроватью. Тирренцы очень любят женщин, но еще большее удовольствие находят в обществе мальчиков и юношей. Они очень красивы, ибо весьма заботятся о своей внешности и сбрасывают на теле все лишние волосы. Для этого существует множество особых лавок и искусные прислужники, наподобие наших брадобреев. Люди заходят в эти лавки и позволяют мастерам обрабатывать любую часть тела любым удобным для тех способом, ничуть не стесняясь взглядов прохожих»⁴.

Согласно Афинену (xii, 519e), обитатели Сибариса первыми начали пользоваться горячими банями. На попойках они пили из ночных горшков — нововведение, не отличающееся хорошим вкусом; согласно отрывку из комедии Евполида (фрагм. 351, ap. Ath., i, 17d; CAP, i, 350), в Афины его перенес не кто иной, как Алкивиад.

Об обитателях знаменитого города Тарента, расположенного в Нижней Италии, Клеарх (Ath., xii, 522d; FHG, 306) сообщает, что «они удачали все волосы с тела и ходили в прозрачных, окаймленных пурпуром одеждах. Разрушив город Карбина в Апулии, они затащили всех мальчиков, девушек и молодых женщин в храмы и выставили их обнаженными на потеху посетителям. Всякий мог наброситься на эту несчастную толпу и утолить свою похоть, насладившись нагой красотой

⁴ Для понимания этого отрывка не следует забывать, что в древности, как нередко на юге и в наши дни, лавки выходили (открывались) прямо на улицу. В дальнейшем мы коснемся подробнее описанной здесь процедуры депиляции. Заметим лишь, что в этой связи речь идет не столько об удалении волосного покрова вокруг половых органов (в случае с женщинами он, безусловно, воспринимался как нечто отталкивающее, однако представлялся особым достоинством мужчин), сколько о малопривлекательной растительности на ногах греческих юношей.

любой выставленной напоказ жертвы; и это происходило на глазах у всех и, конечно же, не укрылось от богов, о чем эти негодяи вовсе не догадывались. Но боги покарали преступников, ибо вскоре все эти распутники были поражены молнией. Еще и ныне перед дверьми каждого дома в Таренте выставлено множество камней в память о тех, кто был умерщвлен при входе в дом; когда наступает годовщина их гибели, народ не оплакивает мертвецов и не воздает им обычных почестей, но приносит жертвы Зевсу Катайбату [Зевсу, нисходящему на землю громом и молнией]».

Город Массалия (совр. Марсель), по свидетельству нескольких авторов, был одним из главных оплотов гомосексуализма, откуда и пошла поговорка: «Отчаливай в Массалию» (Εξ Μασσαλία ν ττλεύσριας).

Интересно сообщение Афиней (xiii, 526b) о жителях Колофона в Малой Азии (возможно, впрочем, его не следует понимать буквально): многие из них будто бы никогда не видели ни восхода, ни заката солнца, ибо когда оно вставало, они были еще пьяны, а когда заходило — уже пьяны. Это сообщение согласуется с законом, который, если верить тому же автору, сохранял силу еще при его жизни: флейтистки, танцовщицы и прочие дамы полусвета вправе получать плату за свои услуги только с раннего утра до полудня, а после этого лишь до тех пор, пока «не зажгутся светильники», ибо в другие часы все горожане были поголовно пьяны.

Приведем также несколько примеров роскоши отдельных лиц, живших в древности. В первую очередь, это автоэпитафия, составленная, если верить свидетельству Аминты (Ath., xii, 529f), упоминавшимся выше ассирийским царем Сарданапалом: «Всю жизнь, пока я зрел свет солнца, я был царем: ел, пил и воздавал должное наслаждениям любви, зная, что век людской краток и подвержен многим переменам и несчастьям и что другие воспользуются оставленным мною богатством. Потому ни днем, ни ночью я не оставлял такой жизни»^{*1}.

Аристокл (Ath., xii, 530a) знал также о памятнике Сарданапалу в Анхиале, одном из подвластных ему городов: правая рука статуи была изогнута так, словно царь пытается щелчком пальцев смахнуть нечто, не стоящее и ломаного гроша. Ассирийская надпись переводилась следующим образом: «Сарданапал, сын Анакиндаракса. в один день покоривший Таре и Анхиалу. Ешь, пей, предавайся любви! Все остальное — ничто». Эти слова, по-видимому, объясняют смысл странного жеста статуи.

Клеарх (Ath., xii, 530c) сообщает любопытные подробности о некоем женоподобном Сагарисе, принадлежавшем к вифинскому племени мариандинцев; из-за своей изнеженности он до самой старости ел только ту пищу, которую пережевывала ему кормилица, избавляя его тем самым от лишних неудобств. К тому же он был слишком ленив, чтобы опускать руку ниже пупка. Поэтому Аристотель, подшучивая над тем, что при мочеиспускании Сагарис никогда не притрагивается к своему члену, привел стих из Еврипида: «Рука чиста, да помыслы нечистые». (Eurip., Hippol. 317)

^{*1} Эта надпись приводится также в гекзаметрической форме (Ath., viii, 335e)

Оратор Лисий (фрагм. 4 ар. Ath., xii, 534) рассказывал об Алкивиаде следующее: «Однажды вместе с другом Аксионом он направлялся к Геллеспонту. В Абидосе они сошлись с публичной девкой по имени Медонтис и жили с нею по очереди. Впоследствии она родила дочь, о которой они говорили, что не знают, кто из них приходится ей отцом. Когда девочка подросла, они стали жить и с ней. Находясь с Алкиви-адом, она называла отцом Аксиоха, а ложась в постель с Аксионом, — Ачкивиада».

Любовные похождения Алкивиада сделали его мишенью острых нападок со стороны комедиографов. Афиней приводит некоторые образчики этих насмешек. Юноша, красотой которого восхищались все, недаром носил на своем гербе изображение Эрота, мечущего молнию (Ath., xii, 534e). Диоген Лаэртский (iv, 49) говорил, что в юности Алкивиад отнимал у жен мужей, а когда вырос — у мужей жен. Комедиограф Ферекрат (фрагм. 155; САР, i, 194) имел в виду то же самое, когда писал: «Аткивиад, прежде не бывший мужем, стал ныне мужем всех жен»⁶.

В Спарте он совершил прелюбодеяние с Тимеей, женой царя Агиса; по Афиней (Ath., xii, 535b) в свое оправдание он ссылался на то, что вступил с ней в связь не из похоти, но из политических соображений. Согласно тому же автору, в военные походы он брал с собой двух самых знаменитых куртизанок своего времени.

Историк Клеарх (Ath., xii, 541c; FHG, ii, 307) в своих «Биографиях» писал о Дионисии Младшем, тиране Сицилии: «Прибыв в отеческий город Локриду, он наполнил свой дом (самый большой в городе) диким тимьяном и розами, а затем стал посылать за локридскими девушками; раздевшись донага, он катался с ними по постели, занимаясь всеми мыслимыми непристойностями. Некоторое время спустя разгневанные мужья и отцы схватили жену и детей Дионисия и заставили их на глазах у всех совершать постыднейшие вещи; мстители предавались с ними умопомрачительному разврату. Утолив свои желания, они загнали иглы им под ногти и предали их смерти». Страбон (v, 259; ср. Ael., Var. hist., ix, 18) с незначительными изменениями рассказывает ту же историю, добавляя, что Дионисий «выпускал на пирах голубей с подрезанными крыльями» и заставлял гоняться за ними обнаженных девушек; некоторых он принуждал носить разные сандалии — одну высокую, другую низкую. Дурис (Ath., xii, 542c; FHG, ii, 475) рассказывает о распутстве Деметрия Фалерского, много лет правившего Афинами; историк упоминает роскошные пирушки, устраивавшиеся Деметрием, «его тайные оргии с женщинами и ночные похождения с юношами; человек, который давал законы другим и выступал стражем их жизни, сам притязал на вседозволенность. Он также очень гордился своей внешностью, красил волосы в белый цвет и подкрашивал лицо. Он хотел быть красавцем и нравиться всем встречным».

Жизнь, посвященная наслаждению, как истинной цели стремлений, единственному состоянию, свидетельствующему о счастье, стала даже

⁶ Согласно Светонию («Цезарь», 52), то же говорил о Цезаре Курион; ср. также Сисеро, Verres II, 78, 192

лозунгом целой философской школы. Эта школа была основана Аристиппом, который, по свидетельству Афиня, разнообразил свою жизнь, «нося роскошные одежды и занимаясь любовью». Из своих любовниц он особенно был привязан к Лайде — знаменитой куртизанке того времени.

Особенно большое значение для греческих представлений о чувственных удовольствиях имеют мысли, которые вложил в уста Полиарха крупный ученый и музыковед Аристоксен в своей «Жизни Архита» (Ath., xii, 545a; FHG, ii, 276). Полиарх славился своим роскошным образом жизни и был одним из послов, направленных Дионисием Младшим в Тарент. В беседе с Архитом и его учениками речь зашла о чувственном удовольствии в самом широком смысле слова. Полиарх произнес пространную речь, в которой попытался доказать, что все здание добродетели, воздвигнутое этическими философами, в корне противоречит человеческой натуре; сама Природа требует от нас избрать наслаждение девизом нашей жизни. Цель всякого здравомыслящего человека — с величайшим восторгом срывать удовольствия; подавляя стремление к ним, мы не становимся ни мудрее, ни счастливее; действуя таким образом, мы обнаруживаем непонимание характера и потребностей человеческой природы. Поэтому со стороны персов было весьма разумным вознаграждать тех, кто изобрел новый вид наслаждений. И действительно, персам удалось отнять у мидян их могущество только потому, что по мере роста своей власти и богатства они расширяли также границы своих чувственных наслаждений.

Хотя воззрения Полиарха являются в известном смысле преувеличением, следует все же допустить, что в них содержится зерно истины, о чем свидетельствуют приведенные выше вступительные замечания. В любом случае, читатель достаточно узнал о греческом евангелии Гедоне, чтобы в последующих главах взглянуть на важнейшие проявления греческой культуры с этой точки зрения. Ему предстоит познакомиться с народом, который, в отличие от всех остальных, сделал фундаментом своего существования чувственность, сумев сочетать ее с высочайшей этикой. Тем самым он создал такую культуру жизни, которой человечество не перестанет восхищаться до конца времен.

ГЛАВА I

СВАДЬБА И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ

1. ГРЕЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

ЕДВА ЛИ ЕЩЕ в наши дни существует необходимость указывать на полную бесосновательность суждения о приниженном положении замужней гречанки. Это ошибочное мнение просто не могло не возникнуть, ибо оно основывалось на неверной предпосылке — искаженном представлении о роли женщины. За свою короткую историю греки проявили себя чрезвычайно бесчестными политиками, однако они всегда оставались непревзойденными художниками жизни. Именно поэтому они и заключили женщину в те границы, которые были установлены для нее самой природой. Современная идея о существовании двух типов женщин — женщины-матери и женщины-куртизанки — была признана греками еще на заре их цивилизации; исходя из нее они и строили свою жизнь. О втором типе женщин речь пойдет позже, но невозможно представить себе почестей высших, чем те, что воздавались женщинам, причисляемым греками к типу женщины-матери. Когда гречанка становилась матерью, она достигала цели своего существования. После этого ее уделом являлись две заботы, выше которых для нее не было ничего: управление домашними делами и воспитание детей — девочек, пока те не выйдут замуж, мальчиков, пока в них не начнет пробуждаться самосознание. Таким образом, брак для греков был одновременно средством достижения определенной цели — обзаведения законными потомками, которые останутся на земле после смерти родителей, — и способом упорядочить и обустроить домашние дела. Царство женщины распространялось на все сферы домашнего хозяйства, единовластной госпожой которого она была. При желании можно назвать такую супружескую жизнь безрадостной; мы и впрямь не можем не относиться к ней именно так, если принимать во внимание роль женщины в общественной жизни нашего времени. С другой стороны, в ней не было неестественности и фальши, присущих современному браку. В греческом языке отнюдь не случайно отсутствуют слова для обозначения таких понятий, как «флирт», «галантность» и «коккетство».

Современный человек вправе задаться вопросом, а не чувствовали ли себя греческие девушки и женщины в своем заточении безнадежно несчастными. Ответ может быть только отрицательным. Не будем забывать, что нельзя тосковать о том, чего не знаешь; притом гречанка с такой серьезностью занималась строго ограниченным (но от этого не менее благородным) кругом занятий, проистекавших из ее обязанностей по ведению домашнего хозяйства, что у нее просто не оставалось времени на мучительные раздумья о своем существовании.

Однако вся ограниченность досужих толков о приниженном положении греческой женщины становится очевидной благодаря тому, что уже в древнейших литературных источниках брак, а вместе с ним и женщина описываются с такой сердечностью и симпатией, какие трудно себе представить. В каком еще литературном произведении расставание мужа с женой изображено с той же глубиной чувства, что одухотворяет всю знаменитую сцену прощания Гектора с Андромахой из «Илиады» (vi, 392-496):

Он приближался уже, протекая обширную Трою,
К Скейским воротам (через них был выход из города в поле);
Там Андромаха супруга, бегущая, встречу предстала,
Отрасль богатого дома, прекрасная дочь Этиона;
Сей Этион обитал при подошвах лесистого Плака,
В Фивах Плакийских, мужей киликиян властитель державный;
Оного дочь сочеталась с Гектором медноспешным.
Там предстала супруга: за нею одна из прислужниц
Сына у персей держала, бессловного вовсе, младенца,
Плод их единый, прелестный, подобный звезде лучезарной.
Гектор его называл Скамандрием; граждане Трои —
Астианаксом: единый бо Гектор защитой был Трои.
Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына.
Подле него Андромаха стояла, лиющая слезы;
Руку пожата ему и такие слова говорила:
«Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! ни сына
Ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро
Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне,
Вместе нападши, убьют! а тобою покинутой, Гектор,
Лучше мне в землю сойти: никакой мне не будет отрады,
Если, постигнутый роком, меня ты оставишь: удел мой —
Горести! Нет у меня ни отца, ни матери нежной!
Старца отца моего умертвил Ахиллес быстроногий,
В день, как и град разорил киликийских народов цветущий,
Фивы высоковоротные. Сам он убил Этиона,
Но не смел обнажить: устроятся нечестия сердцем;
Старца он предал сожжению вместе с оружием пышным.
Создал над прахом могилу; и окрест могилы той улымы
Нимфы холмов насадили, Зевеса великого дщери.
Братья мои однокровные — семь оставалось их в доме —
Все и в единый день преселились в обитель Аида:
Всех злополучных избил Ахиллес, быстроногий ристатель,
В стаде застигнув тяжелых тельцов и овец белорунных.
Матерь мою, при долинах дубравного Плака царицу,
Пленицей в стан свой привлек он с другими добычами брани,
Но даровал ей свободу, приняв неисчислимый выкуп;
Феба ж и матерь мою поразила в отеческом доме!
Гектор, ты все мне теперь — и отец, и любезная матерь,
Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный!
Сжаться же ты надо мною и с нами останься на башне,
Сына не делай ты сирым, супруги не сделай вдовою;
Воинство наше поставь у смоковницы: там наипаче
Город приступен врагам и восход на твердыню удобен:
Трижды туда приступая, на град покушались герои,

Оба Аякса могучие, Идоменей знаменитый,
Оба Атрея сыны и Тидид, дерзновеннейший воин.
Верно, о том им сказал прорицатель какой-либо мудрый,
Или, быть может, самих устремляло их вешее сердце».
Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:
«Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; но страшный
Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой,
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.
Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,
Храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах,
Славы доброй отцу и себе самому добывая!
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама.
Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои,
Приама-родителя, матери дряхлой Гекубы,
Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых,
Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных,
Сколько твое, о супруга! тебя меднолатый ахеец,
Слезы лиющую, в плен повлечет и похитит свободу!
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Мессеиса или Гиперея,
С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда!
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах
Всех конеборцев троян, как сражались вокруг Илиона!
Скажет — и в сердце твоём возбудит он новую горечь:
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства!
Но да погибну и буду засыпан я перстью земною
Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу!»
Рек — и сына обнять устремился блистательный Гектор:
Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону
С криком припал, устрашая любезного отчего вида,
Яркою медью испуган и гребнем косматоволосым,
Видя ужасно его закачавшийся сверху шелома.
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.
Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор,
Наземь кладет его, пышноблестящий, и, на руки взявши
Милого сына, целует, качает его и, поднявши,
Так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных:
«Зевс и бессмертные боги! о, сотворите, да будет
Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан;
Так же и силою крепок, и в Трое да царствует мощно.
Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего вида:
Он и отца превосходит! И пусть он с кровавой корыстью
Входит, врагов сокрушитель, и радуется матери сердце!»
Рек — и супруге возлюбленной на руки он полагает
Милого сына; дитя к благовонному лону прижала
Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супруг умилился душевно,
Обнял ее и, рукою ласкающий, так говорил ей:
«Добрая! сердце себе не круши неумеренной скорбью.
Против судьбы человек меня не пошлет к Аидесу;

Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится.
Шествуй, любезная, в лом, озаботься своими делами;
Тканьем, пряжей займися, приказывай женам домашним
Дело свое исправлять; а война — мужей озаботит
Всех, — наиболее ж меня, — в Илионе священном рожденных».
Речи окончивши, поднял с земли бронеблещущий Гектор
Гривистый шлем; и пошла Андромаха безмолвная к дому,
Часто назад озираясь, слезы ручьем проливая.

[перевод Н. И. Гнедича]

Неужели можно вообразить, что женщина, которой Гомер посвящает столь трогательную, столь возвышенную сцену прощания, была жалким, презиаемым, влачащим растительное существование созданием? Если кому-то этот пример показался неубедительным, то он может прочесть те части «Одиссеи», где изображена супруга Одиссея Пенелопа. Как преданно ждет она своего мужа, отсутствующего долгие, беспросветные годы! Как страдает от сознания своей слабости перед лицом бесцеремонных, буйных и неугомонных женихов! Исполненная благородства, царица до кончиков ногтей, она — чья женская честь попирается разгулом наглых поклонников — выходит к разбушевавшейся шайке и ставит ее на место речами, которые могла подсказать только истинная женственность. С каким изумлением взирает она на перемены в своем сыне Телемахе, который из мальчика становится молодым мужчиной; она изумлена, но повинуетя сыну, призывающему ее («Одиссея», i, 356—360):

Но удались: занимайся, как должно, порядком хозяйства,
Пряжей, тканьем; наблюдай, чтоб рабыни прилежны в работе
Были своей: говорить же не женское дело, а дело
Мужа, и ныне мое: у себя я один повелитель.

[перевод В. А. Жуковского]

Разве Гомер создал бы такую очаровательную идиллию, как сцена с Навсикаей, если бы греческие девушки в своем домашнем затворничестве чувствовали себя несчастными? Достаточно только указать читателям на эти факты, ибо они и так, несомненно, вполне знакомы с поэмами Гомера, чтобы припомнить сцены, изображающие жизнь женщины, и откорректировать свои представления о браке и положении греческой женщины в эту эпоху. Аристотель ссылается на тот факт, что у Гомера мужчина, так сказать, покупает невесту у ее родителей (*De republ.*, ii, 8, 1260); он отдает за нее *hedna* (ἑδνα), свадебные подарки, представляющие собой натуральные продукты и скот. С точки зрения современного человека, этот обычай может показаться унижающим достоинство невесты. Однако нам следует напомнить, что данный обычай возникает из представления, широко распространенного у древних германцев и евреев, согласно которому незамужние дочери являются ценным достоянием и в случае выдачи замуж за них полагается брать выкуп. Кроме того, многие отрывки из Гомера («Одиссея», i, 277, ii, 196; «Илиада», vi, 395, ix, 144, etc) свидетельствуют о том, что после того, как завершалась церемония передачи невесты, было принято давать дочерям приданое. Скептики увидят в этом обычае, сохранившемся и до сего дня, нечто в известных обстоятельствах еще более

недостойное, как если бы его смысл заключался в том, чтобы любой ценой подыскать дочери мужа. Весьма примечательно, что уже у Гомера («Одиссея», U, 132) в случае развода приданое возвращалось к отцу или выплачивалась весьма значительная пеня. Несомненно, женская неверность уже в эпоху Гомера была довольно существенным фактором («Одиссея», iv, 535); в самом деле, единственной причиной Троянской войны послужило предположение, что Елена изменила своему мужу Менелая и последовала на чужбину за прекрасным фригийским царевичем Парисом; Клитемнестра, супруга «пастыря народов» Агамемнона, позволяет соблазнить себя Эгисфу, который живет с ней долгие годы, пока муж сражается под Илионом; с помощью любовника, после предательски радушной встречи, она убивает возвратившегося Агамемнона в бане, словно «быка в стойле». Поэт или (что то же самое) наивное народное мировоззрение достаточно снисходительны, чтобы простить обеим прелюбодейкам их супружеские прегрешения, возлагая ответственность за них на ослепление («Одиссея», xxiii, 218; «Илиада», iii, 164, 339), вызванное Афродитой и, если смотреть глубже, обусловленное действием рока («Одиссея», iii, 265), этого тайного вершителя судьбы дома Танталидов; данное обстоятельство, однако, нисколько не ставит под сомнение тот факт, что оба предводителя народа в его жестокой борьбе, память о которой донесли до нас «Илиада» и «Одиссея» Гомера, суть обманутые мужья из воспроизведенного поэтом традиционного предания («Одиссея», x, 424). Легко понять поэтому, почему тень Агамемнона, погубленного низким коварством жены, с горечью бранит женский пол, открывая тем самым список женоненавистников, столь многочисленных в греческой истории; об этом явлении мы будем говорить позднее.

.. она равнодушно

Взор отвратила и мне, отходящему в область Аида,
Тусклых очей и мертвеющих уст запереть не хотела.
Нет ничего отвратительней, нет ничего ненавистней
Дерзко-бесстыдной жены, замышляющей хитро такое
Дело, каким навсегда осрамилась она, приготовив
Мужу, богами ей данному, гибель. В отечество думал
Я возвратиться на радость возлюбленным детям и ближним —
Злое, напротив, замысля, кровавым убийством злодейка
Стыд на себя навлекла и на все времена посрамила
Пол свои и даже всех жен, неведеньем своим беспорочных.

[перевод В. А. Жуковского]

Менелай принимает свершившееся не так трагически. После падения Трои он примиряется с беглянкой-женой, и в «Одиссее» мы встречаем его живущим в мире и большом почете в своем родном спартанском царстве рядом с Еленой, которая, ничуть не смущаясь, говорит о «несчастье», причиненном ей Афродитой («Одиссея», v, 261):

..давно я скорбела, виной Афродиты
Вольно ушедшая в Трою из милого края отчизны,
Где я покинула брачное ложе, и дочь, и супруга,
Столь одаренного светлым умом и лица красою.

[перевод В. А. Жуковской]

Не у Гомера, но у поэтов так называемого эпического цикла (особенно Лесха, фрагм. 16) мы находим рассказ о том, что Менелай после покорения Трои жаждал отомстить за поруганную честь, угрожая Елене обнаженным мечом. Тогда она сняла покров с «яблок своей груди» и так околдовала Менелая, что тот раскаялся в своем замысле и в знак примирения заключил прекрасную супругу в объятия. Более поздние авторы, такие, как Еврипид («Андромаха», 628) и лирический поэт Ивик (PLG, фрагм. 35), любили возвращаться к этому сюжету. За него жадно ухватились комедиографы (Аристофан, «Лисистрата», 165; схолии к «Осам», 714), он стал излюбленным сюжетом вазописии (см. Roscher, *Lexikon der Mythologie*, i, 1970).

Не будем забывать, что все вышесказанное о браке в гомеровскую эпоху относится только к жизни людей выдающихся — царей и аристократии, — но нам неизвестно ничего или почти ничего о том, в каком положении находились женщины низших классов. Однако если принять во внимание те — довольно полные — сведения, которые гомеровский эпос сообщает о жизни «маленьких людей» — крестьян, скотоводов, охотников, пастухов, рыбаков, — тогда отсутствие всякого упоминания женщин в этом контексте можно расценивать как доказательство того, что жизнь женщины была целиком посвящена дому и семье и что уже в эту эпоху к женщинам применялось ставшее впоследствии столь знаменитым изречение Перикла (Фукидид, ii, 45): «лучшие женщины — те, о которых в обществе мужчин говорят как можно меньше, неважно, плохо ли, хорошо ли».

То, о чем сообщает нам беотийский поэт Гесиод в своем поэтическом пастушеском календаре под названием «Труды и дни*» (519 ел., 701 ел.), только подтверждает наше предположение. Поэт с нежностью отзывается о незамужней девушке: «Дома сидеть остается она подле матери милой, чуждая мыслей пока о делах многозлатой Киприды». Когда за дверью свирепствует буря, руша «высоковетвистые дубы и раскидистые сосны», пронизывая холодом людей и скот, она омывается теплой водой в своей прогретой комнате, затем втирает масло или бальзам в свои гибкие девичьи члены и сладко засыпает. Конечно, поэт-крестьянин был не в силах лодняться над повседневностью, и его наставления (так, простолудину, по Гесиоду, лучше жениться в возрасте около тридцати лет, а его избранница должна быть не старше девятнадцати и, разумеется, девственницей) ясно показывают, что в ту эпоху в браке было мало поэтического. Однако уже и в это столь раннее время даже среди простонародья такое ограниченное, приземленное представление о женщине отнюдь не являлось чем-то самоочевидным, иначе Гесиод не стал бы поучать своих товарищей столь красноречиво: «Умный пробует все, а удерживает наилучшее, чтобы не жениться на смех соседям», — замечает он не без остроумия и психологической проницательности. Ибо, продолжает он свои наиздания:

Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете,
Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей,
Жадной сластены. Такая и самого сильного мужа
Высушит пуше огня и до времени в старость загонит.

[перевод В. В. Вересаева]

Большое значение имеет тот факт, что уже этот совершенно наивный и простой крестьянин весьма проникательно судил о женской природе. По сравнению с этим не столь важно, что виновницей всех бед человечества он считал женщину — недалекую и пустую Пандору («Труды и дни», 47), которая, будучи привечена Эпиметеем, раскрывает свой ящик и выпускает из него все зло, какое есть в мире; в данном случае поэт находился под обаянием мифологической традиции. Для истории нравов немало значит то, что он чувствует себя обязанным предостеречь женщин от тщеславия и резко обрушивается на кокетство, осуждая девушек, которые стремятся придать скрытым от взоров частям своего тела большую пленительность посредством кокетливых ужимок («Труды и дни», 373) и изо всех сил стремятся привлечь мужчин той частью своего тела, которую греки особенно высоко ценили в юношах. (Заметим, что Лукиан⁷ даже осмелился назвать ягодицы «юношескими частями».) То, что подобный способ обольщения мужа применялся женщинами уже в столь давние времена (об этом свидетельствует наивный и простой поэт пастушеского календаря), во всяком случае заслуживает внимания. Это доказывает, что даже в ту древнюю эпоху женщина, как и во все времена, прекрасно сознавала, что обладает средствами, которые практически всегда способны воспламенить чувственность мужчины. Гесиоду известно и то, что на половую жизнь оказывают воздействие время года и температура («Труды и дни», 582):

В пору, когда артишоки цветут и, на дереве сидя,
Быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада
Звонкую песню свою среди томящего летнего зноя, —
Козы бывают жирнее всего, а вино всего лучше,
Жены всего похотливей, всего слабосильней мужчины:
. Сириус сушит колени и головы им беспощадно,
Зноем тела опалая...

[перевод В. В. Вересаева]

Со временем эллинская культура все большее внимание начинает уделять мужскому полу, о чем свидетельствует тот факт, что о настоящем воспитании говорится только применительно к мальчикам. Самые необходимые элементарные сведения о чтении и письме, умение справляться с работой по дому, важнейшими видами которой были прядение и ткачество, передавались девочкам матерью.

Если прибавить к этому не слишком основательное изучение музыки, мы получим полное представление о женском воспитании; нам ничего не известно о приобщенности женщин к научной культуре, более того, мы нередко слышим, что жене не подобает быть умнее, чем приличес-

⁷ «Две любви», 14: τα παιδικά μίση.

твует женщине, — об этом недвусмысленно заявляет, например, Ипполит у Еврипида («Ипполит», 635). Греки были глубоко убеждены в том, что женщинам и девочкам подобает пребывать на женской половине дома, где им не нужна никакая книжная ученость. Эта эпоха не знала социального общения с женщинами, однако было бы ошибкой утверждать, будто это следствие их замкнутого образа жизни. Скорее, данное явление было обусловлено пониманием того, что участие в мужской беседе, которая была для афинян хлебом насущным, женщине не под силу ввиду ее совершенно иного психологического склада и совершенно иных интересов, — именно поэтому женщины и замкнулись в своих гинекеях.

Следует полагать, что девушки, особенно те, что были еще не замужем, вели, как правило, очень уединенное и безрадостное, с нашей точки зрения, существование; исключением из этого правила были, возможно, только девушки Спарты. Лишь в особых случаях, таких, как праздничные шествия или похороны, девушки могли наблюдать их со стороны или принимать в них участие, во множестве высыпая на улицы; при данных обстоятельствах, несомненно, имел место некий вид общения между полами. Так, в очаровательной идиллии Феокрита («Идиллии», ii) повествуется о девушке, которая присутствовала на праздничной процессии в честь Артемиды; «среди великого множества других зверей» здесь шествовала даже львица; старшая подруга отводит ее в сторонку, где она видит прекрасного Дафниса и влюбляется в него.

Брак приносил женщине большую свободу передвижения, однако домашнее хозяйство как было, так и оставалось тем царством, управлять которым она была предназначена. Насколько последовательно проводилась в жизнь максима, облеченная в слова Еврипидом («Троянки», 642) — «о той идет молва дурная, что дома не сидит», — показывает тот факт, что даже при получении известий о херонейском разгроме афинянки не осмелились пойти дальше дверей своего дома (Ликург, *Leoc-rates*, 40) и, стоя на пороге, едва не лишаясь от горя чувств, спрашивали прохожих о судьбе мужей, отцов и братьев, — «но многие считали, что даже этим они роняют достоинство свое и города».

На основании одного фрагмента Гиперида (Стобей, Ixxiv, 33) можно предположить, что женщины не могли выходить из дома до тех пор, пока не достигнут того возраста, когда мужчины при виде их будут спрашивать, не чья это жена, но чья мать. Поэтому черепаха, панцирь которой попирала стопа Фидиевой Афродиты Урании в Элиде (Плутарх, «Об Исиде и Осирисе», 76), рассматривалась как символ женского существования, ограниченного тесными пределами дома, символ того, что «незамужние девушки особенно нуждаются в опеке, и что замужней женщине приличествуют домоводство и молчание». Добрый обычай, во всяком случае, запрещал женщине появляться на людях без сопровождения гинеконома (γυναικονόμος) или одного из членов семьи пожилого и заслуживающего доверия мужчины; как правило, ее сопровождала также рабыня. Особенно примечательно, что даже Солон (Плутарх, «Солон», 21) считал такие вопросы достойными того, чтобы регулироваться законом. Об этом свидетельствует его указ, согласно

которому женщины, отправляясь на похороны или праздник, «могут взять с собой не более трех одежд; далее, они не могут брать еды и питья стоимостью более обола» (около полутора пенсов), а в ночное время могут покидать дом только в повозке с зажженным фонарем. По-видимому, эти правила сохраняли силу еще и во времена Плутарха. Но Солон, которого мужи древности отнюдь не даром называли мудрецом, конечно же, прекрасно понимал смысл этих, на первый взгляд, незначительных постановлений — они были не чем иным, как выражением «принципа мужественности» (principle of the male), доминирующего над целым античной культуры.

Было бы, конечно, сущей нелепицей утверждать, будто эти и подобные им нормы были распространены в греческом мире всегда, повсюду и в равной мере. Наша единственная задача в настоящий момент — дать картину культуры в целом, и поэтому сейчас мы рассматриваем Грецию как единство, обусловленное общностью языка и обычаев, не входя при этом в утомительный разбор культурных различий в том или ином конкретном случае, проистекающих из особенностей места и времени. Именно такова в основных чертах та точка зрения, которую занимает автор этой книги; всякое отступление от нее будет оговариваться особо. Когда Еврипид («Андромаха», 925) настоятельно рекомендует разумным мужьям не позволять другим женщинам посещать своих жен (ибо те являются «наставницами во всем дурном»), он, несомненно, не одинок в своем мнении, однако обычай противоречит его совету. Так, мы знаем, что женщины — вне всяких сомнений, не сопровождаемые мужьями — посещали мастерскую Фидия и двор Пирилампа, друга Перикла (Плутарх, «Перикл», 13), чтобы полюбоваться разводящимися там величавыми павлинами. Если после произнесения Периклом знаменитой надгробной речи женщины приветствуют и осыпают его цветами (там же, 28), то из этого факта, по-видимому, следует, что в упоминавшейся выше ситуации после битвы при Херонее нарушение приличий заключалось главным образом в том, что афинянки расспрашивали мужчин-прохожих поздним вечером. Здесь, как нигде, уместно изречение о том, что крайности сходятся. Многие запирали жен в *gynaikonitis* (женской комнате), находившейся под надежной охраной, закрытой и запечатанной; у порога комнаты сидел свирепый моллосский пес (Аристофан, *Thesmoph.*, 414). И в то же время, согласно Геродоту (i, 93), в Лидии не видели ничего зазорного в том, что девушки зарабатывают себе на одежду проституцией. В то время как спартанские девушки появлялись на людях в одеянии, которое подвергалось насмешкам во всей остальной Греции, — разрез их платьев доходил до бедер, так что при ходьбе бедра оголялись, — в Афинах, согласно Аристофану (*Thesmoph.*, 797), даже замужняя женщина удалялась во внутренние покои, чтобы ее случайно не увидел мужчина-прохожий.

Доказывают, что уединение, в котором, как правило, проводила свои дни греческая женщина, имело своим следствием скудоумие и недалекость, и в подтверждение этого тезиса ссылаются на анекдоты и истории, подобные той, что рассказывалась о жене царя Гиерона (Плутарх, *De inimiciorum utilitate*, 7). После того как политический противник осмеял

его за дурной запах изо рта, разгневанный царь бросился домой и спросил жену, почему она никогда не говорила ему об этом. Жена якобы отвечала так, как и пристало отвечать скромной и честной жене: «Я думала, что все мужчины так пахнут». Разумеется, можно привести еще несколько анекдотов такого рода, однако их убедительность — даже если не оспаривать их достоверность — не слишком велика, и не столько потому что греки были народом, падким до анекдотов, сколько потому, что высокое уважение, повсеместно оказывавшееся греками своим женам (мы располагаем множеством неопровержимых свидетельств на этот счет), не могло основываться исключительно на половой и материнской функциях женщины. Единственное, чего мы наверняка не найдем в греческом муже, — это того, что мы обыкновенно называем «галантностью». В греческой древности не существовало различий между понятиями «женщина» и «жена». Словом *gune* (γυνή) здесь называли любую женщину независимо от ее возраста и семейного положения. Обратиться к женщине *gunai* (γυναί) можно было, не опасаясь гнева ни простолюдинки, ни царицы. В то же время следует заметить, что, с языковой точки зрения, значение этого слова — «рождающая детей» и этимология показывают, что в женщине греки почитали прежде всего мать своих детей. Вплоть до императорской эпохи римской истории мы не встретим слова *domina* (госпожа), которое служило формой вежливого обращения к женщинам, принадлежащим к императорскому дому (отсюда французское *dame*). Словом *despoina* (с тем же значением, что и *domina*) греки называли только настоящих владычиц, т.е. жен царей, не позволяя ему стать расхожей формой вежливости и не противопоставляя его домашней прислуге, хотя в доме женщина и была полновластной хозяйкой, распоряжаясь всем, что составляло сферу ее ведения, — внимание на это обращает Платон в известном месте из «Законов» (vii, 808a). С современной точки зрения, греческое деление женщин на три класса — разумеется, совершенно «негалантное» — имеет немалое значение; данная классификация дана автором речи против Неэры: «Гетер мы держим ради наслаждения, наложниц — ради того, чтобы они удовлетворяли наши ежедневные потребности, жен — ради рождения детей и рачительного ведения домашних дел» (122).

Положение наложницы было совершенно иным. Известно, что некоторые из них были собственностью своего господина, имевшего право продать их (Антифонт, *De veneficio*, 14), к примеру, в публичный дом; однако из закона, упоминаемого Демосфеном (*In Aristocratem*, 55; см. также *Ath.*, xiii, 555) и перечисляющего мать, жену, сестру, дочь и наложницу в одном ряду, можно заключить, что отношения между мужчиной и его наложницей могли в известной степени напоминать отношения между мужем и женой. Кроме того, обладание несколькими наложницами было явлением, широко распространенным только в героическую эпоху, описанную Гомером, считаясь в те времена чем-то само собой разумеющимся, по крайней мере, среди аристократии. В историческую эпоху, однако, допустимость такого рода отношений едва ли

Plato, *Cratylus*, 414a: γυνή δε γονή μοι φαίνεται βούλεσθαι εἶναι

была безусловной; есть немало доводов против существования такой практики, и возможно, она имела место лишь в исключительных обстоятельствах (таких, как высокая смертность вследствие войны или эпидемии), когда для рождения детей рядом с женой в семье появлялась наложница.

То, что мужчины женились главным образом для обзаведения потомством, следует не только из официальной формулы помолвки — «ради порождения законного потомства» (Ἐπί παιδῶν γνησίων ἄρότοι; ср. Лукиан, *Tim.*, 17; Clem. Alex., *Stromata*, ii, 421; Plut., *Comparatio Lycurgi cum Numa*, 4), — но и открыто признается несколькими греческими авторами (Xenoph., *Memor.*, ii, 2, 4; Demosthenes, *Phormio*, 30; Plut., см. выше). В Спарте дело заходило еще дальше, и, согласно Плутарху, здесь никого не смущало то, что муж «временно передает свои супружеские права тому, кто наделен большей мужской силой и от кого, по ожиданиям мужа, могут произойти самые красивые и крепкие дети; при этом брак не терпит ни малейшего ущерба». Приходится согласиться с Плутархом, который сравнивает спартанский брак с конным заводом (*Lyc.*, 15), где имеет значение только одно — как можно более многочисленный приплод чистокровной породы. В другом месте (*De quidiendis poetis*, 8) он говорит о некоем Полиагне, который был сводником при собственной жене и подвергался насмешкам за то, что держал при себе «козу», приносившую ему немалые деньги.

Существовал также некий Стефан, известный из речи против Нэры (47), — ловкий сводник, завлекавший в свои сети чужестранцев, которые, как он надеялся, располагают деньгами и которых он соблазнял прелестями своей жены. Если чужестранец попадался на его удочку, Стефан умел устроить дело таким образом, чтобы застать любовников в компрометирующей ситуации, после чего вымогал у молодого человека, схваченного *in flagrante delicto*, кругленькую сумму денег. Схожим образом Стефан играл роль сутенера и при дочери; некий Эпенет, которого он застал в постели с ней, заплатился за это тридцатью минами (около 120 фунтов). В античной литературе найдется множество примеров, подобных этому, и можно думать, что письменные источники сообщают далеко не о всех имевших место случаях. То, что мужчины, застигнутые врасплох в самый разгар любовных игр, с радостью были готовы отделаться такими внушительными суммами, объясняется тем, что соращение замужней женщины или девушки безупречного нрава каралось огромными штрафами. Об этих наказаниях мы будем говорить ниже.

В городе столь чутком, как Афины, а по сути, и во всей остальной Греции к браку относились (по крайней мере, если верить Платону, «Законь», vi, 773) как к исполнению долга перед богами; оставить после себя тех, кто будет поклоняться и служить богам, было обязанностью граждан. Моральным долгом деторождение являлось и потому, что имело своей целью поддержать стабильность и даже само существование государства. В нашем распоряжении нет однозначных свидетельств наличия законов, делавших вступление в брак обязательным; исключение составляет только Спарта. По сообщениям древних, Солон отказался ввести подобный закон, заметив — в свете его воззрений на отношения между

полами это выглядит вполне правдоподобным, — что женщина — мертвый груз на жизни мужчины (Stobaeus, *Sermones*, 68, 33). Если Платон превращает брак в постулируемую законом обязанность («Законы», iv, 721; vi, 774) и склоняется к тому, чтобы наказывать за одинокую жизнь штрафами, он становится — что вообще характерно для его «Законов» — на точку зрения спартанцев, которые, по Аристону (Stobaeus, *Sermones*, 67, 16), наказывали не только закоренелых холостяков, но и тех, кто начинал семейную жизнь слишком поздно; при этом наиболее суровое наказание было предусмотрено для тех, кто заключал неудачный (неравный или оказавшийся бездетным) брак. Неизгладимое впечатление производит закон, которым великий законодатель Ликург вводит наказания для холостяков (Плутарх, «Ликург», 15): «В то же время Ликург установил и своего рода позорное наказание для холостяков: их не пускали на гимназии, зимою, по приказу властей, они должны были нагими обойти вокруг площади, распевая песню, сочиненную им в укор (в песне говорилось, что они терпят справедливое возмездие за неповиновение законам), и, наконец, они были лишены тех почестей и уважения, какие молодежь оказывала старшим» [перевод С. П. Маркиша].

Когда некий юноша не поднялся со своего места, чтобы почтить прославленного, но неженатого спартанского полководца Деркилида и дерзко заявил: «Ты не породил никого, кто потом уступит дорогу мне», поведение молодого человека было встречено всеобщим одобрением. Эти наказания и унижения не принесли, по-видимому, большой пользы даже Спарте; представляется, что холостяков в Греции всегда было немало, неважно, проистекало ли данное явление из нежелания, женившись, принять на себя ответственность за жену и детей или было следствием врожденной неприязни к женскому полу как таковому. Разговор Периплектомена с Палестрионом в «Хвастливом Воине» (*Miles gloriosus*) Плавта, переработавшего греческий оригинал, весьма в этом отношении показателен (iii, i, 677—702):

ПЕРИПЛЕКТОМЕН:

Милостью богов, принять чем гостя, у меня все есть, Ешь и пей со мною вместе, душу весели свою, Дом свободен, я 'свободен и хочу свободно жить. Волею богов богат я, можно б и жену себе Из хорошего взять роду, и с приданым, только вот Нет охоты в дом пустить свой бабищу сварливую.

ПАЛЕСТРИОН: Почему не хочешь? Дело милое — детей иметь.

ПЕРИПЛЕКТОМЕН: А свободным самому быть — это и того милей.

ПАЛЕСТРИОН: Ты — мудрец, и о другом и о себе подумаешь.

ПЕРИПЛЕКТОМЕН:

Хорошо жену ввести бы добрую, коль где-нибудь Отыскать ее возможно. А к чему такую брать, Что не скажет: «Друг, купи мне шерсти, плащ сотку тебе, Мягкий, теплый, для зимы же — тунику хорошую,

Чтоб зимой тебе не мерзнуть!» Никогда не слыживать
От жены такого слова! Нет, но прежде чем летух
Закричит, она с постели поднялась уж, скажет так:
«Муж! Для матери подарок подавай мне в Новый год,
Да давай на угощение, да давай в Минервин день
Для гадалки-обиралки, жрицы и пророчицы».
И беда, коли не дашь им: поведет бровями так!
Без подарка не отпустишь также гофрировщицу;
Ничего не получивши, сердится гладильщица,
Жалоба от повивальной бабки: мало дали ей!
«Как! кормилице не хочешь вовсе дать, что возится
С рабскими ребятами?» Вот эти и подобные.
Многочисленные траты женские мешают мне
Взять себе жену, что станет петь мне эту песенку.

ПАЛЕСТРИОН:

Милость божия с тобою! Ведь свободу стоит раз
Потерять, не так-то просто вернуть назад ее!

[перевод А. Артюшкова]

Помимо того, что многие думали приблизительно так же, как Периплектомен, специфическим и хорошо известным греческим феноменом являлось численное преобладание девушек; причиной тому были нескончаемые войны между городами-государствами, в которых погибали лучшие мужчины. Можно предполагать, что женщина, так и не дождавшаяся замужества — «старая дева», — не была в Греции редкостью, хотя наши источники, несомненно, не склонны подробно освещать жизнь этого достойного жалости типа женщин — в первую очередь потому, что в греческой литературе женщина играла, как правило, второстепенную роль, в частности, роль «старой девы». Но уже у Аристофана мы слышим жалобы Лисистраты (*Lysistr.*, 596): «А у женщины бедной пора недолга и, когда не возьмут ее к сроку, уж потом не польстится никто на нее, и старуха сидит и гадает» [перевод А. Пиотровского].

В ситуации, схожей с ситуацией старой девы, находился и тот мужчина, брак которого оказался бесплодным; в обоих случаях цель, установленная самой природой, осталась недостигнутой. Вполне понятно поэтому, что в Греции нередко прибегали к усыновлению, правда, данный шаг имел также дополнительную мотивировку — желание оставить после себя тех, кто будет приносить жертвы и дары к могилам родителей.

Плутарх («Ликург», 16) сообщает, что по закону Ликурга в Спарте было принято сбрасывать хилых и безобразных младенцев в ущелье Тайгета. Подобные случаи имели место даже в Афинах, особенно если на свет появлялась девочка (Moeris Atticista, 102; Aristoph, «Лягушки», 1288 (1305), см. также схолии к этому месту; о девочках см. Stobaeus, *Sermones*, 77, 7 и 8). Детей подбрасывали в больших глиняных сосудах, однако обычно это делалось таким образом, чтобы этих беспомощных маленьких бедолаг могли обнаружить другие, и если нашедшие их были людьми бездетными или очень любили детей, они брали малышек к себе на воспитание. Иногда случалось, что родители продавали детей, особен-

но, по словам Диона Хризостома (*Oratio*, xv, 8), тем женщинам, у которых их не было, но которые не хотели потерять мужа из-за своей бесплодности. Новая комедия, в которой нередки мотивы подбрасывания младенца, показывает, что данное явление было достаточно распространенным. Подкидышам иногда надевали на шею цепочки, оставляли колечки или другие легко узнаваемые вещицы (Еврипид, *Ион*, 1430; Лонг, i, 2; Aristaenetus, *Epistiilae*, i, 1; Heliodorus, ii, 31; iv, 8), чтобы затем при перемене обстоятельств их можно было бы опознать; эпизоды узнавания играют очень важную роль в комедии.

Перед тем как перейти к подробному описанию греческого свадебного торжества, я хотел бы напомнить читателям разговор Исхомаха с его молодой женой (Xenophon, *Oeconomicus*, vii, 10), в котором тот детально объясняет ей обязанности греческой домохозяйки, проявляя при этом завидное простодушие. Суть его поучений сводится к тому, что домашняя хозяйка должна быть целомудренной и уравновешенной; она должна уметь ткать одежду, быть опытной прялкой и разумно распределять обязанности между служанками. Деньги и имущество, добытые трудом мужа, она должна оберегать и рачительно использовать. Главная ее забота — вскармливание и воспитание детей; как пчеламатка, она не только должна распределять среди рабов — как мужчин, так и женщин — обязанности, которые им по плечу, но и следить за самочувствием и благополучием домочадцев. Членов семьи она должна научить всему, что достойно изучения; она должна править ими мудро и справедливо. Превосходные наставления, которые вполне можно принять близко к сердцу и в наши дни, содержит также небольшой, но вполне заслуживающий внимания трактат Плутарха *Gamika Parangelmata* («Советы супругам»), посвященный автором своим друзьям — молодым супругам.

2. СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ

Давайте последуем за греческим юношей и будем сопровождать его от помолвки до свадебного покоя. Греки были и остаются народом расчетливым; поэзия долгих ухаживаний была им глубоко чужда; семья и приданое имели куда большее значение, чем личные качества невесты. Однако было бы ошибкой считать, что приданое было чересчур большим; напротив, гораздо большее значение придавалось тому, чтобы состояние жениха и невесты было по возможности более или менее равным. Поэтому отцы дочерей со скромным приданым отнюдь не всегда были в восторге от того, что какому-нибудь богачу приглянулось милое личико их бедной девочки; об этом говорит Эвклион — персонаж грубоватой комедии Плавта «Клад» (226 сл.):

Вот что мне на ум приходит. Человек богатый ты
И влиятельный, равно как я — из бедняков бедняк.
Дочь вот за тебя я выдам (мне приходит в голову):
Ты — что бык, а я — что ослик. Нас ли запрягать вдвоем?
Груза не снести мне вровень, ослик в грязь упал, лежит:

Бык не обернется, точно ослика на свете нет.
Ты мне станешь недругом, и класс мой засмеет меня,
Стоила нет ни там, ни здесь мне, если так разлад пойдет.
Изорвут ослы зубами, принажмет рогами бык.
От ослов к быкам уйти мне — очень это риск большой.

[перевод А. Артюшкова]

Крайне маловероятно, чтобы молодые часто виделись друг с другом или были близко знакомы до помолвки; это доказывается уже тем, что Платон⁹ во избежание взаимного обмана ратует за допущение более свободного общения между договаривающимися сторонами — требование, которое было бы излишним, если бы к тому времени оно уже осуществлялось на практике. Нетрудно поэтому понять мужа, который очень скоро начинал видеть в браке докучную обузу, и молодую жену, которая слишком быстро разочаровывалась в своих надеждах; трогательные слова нашел для описания этой грустной ситуации Софокл («Терей», фрагм. 524; TGF, Nauck):

Теперь, в разлуке, я ничто. О, часто
Я размышляла так о женской доле,
Что мы — ничто. Да, в детстве, в отчем доме,
Не спорю, сладкую ведем мы жизнь.
Ведь бессознательность — нет лучшей няни
Для нас. А только мы созреем, цвет
Обретши юности, — к чужим нас гонят
От очага родного, продают,
К разлуке нас с богами принуждая
Отчизны нашей, с матерью, с отцом;
Тех — к незнакомым; к варварам — других;
Тех — в славный дом; а тех — под сень позора.
И лишь спряжет нас с мужем ночь одна,
Должны мириться мы, самим себе
Твердя, что жизнь нас к лучшему ведет.

[перевод Ф. Ф. Зелинского]

В целом, во внимание принималась природная закономерность, по которой женщина увядает раньше мужчины; поэтому устроители браков заботились о том, чтобы невеста была значительно моложе жениха. Еврипид (фрагм. 24, TGF, Nauck) ясно говорит: «В высшей степени недальновидно сочетать браком пару юных ровесников, ибо мужская сила не убывает даже тогда, когда красота женского тела уже увяла».

Поэтому, если отцу не удавалось подобрать дочери мужа до того, как она выходила из брачного возраста, он прибегал к услугам тех любезных женщин, которые сделали сватовство своей профессией и звались *prom-nestriae* или *promnestrides*. Разумеется, их главной задачей было выставить выдающиеся качества девушки в наилучшем свете, о чем свидетель-

⁹ «Законы», VI, 771. Платон даже требует, чтобы молодые перед помолвкой могли увидеть друг друга обнаженными, «по крайней мере настолько, насколько позволяет благо пристойность». Возможно, в отдельных случаях такие смотрины действительно кое-где имели место, но едва ли они могли стать повсеместно признанным обычаем.

ствуют замечания Ксенофонта (*Memorab.*, ii, 6, 36) и Платона (*Theaetetus*, 150).

Судя по тому, что говорится о них у Платона, ремесло их явно не пользовалось доброй славой и в известных случаях превращалось в заурядное сводничество. В прекрасной второй идиллии Феокрита «Колдуньи» сторающая от любви девушка посылает свою преданную служанку за красавцем Дафнисом, которого она полюбила. Та приводит долгожданного пастушка, который, признается она после любовной сцены, расцвеченной всеми красками чувственной красоты, «сделал меня несчастной, дурной женщиной, а не женой, и отнял мою невинность».

Если со свахой или без нее находили наконец подходящего жениха, совершалась помолвка (ἐγγύησις). Под этим актом, регулировавшимся положениями гражданского права, следует понимать публичное утверждение желания двух договаривающихся сторон вступить в брак; это утверждение было необходимо для того, чтобы придать церемонии юридическую силу. Тогда же, как правило, определялся и размер приданого. При этом нередко случалось, что филантропы снабжали средствами дочерей или сестер неимущих (Лисий, *De bonis Aristoph.*, 59), или что дочери бедных, но почтенных граждан получали приданое от государства; так, две дочери Аристиды (Плутарх, «Аристид», 27) получили по 3 000 драхм (около 112 фунтов). Едва ли нужно напоминать, что, помимо денег, приданое состояло из постельного и столового белья, одежд, украшений, домашней утвари и мебели; в известных случаях в приданое входили и рабы. Утверждали, что существовал закон Солона (Плутарх, «Солон», 20), по которому «не допускается, чтобы часть приданого выдавалась наличными, ибо брак заключается ради порождения потомства и супружеской любви, а не ради денег»; этот закон, как и многие другие, существовал, вероятно, лишь на бумаге, хотя Платон («Законы», vi, 774d) выдвигает такое же требование. Кроме того, данный закон мог первоначально исходить из вполне разумных соображений, потому что, как это верно замечено в *Amatorius* Плутарха (7; см. также *De educ. puer.*, 19), куда легче ходить в цепях, чем быть рабом приданого жены. По этой же причине он категорически предостерегает от заключения слишком выгодного брака.

После соблюдения всех юридических формальностей в доме тестя устраивался семейный пир. Такой вывод может быть сделан на основании прекрасного отрывка из Пиндара (*Olympia*, vii, 1):

Как чашу, кипящую виноградной росой,
Из щедрых рук приемлет отец
И, пригубив,
Молодому зятю передает из дома в дом
Чистое золото лучшего своего добра
Во славу пира и во славу сватовства,
На зависть друзьям,
Ревнующим о ложе согласия, —
Так и я
Текущий мои нектар, дарение Муз,

Сладостный плод сердца моего
Шлю к возлиянию
Мужам-победителям,
Венчанным в Олимпии, венчанным у Пифона
[перевод М. Л. Гаспарова]

По-видимому, такой семейный пир все же не был обычаем, принятым во всей Греции.

У нас имеется несколько сообщений о том, что зима считалась наиболее подходящим для заключения брака временем года, причем причины такого предпочтения не указываются.

Первый месяц года — *Gamelion* — действительно получил свое название от слова *gamos* (свадьба); благочестивое суеверие, по-видимому, не допускало того, чтобы для заключения брака выбиралось время, когда луна идет на убыль.

Собственно свадьба предварялась обычно самыми разными обрядами, в первую очередь, разумеется, жертвами богам — покровителям брака, и в частности, Гере и Зевсу; запрет на использование желчи жертвенного животного являлся символом, смысл которого нетрудно понять: в браке нет места «желчи и гневу» (Плутарх, *Praecepta conjugalia*, 27). Вступавшие в брак иногда мысленно обращались также к Афине, Артемиде и другим божествам; как правило, в день бракосочетания жертвы приносились только Афродите, а в городке Феспии (Плутарх, *Amatorius*, 26), что в Беотии, существовал прелестный обычай: молодожены приходили в храм Эроса и молили о ниспослании им счастья и благословения в супружестве перед знаменитой статуей Эроса Праксителя. Во многих местах было принято, чтобы невеста возлагала на алтарь несколько прядей волос или пояс, либо то и другое вместе (Павсаний, ii, 33, 1; Еврипид, «Ипполит», 1416); принесение на алтарь локонов символизировало расставание с юностью, принесение пояса — с девственностью.

До жертвоприношения или после него невеста совершала омовение, воду для которого приносил мальчик, живший по соседству. Вода бралась в ручье или реке, имевших в данной ситуации особенно большое значение — будь то афинский источник Каллироя (Фукидид, II, 15) или фиванская река Йемен (Еврипид, «Финикиянки», 347). В так называемом десятом письме Эсхина мы находим интересное замечание: «В районе Трояды распространен обычай, по которому невесты отправляются к Скамандру и купаются в его водах, произнося слова, освященные преданием: «Возьми, о Скамандр, мою девственность». Благодаря этому наивному обычаю случилось однажды следующее: перед купающейся девой предстал юноша, выдавший себя за Скамандра и в точности исполнивший ее просьбу. Четыре дня спустя, когда супружеская пара, отпраздновавшая между тем свадьбу, двигалась в свадебном шествии к храму Афродиты, молодая жена случайно увидела этого юношу в толпе зрителей и в смятении закричала: «Вот Скамандр, которому я отдала свою девственность!» Чтобы ее успокоить, ей сказали, что то же случилось в Меандре у Магнезии; этот рассказ свидетельствует о факте, небезынтересном для истории культуры: обычай купания невест в реке на глазах у всех, без сомнения, существовал по крайней мере в нескольких местах.

Не стоит забывать и о том, что в первобытные времена невесты покидали отчий дом при помощи обряда, который, насколько нам известно, был принят только в Спарте. Здесь происходило мнимое похищение невесты; мнимое потому, что о нем загодя предупреждали ее родителей. Плутарх сообщает следующее («Ликург», 15): «Невест брали уводом, но не слишком юных, не достигших брачного возраста, а цветущих и созревших. Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии, укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев. Жених, не пьяный, не размякший, но трезвый и, как всегда, пообедавший за общим столом, входил, распуская ей пояс и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею недолгое время, он скромно удалялся, чтобы, по обыкновению, лечь спать вместе с прочими юношами. И впредь он поступал не иначе, проводя день и отдыхая среди сверстников, а к молодой жене навещаясь тайно, с опаскою, как бы кто-нибудь в доме его не увидел. Со своей стороны, и женщина прилагала усилия к тому, чтобы они могли сходиться, улучив минуту, никем не замеченные. Так тянулось довольно долго: у иных уже дети рождались, а муж все еще не видел жены при дневном свете. Такая связь была не только упражнением в воздержности и здравомыслии — тело благодаря ей всегда испытывало готовность к соитию, страсть оставалась новой и свежей, не пресыщенной и не ослабленной беспрепятственными встречами; молодые люди всякий раз оставляли друг в друге какую-то искру вожделения» [перевод С. П. Маркиша].

Если обычай, описанный Плутархом, следует рассматривать как специфически дорийское явление, то обыкновение устраивать свадебный пир было, вне всяких сомнений, распространено по всей Греции. В то время женщины не могли присутствовать на мужских застольях, однако на свадебных пирах они угощались в одной комнате с мужчинами, занимая при этом отдельные столы (Эвангелий у Ath., xiv, 644d). Расходы, которые несли устроители таких пиров, и род увеселений, конечно, различались в зависимости от финансовых возможностей хозяев и вкусов эпохи. Кунжутные пирожные, сдобренные, согласно Менандру (фрагм. 938, CAP), фруктовыми добавками, были на этих застольях обычным лакомством. Символическое значение имел и другой обряд: во время пиршества прекрасный обнаженный юноша (*Zenobius, Proverbia*, Hi, 38), украшенный боярышником и листьями дуба, обходил гостей с подносом, на котором были разложены печенье и пирожные, восклицая: «Я избежал зла и обрел наилучшее» (εφυγον κακόν, η̄βρον ᾱεινον).

После трапезы, которая, естественно, сопровождалась тостами и здравицами (Сафо, фрагм. 51, PLG), невеста садилась в повозку, запряженную быками, мулами или лошадьми, и отправлялась в дом жениха. Она сидела между женихом и его парохом (*πάρωχος*) (Photius, *Lexikon*, 51; Pollux, iii, 40) — лучшим другом или ближайшим родственником. Обычай запрягать в повозку быков объясняли при помощи мифа, который излагается Павсанием (ix, 3) так: «Говорят, что Гера, рассердившись на Зевса, удалилась в Эвбею. Так как Зевс никак не мог убедить ее вернуться, он, говорят, обратился за помощью к Киферону, бывшему

тогда в Платеже; относительно Киферона считалось, что он никому не уступает в мудрости. И вот он велел Зевсу сделать деревянное изображение и говорить, будто он везет себе в жены Платею, дочь Асопа. Зевс поступил по совету Киферона. Как только Гера услышала об этом, она немедленно явилась сюда. Когда же она приблизилась к повозке и сорвала со статуи одежду, она обрадовалась этому обману, найдя деревянный обрубок вместо живой невесты, и помирилась с Зевсом» [перевод С. П. Кондратьева].

После прибытия невесты в дом жениха ось повозки иногда сжигалась (например, в Беотии). Это считалось предзнаменованием того, что невеста никогда не захочет покинуть дом мужа (Плутарх, *Qaest. Roman.*, 29).

Если вдовец женился вторично, то он не принимал участия в свадебном шествии, но поджидал невесту дома; невесту приводил к нему товарищ, звавшийся в этом случае не парохом, а нимфагогом (Pollux, iii, 40).

Свадебные факелы были неотъемлемым атрибутом свадебного шествия; их возжигали матери невесты и жениха и несли те участники праздника, что шли пешком (Еврипид, *Phoenissae*, 344; *Iphig. Aulid.*, 722; Аристофан, «Мир», 1318 и др.). Все они были нарядно одеты, о чем можно догадаться, если, не довольствуясь сообщением об этой подробности у Гомера («Одиссея», vi, 27), принять во внимание развитое у греков чувство прекрасного. Платье невесты было, по-видимому, разноцветным, одежда жениха (очень характерная деталь) — не черной, как это принято у нас, но белой, сотканной из самой тонкой шерсти; мужчины, участвовавшие в процессии, были одеты так же, как и жених. Невесту и жениха украшали венками и пестрыми лентами (*taeniae*); невеста не жалела на себя благовоний, и у лица ее колыхалась яркая пелена — традиционная деталь наряда невесты.

Встречные поздравляли и шутливо подбадривали свадебную процессию, двигавшуюся по улицам города под аккомпанемент флейт; ее участники распевали гимней — свадебную песнь, названную именем бога свадьбы Гимена.

Гимней упоминается уже Гомером («Илиада», xviii, 491; ср. Плутарх, *Мог.*, 667a); на шите Геракла (Гесиод, «Щит», 272) также были изображены свадебные торжества.

Там невест из чертогов, светильников ярких при блеске, Брачных песней при кликах, по стогнам градским провожают; Юноши хорами в плясках кружатся; меж них раздаются Лир и свирелей веселые звуки; почтенные жены Смотрят на них и дивуются, стоя на крыльцах воротных.

[перевод Н. И. Гнедича]

Гимней распевался также во время свадебной процессии, изображенной на шите Геракла, который был подробно описан Гесиодом. Возможно, сам Гесиод был автором «Эпиталамия», посвященного свадьбе Пелея и Фетиды, две строки из которого цитирует живший в двенадцатом веке Цец (*Prol. ad Lycophronem* = Гесиод, фрагм. Ixxi,

Goettling): Пелей восхваляет в них достоинства своей благородной невесты. Однако о содержании этих древних Гименеев нам больше ничего неизвестно. Они получили выдающуюся художественную обработку в творчестве Алкмана, который тем самым ввел их в литературу в седьмом веке до нашей эры; по-видимому, он довел этот род поэзии до высокой степени совершенства. Во всяком случае, Леонид Тарентский называет его «певчим лебедем свадебных песен» (Anth. Pal., vii, 19: ὄμνητήρ ὕμνεσιων κύκνον). Дальнейшее развитие жанра связано, вероятно, с именем Стесихора (около 640—555 гг. до н.э.), которого считали автором эпитафия Елене (Stesichorus, fragm. 31, PLG). Однако о нем нам ничего более не известно, да и само упоминание об этом настолько сомнительно, что мы даже не можем сказать с определенностью, действительно ли Стесихор сочинял когда-либо такой эпитафий.

Таким образом, древнейшие свадебные песни греков были утрачены, оставив по себе лишь воспоминание. Мы не располагаем сведениями об их содержании, и даже от эпитафиев Сафо, бывших образцом высочайшего совершенства, до нас дошли только скудные крохи. Это тем более достойно сожаления, что, по свидетельствам древних, именно эпитафий были жемчужинами поэзии Сафо; софист Гимерий (*Oratio-nes*, 14; 16; 19) с горячим восторгом рассказывает о красотах этих творений Сафо: «Она входит в свадебный покой, готовит постель жениху, восхваляет красоту дев, низводит с небес Афродиту, восседающую в колеснице Граций [Харит] и окруженную сонмом шаловливых Эротов; она заплетает в волосы невесты цветки гиацинта, которые — колышимае ветром — осеняют ее виски, а в это время Эроты с позолоченными крыльями и локонами правят колесницей, вращая над головой свадебные факелы».

Очевидно, все это — аллюзии на те отрывки из эпитафиев Сафо, которые Гимерий выдвигает на передний план, считая их особенно характерными. Кехли (*Akademische Vortrage*, 1859, vol. i, p. 195) превосходно характеризует эти эпитафий как «лирические драмы, которые, так сказать, разбиты на несколько актов и в которых типичные черты брачного торжества находят свое выражение в песне и сопровождаются ритмически организованными действиями, иллюстрирующими ее содержание».

В древности существовал обычай, по которому брачные покои умелой рукой украшал сам муж. Так сделал в свое время Одиссей («Одиссея», ххiii, 190); возвратившись от стен Илиона, он с заслуженной гордостью похваляется этим перед женой, чтобы развеять ее последние сомнения в том, что он — ее муж, которого давно считали погибшим. Судя по тому, какое значение придавалось построению брачного покоя, можно с определенностью заключить, что следующие слова взяты из самого начала эпитафия Сафо (фрагм. 89—90 (90—91), по тексту Кехли):

Плотники, сделайте горницу выше: жених в нее входит,

О Гименей!

Входит подобный Аресу.

О Гименей!

Ростом рослых он выше. О

Гименей!

Выше, насколько певец лесбосский других превышает.¹⁰

[перевод В. В. Вересаева]

«Затем раздавался призыв убрать ложе невесты и украсить его цветами. Юношей и девушек зазывали на праздник, для придания вящей славы которому — ввиду необыкновенной красоты невесты и исключительных достоинств жениха — с небес сходила сама богиня любви, сверкающая лучезарной красотой и сопровождаемая очаровательными Харитами и эротами, как о том свидетельствует Гимерий. И призыв не оставался безответным. Статные друзья жениха и цветущие подружки невесты уже собрались в ярко освещенном и пышно убранном доме новобрачного, ожидая наступления ночи и прибытия невесты на радостный пир; они распевают сколии (застольные песни) и звенят кубками. Наступает ночь. Вот вдалеке уже показалось пламя факелов, вот уже слышны звуки старинной и вечно юной песни «Гимен, о Гименей!» Ведя невесту домой, приближается шумная, возбужденная процессия, представление о которой дают Гомер и Гесиод: высокая повозка с невестой останавливается перед домом жениха, где уже выстроились юноши и девушки, образовав два отдельных хора, чтобы вступить в рьяное и веселое песенное состязание под небом, где уже воссиял мирный Геспер, звезда любви, которую давно уже вызывало в воображении страстное, нетерпеливое желание жениха; а пока невеста дрожит сладкой дрожью в ожидании суженого. К этой звезде со своей жалобой первыми обращаются девы¹¹:

Геспер! Жесточе тебя несется ли в небе светило? Можешь девушку ты из объятий матери вырвать, Вырвать у матери вдруг ты можешь смущенную дочку, Чистую деву отдать горящему юноше можешь. Так ли жестоко и враг ведет себя в граде плененным? К нам, о Гимен, Гименей! Хвала Гименею, Гимену! †

Но юноши, пусть во время застолья они и думали о другом, встали из-за столов не напрасно — они решили, что победная ветвь не уйдет от них без борьбы. Тут же запевают они другую песнь:

Геспер, какая звезда возвещает нам большее счастье?
Брачные светом своим ты смертных скрепляешь союзы, —
Что порешили мужи, порешили родители раньше...
Плачутся девушки пусть и притворно тебя упрекают, —
В чем упрекают тебя, не жадуг ли девушки тайно?
К нам, о Гимен, Гименей! Хвала Гименею, Гимену!

Так начинается песенное состязание. Сначала следует установить,

¹⁰ Начиная с этого места и до слов «...всему свадебному представлению» текст взят из книги Косбly, Akddemische Vortrage, 1, 196.

¹¹ Этот и следующие стихотворные отрывки взяты из Катуллы (62) [перевод С. В. Шервинского]

девы или замужние женщины заслуживают предпочтения. Первыми запевают девушки: в жизни жены и хозяйки дома они видят только заботы, только тяжелую ношу:

Скромно незримый цветок за садовой взрастает оградой.

Он неизвестен садам, не бывал он плугом встревожен;

Нежат его ветерки, и росы питают и солнце,

Юношам многим он люб, он люб и девушкам многим.

Но лишь завянет цветок, подрезанный тоненьким ногтем,

Юношам он *уже* не люб, и девушкам боле не люб он.

Девушка так же; доколь не тронута, все ее любят.

Но лишь невинности цвет оскверненное тело утратит,

Юношей больше она не влечет, не мила и подругам.

К нам, о Гимен, Гименей! Хвала Гименею, Гимену!

Юноши, напротив, расхваливают счастливый жребий жены, которая находит опору в лице возлюбленного супруга:

Если на поле пустом родится лоза одиноко,

Сил не имея расти, начивать созревшие гроздья,

Юное тело свое сгибая под собственным весом,

Так что верхушка ее до самых корней ниспадает,

Ни садовод, ни пастух о лозе не заботится дикой.

Но коль случайно сплелась она с покровителем-вязом,

И садовод, и пастух о лозе заботиться станут.

Девушка так же, храня свое девство, стареет бесплодно.

Но если в брак она вступит, когда подойдет ее время,

Мужу дороже она и меньше родителям в тягость.

При помощи таких и подобных сравнений взвешиваются жребии жены и незамужней девушки; какая чаша перевесит, ясно заранее, ибо на повозке уже прибыл жених, чтобы вызвать и поприветствовать невесту. Он провожает ее в празднично убранный зал, освещаемый множеством факелов; оба хора обращаются к ним с приветственными кликами (Сафо, фрагм. 99 (193); ср. фрагм. 101(105)): «Радуйся, о невеста! Радуйся много, жених почтенный!» Они садятся рядом, и состязание хоров возобновляется. Первыми запевают юноши: «Она цветет, словно роза, ее красота ослепительнее золота, одна Афродита сравнится с ней; ее голос слаще звуков лиры; ее прелестное лицо дышит очарованием и негой».¹²

Эта роза растет высоко, и много раз домогались сорвать
ее люди, но все тщетно:

Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой, —

Очень высоко на ветке; забыли сорвать его люди.

Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели.

Так и невеста; она сохранила чистоту, не поддавшись ни на какие домогательства; ни один из тех, кто желал добиться ее руки, не сможет

¹² Этот дистих и пять нижеследующих отрывков взяты из фрагментов Сафо [перевод В. В. Вересаева].

похвалиться, будто дотронулся до нее даже кончиком пальца. Но в конце концов к ней явился он; это он — жених — достиг заветной цели. И конечно, он достоин своего величайшего счастья. И потому подругам невесты незачем опасаться за нее, и они, в свою очередь, принимаются восхвалять жениха:

С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила?

С стройной веткой скорей бы всего я сравнила!

Но он не просто молод и прекрасен — он силен и отважен; девушки вправе сравнить его с Ахиллом, вечным идеалом цветущей героической силы. Новобрачные достойны друг друга; благодаря этому компромиссу заключается мир; примирение знаменует собой долгожданное начало свадебного пира. Чтобы воздать ему славу, чтобы одарить новобрачных своим благословением, должна явиться Афродита. Участники пира зывают к ней:

Приди, Киприда,

В чаши золотые, рукою щедрой

Пировой гостям разливая нектар,

Смешанный тонко.

Мы уже знаем, что она готова явиться вместе со своей свитой — прекрасным мальчиком Эротом и тремя Харитами. Но если что-нибудь помешает им прийти в земной свадебный чертог, то там — на небе — во дворце богов все равно празднуется свадьба счастливой земной пары; вдохновенный, охваченный восторгом гость прозревает небо, и перед его взором предстает пир богов, которые пьют за здоровье молодых, и он поет об увиденном в радостной и живой песне:

С амвросией там

воду в кратерах смешали,

Взял чашу Гермес

черпать вино для бессмертных.

И, кубки приняв,

все возлиянья творили

И благ жениху

самых высоких желали.

Так — в песнях и играх — протекает ночь. Темнота сгущается. Настал долгожданный час. Жених порывисто встает, сжимает в крепких объятиях застенчиво сопротивляющуюся ему невесту и, по обычаю героических времен, поспешно уносит свою драгоценную добычу. За ним следует самый надежный из его друзей, юноша «высокого роста и с крепкими руками», способный отстоять двери свадебного покоя от врага даже более опасного, чем девушки, которые быстро вскакивают со своих мест и с хорошо разыгранным ужасом устремляются вслед за похитителем в надежде вырвать подругу из его рук; они так же беспомощны, как пташки, бросившиеся в погоню за ястребом, похитив-

шим одну из их товаров и уносящим ее в своих когтях. Когда, запыхавшись, они подбегают ко входу в комнату новобрачных, дверь уже захлопнута. Из-за дверей до них доносится голос жениха, который тем временем опускает прочные засовы и обращается к ним с насмешливым старинным изречением: «Назад, здесь девушек хватает и без вас». А снаружи, перед запертой дверью, возвышается исполинская фигура верного стража, уже приготовившегося к бою и с удовольствием предвкушающего веселую схватку с «проклятыми девками».

Однако девушки вовсе не намерены идти у него на поводу: они прекрасно знают его уязвимое место и знают, как им воспользоваться. Вместо того чтобы пытаться прорваться силой — страж дверей только этого и дожидается, — посреди общей веселой суматохи и смеха они запевают шутивную песнь, прозаичные слова которой забавно контрастируют с отзвучавшими недавно возвышенными поэтическими напевами:

В семь сажень у привратника ноги.
На ступнях пятерные подошвы,
В двадцать рук их башмачники шили.

Но веселое подзадоривание длится недолго. Остается только в последний раз выказать свою привязанность, сказать последнее «прости» подруге, которая, вступив в брачный покой, «стала уже хозяйкой дома». Девушки снова спешно перестраивают свои ряды и запевают песнь брачного покоя — эпиталамий в собственном смысле слова, который становится последним актом всего торжества, даже если на следующее утро оно получит продолжение в виде песни пробуждения, которая подводит окончательный итог всему свадебному представлению».

Несколько эпиталамиев дошло до наших дней; ни один из них, однако, не отличается большой древностью; самым прекрасным, несомненно, является в высшей степени искусное подражание настоящим свадебным песням, принадлежащее Феокриту («Идиллии», xviii), которое для нас более ценно, что здесь Феокрит опирается на стихотворения Сафо и Стесихора аналогичного содержания. Поэтому Восемнадцатая идиллия Феокрита заслуживает того, чтобы привести ее полностью как образец данного вида свадебной поэзии.

После нескольких вступительных строчек начинается собственно эпиталамий — песня, исполнявшаяся перед дверью в брачный покой во славу молодой супружеской пары.

ЭПИТАЛАМИЙ ЕЛЕНЕ

(Восемнадцатая идиллия Феокрита)

Некогда в Спарте, придя к белокурому в злом Менелаю,
Девушки, кудри украсив свои гиацинтом цветущим,
Стали, сомкнувши свои круг, перед новой расписанной спальней
Лучшие девушки края Лаконского, снегом двенадцать
В день этот в спальню вошел с Тиндареевой дочерью милой
Взявший Елену женою юнейший Атрея наследник.
Девушки в общий напев голоса свои слили, по счету
В пол ударяя, и вторил весь дом этой свадебной песне.
«Что ж ты так рано улегся, любезный наш новобрачный?
Может быть, ты лежебок? Иль, быть может, ты соней родился?»

Может быть, лишнее выпил, когда повалился на ложе?
Коли так рано ты спать захотел, мог бы спать в одиночку.
Девушке с матерью милой и между подруг веселиться
Дал бы до ранней зари — отныне и завтра, и после,
Из года в год, Менелай, она будет женою твоею.
Счастлив ты, муж молодой! Кто-то добрый чихнул тебе в пользу
В час, когда в Спарту ты прибыл, как много других, но удачней.
Тестем один только ты называть будешь Зевса Кронида,
Зеева дочь возлежит под одним покрывалом с тобою.
Нет меж ахеянок всех, попирающих землю, ей равной.
Чудо родится на свет, если будет дитя ей подобно.
Все мы ровесницы ей; мы в беге с ней состязались,
Возле эвротских купален, как юноши, маслом натершись,
Нас шестьдесят на четыре — мы юная женская поросль, —
Нет ни одной безупречной меж нас по сравненью с Еленой.
Словно сияющий лик всемогущей владычицы-ночи,
Словно приход лучезарной весны, что зиму прогоняет,
Так же меж всех нас подруг золотая сияла Елена.
Пышный хлебов урожай — украшенье полей плодородных.
Гордость садов — кипарис, колесниц — фессалийские кони;
Слава же Лакедемона — с румяною кожей Елена.
Нет никого, кто б наполнил таким рукодельем корзины.
И не снимает никто из натянутых нитей основы
Ткани плотнее, челнок пропустив по сложным узором,
Так, как Елена, в очах у которой все чары таятся.
Лучше никто не поет, ударяя искусно по струнам,
Ни Артемиде хвалу, ни Афине с могучею грудью.
Стала, прелестная дева, теперь ты женой и хозяйкой;
Мы ж на ристалище вновь, в цветущие пышно долины
Вместе пойдем и венки заплетать ароматные будем,
Часто тебя вспоминая, Елена; так крошки ягнята,
Жалуясь, рвуся к сосцам своей матки, на свет их родившей.
Первой тебе мы венки из клевера стеблей ползучих
Там заплетем и его на тенистом повесим платане;
Первой тебе мы из фляжки серебряной сладкое масло
Каплю за каплей нальем под тенистою сенью платана.
Врезана будет в коре по-дорийски там надпись, чтоб путник,
Мимо идя, прочитал: «Поклонись мне, я древо Елены».
Счастлива будь, молодая! Будь счастлив ты, муж новобрачный!
Пусть наградит вас Латона, Латона, что чад посылает,
В чадах удачей; Киприда, богиня Киприда дарует
Счастье взаимной любви, а Кронид, наш Кронид-повелитель,
Из роду в род благородный навеки вам даст процветанье.
Спите теперь друг у друга в объятьях, дышите любовью,
Страстно дышите, но все ж на заре не забудьте проснуться.
Мы возвратимся с рассветом, когда пробудится под утом
Первый певец, отряхнув свои пышные перья на шее.
Пусть же, Гимен, Гименей, этот брак тебе будет на радость!

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

Попробуйте вообразить, чем были такие песни в действительности. Представьте, что пока подруги пели под звуки флейт эту песню, молодая пара вкушала ни с чем не сравнимые неги первой супружеской ночи; вспомните по-прежнему распространенное в наши дни обыкновение, унижающее достоинство первой ночи, — обыкновение проводить ее в безликой комнате какой-нибудь гостиницы; выслушайте и схолиаста, древнего комментатора Феокрита, т.е. некоего педанта, который доказывает, что и в идиллии найдется место фарсу. Вот его «объяснение» поразительно прекрасного обычая эпиталамия: «Эпиталамий поется, чтобы не были слышны крики юной невесты, которая терпит в это время насилие со стороны мужа, но чтобы эти крики заглушались пением девушек». Таков, по объяснению схолиаста, смысл восторженного «брачного хора в вечерних запевах девушек-подруг», как однажды прекрасно назвал эпиталамий Пиндар, а уж он-то был настоящий поэт (*Pythia*, Hⁱ, 17).

Но даже самая сладостная первая ночь, или, как прекрасно и метко называли ее греки, «ночь тайн», имеет конец, ибо смертным не дозволено того, что разрешил себе однажды отец богов и людей Зевс, почивая с Алкменой. Он повелел богу солнца не появляться на небе три дня, так что брачная ночь длилась семьдесят два часа; в ту самую ночь Зевс зачал Геракла (Лукиан, *Dial. deorum*, 10).

Наутро новобрачные просыпались под звуки серенады и принимали всевозможные подарки от своих родственников. С этого дня молодая жена показывалась на людях уже без покрывала невесты, которое она посвящала Гере, богине — покровительнице брака (Anth. Pal. vi, 133). В этот день (Ath. vi, 243; Plutarch., *Sympos.*, iv, 3) в доме отца жениха или самого жениха устраивался пир, в котором — немаловажная подробность — женщины, а стало быть, и новобрачная, уже не участвовали (Is., *Ruth. her.*, 14); очевидно, что всякие лакомства, подававшиеся в этот день к столу, готовились вчерашней невестой, которая таким образом впервые получала возможность продемонстрировать свои кулинарные таланты. Смысл данного обычая ясен. В первую ночь муж отдал жене то, что по праву принадлежит ей, и теперь он снова временно принадлежит обществу друзей и родственников-мужчин, тогда как молодой жене приходится исполнять свои обязанности на кухне. То, что, по-видимому, пир этот был исполнен радости и веселья, вовсе не мешало ему быть последним и торжественным подтверждением юридической полноценности свадебной церемонии, а поэтому было принято приглашать на него как можно больше гостей, которые как бы выступали в роли свидетелей.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Мы можем вкратце рассказать о дальнейшей жизни супружеской пары. Отныне женщина проводила свои дни в гинеконитисе, под которым подразумеваются все те помещения, что составляли царство женщины. Теперь только спальня и обеденная комната принадлежали

равно жене и мужу, до тех, однако, пор, пока к хозяину дома не приходили друзья. В этом случае женщина оставалась на своей половине; жене не могло и в голову прийти присутствовать на пирушке мужа с друзьями, иначе ее бы сочли куртизанкой или любовницей. Можно называть такой жизненный уклад однобоким, можно даже думать о том, что ему недоставало нежности, но что интеллектуальные радости застолья благодаря этому обычаю становились неизмеримо более острыми и напряженными, ясно каждому, кто, возвысившись над условностями, размышляет о том, что представляет собой разговор в наши дни, когда он ведется в присутствии дам, о том, что после ухода мужчин в комнату для курения беседа превращается в пересказ скандальных историй. Да, именно так: «галантность» — это понятие, совершенно неизвестное древним грекам, зато тем лучше они владели трудным искусством жизни.

Было принято думать, что природные способности женщины несовместимы с проявлением интереса к разговору мужчин, имевшему интеллектуальную ценность; с другой стороны, женщине была доверена неизмеримо более высокая задача — воспитывать мальчиков до тех пор, пока они не раскроются навстречу мощным веяниям мужского образования, а девочек — пока они не выйдут замуж. Чтобы показать, с каким уважением относились греки к этой сфере деятельности своих жен, можно привести множество свидетельств, но мы ограничимся тем, что процитируем прекрасное изречение Алексиды (фрагм. 267 (Коек), ар. Stobaeum, *Florilegium*, 79, 13): «Более чем во всем остальном бог открывает себя в матери».

В задачу этой книги не входит подробно останавливаться на других заботах жены, заключавшихся то в надзоре над использованием движимого и недвижимого семейного имущества, то в присмотре за рабами и рабынями, то в работе на кухне, то в уходе за больными, словом, распространяться обо всем том, что и поныне составляет домен жены.

По-видимому, чрезвычайно далек от истины взгляд, согласно которому гречанка всегда оставалась этакой жалкой Золушкой, приговоренной к монотонному труду на кухне, в то время как муж был абсолютным хозяином дома. «Вилой природу гони, а она все равно возвратится», — гласит знаменитый отрывок из Горация (*Epist*, i, 10, 24), и это изречение как нельзя лучше применимо к греческой женщине. Женская природа никогда не сможет отвергнуть себя самое — так было во все времена и у всех народов. Существовало три фактора, в самую счастливую пору эллинской цивилизации способствовавших тому, что женщины добивались физического и морального превосходства над мужчинами: нередкое интеллектуальное превосходство, врожденная властность, взявшая себе в союзники женское изящество, и чересчур большое приданое. В качестве примера следует, вероятно, вспомнить о Ксантиппе, жене Сократа, имя которой совершенно незаслуженно вошло в поговорку, — на самом деле это была превосходная хозяйка дома, никогда не переступавшая через назначенные ей границы. И все же строптивец хватало, о чем недвусмысленно свидетельствует тот факт, что в мифологии — истинном зеркале народной души — существовал прототип «строптивой» в лице

лидийской царицы Омфалы, которая низвела Геракла, величайшего и самого славного среди греческих героев, до унизительного положения слуги, так что он, облаченный в женский наряд, занимался рукоделием у ее ног, тогда как она, надев львиную шкуру, размахивала палицей над головой съезжившегося от страха героя и попирала его могучую шею ногой, обутой в домашнюю туфельку (Aristoph., *Lysistr.*, 667; Anth. Palat., *χ*, 55; Lucian., *Dial. Deor.*, 13, 2). Таким образом, туфелька стала символом жалкого положения женатого мужчины, находящегося «под каблуком у жены». И действительно, туфелька превратилась в то орудие, посредством которого женщины преподавали мужьям уроки хороших манер. Данный метод отличался наибольшей практичностью, так как туфелька во все времена была под рукой у женщины, слоняющейся по дому в сандалиях, тогда как увесистую палку пришлось бы еще поискать, потому что греческий жезл представлял собой легкий, губчатый стебель нартека (петрушки), а тропические страны еще не приступили к вывозу бамбукового тростника.

Поэтому совершенно неудивительно, что жен часто называли *empusae* (Аристофан, «Лягушки», 293, и схолии к *Eccles.*, 1056; Demosthenes, xviii, 130, и схолии к этому месту) или *lamiae* (Apul., *Metamorph.*, i, 17, v, 11); как известно, под этими именами подразумевались чудища, подобные вампирам (одна из ног вампира была из бронзы, другая — из ослиного навоза), или отвратительные старухи — ведьмы.

Греческому общественному мнению были неизвестны доводы, воспользовавшись которыми, можно было бы осуждать мужчину, уставшего от вечного однообразия супружеской жизни и ищущего отдохновения в объятиях умной и очаровательной куртизанки или умеющего скрасить повседневную рутину беседой с хорошеньким юношей. Супружеская неверность, как называют это явление в наши дни, была понятием, совершенно неизвестным древним грекам, ибо в ту эпоху муж не думал о браке как о чем-то, влекущем за собой отказ от эстетических наслаждений, и еще менее ожидала от него такого самопожертвования жена. Тем самым греки были не менее, но более нравственны, чем мы, ибо они признавали наличие у мужчины склонности к полигамии и действовали соответственно, точно так же судя о поступках других, тогда как мы, несмотря на обладание этим же знанием, слишком трусливы, чтобы вывести вытекающие из него следствия, и, довольствуясь соблюдением внешних приличий, тем больше грешим тайком. В то же время не следует забывать о том, что и среди греков, разумеется, весьма редко находились те, кто требовал одинаковой супружеской морали для обоих полов, как, скажем, кристальный Исократ (*Nicocles*, 40); Аристотель («Политика», vii, 16, 1335) в некоторых определенных случаях требует атимии, или лишения гражданских прав для тех женатых мужчин, что «вступили в связь с другой женщиной или мужчиной»; но, во-первых, как уже отмечалось, такие голоса крайне редки, а, во-вторых, нам неизвестно, чтобы такие призывы когда-либо осуществлялись на практике; скорее, положение дел оставалось неизменным, как с комическим негодованием жалуется восьмидесятичетырехлетний старик-раб Сира из «Купца» (iv, 6) Плавта:

Под тягостным живут законом женщины,
И к ним несправедливей, чем к мужчинам, он.
Привел ли муж любовницу, без ведома
Жены, жена узнала — все сойдет ему!
Жена тайком от мужа выйдет из дому —
Для мужа это повод, чтоб расторгнуть брак.
Жене хорошей муж один достаточен —
И муж доволен должен быть одной женой.
А будь мужьям такое ж наказание
За то, что в дом привел к себе любовницу
(Как выгоняют женщин провинившихся),
Мужчин, не женщин, вдовых больше было бы!

[перевод А. Артюшкова]

Можно упомянуть и любопытное сообщение романиста Ахилла Татия (viii, 6), жившего в пятом веке нашей эры, о так называемом испытании невинности. Он говорит о том, что в Эфесе существовал грот, посвященный Паном деве Артемиде; в гроте он повесил свою флейту с тем, чтобы войти сюда могли только непорочные девственницы. Когда какую-либо девушку подозревали в нарушении целомудрия, ее закрывали в гроте. Если она была невинна, из грота доносились громкие звуки флейты, двери сами собой раскрывались, и девушка выходила наружу, сохранив доброе имя. Если же дело обстояло противоположным образом, флейта безмолвствовала и раздавался протяжный стон, после чего дверь открывалась, но девушки внутри уже не было¹³.

Мы не в силах сегодня установить достоверность истории, рассказанной Плутархом («Ликург», 15), в которой восхваляется чистота спартанского брака; однако ее можно привести здесь как весьма характерную: «Часто вспоминают, например, ответ спартанца Герада, жившего в очень давние времена, одному чужеземцу. Тот спросил, какое наказание несут у них прелюбодеи. «Чужеземец, у нас нет прелюбодеев», — возразил Герад. «А если все-таки объявятся?» — не уступал собеседник. «Виновный даст в возмещение быка такой величины, что, вытянув шею из-за Тайгета, он напыется в Эвроте». Чужеземец удивился и сказал: «Откуда же возьмется такой бык?» — «А откуда возьмется в Спарте прелюбодей?» — откликнулся, засмеявшись, Герад» [перевод С. П. Маркиша].

Хотя Плутарх ясно указывает, что в данном случае речь идет о древних временах, однако относительно тех же спартанцев он сообщает, что муж без колебаний позволял другому мужчине возлечь с его женой, если, по его мнению, тот лучше подходил для порождения потомства.

Представляется, что, по крайней мере, в Афинах убийство оскорбленным мужем прелюбодея не было чем-то из ряда вон выходящим. Так поступил, например, Эфилет, заставший в постели со своей женой Эратосфена. Приведем следующий отрывок из Лисия: «Когда я толкнул дверь в спальню, те, что вошли первыми, увидели мужчину все еще лежавшим рядом с моей женой, те же, что вошли после них, увидели его стоящим нагишом на постели. Я, сограждане, сбил его с ног, связал ему

¹³ Элиан в своих Var. Hist, (xi, 6) рассказывает аналогичную историю о пещере дракона близ Ланувия.

руки за спиной и спросил, почему он надругался над честью моего дома. Он согласился с тем, что совершил зло, но просил и умолял меня не убивать его, а взять у него денег. На это я отвечал: «Тебя убью не я, но закон Государства». (Lysias, *De Caede Eratosthenis*, 24).

Если девушка с безупречной репутацией становилась жертвой обольщения, в древних Афинах применялись суровые, иной раз даже варварские наказания. У Эсхина мы читаем (*Contra Timarchum*, 182, 183): «Наши праотцы были столь строги в делах, которые затрагивали их честь, и столь высоко ценили чистоту нрава в своих детях, что один из граждан, узнав, что дочь его подверглась насилию и не сохранила своего девства до свадьбы, закрыл ее вместе с конем в пустом доме, так что она умерла от голода. Место, на котором стоял этот дом, и поныне можно видеть в нашем городе; оно носит название «Конь и дева»». Согласно схолиасту, конь был диким и, расшвирипев от голода, сперва съел девушку, а затем издох сам. Трудно сказать, есть ли истина в этом жутком рассказе. Возможно, он возник для объяснения топонима, когда смысл его уже был забыт.

Что касается наказания женщины, уличенной в прелюбодеянии, то Эсхин высказывается следующим образом: «Такая женщина не может пользоваться украшениями и посещать общественные храмы, чтобы не портить женщин безупречных; но если она поступит так или нарядится, тогда первый встречный мужчина вправе сорвать одежду с ее тела, отнять у нее украшения и избить; однако он не может убить ее или причинить ей увечья, хотя бы он и опозорил ее и лишил всех радостей жизни. Но сводней и сводников мы обвиняем перед судом, а признав виновными, наказываем смертью, ибо, тогда как те, что жаждут любовных утех, стыдятся сблизиться друг с другом, они — за плату — привносят в дело собственное бесстыдство и в конце концов помогают первым прийти к соглашению и соединиться».

Конечно, в различных местах существовало множество своих обычаев. Так, Плутарх сообщает (*Quaestiones Graecae*, 2), что в Кимах прелюбодейку выводили на рыночную площадь и ставили на особый камень на виду у всех. После этого ее заставляли объехать город на осле. Объезд заканчивался тем, что ее вторично ставили на тот же камень, и с тех пор за ней навсегда закреплялось позорное прозвище «Проехавшая на осле». В Лепрее (Гераклид Понтийский, *Pol.*, 14), что в Элиде, прелюбодеек три дня водили связанными по городу, а затем на всю оставшуюся жизнь лишали гражданских прав; женщина должна была простоять одиннадцать дней на агоре без пояса и в прозрачном платье и оставалась опозоренной на всю жизнь.

Путь, который вел к внебрачным связям, вымачивался, конечно же, охотно помогавшими служанками и алчными горничными, — классом, который был особенно заинтересован в делах такого рода. Они передавали записки и небольшие подарки, цветы и фрукты, причем особенно популярны были яблоки (Alciphron, *Epist.*, *Hi*, 62; Lucian., *Tax.*, 13; *Dial. Meretr.*, 12, 1; Theocritus, *xi*, 10), даже битые, — замечательно, что здесь яблоки играли ту же роль, как и в случае с Евой; короче говоря, они

исполняли все то, посредством чего устраиваются тайные любовные романы, — все это весьма утонченно живописуется Овидием в его «Искусстве любви» (i, 351 сл.; ii, 251 сл.). Кормилица Федры, потерявшей рассудок от любви к своему прекрасному пасынку Ипполиту, с inferнальным лукавством пытается играть роль сводни, что превосходно описано Еврипидом в его «Ипполите». С помощью услужливых приспешников добывались и устанавливались лестницы, по которым любовник проникал в покои женщины через обычное или слуховое окно (Xenarch., фрагм. 4, Kock; Ath., xiii, 569), и проделывались все остальные хитрости, благодаря которым беззаконная любовь достигает своей цели. Можно предположить, что готовность этих посредников к услужению поощрялась денежными подарками (Dio Chrysost., vii, 144), хотя открытое подтверждение этому в текстах обнаруживается нечасто. Общеизвестный миф о прекрасной Данае, отец которой, утраченный оракулом, спрятал ее от внешнего мира в двойном и тройном медном «покое, башне подобном» (и все же Зевс у нее побывал), есть не что иное, как подтверждение этой догадки, ибо дождь, в образе которого он приходил, был золотым.

Конечно, содействие запретным радостям любви не осталось в руках одних няnek, слуг или служанок госпожи; напротив, со временем образовался особый класс «устроителей благоприятного случая», сводниц¹⁴, всегда готовых услужить и уладить любовные дела за деньги. С совершенным пластическим искусством и в высшей степени реалистично зарисовал одну такую личность Геронд (третий век до н.э.) в первом из своих мимиямбов (открыты в 1891 году). Он вводит нас в дом весьма respectable дамы по имени Метриха, которая сидит за шитьем в обществе своей единственной служанки; муж ее отправился по делам в Египет, и уже десять месяцев она не имеет от него вестей. Раздается стук в дверь; она вскакивает, полная радостных ожиданий, что сейчас войдет муж, по которому она так истосковалась; но за дверью стоит не он, а Гиллис, в лице которой поэт знакомит нас с одной из угрюмых и малодушных, но назойливых и чрезвычайно ловких «мастериц удобного случая». После нескольких ничего не значащих приветственных фраз две женщины заводят следующую беседу:

МЕТРИХА Фракиянка, стучатся в дверь, поди глянь-ка,
Не из деревни ли от нас пришли.
ФРАКИЯНКА Кто там
За дверью?
ГИЛЛИС Это я!
ФРАКИЯНКА А кто ты? Боишься
Поближе подойти?
ГИЛЛИС Вот, подошла ближе!
ФРАКИЯНКА Да кто же ты?
ГИЛЛИС Я мать Филении, Гиллис!
Метрихе доложи, что к ней пришла в гости.
ФРАКИЯНКА Зовут тебя.

¹⁴ Προκλήσις, προμνηστρία, προαγωγός и другие названия.

МЕТРИХА
ФРАКИЯНКА
МЕТРИХА

Кто?

Гиллис!

Мать моя, Гиллис!
Открой же дверь, раба! Что за судьба, Гиллис,
Тебя к нам занесла? Совсем как бог к людям
Явилась ты! Пять месяцев прошло, право,
С тех пор как — Мойрами клянусь — во сне даже
Не видела, чтоб ты пришла к моей двери.

ГИЛЛИС

Ох, дитяtko, живу я далеко, — грязь-то
На улицах почти что до колен, я же
Слабей последней мухи: книзу гнет старость,
Ну да и смерть не за горой стоит... близко.

МЕТРИХА

Помалкивай, на старость не пеняй даром, —
Еще любого можешь задушить, Гиллис!

ГИЛЛИС

Смеешься, — вам, молоденьким, к лицу это,
Быть может.

МЕТРИХА

Не смеюсь, — ты не сердись только!

ГИЛЛИС

Долгонько, дитяtko, вдовеешь ты что-то,
На ложе на пустом томься одна ночью.
Ведь десять месяцев прошло, как твой Мандрис
В Египет укатил, и с той поры, ишь ты,
Ни строчки не прислал, — забыл тебя, видно,
И пьет из новой чарки... Там ведь жить сладко!
В Египте все-то есть, что только есть в мире:
Богатство, власть, покой, палестра, блеск славы,
Театры, злато, мудрецы, царя свита,
Владыка благостный, чертог богов-братьев,
Музей, вино, — ну, словом, все, что хочешь.
А женщин сколько! Я клянусь тебе Корой,
Что столько звезд ты не найдешь в самом небе.
И все красавицы! С богинями схожи,
На суд к Парису что пришли, — мои речи
Да не дойдут до них! Ну, для чего сиднем
Сидишь, бедняжечка? Вмиг подойдет старость
И сгинет красота... Ну, стань другой... на день,
На два переменись и отведи душу
С иным дружкой. Ведь и корабль, сама знаешь,
На якоре одном стоит не так прочно!
Коль смерть незваная к нам завернет в гости,
Никто уж воскресить не сможет нас, мертвых.
Эх, часто непогодь сменяет вдруг ведро, —
Грядущего не знаем мы... Ведь жизнь наша

МЕТРИХА

То так, то сяк ...
Ты клонишь речь к чему?

ГИЛЛИС

Близко
Чужого уха нет?

МЕТРИХА

Нет, мы одни!

ГИЛЛИС

С какой к тебе пришла сегодня я вестью.
Грилл, Матакины сын, — Патекия внук он, —
Победу одержал он пять раз на играх:
В Пифоне мальчиком, в Коринфе два раза
Незрелым юношей, да два два в Пизе,
В бою кулачном, где сломил мужчин зрелых, —

Богатый — страсть, добряк — не тронет он мухи,
В любви всеведущий, алмаз, одно слово, —
Как увидал тебя на празднике Мизы¹⁵,
Так в сердце ранен был и запыхал страстью.
И день и ночь он у меня сидит, поет,
Ласкается ко мне, весь от любви тает.
Метриха, дитяtko, ну, раз один только
Попробуй согрешить. Пока тебе старость
В глаза не глянула, богине ты сдайся.
Двойной тут выигрыш: ты отведешь душу,
Да и подарочек тебе дадут славный.
Подумай-ка, послушайся меня, — право,
Клянусь Мойрами, люблю тебя крепко!
Седает голова, тупеет ум, Гиллис,
Клянусь любезною Деметрой и мужа
Возвратом, — от другой не вынесла б речи
Подобной, и иное мне бы петь стала,
И за врага б сочла порог моей двери!
Ты тоже, милая, подобных слов больше
Ко мне не заноси. Такую речь к месту
С распутными вести старухам вам, — мне же,
Метрихе, дочери Пифея, дай сиднем
Сидеть, как я сижу. Не будет мой Мандрис
Посмешищем для всех! Но соловья, Гиллис,
Не кормят баснями. Поди, раба, живо
Ты чашу оботри да три шестых ачей-ка
Туда вина, теперь воды прибавь каплю,
И чарку полную подай.

МЕТРИХА

ФРАКИЯНКА На, пей, Гиллис!

ГИЛЛИС

Давай! Я забрела не для того, чтобы
С пути тебя сбивать, — виною здесь праздник!

МЕТРИХА

На нем зато и покорила ты Грилла!

ГИЛЛИС Твоим бы быть ему!" Что за вино, детка!

Клянусь Деметрою, уж как оно вкусно!

Вкусней вина, чем здесь, и не пила Гиллис

Еще ни разу. Ну, прощай, моя милка,

Блюда себя! Авось Миртала да Сима

Пребудут юными, пока жива Гиллис!

[перевод Г. Церетели]

В данном случае сводня потерпела полную неудачу; Метриха совершенно недвусмысленно отправляет ее восвояси, будучи, однако, достаточно добросердечной для того, чтобы налить гостю на прощание вина, ибо ей прекрасно известна слабость женщин этого сорта, чье пристрастие к вину вновь и вновь подчеркивается авторами, образуя, особенно в комедии, мотив, неизменно встречавшийся аплодисментами.

Если женщина была слишком робкой, сводня (будь то мужчина или женщина) представляла в ее распоряжение свой дом или находила

¹⁵ М и з а — мистическое женское божество, принадлежащее к Элевсинскому культу. Похожий культ существовал на острове Кос, родине Геронда. См. Koster, *Lexikon der Apythologie*, ii, 3025.

другую, нейтральную территорию для любовного гнездышка (публичный дом)¹⁶.

Частое упоминание таких любовных пристанищ античными авторами и многочисленность обозначающих их словечек показывают, насколько широко были распространены подобные услуги и сколь часто возникала в них потребность, так как здесь спрос и предложение всегда прямо зависели друг от друга.

Иногда, содействуя незаконной связи, свой дом предоставлял для свиданий друг. Самый известный пример — отрывок из Катулла (Ixviii, 67); поэт не может найти слов, чтобы сполна выразить свою благодарность другу Аллио:

Поприте он широко мне открыл, недоступное прежде,

Он предоставил мне дом и даровал госпожу, Чтобы мы
вольно могли там общей любви предаваться,

Здесь богиня моя в светлой своей красоте Нежной ногою,
блестя сандалией с гладкой подошвой,

Через лошениый порог переступила, входя.

[перевод С. В. Шервинского]

Случалось, конечно, и так, что муж знал о любовных шашнях жены и сносил их молча; порой он даже извлекал из них материальную выгоду — согласно речи против Неэры (ошибочно приписываемой Демосфену), жене приходилось покрывать расходы на домашнее хозяйство, приторговывая своим телом. Однако в случае супружеской неверности со стороны жены муж мог получить развод. Мы не станем подробно рассматривать юридические установления, связанные с таким разводом, но стоит упомянуть, что расторжение брака могло происходить также в силу иных причин. В их числе — несовместимость характеров, для рассмотрения которой, по мнению Платона («Законы», vi, 784), не мешало бы учредить третейский суд; далее, — бездетность, что выглядит довольно логичным, поскольку порождение законных потомков было, по мнению греков, главной целью брака. Поэтому женщины, не имевшие детей, прибегали к такой уловке, как выдача чужого ребенка за своего, ибо, по слову Диона Хризостома (xv, 8), «каждая женщина была бы рада сохранить мужа». Вполне естественным следствием этого была идея «пробного брака», иногда осуществлявшаяся на практике. О кинике Кратете сообщается (Diog. Laert., vi, 93), что он «...хвастал, будто бы и дочь свою// Давал на месяц в пробное замужество» [перевод М. Л. Гаспарова].

То, что было сказано выше о греческом браке, представляет собой попытку систематически свести в общую картину, которая вобрала бы в себя все значимые факты, разрозненные отрывки из различных авторов, касающиеся жен и супружества. Полученные таким образом результаты могут быть теперь дополнены различными подробностями, а пролить на них новый свет способны анекдоты, *bons mots* и тому подобный материал. Собрания такого рода составлялись уже в древности, и немалая

¹⁶ Называвшийся *μαστρουεῖα* (уменьшит, *μαστρῦλλα*)

их часть дошла до нашего времени. Так, вопросы брака часто рассматриваются в философских произведениях Плутарха. Неисчерпаемым кладезем разнообразных сведений является сочинение «Пир ученых мужей» в 15 книгах, написанное Афинеем из египетского Навкратиса, жившим в эпоху Марка Аврелия. Застолье было устроено в доме Ларенсия, видного и высокообразованного римлянина; на него были приглашены двадцать девять гостей, отличившихся во всех отраслях учености, — философы, риторы, поэты, музыканты, врачи и правоведы, среди них был и Афиней, который описывает в своей книге (сохранившейся почти полностью — отсутствуют лишь начало и конец), обращенной к его другу Тимократу, все, что обсуждалось на пиршестве. В начале тринадцатой книги разговор заходит о браке и замужних женщинах: «В Спарте существовал обычай запирать вместе всех незамужних девушек и холостых юношей в темной комнате; каждый юноша уносил без всякого приданого ту девушку, которую он захватил». Согласно Клеарху из Сол, в один из праздников женщины протаскивали холостяков вокруг алтаря, хлеща их веревками. Это должно было служить назиданием остальным и заставить их жениться в положенное время. В Афинах первым ввел моногамию Кекроп, тогда как до него связи между полами были совершенно беспорядочными и господствовали «общинные браки». Согласно широко распространенному мнению, которое восходит якобы к Аристотелю, Сократ также имел двух законных жен — Ксантиппу и некую Мирто, которая была правнучкой знаменитого Аристида. Возможно, в то время это было разрешено законом ввиду недостатка населения. У персов все наложницы царя относились к его жене с уважением и почтением, отдавая ей земной поклон. Приам («Илиада», xxiv, 496) также обладал известным числом наложниц, что совершенно не раздражало его жену:

Я пятьдесят их [сыновей] имел при нашествии рати ахейской:

Их девятнадцать братьев *at* матери было единой;

Прочих родили другие любезные жены в чертогах.

[перевод Н. И. Гнедича]

Как замечает Аристотель (фрагм. 162), может вызвать удивление тот факт, что у Гомера Менелай не спит с наложницами, хотя остальные герои не довольствуются одной женой. Ибо по Гомеру, даже такие старики, как Нестор и Феникс, спят со своими женами. Они не ослабили себя в молодости пьянством, половой невоздержностью или обжорством, и поэтому неудивительно, что и в старости они полны сил. Если, таким образом, Менелай отказывается от того, чтобы взять себе временную жену, то поступает он так из уважения к Елене, своей законной жене, ради которой затеял этот поход. Но Терсит бранит Агамемнона («Илиада», ii, 226) как многоженца: «Куши твои преисполнены меди, и множество пленниц // В кушах твоих, которых тебе аргивяне избранных // Первому в рати даем, когда города разоряем...» «Разумеется, — продолжает Аристотель, — это множество женщин были лишь почетным даром; ибо и вина доставляли ему в изобилии не

затем, чтобы он напивался пьяным». Что же касается Геракла, которого считали мужем великого множества женщин (ибо он питал к ним величайшую страсть), то он был женат не на всех сразу, а вступал с ними в брак по очереди, находясь в походах и путешествуя по различным странам.

Как сообщает Геродор (FHG II, 30), пятьдесят дочерей Феспия были лишены им невинности всего за семь дней. В своей «Аттической Истории» (FHG I, 420) Истр перечисляет различных жен Тесея и утверждает, что на некоторых он женился по любви, других захватил как военный трофей, в то время как законная жена была у него всего одна.

Филипп Македонский не брал с собой женщин в военные походы, но Дарий, низверженный Александром, даже сражаясь за свое существование, возил за собой 360 наложниц, как сообщает Дикеарх в своей «Жизни Греции» (FHG, II, 240).

Поэт Еврипид также питал склонность к женщинам. Иероним в своих «Исторических записках» сообщает, что, когда некто сказал Софоклу, будто Еврипид является женоненавистником, тот ответил: «В своих трагедиях, да, зато они очень нравятся ему в постели».

В комедии Евбула «Торговки венками» (фрагм. 98, Коск) замужние женщины были выведены в чрезвычайно неблагоприятном для себя свете. О них здесь было сказано следующее: «Стоит в жару выйти на улицу, как из глаз полетится в два ручья краска, на щеках до самой шеи пот прочертит красную борозду, а волосы прилипнут ко лбу, отливая свинцовым блеском».

Один из гостей цитирует такие строчки из комедии Алексиды «Провидцы» (фрагм. 146, Коск): «Сколь несчастны мы, продавшие свободу жить и роскошествовать; мы живем в рабстве у своих жен вместо того, чтобы быть свободными. Что же, мы должны потерять свободу, не получив ничего взамен? Разве что приданое, но и оно полно горечи и женской желчи, в сравнении с которой мужская желчь — чистый мед. Ведь мужья, обиженные женами, прощают им, а женщины бранят нас и тогда, когда погрешают сами. Они берутся за то, что им делать не следует, а что следует — оставляют в небрежении. Они дают лживые клятвы и, не претерпевая зла, жалуются, что обречены на вечные страдания».

Ксенарх (фрагм. 14, Коск) восхваляет счастливую жизнь кузнечиков — их жены лишены голоса; Евбул (фрагм. 116, 117, Коск) и Аристофонт (фрагм. 5, Коск) выражают мнение, что мужчина, который женится в первый раз, не заслуживает порицания, ибо еще не знает, что представляет собой это «дрянное надувательство»; тому же, кто женится вторично, помочь уже невозможно.

Один из персонажей этой же пьесы хочет принять женщин под свое покровительство, «благословеннее и превыше которого нет ничего». Он также удачно противопоставляет знаменитым злодейкам некоторых образцовых, порядочных жен: Медее — Пенелопу, Клитемнестре — Алкестиду. «Возможно, кто-нибудь скажет худое слово о Федре; но, Зевс свидетель, какая женщина была действитель-

но добродетельной? Несчастный я человек, хороших женщин скоро больше не останется, тогда как вдоволь еще найдется дурных, которых следует упомянуть».

У Антифана (фрагм. 221, Кокк) были такие строю!»: «Он женился. Что вы на это скажете? Неужели он и впрямь женился? А ведь еще вчера он прогуливался как ни в чем не бывало».

Следующие два отрывка взяты из Менандра (фрагм. 65, 154, Кокк): «Ты нипочем не женишься, если в тебе осталась хоть капля здравого смысла, и не откажешься от своей жизни. Это говорю тебе я, которого угораздило жениться. Поэтому я советую тебе: «Не женись». Проголосовали и постановили. Бросим кости! Ну-ка, давай! Но да пошлют тебе боги избавление, ибо ты пускаешься в плавание по настоящему морю забот — не по Ливийскому, не по Эгейскому, не по Сицилийскому, где из тридцати судов избегают крушения три, — из женатых мужчин не спасся еще ни один».

«Распропогибни тот, что женился первым, и вторым, и третьим, и четвертым, и последним».

В трагедии поэта Каркина (фрагм. 3, Nauck) были такие слова: «О Зевс, к чему бранить женщин? Вполне достаточно произнести само слово *женщина*».

Эти отрывки можно было бы дополнить другими, но если бы мы задались целью собрать все тексты, в которых греческие авторы — более ли, менее остроумно — обращают свое внимание на «слабый» пол, ими одними можно было бы заполнить увесистый том. У трагиков, особенно у Еврипида, мы встретим сотни нападок на женский пол, которые могут быть собраны под эпитафией: «Похоронить женщину лучше, чем жениться на ней».

Чтобы не утомлять читателя долее, мы ограничимся небольшой подборкой примеров из комедии. Конечно, отнюдь не случайным совпадением является тот примечательный факт, что самый ранний фрагмент Древней Аттической Комедии, дошедший до нашего времени, содержит нападки на женщин. Сусарион Мегарский, в первой половине шестого века до нашей эры пересадивший комедию на почву аттического дема Икария, с комическим пафосом перечисляет перед зрителями, какие несчастья приносит женщина. Однако избежать этого зла очень трудно, и он приходит к поразительному выводу: «Жениться и не жениться — одинаково плохо» (САР, р.3, Кокк). Из Аристофана (*Lysistr.*, 368, 1014, 1018) могут быть приведены такие строки:

«Теперь я вижу, Еврипид — мудрейший из поэтов. Ведь он про женщину сказал, что твари нет бесстыдней... Зверя нет сильнее женщин ни на море, ни в лесу. И огонь не так ужасен, и не так бесстыдна рысь... Вот и видно! Потому-то и воюешь ты со мной? А ведь мы с тобой могли бы в нерушимой дружбе жить... Вечно женщин ненавидеть обещаю и клянусь!» [перевод А. Пиотровского]

В пьесах Аристофана женщины нередко и сами признаются в собственной изменности. Протицируем особенно характерный отрывок из «Женщин на празднике Фесмофории» (383 сл.):

Не из тщеславия, богинями клянусь,
Пред вами, женщины, я *эту* речь держу.
Страдаю я давно за женщин всей душой,
Страдаю оттого, что с грязью нас смешал
Отродье овощной торговки, Еврипид.
Всегда и всячески он унижает нас.
Нет гадости такой, которую бы он
На нас не взваливал. Где хоры есть, поэт
И публика, везде на нас клеветет он,
Что и развратны-то, и похотливы мы,
Изменницы, болтуны мы и пьяницы,
И вздор несем, что мы — несчастье мужей.

И вот, вернулся муж — в театре побывал, —
Сейчас исподтишка осматривает все,
Не спрятан ли куда возлюбленный у нас.
Бывало, что хотим, все делать мы могли,
Теперь уже нельзя: предубедил мужей,
Презренный, против нас. Плетет жена венок, —
Мужчина думает: «Наверно, влюблена».

В домашних хлопотах вдруг выронит сосуд, —
Сейчас готов упрек: «Ты что посуду бьешь?
Наверно, вспомнила коринфского дружка!»
Хворает девушка — сейчас же скажет брат:
«Не нравится совсем мне цвет лица сестры!»
Но дальше! Женщина бездетная не прочь
Дитя чужое взять, сказать, что родила, —
Так не удастся: муж из спальни ни на шаг!
На девочках женились раньше старики,
Но он нас замарал настолько, что они
Не женятся уже, ссылаясь на слова:
«Над престарелым мужем властвует жена».
Благодаря ему покоев женских дверь
Закрыта на замок; поставлена печать,
Болты приделаны, а сверх того еще
На страх любовникам молосских держат псов. И это мы простим. Но
вспомним же, как мы Хозяйничали здесь: свободно было нам
Таскать из кладовой вино, муку и жир...
Не та уже пора: муж носит все ключи,
А сделаны они куда как мудрено!

[перевод Н. Корнилова]

Несомненно, само собой напрашивается возражение, что все эти отрывки ничего или почти ничего не доказывают в отношении греческих представлений о браке и о женщинах вообще, поскольку по большей части взяты они из комедии, которая, как прекрасно известно, выводит на сцену не настоящую жизнь, а ее гротескно искривленное отражение. Все это так; однако комедия не создает совершенно новых мнений, а лишь пародирует и гиперболизирует то, что лежит под рукой, и поэтому вполне может рассматриваться как зеркало эпохи; кроме того, следует заметить, что такие нападки на брак и женский пол встречаются отнюдь не только у комедиографов, но красной нитью проходят сквозь всю литературу. К сожалению, соображения экономии места побуждают нас

ограничить свой выбор определенным слоем литературы; однако уже тогда, когда художественной комедии еще не существовало, раздавались голоса, которые отказывались допустить, что в женском характере заложены какие-либо добрые качества. Уже в первой четверти седьмого века до нашей эры Семонид Аморгосский (PLG, ii, 446) дал выход этим чувствам в большом лирическом стихотворении, дошедшем до наших дней, выражая и обосновывая свою убежденность в физиологической и нравственной неполноценности женщин с поразительной ясностью и открытостью. Поэт утверждает, что девять женщин из десяти совершенно ни на что не годны, и пытается объяснить это явление их происхождением. Женщина-грязнуля происходит от свиньи, женщина до крайности хитрая — от лисы, любопытная — от собаки, тупица, которая не знает ничего, кроме еды, — из бессмысленной земли; капризная и непостоянная подобна вечно беспокойному морю, на которое невозможно положиться; ленивица, должно быть, имеет своим прародителем осла, а злопамятная — кошку; та, что питает страсть к нарядам и украшениям, что всегда находится в поисках чего-нибудь новомодного, выводится Семонидом из лошади, а последняя — уродина — из обезьяны.

Иную создал бог из обезьяны. В ней
Зло величайшее дано от Зевса людям.
Лицом она гнусна. На посмеянье всем
Жена подобная идет по стогнам града.
Короткошейная, бредет она с трудом,
Сухая, как доска, — одни сплошные кости.
О злополучный муж, кто должен это зло
В объятья заключать! Зато, как обезьяне,
Ей шутки разные и выверты близки.
На смех ей наплевать! Ни для кого не станет
Добро она творить, и на уме у ней
Всегда одно и то ж: всяк день она мечтает,
Чтоб причинить другим как можно больше зла.

[перевод Г. Церетели]

После этого систематического свода женских пороков, занимающего ни много ни мало 82 строки, всего лишь девять строк посвящено восхвалению верной жены, трудолюбивой хозяйки дома и матери, которая ведет свое происхождение от пчелы и «любя и будучи любимой, стареет рядом с мужем — мать прекрасного и славного рода».

Разумеется, не было недостатка и в голосах, восхвалявших женщину. В обширной «Антологии» Стобея (iv, 22 (No. 4)), где несколько глав посвящены подробному рассмотрению брака, приводится множество цитат из поэтов и философов, которые образуют смесь весьма злоречивых, но также и восторженных и восхищенных отзывов. Так, комедиограф Александр (САР, iii, 373 (No. 5)) говорит: «Благородная жена — это сокровищница добродетели», и даже Феогнид (1225) присоединяется к мнению, что «нет ничего слаще, чем добрая жена».

Согласно Еврипиду (ТGF, 566), нельзя осуждать всех женщин без разбора: «ведь поскольку существует множество женщин, один найдет среди них немало дурных, а другой — немало и хороших». Конечно,

было бы нетрудно привести здесь несколько суждений этого рода, однако они более или менее разрозненны, и похвала женщинам редко обходится без оговорок. Важно и то, что в этой главе Стобея имеется также раздел, озаглавленный «Порицание женщин», при том что нет раздела, посвященного их восхвалению.

В нашем распоряжении имеется превосходный памфлет Плутарха под названием «Советы супругам» (см. выше), обращенный к недавно вступившей в брак паре, с которой Плутарх был знаком.

Плутарх также написал сохранившийся трактат «О женских добродетелях» (лучше переводить это заглавие «О женском героизме»), представляющий собой собрание примеров и содержащий знаменитое изречение Перикла из его надгробной речи о том, что лучшими являются те женщины, о которых в обществе говорится как можно меньше, неважно — дурно или хорошо. Здесь рассматривается вопрос, со времен софистов часто служивший предметом обсуждения в философских школах, — сравнимы ли добродетели женщин с добродетелями мужчин. Автор приходит к выводу, что с нравственной точки зрения оба пола равны, и обосновывает его историческими примерами из жизни выдающихся женщин.

ГЛАВА II ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО

1. ОДЕЖДА

ВОПРОС О ТОМ, является ли человеческая одежда результатом пробуждения чувства стыда или чувство стыда развилось вследствие ношения одежды, бывший в недавнее время предметом оживленных дискуссий, решается ныне в пользу последнего предположения. В наши дни оно более не является гипотезой, приобретает статус доказанного факта; в силу этого излишне повторять избитые доводы в его пользу. Самое примитивное искусство одевания вырастает из желания защитить себя от суровости природы; в дело шли шкуры животных, убитых ради пропитания. Очень медленно люди пришли к тому, что, с одной стороны, они почувствовали, будто существуют части тела, которые надобно скрывать, а с другой — ощутили желание нарядиться или выделить некоторые части тела, подчеркнув тем самым свою чувственную привлекательность. Украшение тела является в наши дни главной задачей «одежды» для людей, живущих на лоне природы в тропической зоне; и поныне, после того как культурный прогресс развил так называемое чувство стыда, назначением одежды остается прикрывать все тело целиком или некоторые его части в соответствии с требованиями стыдливости, присущей индивидууму или целому народу и называемой ныне «моралью». Поэтому в нашу задачу не входит описание греческой одежды с точки зрения истории костюма; мы ограничимся тем, что покажем, каким образом чувство стыда, с одной стороны, и потребность в украшении, с другой, воздействовали на моду. Так как в эпоху наивысшего развития культуры, созданной греческим духом, два вышеназванных фактора — стыдливость и потребность в защите от капризов погоды — в том, что касается одежды, едва ли могут быть отделены друг от друга, представляется, что нет смысла подробно распространяться о мужской одежде; но даже о женском платье можно сказать сравнительно немного, поскольку, принимая во внимание затворничество греческих женщин и их крайне скромную роль в общественной жизни, едва ли существовала возможность носить на прогулке особенно пышное платье, так что в жизни греческой женщины мода имела несравненно меньшее значение, чем в жизни наших современниц.

Греческий мальчик, носивший короткую хламиду, которая прикрывала формы его юношеского тела, был одет не лучшим образом. Хламида представляла собой род платка, закреплявшегося на правом плече или на груди посредством пуговицы или застежки, и носилась до тех пор, пока отрок не получал статуса эфеба (около шестнадцати лет). Младшие мальчики — по крайней мере, в Афинах и до Пелопоннесской войны

— носили только короткий хитон, представлявший собой подобие тонкой рубашки. Аристофан восхваляет укрепляющее действие и простоту старого времени в своих «Облаках» (964 ел.):

Расскажу вам о том, что когда-то у нас
воспитаньем звалось молодежи,
В те года, когда я, справедливости страж,
процветал, когда скромность царила.
Вот вам первое: плача и визга детей было в
городе вовсе не слышно.
Нет! Учивую кучкой по улице шли ребятишки
села к кифаристу
В самых легких одеждах, хотя бы мукой с неба
падали снежные хлопья.
[перевод А. Пиотровского]

Также широко известен тот факт, что и Ликург («Ликург», 16) предпринял попытку укрепить тело спартанских мальчиков, постановив, что в детстве они должны носить одну и ту же жалкую накидку круглый год: до двенадцати лет — хитон, а позднее — трибон, или короткий плащ из грубого материала.

Возникает вопрос, почему греки, которые так хорошо разбирались в юношеской красоте, не придумали для своей молодежи более привлекательной одежды. Не потому ли, что у них всегда имелась возможность * созерцать мальчиков и юношей в прекраснейшем из нарядов — райской ' наготе? Три четверти дня юноши проводили в банях, палестрах, гимназиях, где их можно было видеть совершенно обнаженными, без этих отвратительных плавок, о которых речь еще впереди.

Одежда мужчины состояла главным образом из хитона или шерстяной либо льняной поддевки (рубашки) и надетого поверх нее гиматия. Гиматий может быть описан как большой четырехугольный отрез ткани, который набрасывали на левое плечо и, плотно придерживая рукой, заворачивали за спину и продевали под или над правой рукой, а затем снова набрасывали на левое плечо или предплечье. Принимая во внимание более или менее хитроумный способ, при помощи которого надевался этот предмет одежды, можно судить об общей культуре его с обладателя. Довольно часто мягкий климат позволял ему обойтись без гиматия и выйти из дома в одном хитоне. Другие, наоборот, обходились без хитона, расхаживая в одном гиматии, как почти всегда делал Сократ (Xenophon, *Memor.*, i, 6, 2); так же поступали Агесилай (Aelian., *Var. hist.*, vii, 13), выдающийся спартанский царь, который и в суровые холода, и даже в старости находил хитон излишним, Гелон (Diod. Sic., xi, 26) и многие другие. О Фокионе считали необходимым заметить особо (Duris ap. Plut., *Phocion*, 4), что он «всегда ходил босиком и без хитона, если не было чересчур большого мороза, и воины шутили, что Фокион в хитоне — это верная примета наступления холодов». Словом *gymnos*, что значит «обнаженный», называли и тех, кто не носил хитона. Гиматий обычно ниспадал до колен или чуть ниже; носить слишком длинные гиматии считалось признаком расточительности и гордыни; например,

молодой Алкивиад (Plato, *Alcib. I*, 122; Plut., *Alcib.*, i), вызывал этим раздражение, тогда как те, что носили гиматий, заканчивавшийся выше колен, заслуживали обвинения в непристойности (Theophrastus, *Characi.*, 4); особенным бесстыдством считаюсь сидеть таким образом, чтобы край гиматия задирался выше колена, что вполне объяснимо, поскольку кальсон в ту пору не носили. Именно в этом духе следует понимать рассказ Лукиана о кинике Алкидаманте (*Sympos.*), который возлежит за трапезой полуобнаженным (т.е. с высоко задранным гиматием), опершись на локоть и держа в правой руке кубок, точь-в-точь как изображается живописцами Геракл в пещере кентавра Фола. Такое поведение выглядело непристойным, ибо для выставления своего тела напоказ не было никакого повода; когда, однако, тот же Алкидамант, дабы продемонстрировать чистую белизну своего тела, обнажается полностью, это вызывает у присутствующих только смех.

Сказанное о мужской одежде остается в силе для всей греческой истории, если не считать нескольких малосущественных видоизменений. Вопросы о женской одежде нам придется коснуться несколько подробнее и разбить ее историю на несколько отдельных периодов. Чрезвычайно интересен тот факт, что никогда в Греции женская одежда не была более утонченной и пышной, чем в доисторическую эпоху Эллады, называемую Эгейской цивилизацией. Благодаря нескольким памятникам, картинам и небольшим образчикам пластического искусства из Кносского дворца на Крите мы неплохо осведомлены о моде женщин высших классов этой глубочайшей древности, от которой до нас не дошло никаких литературных свидетельств. Мы видим, что дамы царского двора первой половины второго тысячелетия до нашей эры носили платье, которое наши современники непременно заклеямили бы как нескромное. От бедер до пят их · прикрывала юбка, состоявшая из множества лоскутков, наложенных друг на друга, словно здесь была не одна, но несколько юбок. На верхнюю часть тела они надевали довольно облегающее одеяние, напоминающее жакет и снабженное рукавами. Из этого одеяния выступали груди, полностью обнаженные в своей совершенной округлости; словно два зрелых яблока любви, улыбались они зрителю.

Мы еще вернемся к этому наряду, когда будем говорить о взаимосвязи наготы и обнажения. В любом случае, критские находки доказывают, что искусное обнажение шеи и плеч, причем в самой вызывающей форме, было отнюдь не чуждо древнейшей греческой цивилизации; кроме того, вероятно, что этот обычай как нечто само собой разумеющееся и позднее оставался привилегией женщин высших классов.

Вполне логичен и не нуждается в подробном обосновании и тот факт, что с дальнейшим развитием греческой цивилизации обнаженная шея и плечи, так много обещавшие на Крите, вновь выходят из женской моды. Роскошные дворцовые пиры, на которых женщины могли блистать головокружительной наготой грудей, постепенно приходили в забвение, поскольку, если не считать краткого периода греческих тираний, повсюду возобладала республиканская форма правления; кроме того, как часто указывается, в развитии цивилизации все более преобладало

мужское начало, что вело к исчезновению женщин из общественной жизни, у них более не было возможности очаровывать мужчин лукаво-изысканными одеждами, а точнее, их отсутствием.

Время от времени мы, несомненно, обнаруживаем, что некоторые из греческих женских статуй облачены в довольно скромное и обычно подчеркнутое декольте, хотя нельзя сказать, чтобы оно прочно вошло в моду; позже — вновь благодаря благосклонности климата — широкое распространение получило ношение столь тонкой верхней одежды, что сквозь нее ясно проступали очертания груди — что можно наблюдать и сегодня на многих памятниках пластического искусства, например, на двух величавых женских фигурах с восточного фронтона Парфенона.

Для полноты можно заметить, что «обратное» декольте не было чем-то неслыханным; в любом случае, отрывок из «Сатир» Варрона¹⁷ не может получить иного удовлетворительного объяснения. Варрон описывает здесь охотницу в платье, подобранном а *1a* Аталанта, и говорит, что она ходит в платье, задирающемся так высоко, что видны не только ее икры, но чуть ли не ягодицы.

В эпоху, наступившую вслед за Эгейским периодом, платье гречанки приобрело сравнительно простой вид. На голом теле женщины носили напоминающий сорочку хитон, форма которого была фактически единой для всей Греции, за исключением Спарты (к вопросу о коротком хитоне спартанских девушек ср. Clem. Alex., *Paedag.*, ii, 10, p. 258, Potter). В Спарте девушки обычно не пользовались другими предметами одежды, кроме этого хитона, заканчивавшегося выше колен и имевшего высокий боковой разрез, так что бедра при ходьбе полностью обнажались (*φαί-νομπριδες*: «оголяющие бедра»; ср. Pollux, vii, 55). Этот факт единодушно подтверждается не только несколькими авторами, которые не оставляют никаких сомнений в его истинности, но засвидетельствован также вазописью и другими памятниками изобразительного искусства; таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том, что, хотя греки в целом были народом достаточно привычным к виду обнаженного тела, этот наряд спартанских девушек в других местах был предметом насмешек. Поэтому их называли «показывающими бедра», «девицами с обнаженными бедрами», а выражение «одеваться на дорический манер» (*δωρίσσειν*, комм. Евстафия к «Илиаде», xiv, 175) относилось к тем, кто щедро «обнажал большую часть тела». Занимаясь гимнастикой и другими физическими упражнениями, спартанки снимали с себя и это единственное одеяние и выступали полностью обнаженными.

В остальной Греции хитон как единственный предмет одежды носили только дома; на людях женщина не могла обходиться без гиматия; если не считать несколько видоизмененного покроя, обусловленного иным строением женского тела, от мужского гиматия он существенно не отличался, хотя не лишено вероятия и то, что время, мода и местные особенности определяли его незначительные вариации.

Нам вовсе нет нужды входить сейчас в такие подробности, так как

¹⁷ Варрон у Перрония (ed Buchelci 189ь, S 193, frag ix: *pop mode suns apeitis, sed paene natibus apertis ambulans.*

вопрос одежды является предметом этой книги лишь постольку, поскольку одежда играла определенную роль в нравах и половой жизни греков.

Охватывающий бедра пояс, придававший должный вид платью, имел эротическое значение потому, что символизировал девственность; отсюда не трудно объяснить выражение, часто встречающееся у Гомера: «распустить девичий пояс».

Греческие женщины и девушки не знали ни шнуровки, ни корсета, но повязывали на груди ленты, напоминающие современные бюстгалтеры. Эта лента должна была поддерживать грудь и не только препятствовать ее обвисанию, но также подчеркивать ее красоту или скрывать недостатки (Овидий, *Remedia amoris*, 337); кроме того, она сдерживала ее чрезмерное развитие, чтобы «груды помещались в руке любимого» (Марциал, *xiv*, 134). Все эти функции, пожалуй, вполне сходны с функциями современных корсетов; однако нагрудные ленты древности отличались от них тем, что не требовали никакой шнуровки¹⁸.

В остальном, дамам классической древности уже были известны некоторые секреты, с помощью которых можно имитировать отсутствующие прелести или, по крайней мере, создать видимость отсутствия недостатков, хотя, конечно же, такие уловки использовались скорее всего не почтенными домохозяйками, а теми всегда услужливыми дамами полусвета, которые в те времена благожелательно прозывались *hetaerae*, или «подруги». Так, у нас есть сведения о лентах, назначением которых было придавать стройность чересчур полному телу и тем самым скрывать внешние признаки беременности (*περίζωστρα* или *περίζωμα*; ср. Pollux, *vii*, 65).

Один из фрагментов комедиографа Алексиды (фрагм. 98, Kock, у Афиней, *xiii*, 568a) снабжает нас дополнительной информацией относительно подобных средств улучшения собственной внешности: «Когда девушка слишком мала, она вставляет в обувь пробковые подкладки, когда слишком высока — носит плоские сандалии и, показываясь на улице, ходит с понурой головой; та, которой сзади недостает округлости, подкладывает вместо нее какой-нибудь материал, чтобы все, видящие ее, восхваляли ее эвпигию [красоту ягодиц]».

Из материалов, использовавшихся при изготовлении женской одежды, в рамках нашего изложения следует рассмотреть только лен и шелк. Тонкий лен лучше всего произрастал на острове Аморгос, и поэтому одежды, делавшиеся из него, назывались «аморгины» (Pollux, *vii*, 74). Они были чрезвычайно легкими и прозрачными, что делало их излюбленным платьем красивых женщин. Еще более притягательными были знаменитые косские платья, с изобретением которых эротика достигла своей кульминации. Это были одежды из шелка, ткавшиеся на острове Кос настолько искусно, что один древний писатель (Дионисий Перизет, 753, 242) говорил, будто они напоминают краски усеянного цветами луга, и в тонкости с ними не сравнится даже паутина. Коконь шелкович-

¹⁸ Нередко упоминаются покровы для половых органов (*χοροκομείον*) Аристофан, «Осы», 844, «Лисистрата», 1073.

ного червя были завезены на Кос, где позднее его начали разводить; однако Греция импортировала большое количество готового шелкового платья, особенно из Ассирии, откуда пошло латинское выражение *bombycinae vestes* (от *bombyx* — шелковичный червь), которое, возможно, свидетельствует о том, что начало этому импорту было положено не ранее римской эпохи. О впечатлении, производимом этими одежками, можно судить, например, по отрывку из Гипполоха (Афинея, iv, 129a). Он описывает свадебный пир, на котором выступили родосские флейтистки, показавшиеся ему совершенно обнаженными, пока другие гости ему не растолковали, что на них надеты косские одежды. Лукиан (*Amores*, 41) даже говорит о том, что эту «тонкотканую одежду надевают только для того, чтобы не казаться совсем обнаженными». Петроний (55) называет ее «вытканым воздухом», а несколько педантичный Сенека дает выход своему негодованию против этого женского эксгибиционизма в следующих словах (*De beneficiis*, 7, 9): «Я вижу шелковое одеяние, если только одеянием может быть названо то, что совсем не прикрывает тело или даже только срамные части; женщина в такой одежде едва ли способна с чистой совестью поклясться в том, что она не обнажена. Эти драгоценные одежды привозятся из самых дальних стран только для того, чтобы женщины могли показать любовнику в спальне не больше того, что уже показали на улице». Частое упоминание этих косских одежд древними авторами доказывает, что они пользовались широкой популярностью; очень походили на них и часто упоминаемые тарентинские покровы.

Хотя особым предпочтением этот костюм, куда как щедро выставлявший напоказ женские прелести, пользовался среди гетер, мы видим, например, из одного отрывка Феокрита («Идиллии», xxviii: ὑδάτινα βράκη), что и респектабельные женщины не боялись показываться в таком наряде. У Феокрита он назван «влажными одежками» — выражение, которое нетрудно понять и которое по-прежнему используется современными художниками, когда они говорят о платье, позволяющем отчетливо видеть очертания тела.

2. НАГОТА

Косские платья, которые, как мы уже знаем, создавали только видимость одежды и не только не скрывали, но эротически подчеркивали очертания тела, подвели нас к обсуждению роли наготы в жизни греков. Мы уже касались этого вопроса при описании одеяния спартанских девушек, декольте и в других местах.

Довольно распространенным, в том числе и среди хорошо образованных людей, много — но не из лучших источников — знающих об античности, является мнение, что нагота была в Греции чем-то вполне обычным. Но этот тезис нуждается в существенном ограничении. Для того чтобы осветить этот вопрос во всей его глубине, мы должны провести различие между естественной и эротически подчеркнутой наготой.

Безусловно, мы совершенно правы, говоря о том, что греки показывались в публичных местах полностью или частично обнаженными гораздо чаще, чем это было бы возможно в наше время; Виланд, несомненно, прав, когда в своем эссе «Об идеалах греческих художников» говорит о том, что греческое искусство добилось совершенства в изображении обнаженного тела потому, что лицемерие наготы было фактически повседневным: «Греки располагали куда большими возможностями и большей свободой созерцать, изучать, воспроизводить красоту, которая создавалась для них природой и эпохой, чем художники нашего времени. Гимнасии, публичные государственные игры, конкурсы красоты на Лесбосе, Тенедосе, в храме Цереры в аркадской Басилиде, борцовские состязания обнаженных юношей и девушек в Спарте, на Крите и т.д., пресловутый храм Венеры в Коринфе, юных жриц которого не постыдился воспеть сам Пиндар, фессалийские танцовщицы, обнаженными танцевавшие на пирах знати, — все это давало возможность видеть прекраснейшие тела в самом живом движении, еще более прекрасные в пылу борьбы, во всевозможных сочетаниях друг с другом и в разнообразнейших положениях; все это не могло не наполнить воображение художников множеством прекрасных форм и через сравнение прекрасного с прекраснейшим приуготовить их к возвышению до идеи прекрасного самого по себе».

Возможно, кто-нибудь подумает (а некоторые действительно думают), будто нагота никогда не шокировала греков. Однако есть свидетельства, доказывающие ошибочность этого предположения. Платон определенно заявляет (*Resp.*, v, 452): «Еще не так давно среди греков, как и ныне среди большинства не греков, показываться мужчине без одежды считалось постыдным и смешным», а Геродот (I, 10), выдавая это воззрение за мнение «лидийцев и других не греков», говорит, что нагота считается среди них «величайшим позором». В подтверждение этого можно сослаться на пример с Одиссеем («Одиссея», vi, 126), который, потерпев кораблекрушение, был выброшен нагим на берег феаков; услышав поблизости девичий смех, «сильной рукой он отломил от раскидистого куста ветвь с густой листвой, чтобы прикрыть свою наготу». На всенародных играх в Олимпии вплоть до 15-й Олимпиады, или 720 г. до н.э., было принято, чтобы бегуны выступали не полностью обнаженными, но в переднике вокруг бедер, о чем определенно свидетельствует Фукидид в широко известном и неоднократно обсуждавшемся отрывке (I, 6). При этом нам следует воздержаться от того, чтобы свести это частичное прикрытие обнаженного тела к «моральным» причинам; скорее, это рудимент порожденного Востоком воззрения, как явствует из цитированных отрывков Платона и Геродота. Это следует также из того факта, что впоследствии греки отошли от этой восточной точки зрения и начиная с 720 года разрешили бегунам и всем прочим атлетам выступать совершенно нагими. Таким образом, греки — самый здоровый и художественно совершенный народ из всех, что когда-либо существовали, — вскоре осознали, что покровы вокруг половых органов являются чем-то неестественным, и пришли к выводу, что такие покровы имеют смысл лишь в том случае, если приписывать функциям половых

органов некую моральную неполноценность. Однако все было как раз наоборот, и вместо того, чтобы стыдиться этих органов, греки относились к ним скорее с благоговейным трепетом и оказывали им почти религиозное почитание как мистическим орудиям продолжения рода, символам жизнетворной и неисчерпаемо плодотворной природы. Поэтому термины *αἰδοῖον* и *αἰδώς* должно понимать не как «срамные части» или «сокровенные части», которых следует стыдиться, но как обозначение того, что порождает чувство *αἰδώς*, или священного трепета и благочестивого поклонения перед непостижимой тайной размножения, присущего постоянно обновляющейся природе, и благодаря которой возможно сохранение рода человеческого. Так фаллос превратился в религиозный символ¹⁹; почитание фаллоса в его разнообразнейших формах является наивным поклонением неисчерпаемой плодотворности природы и благодарением наделенного природной чуткостью человека за продолжение своего рода.

Нам еще предстоит говорить о культе фаллоса, здесь же достаточно будет подчеркнуть, что этот культ — отнюдь не величайшая безнравственность, какой его рисуют невежи или недоброжелатели, но полная ее противоположность. Он является не чем иным, как глубоким пониманием божественности процесса рождения, которое обусловлено естественным, а стало быть, в высшей степени нравственным представлением о сексуальной жизни. Другим следствием этого представления явилось то, что греки — всегда, когда они чувствовали, что одежда не необходима, мешает или невозможна, — оставались нагими, не пользуясь при этом какими бы то ни было передниками или набедренными повязками.

В Древней Греции подобной безвкусице просто не было места. Как показывает само слово *gymnasion* (от *gymnos* — нагой), во время телесных упражнений вся одежда откладывалась в сторону. В этом, конечно, нет ничего нового, и поэтому было бы излишним подтверждать этот широко известный факт отрывками из античной литературы, которых можно привести огромное множество. Бесчисленные памятники изобразительного искусства, на которых запечатлены сцены в гимнасии, а особенно вазопись, свидетельствуют о полной наготе, которая ни у кого не вызывала возмущения, испытываемого при виде такого полного обнажения простоватыми старыми римлянами. Как гласит стих Энния, сохранившийся у Цицерона (*Tusc. disp.*, iv, 33, 70): «Стыд берет начало в публичной наготе».

Однако римляне заходили столь далеко, что считали для подростков неприличным купаться вместе со своими отцами, или зятьям с тестями (Цицерон, *De officiis*, I, 35, 129). Плутарх (*Cato Minor*, 20) это подтверждает, но добавляет, что римляне вскоре научились у греков понимать наготу, и тогда греки, в свою очередь, ввели обычай совместного купания мужчин и женщин.

¹⁹ Фаллос (*φαλλός*) — это греческое название мужского полового органа, особенно художественным образом изготовленного из таких материалов, как рог или древесина, прежде всего фиговое дерево. С лингвистической точки зрения это слово родственно слову *φάλλος* (столб, колонна), которое также используется для обозначения пениса: ср. Аристофан., *Thesmophor.*, 291; *Lysistrata*, 771; *Anthol. Palat.*, ix, 437. Он соответствует индийскому лингаму.

3. ГИМНАСТИКА

Вернемся к нашей теме. Если, таким образом, нагота в гимнасиях может считаться фактом, хорошо известным большинству, то, пожалуй, не будет лишним сказать несколько слов о гимнасиях вообще, ведь под влиянием современного значения этого слова многие могут составить о них неверное представление. Обычное устройство греческого гимнасия в главных чертах описано Витрувием (v, 11), жившим во времена императора Августа и оставившим ценный трактат по архитектуре; оно было примерно следующим: «Гимнасий... содержит в первую очередь просторный перистиль, или двор, окруженный колоннами, протяженностью около двух стадиев (365 метров); с трех сторон его закрывают простые колоннады, а с юга — двойная колоннада, внутри которой располагается *ephebeion*, место упражнений эфевов, или юношей, объявленных совершеннолетними и полноправными гражданами после внесения их в списки своего дема, в Афинах такая процедура совершалась, как правило, по достижении ими восемнадцати лет. Вокруг него располагались бани, залы и другие помещения, где обыкновенно собирались для бесед философы, риторы, поэты и прочие многочисленные поклонники мужской красоты». К перистиллю примыкают другие колоннады, в том числе и ксист, предназначенный, по-видимому, для мужских упражнений. Как правило, с гимнасием была совмещена палестра — главная арена телесных упражнений и игр юношей. Едва ли нужно особо подчеркивать тот факт, что все эти помещения были украшены всевозможными произведениями искусства, алтарями и статуями Гермеса, Геракла и особенно Эроса, а также Муз и других божеств. Так к телесной красоте мальчиков, юношей и мужчин, гармоничнейшим образом развившихся благодаря постоянным телесным упражнениям, добавлялось ежедневное созерцание многочисленных художественных сокровищ. И нетрудно понять, как и почему греки стали народом, любившим прекрасное больше, чем любой другой народ, когда-либо ступавший по земле. Можно также понять, почему не было такого греческого гимнасия или палестры, где не стоял бы алтарь или статуя Эроса, — и ежедневное лицезрение высочайшей мужской красоты не могло не привести к гомосексуальной любви, воодушевлявшей целый народ.

В своем «Итальянском дневнике» Гете описывал однажды игру в мяч, которую ему довелось видеть на арене Вероны: «Здесь явились самые прекрасные положения, достойные запечатления в мраморе. Поскольку играют рослые, крепкие юноши в коротких белых, едва прикрывающих наготу одеждах, команды можно различить лишь по цветным значкам. Особенно прекрасна поза, в которой оказывается нападающий, когда он бежит по наклонной плоскости и тянет руку, чтобы нанести удар по мячу». Давайте же представим себе афинскую или спартанскую палестру, оглашаемую веселым смехом мальчиков и юношей, которые носят по полю в нагом блеске своих гибких членов, когда над ними разлита сладостная голубизна греческого неба... и мы непременно поймем, что именно тогда земная красота справляла свои высочайшие триумфы.

Так греческие гимнасии и палестры, первоначально бывшие местом, где молодые мужчины укрепляли себя всевозможными телесными упражнениями и развивали свои тела до состояния совершенной гармонии, стали местом, куда устремлялись для того, чтобы проводить здесь долгие дневные часы и вести беседы, созерцая совершенную красоту. Обширные пространства, обрамленные колоннадами, использовались для прогулок, на которых философы и странствующие учителя собирали вокруг себя толпы учеников и слушателей. Лишь позднее, во втором веке до нашей эры, подготовка афинских эфэбов была реорганизована, так что телесное и умственное образование молодежи было объединено в Диогенейоне и Птоломейоне, которые наряду с многочисленными аудиториями располагали обширной библиотекой; и только в пятом веке нашей эры, в Карфагене, мы впервые слышим о гимнасии, который однозначно определяется как языковой институт или образовательное учреждение (*Сальвиан, De gubernatione dei*, vii, 275; vel *linguagum gymnasia vel mogum*).

Согласно единодушному свидетельству всех источников, греки не допускали женщин в свои гимнасии; иными словами, ни одна женщина не могла когда-либо ступить ни в одно из тех мест, что предназначались для воспитания мужчин, и даже на великие общегосударственные игры доступ зрительниц был запрещен. Упомянув скалу Типей в Олимпии, Павсаний (v, 6, 7) ясно говорит о том, что существовал обычай сбрасывать с этой скалы тех женщин, которые были пойманы при попытке проникнуть на Олимпийские игры в качестве зрительниц, и даже тех, которые в запретные для них дни (соответственно, во время празднеств) переходили через реку Алфей, отделявшую место празднеств от остальной территории. Этим обычаем пренебрегли лишь однажды, когда мать Песиррода прокралась на состязания для того, чтобы присутствовать — и радость матери легко понять — при чаемой победе сына. Эта ситуация была не лишена известной доли трагикомизма. Чтобы не быть обнаруженной, она облачилась в мужское платье, изображая товарища сына; но к несчастью, когда она пыталась перепрыгнуть через барьер, отделявший зрителей от арены, чтобы поздравить сына с победой, едва прикрывавшее ее наготу платье распахнулось, и открылось, что это женщина. Она не подверглась наказанию — возможно, потому, что ее материнская любовь была оценена по достоинству, но главным образом из уважения к ее семье, которая произвела на свет нескольких олимпийских победителей; однако во избежание подобных инцидентов в будущем было издано постановление о том, что впредь атлеты должны появляться на поле состязания обнаженными.

Запрет, исключавший женщин из числа зрителей всенародных игр, разумеется, не соблюдался с равной строгостью во всей Греции; по крайней мере, Бекх в комментариях к одам Пиндара (*Pythia*, ix, p. 328) отмечал, что на состязаниях, устраивавшихся в африканской греческой колонии Кирене, в качестве зрителей могли присутствовать и женщины, а Павсаний говорит (vi, 20, 9) о том, что незамужним девушкам не запрещалось смотреть на состязающихся в Олимпии. Согласно этому же автору, жрица Деметры имела законное право смотреть Олимпийские

игры; для этого ей даже было отведено особое место на ступенях беломраморного алтаря богини. Исследователи классической древности ломали головы над загадкой, почему право лицемерить состязания обнаженных мальчиков и юношей предоставлялось девушкам, а не замужним женщинам. Загадка разрешается, по-видимому, очень просто, если вспомнить о том, что греки испытывали от созерцания красоты большее наслаждение, чем любой другой из когда-либо существовавших народов. На своих всенародных праздниках они желали окружить себя исключительно красотой, и поэтому разрешали присутствовать на них девушкам, оставляя замужних женщин дома.

Кроме того, все сказанное в полной мере относится лишь к дорийскому племени, о более либеральном подходе которого к данным вопросам уже говорилось выше; несколько более педантичные обитатели Аттики, несомненно, запрещали девушкам смотреть на упражнения и состязания молодых людей.

Дорийцы, и особенно Спарта, в этом отношении менее зависели от предрассудков. Когда Платон требует («Законы», vii, 804), чтобы юноши и девушки совершали гимнастические упражнения на общих основаниях и — что само собой разумелось в ту эпоху — обнаженными, мы слышим в его требовании отголосок спартанской точки зрения, но можем также понять, почему умственная ограниченность педантов — несомненно существовавшая, хотя и не господствовавшая в его время — считала такие предложения неуместными. Тем не менее его требование было проведено в жизнь также и в не дорийских государствах — по крайней мере жителями острова Хиос, где, согласно ясному свидетельству Афи-нея (xiii, 566e), никто не считал для себя зазорным присутствовать в гимназиях на состязаниях обнаженных юношей и девушек в беге или борьбе.

Нам превосходно известно, что в Спарте девушки занимались гимнастическими упражнениями столь же серьезно, как и юноши; трудно сказать, были ли они в этом случае полностью обнаженными или просто легко одетыми, — об этом много спорили ученые мужи как в древности, так и в новое время. Абсолютно достоверного ответа на этот вопрос, однако, дать невозможно, так как слово *gymnos* (как уже отмечалось выше) означало не только *обнаженный*, но и *одетый только в хитон*; к тому же этот вопрос едва ли настолько важен, чтобы тратить на него много времени. В любом случае несомненно, что спартанские девушки исполняли физические упражнения пусть и не совершенно обнаженными, но одетыми настолько легко, что не могли не вызвать возмущения или, выражаясь точнее, чувственного возбуждения у ревнителей современной нравственности; еще более вероятно, что данный обычай время от времени претерпевал определенные изменения. Если беспристрастно рассмотреть многочисленные отрывки из древних писателей, приводящих сведения по данному вопросу, то нельзя не прийти к выводу о полной наготе девушек; таково же мнение и римских авторов, не без довольной ухмылки или молчаливого одобрения говорящих о *nuda palaestra*, или *нагой палестре* спартанских девушек, — я имею в виду Пропорция, Овидия и Марциала (Prop. Hi, 14; Ovid., *Heroides*, xiv, 149;

Mart., iv, 55). Этим объясняется и то, почему выражение *вести себя по-дорийски* приобрело значение *обнажаться*, причем это объяснение остается в силе и в том случае, если во время физических упражнений девушки были одеты в легкую повседневную одежду (описанную выше), из-за которой остальные греки нередко насмеялись над ними как над *оголяющими бедра*. Полностью убедительного ответа нет и на вопрос, допускались ли зрители-мужчины на упражнения одетых (или, правильнее сказать, раздетых) таким образом девушек; наша информация на этот счет противоречива. Так, Плутарх (*Luc.*, 15), вопреки Платону («Государство», v, 458 — иначе «Теэтет», 169)²⁰, утверждает, что упражнения обнаженных девушек происходили на глазах юношей, и недвусмысленно добавляет (полемизируя с Платоном), что делалось это из эротических соображений, а именно, чтобы побудить к женитьбе тех молодых людей, которые были к этому способны; это противоречит ясному утверждению Платона, что в спартанских гимназиях соблюдалось правило «Сбрось одежду и упражняйся с нами или уходи прочь», исключавшее присутствие праздношатающихся зевак, которые так раздражали римлян (Seneca, *De brevitate vitae*, 12, 2). То, что, несмотря на полное обнажение, в гимназиях соблюдались сдержанность и благопристойность, явствует из следующего отрывка Аристофана («Облака», 973):

А в гимнасии, сидя на солнце, в песке,
чинно-важно вытягивать ноги
 Полагалось ребятам, чтобы глазу зевак срамоты
не открыть непристойно. А
 вставали, и след свой тотчас же в песке
заметали, чтоб взглядам влюбленных
 Очертание прелестей юных своих на нечистый
соблазн не оставить. В
 дни минувшие маслом пониже пупа ни один
себя мальчик не мазал, И
 курчавилась шерстка меж бедер у них, словно
первый пушок на гранате,
[перевод А. Пиотровского]

4. КОНКУРСЫ КРАСОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАГОТЕ

Непросто ответить на вопрос: «Потому ли греки достигли самого совершенного мастерства в художественном изображении обнаженного человеческого тела, что столь часто могли созерцать полностью обнаженных прекрасных людей, или же они испытывали такое наслаждение при виде обнаженных людей потому, что их зрение стало восприимчиво и способно к пониманию красоты обнаженного тела благодаря искусству?» Возможно, между обоими фактами существовала взаимосвязь; искусство придало наслаждению от наготы более возвышенный характер, а много-

²⁰ Согласно Стобею (*Sermones*, 44. 41), юноши и девушки упражнялись раздельно; согласно Еврипиду («Андромаха», 591) — вместе.

численные случаи лицемерить идеально прекрасных людей обнаженными не могли не оказать оплодотворяющего воздействия на искусство.

Разумеется, не может более вызывать изумления тот факт, что эта почти безмерная любовь греков к телесной красоте привела к повсеместному учреждению пользовавшихся всеобщей любовью конкурсов красоты, о чем уже упоминалось выше. О большинстве из них мы черпаем сведения у Афиней (xiii, 609e), который, к сожалению, описывает их очень кратко, однако подробным и ясным образом рассказывает о призах для девушек-победительниц, перечислением которых мы не станем утомлять читателя. В любом случае, эти состязания сопровождались более или менее полным обнажением девушек, споривших за победу.

Сами богини подали замечательный пример такого состязания. Гера, Афина Паллада и Афродита спорили о том, кто из них самая прекрасная; премудрый Зевс отказался вынести свой приговор, предоставив судить о красоте богинь троянскому царевичу Парису. Это состязание в красоте бесчисленное множество раз изображалось в древнем и новом искусстве и литературе, и самым забавным из его изображений является, возможно, двадцатый из «Разговоров богов» Лукиана.

Если принять во внимание отношение греков к мужчине, вполне вероятно, что им были известны конкурсы красоты и среди юношей; по крайней мере, для Элиды существует ясное свидетельство Афиней (xiii, 565, 609): юноши, что стяжали здесь награды, помимо прочего были отличены от других и тем, что получали в удел некоторые обязанности, относящиеся к служению богам. Также и на панафинейском празднике (речь о нем еще впереди) для бега с факелами отбирались юноши из различных фил (племен) сообразно с их красотой и ловкостью.

Если, таким образом, любовь к лицемерию обнаженного человека была общей особенностью греков, как и южных народов вообще, то почти само собой разумеется; что в жизни индивидуума бывало немало случаев, когда он мог насладиться созерцанием обнаженной красоты тела. Такая любовь сильнее любых моральных (правильнее говоря, условных) опасений, существующих в других странах. Мы вправе предположить, что пример лидийского царя Кандавла не пропал даром, а также что среди эллинов, тянувшихся к прекрасному, такой поступок остался бы без прискорбных последствий, которых — если принимать во внимание, например, чопорность лидийцев, ослепленных в этом вопросе предрассудками, — не могло не быть в других странах.

Кандавл был чрезвычайно влюблен в свою жену и очень гордился ее красотой. Он похвалялся ее красотой перед другими и не переставал настаивать на том, чтобы его любимец Гигес увидел ее, обнаженной Гигес сопротивлялся что было силы, поскольку полагал, что вместе с платьем женщина «снимает с себя и стыд». Но Кандавл не давал ему покоя и сумел обставить дело таким образом, чтобы Гигес остался незамеченным в брачном покое и вечером мог видеть раздевающуюся царицу.

Этот рассказ донесен до нас Геродотом (I, 8), который далее сообщает о том, что царица, догадавшись о присутствии Гигеса, поначалу не могла вымолвить ни слова от смущения. Позже она поставила его перед выбором: «Или убей Кандавла, стань моим господином и обрети царскую власть над Лидией, или готовься умереть на месте». После этого Гигес умерщвляет Кандавла, и таким образом одновременно заштадевает его женой и царством.

Что флейтистки выступали на частных празднествах обнаженными или — чтобы усилить эротическое воздействие наготы — в косских одеждах, утверждал упоминавшийся выше Гипполох (Ath., xii, 129d), описывая брачный пир. Так, нагие девушки или — в зависимости от обстоятельств — юноши приглашались на пирушки и застолья, чтобы усилить воздействие алкоголя и воздать должное не только Вакху, но и богу любви. Анаксарх, любимец Александра Великого, любил, чтобы вино наливала ему прекрасная обнаженная девушка (Ath., xii, 548b). Как сообщает стоический философ Персей, доверенное лицо царя Антигона (Ath., xiii, 607c), однажды царь давал пир, на котором поначалу велись серьезные, касающиеся науки беседы. «Но вот, было уже немало выпито, и наряду с другими развлечениями в пиршественный зал вбежали фессалийские танцовщицы, которые — если не считать пояса — были совершенно нагими. Это настолько развеселило гостей, что, зачарованные, они громко выражали свое одобрение, вскакивали с мест и восхваляли счастье царя, который может наслаждаться таким зрелищем постоянно». На свадьбе, о которой рассказывает Гипполох, «выступали также нагие женщины-акробаты, которые проделывали рискованные трюки с обнаженными мечами и извергали огонь». Многочисленные рисунки на вазах, на которых такие артистки изображены полностью нагими или в одних набедренных повязках, доказывают, что подобные представления не были редкостью, но, напротив, — особенно в эллинистический период — пользовались повсеместной популярностью.

Принимая во внимание то, что отношение греков к наготы было свободно от предрассудков, нам нетрудно понять, что в действиях, относящихся к богопочитанию, могли принимать участие и обнаженные; в качестве иллюстрации довольно будет привести один только пример. Из произведений изобразительного искусства нам известно, что во время дионисийских празднеств участвовавшие в процессиях нагие юноши и женщины выставляли свою красоту напоказ. Было бы неправильно видеть в этом только каприз свободно творящего художника, потому что о такой процессии Лукиан ясно говорит следующее (*De Baccho*, 1): «Ибо о его армии они слышали от своих шпионов странные донесения: его фаланга и воинские отряды состояли будто бы из безумных и разъяренных женщин, увенчанных плющом, облаченных в шкуры молодых оленей, с короткими копытами не из железа, а тоже из плюща; они несли, небольшие щиты, издававшие — стоило до них дотронуться — глухой гул (ибо их барабаны напоминали щиты). Говорили также, что среди них были и какие-то деревенские парни — нагие, пляшущие кордак, с хвостами и рогами».

5. КУПАНИЕ

Мы можем вкратце указать еще на одну возможность видеть обнаженное человеческое тело, которой располагали греки, — публичные бани.

Уже в гомеровскую эпоху общепринятым было купаться и плавать в море или реках; однако уже тогда такая роскошь, как теплые бани (а они считались роскошью чуть ли не повсюду в Греции), была достаточно обычной. Само собой разумелось также, что теплая баня — это первое, что готовится для только что прибывшего гостя. В бане ему прислуживали одна или несколько девушек, которые поливали его тепловатой водой и «умачали жидким маслом»: иными словами, они энергично массажировали его руками, смоченными в масле, чтобы смягчить его кожу. Позднее обычно предпочитали, чтобы моющимся в бане прислуживал мальчик («Одиссея», vi, 224; χ , 358; девушки-прислужницы — «Одиссея», viii, 454; мальчик-прислужник — Лукиан, *Lexiphanes*, T).

В раннюю эпоху знатные семьи имели свои частные бани, наряду с которыми почти повсюду существовали бани публичные ($\delta\eta\mu\omicron\sigma\iota\alpha$: ср. Xen., *Resp. Atheniensium*, ii, 10); в редких случаях — там, где публичных бань не было, — в распоряжении народа находились бани при гимназиях и палестрах, как, согласно Павсанию (x, 36, 9), было в фокидской Антикире. Мы не можем со всей определенностью сказать, были ли в древности бани разделены по половому признаку, как можно было бы заключить из одного отрывка у Гесиода («Труды и дни», 753), где встречается выражение *женская баня* ($\gamma\upsilon\nu\alpha\iota\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu\ \nu\ \lambda\omicron\upsilon\tau\rho\beta\ \nu$), пользоваться которой мужчинам поэт воспрещает; однако это выражение может означать как *женская баня*, так и *способ, каким моются женщины*, причем в последнем случае может иметься в виду баня с более теплой водой и более приемлемая для женщин. Такой запрет вполне согласуется с представлением о том, что, по крайней мере, спартанцы, о суровых обычаях которых мы уже говорили, запрещали пользование теплыми банями, считая это изнеженностью, и держались обычая купаться в холодных водах Эвроты²¹. Согласно одному фрагменту Гермиппа (Ath., I, 18), купание в теплой воде для благородной молодежи было под таким же запретом, что и пьянство; представляется, что, когда в античных сочинениях говорится о банях, как правило, подразумеваются именно теплые бани. Плутарх сообщает о том, что Фокиона никогда не видели в публичных банях («Фокион», 4), а Демосфен считает посещение моряками бани грубым нарушением дисциплины (Демосфен, *Adv. Polycl.*, 35); его мнение хорошо согласуется с предостережением, которое Аристофан («Облака», 991, 1045) адресует молодежи, убеждая ее не пользоваться банями, так как те ведут к расслабленности и изнеженности, почему в древности их и не разрешалось размещать внутри городских стен. В своем идеальном государстве («Законы», vi, 761) Платон допус-

²¹ Относительно холодных бань спартанцев ($\psi\upsilon\chi\rho\omicron\lambda\upsilon\text{-}\alpha\iota\nu$) см схолии к Фукидиду, и, 36, Плутарх, «Алкивиал». 23

кает в них только больных и стариков. Эти суждения, с современной точки зрения, кажутся весьма суровыми, но они легко объяснимы, если учесть мягкость южного климата. Из многочисленных отрывков древней литературы явствует, что это мнение с течением времени претерпело изменения, и после Пелопоннесской войны вошло в привычку ежедневно принимать теплую баню.

Наряду с мытьем в обычной бане, можно было также воспользоваться парилками и паровыми банями, которые, как нечто само собой разумеющееся, упоминаются уже у Геродота (iv, 75). Однако подробное описание античных бань с их разнообразными отсеками, комнатами, залами и т.д. не входит в цели данной книги. Едва ли требуется особо напоминать о том, что люди в них мылись совершенно голыми, без всяких плавок, принятых ныне. Если некоторые замечания (см. Becker-Goll, *Charicles*, iii, p. 109), по-видимому, указывают на тот факт (ни в коей мере не установленный), что в публичных банях мужчины и женщины мылись отдельно, то объяснения ему следует искать не в ханжеской стыдливости, свойственной нашему времени, но в обстоятельстве, нередко упоминавшемся выше, а именно в том, что греки исключали *прекрасный пол* из общественной жизни, а мальчики и юноши, которые и были для греков прекрасным полом, вполне удовлетворяли их нужду в общении. Кроме того, женщины купались в своих банях полностью обнаженными, о чем свидетельствуют многочисленные рисунки на вазах; среди этих изображений можно найти лишь крайне редкие случаи, когда на девушках надеты в высшей степени скудные, тонкие, как паутина, сорочки. Со временем, однако, развился обычай совместного купания обоих полов; при этом, если не считать весьма спорного утверждения лексикографа Поллукса (жившего в правление императора Коммода) о том, будто не только оба пола, но и банщики пользовались чем-то наподобие плавок, другими доказательствами на этот счет мы не располагаем²². В то же время он цитирует две строчки из комедии Феопомпа, имеющие отношение к данной теме²³.

Если мы правильно понимаем общий смысл фрагмента, вырванного из контекста, который по меньшей мере вызывает сомнения, то, очевидно, он относится к довольно позднему периоду. Кроме этого фрагмента и упоминания у комедиографа Ферекрата (Pollux, χ, 181: ἤδη μὲν ὡαν λούμενος προζώννυται, Kock, CAF, J, 161), я не могу привести ни одного письменного свидетельства об использовании греками набедренных повязок -во время купания.

²² Pollux, vni, 66 το δε περί τοῖς αἰδοίοις οὐ μόνον γυνακῶν ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν, ὁπότε συν ταῖς γυναίξει λούοντο, ὡαν λουτρίδα εἰκε θεόπομπος ὁ κομικός ἐν παισὶ καλεῖν εἰπὼν τηνδὶ περιζωσάμενος ὡαὶ λουτρίδα κατάδεσμον ἡβης προπέτασον («надев на себя эту купальную повязку, завяжи ее узлом перед своею мужскою силою»)

²⁴ Pollux, X, 181 το μεντοι δέρμα φι ὕλοζώννυται αἱ γυναῖκες λουόμεναι ἢ οἱ λούοντες αὐτάς, ὡαν λυτρίδα εἴεστι καλεῖν (Kock, CAF, I, 743)

ГЛАВА III ПРАЗДНЕСТВА

1. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА

ДАЖЕ В НАШИ дни мы восхищаемся (и всегда будем восхищаться) греческой культурой, живя воспоминаниями о ней, ибо связь нашей цивилизации с античностью нерасторжима. Сколь многим греческие наука и искусство обогатили и продолжают обогащать нашу жизнь, возможно, не очень заметно на первый взгляд — именно потому, что их наследие в ходе веков превратилось в общее место. Но нет совершенства на этой земле; даже греки не были совершенны — в политике они были величайшими дилетантами, и их внутренняя раздробленность, их мелочная партийная борьба, их непрестанные жаркие распри находят, возможно, свое отражение только во внутренней политической истории Германии. Одним словом, греки были лишены политического или общенационального центра. Даже знаменитые атлетические состязания в Элиде, местности на северо-западе Пелопоннеса, не были таким центром, хотя, вне всяких сомнений, с течением времени они утратили свой локальный характер и стали достоянием всего народа, так что с 776 г. до н.э. во всей Греции отсчет времени велся по Олимпиадам, или четырехлетним промежуткам между празднествами. Эти и другие игры называют общенациональными только потому, что в них принимала участие вся нация (правильнее выражаясь, все племена); тем не менее они не могли привести к общенациональному объединению, хотя, пока длилась *Экхеярия* (охраняемое богами перемирие), т.е. в течение пяти праздничных дней, определенное единство действительно существовало.

Но в то время как движущим импульсом этих атлетических состязаний было похвальное соперничество городов и областей, партикуляристские раздоры, порожденные ревностью, лишь приглушались, чтобы вспыхнуть с новой силой и еще большим ожесточением. И все-таки жизнь, разворачивавшаяся в праздничную неделю на берегах Алфея, была, конечно же, бесподобно красочна и свежа.

Исчерпывающее описание праздника в Олимпии и других общенациональных игр не входит в задачи настоящей книги, посвященной описанию морали, то есть сексуальной жизни, греков. Здесь может быть упомянуто только самое важное, чтобы сориентировать читателя или освежить его память. Поскольку культ Зевса в Олимпии был очень древним, существовало поверье, что эти игры были учреждены Гераклом или Пелопом; находясь некоторое время в забвении, они были возрождены около 800 г. до н.э. Ифитом, царем Элиды. Праздник проводился каждый пятый год, в первое полнолуние после летнего солнцестояния, то есть в начале июля. Во время игр оружие должно было бездейство-

вать; земля Элиды, на которой располагалось общенациональное святилище, во все времена находилась под покровительством бога и была неприкосновенной.

Состязания (или *agones*) были отчасти гимническими, т.е. такими, где все решали сила и проворство обнаженного тела, как в беге, борьбе, кулачном бою, метании диска и т.д., отчасти — гиппическими (от *hippos* — конь), как скачки на конях или мулах, соревнования двойных и четверных упряжек или скакунов. Благочестиво напоминая о тех временах, когда проводились только состязания в беге, Олимпиада получала свое название по имени победителя, завоевавшего первый приз в этом виде атлетики.

В древнейшую эпоху наградой победителю был любой сколько-нибудь ценный предмет; позднее, по указанию дельфийского оракула, победитель получал в дар лишь простой венок из ветвей оливы. Ветви эти — что характерно для эллинского чувствования — со священного дерева венков славы золотым ножом срезал статный юноша, чьи родители были еще живы и для которого греки придумали прекрасное прозвище *цветущий с обеих сторон* (αμφιθαλής). Атлеты состязались единственно ради чести и славы, и, по словам Цицерона, «олимпийский победитель почитался среди греков едва ли не выше, чем справивший триумф полководец в Риме». «Венки выставлялись на столе из золота и слоновой кости в храме Зевса перед изображением бога. Здесь, у ног божества, дарующего победу, стояли также кресла элланодиков, распределявших награды. Победители приходили, окруженные друзьями, родственниками и толпой народа, которая, насколько позволяло место, втискивалась в залы и галереи храма. Затем глашатай еще раз объявлял имя и родину победителя, один из элланодиков обвивал его чело шерстяной повязкой (*taenia*) и возлагал на него победный венец.

«Священные гимны, — говорит Пиндар (*Olympia*, H1, 10), — низли-ваются [на победителя], когда строгий этолийский судья венчает чело блеском зеленой оливковой ветви по древним уставам Геракла». Затем увенчанные победители вместе с друзьями здесь же приступали к жертвоприношению; тем временем сопровождавшие их хоры гремели победными напевами; для этого случая песнь иногда составлялась поэтом — другом победителя, но при отсутствии такового обычно пели старинный напев Архилоха, прославлявший победоносного Геракла и его товарища Иолая:

Слава тебе, в победном венке, мощный Геракл,
Слава тебе, Иолай, слава паре бойцов,
Тенелла, слава тебе, победитель.

Затем следовало пиршество, устраивавшееся элейцами в честь победителей в пиршественном зале, или пританее, у очага святилища. Всеми собравшимися внутри и вне пританее овладевало шумное праздничное веселье. «Когда сияет милый вечерний свет прекрасной Селены, тогда вся прихожая вторит победным песням праздничного пира». (Пиндар).

Эллины ценили победу на Олимпийских играх едва ли не выше,

чем римские полководцы свой триумф; муж, ее добившийся, достигал, по слову Пиндара, Геракловых Столпов; ему выпадало величайшее земное счастье, и мудрый поэт предостерегал его от стремления подняться еще выше и сравняться с богами. Хилон из Спарты, один из семи мудрецов, умер от радости, узнав о победе сына. Диагор Родосский, принадлежавший к семье, которая возводила свое происхождение к Гераклу и славилась искусством кулачного боя, дважды побеждал в Олимпии и несколько раз — на других общенациональных состязаниях. Когда он присутствовал в Олимпии при победе двух своих сыновей, некий спартанец, обращаясь к нему, воскликнул: «Умри, Диагор, ведь тебе все равно не взойти на небо!» И он умер, когда оба юноши обняли его и возложили на него свои венки. Друзья и родственники победителя имели право воздвигнуть его статую в Альтисе (священной роще Зевса), а троекратному победителю разрешалось поставить свою статую в натуральную величину, максимально похожую на оригинал.

Обычно победитель изображался участником того вида состязаний, в котором ему удалось отличиться; нередко он был запечатлен в самый миг победы. Должно быть, в Альтисе имелось весьма большое количество подобных статуй, потому что Павсаний, упоминающий только наиболее выдающиеся, насчитывает их более двухсот. Богатые победители колесничных состязаний заказывали увековечить в бронзе себя, своих возниц, лошадей и колесницы.

Великие почести ожидали олимпийского победителя в родном городе, ведь своей победой он способствовал также прославлению родины. В пурпурном одеянии восседал он в колеснице, запряженной четверкой белых коней, его сопровождали друзья и родственники, •верхом и на колесницах; под ликование народа он въезжал в город. Чтобы создать широкий проезд для его колесницы, сносили часть городской стены и ворот: по словам Плутарха, город, обладавший такими мужами, считал, что стены ему не нужны. Праздничное шествие двигалось по главной улице к храму верховного божества, где победитель оставлял свой венок как обетное приношение. Затем в честь победы устраивался великий пир. Во время шествия и пиршества раздавались торжественные хоровые песни. Великой удачей считали, если выдающийся поэт — например, Пиндар — сочинял победителю триумфальную песнь для такого празднества, ибо тогда он мог быть уверен в том, что слава его будет прочной. Обычно пир с победными песнями повторяли и в последующие годы. На долю победителя выпадали и другие награды: в гимнасиях и палестрах, на рыночной площади или у входа в храм ему возводились почетные статуи. В Афинах, по закону Солона, олимпийский победитель получал в дар 500 драхм (около 20 фунтов), а также почетное место на всех публичных зрелищах; кроме того, ему предоставлялась привилегия обедать в пританее. В Спарте наряду с подобными отличиями победитель получал также почетное право сражаться рядом с царем²⁴.

²⁴ Н. W. Stall, *Bilder aus dem altgriechischen Leben*, 1875, S. 230.

Многие государства направляли на игры особых посланников (θεσφοί), которые нередко являлись на них с большой помпой, чтобы придать общему празднеству славы и представить свою родину во всем ее блеске. Вместе с праздником проводилась также большая ярмарка, на которую устремлялись всевозможные путешественники и толпы благожелательных юношей и девушек. Здесь можно было слышать все диалекты греческого языка, здесь встречались друзья, не видевшиеся многие годы, совершались знакомства с великими людьми, завязывались новые дружественные, деловые и семейные узы. Со второй половины пятого столетия в Олимпии можно было услышать также лекции риториков, софистов, историков и поэтов, и с течением времени в Олимпии все ярвственнее чувствовался дух сенсационности. Так, в 165 г. н.э. полусумасшедший странствующий философ Перегрин Протей вящей славы ради объявил о том, что совершит на олимпийском празднике самосожжение на глазах у публики. Что под нажимом толпы и было им исполнено, неважно — раскаивался он в своем поспешном решении или нет.

В связи с нашей темой интересен также вопрос об одежде атлетов, состязавшихся в Олимпии. Наши сведения на этот счет восходят к важному, но безусловно спорному месту в историческом труде Фукидида (i, 6; ср. Геродот, i, 10), согласно которому в древнейшие времена участники соревнований выходили на арену обнаженными, если не считать повязки вокруг бедер. Все это вполне правдоподобно, но мы должны проявлять осторожность и — в согласии с моральным кодексом нашего времени — не приписывать это прикрытие половых органов угрызениям нравственного чувства, но видеть в нем скорее рудимент ориентального воззрения, которое в глубокой древности оказывало на греков очень серьезное влияние. Жители Азии, как говорилось ранее, считали постыдным обнажать тело, и если мы свяжем этот страх перед видом наготы с весьма древней верой в духов, то едва ли погрешим против истины. Как бы то ни было, то, что греческие атлеты в Олимпии, по меньшей мере, бегуны, начиная с пятнадцатой Олимпиады, или с 720 г. до н.э., отказались от ношения этой повязки и выходили на арену полностью нагими, является установленным фактом.

Пифийские игры — праздник Аполлона Пифийского в Дельфах — первоначально проводились раз в девять лет и сопровождалась музыкальными состязаниями, т.е. состязаниями певцов под аккомпанемент кифары, называвшихся поэтому *кифаредами* (*citharoedi*). Но после 586 г. до н.э. праздник стали устраивать раз в пять лет, на третий год Олимпиады, и музыкальный агон был расширен: в состязаниях отныне принимали участие *авлеты* (*auletae*, *флейтисты*) и *авлоды* (*aulodae*), певшие под аккомпанемент флейты. Были также добавлены гимнические и гиппические состязания, на которых в качестве победного венка использовался священный лавр Аполлона.

Истмийские и Немейские игры также были общенациональными: Истмий проводились на Коринфском Истме (перешейке) близ святилища Посидона, а Немей — в немейской роще Зевса; и те и другие устраивались раз в три года. Наряду с перечисленными существовало

известное число местных игр, которые не могли сравниться с великими играми, особенно Олимпийскими; из них в рамках нашего повествования следует упомянуть лишь две. В Коринфе наряду с великими Истмийскими играми в честь Афины Паллады праздновались Геллотии; на них прекрасные юноши состязались в беге с факелами (Пиндар, *Olympia*, xiii, 40; см. схолии). В Мегарах в начале весны устраивались Диоклии в честь национального героя Диокла. О Диокле рассказывали по-разному; о его смерти сообщалось, что в битве он сражался рядом со своим любимцем, в момент опасности прикрыл его своим щитом и спас ему жизнь, отдав свою. Эти игры были учреждены для увековечения памяти о пожертвовавшем жизнью афинском чужестранце; на них молодежь состязалась в поцелуях. Феокрит (xii, 30) так описывает этот турнир:

Возле могилы его собираются ранней весной

Юноши шумной гурьбой и выходят на бой поцелуев.

Тот, кто устами умеет с устами всех слаще сливаться,

Тот, отягченный венками, идет к материнскому дому,

[перевод М Е Грабарь-Пассек]

Похожее состязание в поцелуях, разумеется, приукрашенное романическим слогом, но живое и в целом верное духу античности, описано в романе Эме Жирона и Альберта Тоцца «Ангиной», где речь идет об аналогичном празднике в египетских Фивах, являющихся местом действия романа.

С Элевсинскими таинствами были связаны гимнические состязания, народные игры, пение и танцы, а позднее и театральные представления. Если Элевсинии — несмотря на свой священный характер или скорее благодаря ему — не были лишены эротической окраски, то в еще большей степени она была присуща пятидневному празднику Фесмофорий, справляемому исключительно женщинами в честь двух *фесмофор* (*thesmophoroi*), или богинь — подательниц закона, — Деметры и Персефоны. Хотя некоторые его детали весьма неясны, все же в целом можно говорить о том, что основной идеей праздника было памятование о Деметре, которая, будучи изобретательницей сельского хозяйства, впервые сделала возможной для человека оседлую жизнь и в частности оказала влияние на жизнь женщины и супружество. *Сеяние и зачатие детей* были для греков идентичны как понятийно, так и в языковом обиходе. Поэтому праздник справлялся в месяц сеяния, на Крите и Сицилии называвшийся *фесмофорион*, в Беотии — *даматрион*, в Афинах — *пианепсион*, и более или менее соответствовавший нашему октябрю. Если верить Геродоту (ii, 71), этот культ был широко распространен уже среди догреческого автохтонного населения Эллады — пеласгов. В любом случае он праздновался по всей Элладе и отмечался даже в отдаленных колониях на Сицилии и берегах Черного моря, во Фракии и в Малой Азии.

В Аттике Фесмофории, которые отчасти известны нам по веселой комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофории» (*Thesmopho-*

riazusai), праздновались с девятого по тринадцатое число месяца пианеп-сиона. Всем женщинам, желавшим участвовать в празднике, вменялось в обязанность отказаться от полового общения за девять дней до его начала; здравомыслящие жрецы называли это актом благочестия, тогда как действительной причиной этого требования было, конечно же, то, что истомленные долгим воздержанием женщины охотнее будут участвовать в эротических оргиях. Чтобы укрепиться в требуемой от них чистоте, сохранение которой женщины находили, вероятно, задачей не из легких, они раскладывали на своем ложе остужающие страсть травы и листья, особенно *agnus castus* (ἄγνος ἀγνός, или ἄγνος, — делающий неплодным) и другие растения (такие, как κνέφρον, κόνυζα). Согласно Фотию (И, 228, Nabert), в эту пору женщины ели чеснок, чтобы неприятным запахом изо рта отпугнуть от себя мужчин.

2. ДРУГИЕ ПРАЗДНЕСТВА

На сельских Дионисиях торжественная процессия проносила один или несколько гигантских фаллосов. Здесь имели место всевозможные деревенские развлечения, гротескные танцы и шуточные поношения, изобиловавшие более или менее грубыми непристойностями. На второй день праздника особый повод для развлечения предоставляли Асколии²⁵. Во время Асколии обнаженные юноши на одной ноге прыгали на винном мехе или бурдюке, который был наполнен до краев и смазан маслом; их задачей было удержаться наверху и не соскользнуть вниз, что, несомненно, приводило к чрезвычайно забавным позам, хотя статные «прыгуны на винном мехе» были поистине прекрасны. Согласно Вергилию (*Georgica*, ii, 384), схожая забава пользовалась популярностью и в Италии.

Вскоре после сельских Дионисий в самих Афинах праздновались Ленеи, праздник винодавлен. Главным номером в его программе было большое пиршество, мясо для которого поставляло государство, и танцы на улицах города наряду с более или менее незамысловатыми шутками, свойственными праздникам Диониса. Многие участники процессии (которую можно сравнить с современным балом-маскарадом) появлялись в карнавальных нарядах, особенно предпочитая костюмы нимф, ор, вакхантов и сатиров; вполне очевидно, что предписываемые мифологической традицией легкие одеяния подвигали на всевозможные эротические шалости. Не было, разумеется, недостатка и в чувственных танцах, столь ярко и хорошо описанных Лонгом (ii, 36) в прелестной повести о любви Дафниса и Хлои. У него мы читаем: «Все, наслаждаясь, лежали в глубоком молчаньи. Тогда встал Дриас и, сыграть попросив Дионисов напев, стал пред ними плясать виноградарей пляску. И он подражал, как виноградные гроздья срезают, как в корзине несут, как эти гроздья жмут, как бочки соком наполняют, а затем и вино молодое пьют. И слова ἀσκός, винный мех все так

²⁵ Возможно, происходит от

красиво и ясно пляской Дриас показал, что, казалось, своими глазами видели все виноград, и точило, и бочки, и будто и вправду пил сам Дионис» [перевод С. П. Кондратьева]. Многие участники праздника разъезжали при этом на повозках, с которых разыгрывались всевозможные трюки и шутки, так что выражение «шутить с повозки» (εἰς ἀμάξης ὑβρίζειν) вошло в поговорку. В этом празднике можно видеть прообраз римского карнавала с его разездами по главной улице города, разбрасыванием конфетти и тому подобными забавами. Едва ли нужно особо напоминать о том, что новое вино текло рекой так же, как и на празднике Диониса, однако следует отметить тот факт, что здесь проводилось состязание певцов священного дифирамба (тот же обычай существовал и на сельских Дионисиях), а также давались драматические представления в Ленеоне, от которого праздник и получил свое название. (Ленеон — район на юге Акрополя, посвященный Дионису, с двумя храмами и театром.)

В следующем месяце анфестерионе (*Anthesterion*) справлялся праздник Анфестерии (*Anlhestheria*); на нем починались бочки с перебродившим вином. На второй день, в праздник Кружек, за общим застольем пили наперегонки новое вино, а тайное жертвоприношение Дионису, совершавшееся женой архонта-басилевса, второго по значению должностного лица в городе, символизировало ее брак с этим богом. Третий день назывался праздником Горшков; в этот день в качестве дара Гермесу Хтонию (Подземному) и душам умерших выставлялись горшки с вареными овощами.

Наконец, в месяце элафеболионе (*Elaphebolion*; март-апрель) наступали великие или городские Дионисии, которые длились несколько дней и своим великолепием привлекали множество деревенских жителей и чужеземцев. Здесь также можно было подивиться пышному шествию, во время которого хоры мальчиков пели радостные дифирамбы в честь Диониса и исполняли красивые танцы. Мы располагаем документом (*Corpus Inscriptioinum Atticarum*, ii, i, 203, No. 420), в котором выносятся благодарности мальчикам и наставнику, научившему их пению и танцам. После захода солнца процессия пускалась в обратный путь, на улицах устраивались импровизированные ложа, народ напивался допьяна, и свою роль в увеселениях играли один или несколько фаллосов (Филострат, *Vitae sophistarum*, II, i, 235). Кульминацией праздника были два-три дня, когда перед огромной толпой зрителей исполнялись трагедии и комедии, на постановку которых заграчивались немалые средства.

Можно еще упомянуть тот факт, что во многих частях Греции, особенно на Кифероне и Парнасе, на островах и в Малой Азии, раз в два года проводилось ночное празднество в честь Диониса, в котором принимали участие только женщины и девушки. Облаченные в одежды вакханок, в олени шкуры, с распущенными волосами, с тирсом и тамбурином в руках, женщины совершали на вершинах неподалеку от дома всевозможные жертвоприношения и танцы, которые — из-за вина, в остальное время потреблявшегося весьма редко, — очень скоро выродились в дикие оргии, ясное представление о которых мы можем

получить из многочисленных памятников изобразительного искусства и поэзии.

В задачу этой книги не входит подробное описание других многочисленных праздников, справлявшихся в разных уголках Греции; вместо этого мы дадим краткий обзор тех греческих праздников, в которых играл свою роль сексуальный импульс.

В месяце гекатомбеоне (*Hekatombaion*; июль-август) в честь Гиакинта праздновались Гиакинтии (*Hyacinthid*). Гиакинт был любимцем Аполлона; но Зефир, бог ветра, также любил мальчика, и поэтому, когда Аполлон забавлялся со своим любимцем метанием диска, ревнивый ветер направил тяжелый круг диска в голову Гиакинта, от чего мальчик и погиб. Праздник длился три дня: в первый день в память о прекрасном юноше приносились торжественные и скорбные жертвы умершим; два оставшихся дня проводились радостные шествия и состязания в честь Аполлона Карнея. Афиней (iv, 139d) дает подробное описание Гиакинтии: «Спартанцы справляют праздник Гиакинтии в течение трех дней. Скорбя о смерти Гиакинта, они никогда не увенчивают себя на своих трапезах, не подают на стол хлеба или других печеностей; они не поют богу пеанов и не совершают ничего такого, что обычно сопровождает другие жертвоприношения, но, поев, сдержанно удаляются. На второй день устраиваются различные зрелища и проводится достойное внимания величественное собрание. На нем выступают юноши, которые, высоко подпоясав хитоны, играют на кифарах и, пением вторя флейтам, пробегают плектром по всем струнам, двигаясь в анапестическом ритме и славя бога звонкими голосами. Другие юноши в прекрасном убранстве скачут через место собрания на конях; после этого выходят многочисленные хоры юношей, распевая некоторые местные песни, с ними смешиваются танцоры и под аккомпанемент флейты и песен исполняют старомодный танец. Некоторые из девушек разезжают в это время в пышно украшенных плетеных колясках и словно бы приготовленных к бою колесницах, и весь город находится в состоянии радостного возбуждения от разворачивающегося у него на глазах зрелища. В этот день приносится великое множество жертв, и граждане угощают всех своих знакомых и даже рабов. Не найдется такого, кто не принял бы участия в священном празднике, и город кажется пустым, ибо все отправились смотреть представление».

Гимнопедии (*Gymnopaedia*; буквально — *танец нагих мальчиков*) являлись гимнастическим праздником, который с 670 г. до н.э. ежегодно проводился в Спарте; позднее они были посвящены памяти спартанцев, павших при Фирее (544 г. до н.э.), и сопровождалась танцами и телесными упражнениями нагих мальчиков. Характерно, что этот праздник, служивший прославлению юношеской красоты и длившийся от шести до десяти дней, настолько высоко почитался спартанцами, что даже самые тревожные события не могли отвлечь их от него²⁶.

Относительно гимнопедий существуют большие неясности, однако следующие замечания совершенно бесспорны. Беккер (*Anecdota*, i, 234)

²⁶ Описание танца юношей см. у Афиней, *χiv*, 63 lb.

рассказывает, что на спартанских гимнопедиях обнаженные мальчики пели пеаны и танцевали в честь Аполлона Карнейского, а у Гесихия (s.v. ὑμνοπαῖδια) мы читаем: «По мнению некоторых, это — спартанский праздник, во время которого мальчики оббегают вокруг алтаря в Амиклах, хлопая друг друга по спине. Но это ошибочное утверждение, потому что они проводят этот праздник на рыночной площади; кроме того, не наносится никаких ударов, но устраиваются шествия, и хоры обнаженных мальчиков поют песни».²⁷ Это сообщение находится в согласии с недавно найденной в амиклейском святилище бронзовой статуэткой обнаженного корифея с характерным венком (См. Wolters, *Archaeologie*, i, ii, 96, 70).

В боэдромионе (*Boedromion*; сентябрь-октябрь) праздновались издревле славные и в высшей степени сакральные Элевсинии. Особые подробности праздника, длившегося более девяти дней, установить непросто, однако войти в их детальное рассмотрение нет никакой необходимости. Со временем, когда к представлениям о смерти и последующем возрождении семени-зерна, имеющим свой мифологический прототип в рассказе о Персефоне, которая была похищена Аидом и обречена проводить полгода под землей, а полгода под лучами солнца, присоединилась более глубокая идея бессмертия, исконный сельский праздник приобрел глубоко религиозный, эзотерический характер. Он развился в тайный культ, посвящение в который можно было получить, пройдя особые мистериальные обряды, не подлежащие разглашению ни при каких обстоятельствах. Уже тогда свою мистическую роль в страстях, смерти и воскресении божества играли вино, хлеб и кровь.

В первые дни праздника участники торжественного шествия к морю совершали жертвоприношения, очищения и омовения; имели место также и шумные процессии. На шестой день по Священной дороге из Афин в Элевсин (около пятнадцати километров) выходила большая праздничная процессия. Ее предводителем выступал якобы сам Иакх, именем которого на языке Элевсинских мистерий звался Дионис. В шествии принимали участие тысячи людей, увенчанных плющом и миртом, с факелами, сельскохозяйственными орудиями и колосьями в руках. Иакх, словно яркая звезда, вел *мистов* (посвященных) на священную церемонию в Элевсинском заливе, и несколько ночей окрестные горы оглашались воодушевленными песнями, а в морских волнах отражалось сияние факелов.

В месяце пианепсионе (*Pyanepsion*; ноябрь-декабрь) в Афинах, Спарте, Кизике и других местах справлялись Пианепсии (*Pyanepsia*). Они получили свое имя от слова *pyanos* — тарелка с бобами или очищенным ячменем — и представляли собой праздник урожая, посвященный Аполлону и Артемиде. На нем был принят обычай, согласно которому юноши носили *эиресиону* (*eiresione*)²⁸ — оливковую ветвь, обвитую

²⁷ Ср. также Павсаний. ш, 17, 9: Суда, s.v.; Афиней, xv, 678b.

²⁸ Такое же название носила и песня-моление: ср. Песню ласточки, исполнявшуюся родосскими юношами (Ath., vin, 360).

шерстью и связанную на манер венка, — из дома в дом, распевая при этом народные песни и выпрашивая милостыню.

В том же месяце в Афинах справлялись Осхофории (*Oschophoria*²⁹). Они получили свое название от слова *oshoi* (виноградные ветви с гроздьями на них). Такие *осхи* несли во главе шествия два прекрасных мальчика, избиравшиеся от каждой филы, которые были одеты женщинами³⁰ и чьи родители были еще живы. *Осхи* проносили также выдающейся красоты эфебы, которые участвовали в забеге от храма Диониса до святилища Афины Скирады в фалеронской гавани. Победитель получал в качестве приза чашу с напитком (напиток назывался *πενταπλόα: содержащий пять ингредиентов*; Ath., xi, 4950, который готовили из пяти продуктов сельскохозяйственного года: вина, меда, сыра, муки и масла, и вместе с хором других юношей танцевал веселый народный танец.

Об облачении двух мальчиков, кажущемся для нас странным, Плутарх (*Theseus*, 23), возводящий учреждение праздника к Тесею, сообщает следующее: «...отправляясь на Крит, он увез с собою не всех девушек, на которых пал жребий, но двух из них он подменил своими друзьями, женственными и юными с виду, но мужественными и неустрашимыми духом, совершенно преобразив их наружность теплыми банями, покойною, изнеженною жизнью, умщениями, придающими мягкость волосам, гладкость и свежесть коже, научив их говорить девичьим голосом, ходить девичьей поступью, не отличаться от девушек ни осанкой, ни повадками, так что подмены никто не заметил. Когда же он вернулся, то и сам и эти двое юношей прошествовали по городу в том же облачении, в каком ныне выступают осхофоры. Они несут виноградные ветви с гроздьями — в угоду Дионису и Ариадне, или же (и последнее вернее) потому, что Тесей вернулся порою сбора плодов» [перевод С. П. Маркиша].

Из письма Алкифрона (ш, 1), в котором девушка, явившаяся в Афины посмотреть этот праздник, описывает его матери, явствует, что для несения ветвей винограда отбирались прекраснейшие из юношей: «Я совершенно растеряна, матушка, и не перенесу теперь брака с этим капитанским сынком из Мефимны, за которого, как недавно говорил отец, я должна выйти замуж, — с тех пор как увидела этого юношу из Афин с виноградными ветвями, шедшего в процессии в тот день, когда ты послала меня в город на праздник. Он прекрасен, матушка, как он мил и прекрасен! Его кудри гуще лесного мха, его улыбка пленительней летнего моря. Когда он смотрит на тебя, его глаза сверкают темным блеском, как сверкают зыби океана под лучами солнца. А его лицо! Ты сказала бы, что на его щеках восседали сами Грации, а на губы осыпались розы с груди Афродиты».

Настоящим мальчишеским праздником были справлявшиеся в Афи-

²⁹ Название праздника послужило поводом для всевозможных шуток, потому что слово *οσχοφορικόι* (несущие виноградные ветви) напоминало греческому уху слово *οσχεός* (мошонка).

³⁰ Другими словами, они *были* облачены в старинное ионийское платье, создававшее впечатление, будто они являются девушками (см. Bottiger, Baunkult, S 339, fig. 42: многие детали этого праздника остаются неясными; ср. также Прокл, Хрестоматия, 28).

нах на следующий день после Осхофорий Тесеи (*Theseia*). Главным их событием был парад афинской молодежи, сопровождавшийся гимнастическими состязаниями. Здесь толпились мальчики всех возрастов, четырехкратно превосходившие своей численностью молодых людей и мужчин, ведь Тесей был идеальным типом юноши, и именно к нему они устремляли свои взоры и ему мечтали подражать. Всякий, кто отличился в гимнастических упражнениях, гордо называл себя Тесеидом и так же, как достойный сын и ученик Тесея, служил образцом для мальчиков Аттики. Забеги и гимнастические состязания были обычным явлением даже и на Эпитафиях (*Epitaphia*) — празднике мертвых.

В мунихионе (*Munichion*; апрель-май) в различных частях древнего мира праздновались Адонии (*Adonia*). Согласно мифу восточного происхождения, Адонис — юноша, чья красота вошла в поговорку, любимец Афродиты — был растерзан вепрем во время охоты. Зевс сжалился над горько оплакивавшей своего возлюбленного богиней и позволил, чтобы раз в год Адонис на короткое время возвращался к ней из мира мертвых. Этот миф нашел свое символическое выражение в празднике Адониса: в первый день оплакивался его уход из мира, а на второй преобладали радость и веселье по случаю его возвращения. С особой пышностью этот праздник отмечался женщинами. Выставлялись или проносились по улицам изображения Адониса и Афродиты; распевались заплачки о смерти юноши и радостные гимны о его возвращении; их прекрасные образчики сохранились в стихотворениях Феокрита и Биона (Феокрит, xv; Бион, i).

В таргелионе (*Thargelion*; май-июнь) раз в девять лет праздновались Дафнефории (*Daphnephoria*). Название означает «праздник лавроносцев» и объясняется тем фактом, что, выступая в священной процессии, дафнефор (лавроносец) — прекрасный юноша, чьи мать и отец были живы, нес к храму Аполлона Исмения так называемое *коно* (см. Прокл у Фотия, «Библиотека», сод. 239), или украшенную лавром, цветами и шерстяными лентами ветвь оливы. Храм был увенчан бронзовым шаром, к которому были подвешены меньшие шары; у его подножия лежал похожий на верхний, но меньший шар; эти шары якобы символизировали небесные тела.

В праздник Мунихии (*Munichia*), отмечавшийся в честь знаменитой саламинской победы, афинские эфебы отправлялись на Саламин, где проводились парусная регата, праздничные шествия, жертвоприношения и гимнические состязания. У нас имеются также сведения о забеге на длинную дистанцию, в котором афинские эфебы состязались с юношами Саламина, и о факельном шествии.

Во время Таргелий, посвященных Аполлону и Артемиде, выступали хоры мужчин и мальчиков, и, по всей видимости, хоры мальчиков пользовались особенной популярностью.

Во время колофонских Таргелий, в случае если после голода, мора или другого подобного бедствия город нуждался в очищении, по улицам проводился так называемый *pharmakos* — человек, приносимый в искупительную жертву за других, козел отпущения, на роль которого, как правило, избирали самого ненавистного горожанина; он принимал на

себя всю скверну и изгонялся за пределы города. За городской стеной ему в руки вкладывали хлеб, сыр и смоквы, и, согласно Гиппонакту (PLG, фрагм. 4—9; Tzetzes, *Chiliades*, 5, 726), под особую мелодию флейты хлестали по гениталиям ветвями дикой смоковницы и морского лука.

Поразительно часто сообщают древние писатели о распутных танцах. Так, в Элиде существовал танец в честь Артемиды Кордаюи, причем любой человек, знающий греческий язык, вполне способен сделать выводы о непристойном характере танца из самого имени богини (ср. Павсаний, vi, 22, 1).

Другие эротические танцы перечисляются Нильссоном, который замечает: «Таким образом, непристойные танцы, иногда также песни и маскарады во служение богине-деве, засвидетельствованы для большей части греческого мира — Лаконии, Элиды, Сицилии, Италии. Сексуальная жизнь вводится в культ грубым и неприкрытым образом. Фаллическое снаряжение играет известную роль в жертвоприношении Артемиде, хотя в других случаях мы ожидали бы встретить его только в культах Деметры и Диониса».

Свита Диониса состоит из итифаллических демонов, духов плодородия и вегетации, пляски которых служили предметом подражания для почитавших их людей; представляется, что устраивались также маскарады, сопровождавшие этих демонов повсюду.

Итак, нет ничего странного в том, что нечто похожее мы находим в культе богини плодородия Артемиды. Ее свита была, разумеется, женской, за исключением одного неясного случая. Женские духи, соответствовавшие сатирам и тому подобным существам, были облагорожены настолько, что их происхождение перестали осознавать; но мы должны помнить о гомеровском гимне к Афродите (v, 262: «Нимфы сочетались любовью $\acute{\omega}$ силами») и вазовых рисунках, которые музеи не решаются выставлять на всеобщее обозрение.

Такие танцы были свойственны также культу Артемиды Корифалии; но ее празднество, Титенидии (*Tithenidia*), называлось Праздником кормилиц. Возможно, танцы исполнялись на другом празднике этой же богини; однако ничто не мешает нам видеть в них часть Титенидии, потому что культ богини имел гораздо большее распространение, чем подсказывает название праздника. След этого сохранился в том, что Титенидии были также и праздником плодородия, имевшим всеобъемлющее значение. Пока кормилицы относили маленьких мальчиков к Артемиде Корифалии, в городе, как и во время Гиакинтий, устраивалось нечто вроде «праздника кушей» (κοῦσις; ср. Ath., iv, 138e, 139a). Такие хижины встречаются на праздниках богов плодородия, особенно на праздниках урожая, и за пределами Греции; с ними можно сопоставить также и хижины на Карнеях (σκιάδες; v. Ath., iv, 141e). Мы не знаем, почему к богине относили только детей мужского пола, причем относили не матери, но кормилицы, однако трудно отделиться от впечатления, что праздник несколько выродился. Как бы то ни было, существовало поверье, что богиня одарит малышкой своими милостями, и под ее покровительством они достигнут большего преуспеяния.

Оргиастические танцы были обычным явлением также на других праздниках Артемиды, но вникая в подробности, мы лишь повторили бы уже сказанное.

Едва ли необходимо вновь указывать на безумное неистовство менад, которое достаточно хорошо известно; о том, что большую роль играл здесь фаллос, уже говорилось. На красно фигурной вазе с Акрополя мы видим полностью обнаженную менаду, размахивающую фаллосом в экстагическом иступлении танца. Фаллосы из камня или другого материала, как и фаллические статуи или статуэтки, в больших количествах обнаруживаются в ходе раскопок. Если дионисийские оргии первоначально были обращены к богу плодородия, то со временем они стали символизировать нечто более высокое — чаемое и достигаемое посредством экстаза слияние с божественным, глубоко укорененный в человеческом сердце порыв, обеспечивший Дионису его победное шествие по греческому миру³¹.

Из одной — несомненно, испорченной — надписи (*Corpus Inscriptio-num Graecarum*, ii, 321) мы узнаем, что даже во время войны принимались меры, обеспечивавшие безопасный проход фаллического шествия в город. Уже упоминалось о том, что колонии должны были присылать фаллосы на великие афинские Дионисии; интересно отметить, что имеется сообщение с острова Делос, согласно которому приготовленный однажды для этой цели деревянный фаллос стоил 43 драхмы; он был вырезан неким Каиком и раскрашен Состратом (*Bulletin de Correspondence Hellenique*, xxix, 1905, p. 450).

К сожалению, Павсаний, рассказывающий о мистериях, справляемых в честь Диониса и Деметры, говорит, что «считается нечестием разглашать непосвященным ночные обряды, ежегодно совершаемые в честь Диониса». В другом месте он сообщает, что на празднике Скиерея в Аркадии женщины подвергались бичеванию — женский аналог бичевания спартанских мальчиков и юношей (Павсаний, ii, 37, 6; viii, 23, 1).

Как на Фесмофориях, так и на празднике Деметры Мисии неподалеку от Пеллены на Пелопоннесе запрещалось присутствовать мужчинам; на него не пускали даже псов (Павсаний, viii, 27, 10). Праздник длился семь дней; на третьи сутки ночью проходили главные торжества; а на следующий день уже и мужчины, и женщины предавались весьма грубым забавам и потехам.

Нередки свидетельства о том, что мужчины, по крайней мере временно, не допускались на праздники Деметры: например, на праздник в лаконской Эгиле (Павсаний, iv, 17, 1), на мистерии Деметры на острове Кос (Paton-Hicks, *Inscriptions of Cos*, No. 386) и многие другие, которые нет нужды упоминать, поскольку о них невозможно сказать что-нибудь существенно новое.

³¹ О фаллосе ср. Плутарх, *De cupiditate divitiarum*, 527d: «В древности праздник Дионисий справлялся на веселый народный лад: [по улицам] проносили кувшин с вином и виноградную ветвь; затем кто-нибудь приводил козла, а другой приносил корзину, полную смокв; и надо всем — фаллос». Величественную процессию, организованную Птолемеем Филадельфом в Александрии, «сопровождал исполинский фаллос» (Калликсен у Афиня, v, 196).

Также и Афродита — великая подательница любви — была изначально богиней вегетации и плодородия; нигде в Греции не встречала она такого поклонения, как на Кипре.

Известно, что в Пафосе на Кипре ежегодно проводились праздничные собрания, на которые приходили мужчины и женщины со всего острова; представители обоих полов сообща выступали в Палепифос, находившийся неподалеку, где справлялись всевозможные эротические мистерии; о них мы слышим главным образом от Отцов Церкви (Clem. Alex. *Protrepticon*, p. 13; Arnobius, *Adversus Gentes*, 5, 19; Firmicus Maternus, *Err. Prof. Rel.*, 10), которые в своем христианском негодовании, разумеется, скорее сбивают с толку, чем дают вразумительное и связное описание того, что на них происходило. Посвященным вручали соль и фаллос, а они взамен дарили богине монету. С этим был связан обычай религиозной проституции, которая, согласно Геродоту (1, 198; ii, 64), была распространена не только в Пафосе, но на всем острове. Сравнивая ее со сходным обычаем в Вавилоне, мы должны заключить, что раз в жизни девушки удалялись в святилище Афродиты (Милитты) и отдавались первому, кто к ним подойдет (см. роман о Нитокрис, жрице Иштар: H.V. Schumacher, Berlin, 1922).

3. АНДРОГИНИЗМ

В последующих главах мы будем говорить о греческой гомосексуальности подробнее. Однако уже здесь мы должны заранее сказать о том, что греки обладали по-настоящему поразительным представлением о двуполой (гермафродитической) природе человеческого существа в эмбриональном состоянии и андрогинным представлением о жизни вообще. Потому-то в истории греческой культуры мы нередко встречаем идеи и обычаи, имеющие свое начало в представлении об исконной двуполости человека и отдельных богов.

В Амафунте на Кипре почиталось мужеженское божество, в чьем культе юноша должен был раз в году подражать роженице и ее родовым мукам. Это совершалось в честь Ариадны, которая высадилась вместе с Тесеем на Кипре и, как рассказывали, умерла здесь, так и не разрешившись от бремени; об этом свидетельствовал историк Пеон (Плутарх, «Тесей», 20; Гесихий, s.v. Χερρόδιος), который также упоминает гермаф-родитического бога Афродита. Согласно Макробию («Сатурналии», ш, 8, 2), скульптор запечатлел его с бородой, женскими формами и в женском платье, но с мужскими половыми органами; принося жертвы, мужчины носили женское, а женщины мужское платье. Чтобы понять эти обычаи, следует сначала сказать о Гермафродите.

Согласно самому подробному рассказу Овидия («Метаморфозы», iv, 285), Гермафродит рос поразительно красивым юношей и в пятнадцать лет зажег любовь в Салмакис, нимфе одноименного источника в Карий; она насильно увлекла его под воду, и ему пришлось вступить с ней в связь; по просьбе нимфы, желавшей никогда не разлучаться со своим любовником, боги соединили их в одно двуполое существо. По желанию

Гермафродита, Гермес и Афродита наделили источник волшебным свойством: омывшийся в нем мужчина выходил на берег как *semivir* (полу-муж, полу-женщина), превращаясь в женоподобное существо³². При этом весьма вероятно, что представления об андрогинном начале жизни в народном подсознании и контакт с восточными андрогинными культами были в известном смысле взаимообусловлены. Подобное распространение восточных воззрений весьма характерно для Греции; в этой связи можно вспомнить о перемене платья на свадьбе. Так, в Спарте невеста надевала мужскую одежду, на острове Кос жених (Плутарх, «Ликург», 15; относительно Коса см. *Moralia*, 394), как жрецы Геракла и сам герой, носил женское платье. В Аргосе ежегодно справлялся праздник под названием Гибристика (*Hybristica*), на котором и мужчины и женщины носили одеяния противоположного пола; о нем речь еще впереди.

Изучение мифов показало, что представление об андрогинных божествах возникло уже в глубокой древности и не было результатом так называемого декаданса, хотя имя Гермафродита не встречается ни у Гомера, ни у Гесиода, а впервые мы его находим только у Теофраста («Характеры», 16). Из этого отрывка явствует, что одно или несколько изображений Гермафродита, поставленных внутри дома, убирались венками в пятый и седьмой дни месяца; в связи с этим можно отметить, что четвертый день был посвящен Гермесу и Афродите и, согласно Проклу (Комм, к Гесиоду, 800), считался особенно благоприятным для любовных наслаждений. Таким образом, мы вправе видеть в Гермафродите существо, чье происхождение коренится в смутном осознании андрогинной идеи жизни, которое получило свой облик благодаря художественно преломленным чувственно-эстетическим стремлениям и почиталось скорее как добрый дух-покровитель дома и частной жизни, чем объект официального культа. Поэтому нам ничего не известно об особых святилищах или даже храмах гермафродита; нечто подобное, — возможно, всего лишь часовня — засвидетельствовано только для аттического дема Алопеки (Алкифрон, «Письма», ш, 37). Однако для пластического и изобразительного искусства значение гермафродита гораздо серьезнее. С четвертого века до н.э. комнаты в частных домах, гимназиях и банях украшались статуями и изображениями Гермафродита (*Anth. Pal.*, ix, 783; *Martial.*, xiv, 174), чаще всего представлявшего в облике прекрасного цветущего юноши с женской грудью, по-женски пышными ягодицами и мужскими гениталиями. Особенно прекрасны дошедшие до нас многочисленные спящие гермафродиты; удобно покоясь в пленительной позе, рельефно подчеркивающей все прелести муже-женского тела, наполовину повернувшись на бок, гермафродит со скрещенными под головой руками дремлет на роскошно убранном ложе. Этот тип был особенно популярен, как показывают многочисленные реплики: прекраснейшего из них можно видеть в Галерее Уффици во

¹² В других рассказах нет существенных расхождений с версией Овидия: ср. *Hugmus, Fabulae*, 271; *Martial.*, vi, 68, 9; *χ.*, 4, 6; xiv, 174: *masculus intravit fontes, emersit utrumque; pars est una patris, cetera matris habet*. *Ausonius, Epigrammata*, 76, 11; *Stadius, Silvae*, i, 5, 21; *Diodorus Siculus*, iv, 6; *Anthol. Pal.*, ix, 317, 783; ii, 101; Hans Licht, *Untersuchungen zur GeschicMe der antiken Erotik in der Bearbeitung van Lukians Emtes*, Mimchen, 1920.

Флоренции и на Вилле Боргезе в Риме, другие — в римском Музее Терм, в Лувре, в петербургском Эрмитаже. Культовые изображения Гермафродита редки по вышеупомянутым соображениям; одно из них было отлито в Риме Поликлом Старшим (Плиний, *Hist., Nat.*, xxxiv, 80); ее копией является прекрасная статуя в Берлинском Музее (No. 192). Гораздо более распространены такие изображения Гермафродита, в которых исключительное внимание обращено на его чувственные прелести. Можно вспомнить гермафродитические формы Эроса, Диониса, сатиров и часто Приапа. В Риме и Афинах можно видеть рельефы с гермафродитическими плясунами. На статуях и гермах Гермафродит часто изображается задирающим одежду, чтобы привлечь внимание к своему восставшему члену. На прекрасной помпейской фреске³³ запечатлены Гермафродит, облаченный в праздничный наряд, и держащий перед ним зеркало Приап.

Более чувственными и, на современный взгляд, в высшей степени непристойными являются изображения соития Гермафродита с Паном или сатирами. То его платье задирает распутник Эрот, то похотливые сатиры с вожделием разглядывают его прелести или сплетаются с ним в объятиях, овладевая или уже полностью овладев им.

Другим гермафродитическим божеством был Левкипп (Антонин Либерал, 17), в честь которого в критском Фесте отмечался праздник Аподисии (*Apodysia; праздник раздевания*). Первоначально Левкипп был девушкой, которую в ответ на мольбу ее матери Лето превратила в молодого человека. Таков рассказ Антонина Либерала, который добавляет, что в Фесте приносились жертвы Лето Фитии (создательнице), так как она сотворила для девушки мужские гениталии, и что в преддверии первой брачной ночи невест укладывали на ложе рядом с деревянной статуей Левкиппа, который имел женское тело и платье, но мужские половые органы. Название праздника может быть выведено из обычая раздевать деревянную статую во время этой церемонии; нетрудно предположить, что еще должна была делать молодая невеста, если вспомнить то, что нам уже известно о храмовой проституции.

Эти странные обычаи, кажется, нашли свое выражение также и в комедии. От комедии Менандра «Алдрогин, или Критяне» сохранились только скудные фрагменты, но двойное название позволяет нам заключить *a posteriori*, что она содержала гермафродитические сцены, тем более что в одном фрагменте известную роль играет купающаяся невеста (CAP, iii, pp. 18, 19; frag. 57). Цецилий Стаций также написал комедию «Алдрогин» (Ribbeck, Com. Rom frag. 37). Когда аргияне были разбиты спартанским царем Клеоменом, их женщины, под предводительством

³³ О помпейских фресках см. W Helbig, *Wandsgema/de der vom Vesuv verschutteten Stadte Campanens*, где помещены несколько изображений Гермафродита О фигуре Гермафродита см. статью Германна в Мифологическом лексиконе Рошера (t, 2319). Reinach. Cultes, mythes et religions, 11, 319; Clarac, *Musee de Sculpture*, pi 666 (Pans, 1836). Монографий по этому вопросу более поздних, чем работа К Ф Гейнриха (1805), не существует; эта книга может быть дополнена статьями в энциклопедиях Паули-Виссова-Крольт и Рошера, а также важной работой E. S. A. M. von Romer, «Uber die androgynsche Idee des Lebens,»//*Jahrbuch fur sexuelle Zwischenstufen*, hrsg. v Hirschfeld (5 Jahrgang, Bd.II." Eeipzig, 1903)

Телесиллы, взяли за оружие и спасли город. В память об этом (Плутарх, *De mulierum virtute*, 245e) и проводился праздник Гибристика, на котором мужчины и женщины менялись одеждами. Для увеличения численности населения в Спарте были разрешены браки между имевшими полные гражданские права женщинами и перизками (класс неполноправных свободных). Но так как последние не считались равными женам по рождению, женщины, согласно Плутарху, перед тем как возлечь с такими мужьями, надевали накладные бороды. Схожий обычай существовал на острове Кос (Плутарх, «Греческие вопросы», 304e), где молодые мужья принимали жен, надевая женскую одежду; жрецы здесь приносили жертвы Гераклу, который также был одет в женское платье. В Спарте (Плутарх, «Ликург», 15) невеста поджидала супруга в мужском наряде, т.е. в гиматии и сандалиях, с коротко стриженными волосами.

Все попытки объяснить эти и схожие обряды и обычаи кажутся мне ошибочными. Я убежден в том, что они предлагают нам новое доказательство концепции, основанной на андрогинном представлении о жизни, которое было укоренено в подсознании греческого народа (Плутарх, *An seni*, 875e; *Non posse suaviter vivi secundum Epicurum*, 1097e).

4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКАХ

Праздновавшиеся по всей Греции Афродисии (*Aphrodisia*), несомненно, не пользовались признанием со стороны государства, но тем более были любимы народом. Как показывает их название, первоначально это были праздники, справлявшиеся в честь Афродиты, на которых не могли не присутствовать служительницы Афродиты — проститутки и гетеры. Из сообщения Плутарха следует, что по крайней мере в позднюю эпоху это слово обозначало необузданное распутство, которому предавались моряки после долгих лишений на море вдали от женского общества.

Настоящим праздником гетер были Афродисии на острове Эгина, где они являлись заключительной частью праздника Посидона. На них Фрина разыгрывала знаменитую сцену, описанную Афинеем (xiii, 590f): «Но еще более прекрасны были сокровенные места Фрины, которую было нелегко увидеть обнаженной, потому что обычно она носила на теле плотно облегающий хитон и не пользовалась общественными банями. Однако на праздниках Элевсинии и Посидонии на виду у всех эллинов она снимала с себя гиматии, распускала волосы и входила в море; именно это зрелище вдохновило Апеллеса на создание Афродиты Анадиомены. К числу ее поклонников принадлежал также и знаменитый скульптор Пракситель, который избрал ее моделью для своей Афродиты Книдской».

Насколько можно понять, самым чувственным и игривым образом Афродисии праздновались в шумной гавани Коринфа с его вавилонским смешением языков, где, согласно Алексиду (*Ath.*, xiii, 574b; *Kock*, ii, 389,

frag. 253), многочисленные проститутки даже справляли свои собственные Афродисии. Конечно же, такие праздники продолжались и ночью, когда гетеры, «жеребята Афродиты», распущенными стайками носились по городу. Такой ночной праздник звался Панныхидрий (*Pannychis*), словом, которое позднее стало ихтобленным именем гетер. Последние, выражаясь словами Евбула, «почти голые в своих тонкотканых нарядах, выстроившись рядами, за гроши продавали свою благосклонность, которой каждый мог насладиться спокойно и в безопасности».

Праздник Афродиты Аносии (Ath., xiii, 589a; schol. in Aristoph. *Plutm*, 179; *Plut., Amatonus*, 767 f), справлявшийся в Фессалии, имел, возможно, гомосексуальную подоплеку, так как от него были отстранены мужчины, хотя подробности его нам не известны; единственное, о чем мы можем говорить, так это о том, что свою роль играло здесь также эротическое бичевание.

Обаятельному, дружелюбному, почти всегда влюбленному богу Гермесу посвящалось в Греции относительно немного праздников; однако, с другой стороны, о нем чуть ли не на каждом шагу напоминали так называемые Гермесовы колонны, или, выражаясь точнее, Гермесовы столбы — каменные столбы с вырезанной сверху головой, которая поначалу изображала Гермеса, а потом и другие божества, и фаллосом.

После всего, что -уже было сказано, нетрудно догадаться, что немногочисленные праздники, принадлежавшие Гермесу, были не лишены эротической подоплеки. При этом Гермес олицетворял для греков цветущую мужскую красоту, какой она предстает в период преобразования юноши в молодого мужчину. Вспомним строки Гомера (*Od*, x, 277; также Аристофан, «Облака», 978; Платон, «Протагор», начало), в которых рассказывается об Одиссее, приставшем к острову Кирки и вышедшем на берег узнать, обитаема ли эта земля и каким народом. На пути его встречает Гермес, который, конечно, остается неузнанным:

... пленительный образ имел он

Юноши с девственным пухом на свежих ланитах, в прекрасном
Младости цвете.

Поэтому отнюдь не случайно, что на празднике Гермеса в Танагре самый красивый и блестящий из эфебов должен был на своих плечах обнести вокруг городских стен барана. Об этом говорит Павсаний (ix, 22, 1), который добавляет, что этот обычай был установлен в память о Гермесе, некогда таким способом отвратившем от города мор. Баран, которого обносили вокруг и затем предположительно приносили в жертву или загоняли вне городских стен, как бы принимал на себя все грехи целого города, тем самым их искупая. Этот же обычай известен нам и в других странах, причем характерно, что для исполнения обряда избирался самый красивый юноша города.

На Крите (Ath., xiv, 639b; vi, 263f) проводился праздник Гермеса, напоминающий римские Сатурналии. Господа и слуги менялись местами; господин прислуживал рабу, который имел право даже побить его; в этот день допускались любые сексуальные вольности.

Далее, нам известны праздники Гермеса, к которым были приурочены гимнические состязания мальчиков и юношей; более точными подробностями мы не располагаем, однако они едва ли отличались от других общепринятых гимнических игр. Вряд ли нужно напоминать о том, что вместе с Гераклом, Аполлоном и Музами Гермес был богом-покровителем гимнасиев, а равным образом и о том, что во всех гимнасиях можно было видеть изображения Эроса, которому воздавались здесь особые почести. На острове Самос ему были посвящены Элевтерии в память о политическом освобождении, причиной которого стали узы любви между мужчинами, так часто вдохновлявшей греков на героические и патриотические деяния (*Eleutheria*, Ath., xiii, 561)³⁴. Мы не знаем ничего конкретного о празднике в честь Гиласа, справлявшегося жителями Киоса-Пруссии на Черном море (Антонин Либерал, 26; Страбон, xii, 564); однако нам известно, что и он имеет гомосексуальные корни. Гилас был прекрасным юношей, которого Геракл любил больше всего на свете³⁵. Он сопровождал героя в путешествии аргонавтов; но когда он пил из ручья, его утащили на дно нимфы, восплававшие к нему жгучей страстью.

Вот и все, что мы должны были сказать о праздниках, справлявшихся на земле эллинов. Из необозримого материала мы отобрали то, что показалось наиболее соответствующим теме настоящей работы. Мы не достигли полноты, но такая задача нами и не ставилась. Нам известны и другие праздники, упоминать которые значило бы только повторять уже сказанное.

³⁴ О гимнических праздниках Гермеса в Фенее см. Павсаний, xiii, 14, 10; в Аркадии — Пивдар, *Olympia*, vi, 77, и схолии к vii, 153; в Пеллене — schol. in Find., *Olympics*, vn, 156; ix, 146; Аристофан, «Птицы», 1421; в Спарте — Пивдар, *Nemea*, x, 52.

³⁵ О любви Геракла к Гиласу см. чудесную Тринадцатую идиллию Феокрита.

ГЛАВА IV

ТЕАТР

НАРЯДУ с праздниками и праздничными обычаями величайшее значение для познания народных нравов имеют публичные представления. Само собой разумеется, что наше описание греческого театра по необходимости ограничится выделением черт, характерных для греческой половой жизни; знание читателем греческого драматического искусства, по меньшей мере сохранившихся драматических произведений, предполагается как самоочевидный постулат общей культуры. При этом выяснится обстоятельство, которое поразит многих, хотя в нем нет ничего неожиданного для знатока: на греческой сцене гомосексуальные составляющие жизни не только ни в коей мере не игнорируются и не затушевываются по какой бы то ни было причине, но, напротив, играют важную, иногда доминирующую роль; поэтому многие факты, относящиеся к последующим главам, будут упомянуты или подробно изложены уже здесь.

I. АТТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

От Эсхила и Софокла до нас дошло по семь полностью сохранившихся произведений, от Еврипида — девятнадцать. В первую очередь будут обсуждаться не они, но лишь те аттические трагедии, которые сохранились во фрагментах. Полностью сохранившиеся трагедии известны гораздо шире, чем фрагменты, так что мне показалось более важным сообщить некоторые сведения о последних.

1. ЭСХИЛ

Из драм Эсхила, известных нам только по случайным цитатам, можно упомянуть трагедию «Лай», так как здесь, судя по содержанию, говорилось о любви к юношам. Она составляла начальную часть тетралогии, с которой поэт завоевал первую награду в 78-ю Олимпиаду (467 г. до н.э.), при архонте Феагениде; вторая, третья и четвертая части были представлены трагедиями «Эдип», «Семеро против Фив» и сатировской драмой «Сфинкс».

К несчастью, от «Лая» сохранились лишь две незначительные глоссы; однако мы в состоянии кое-что сказать о его сюжете. Существует немало доводов в пользу того, что любовь Лая к юноше Хрисиппу, прекрасному сыну Пелопа, образовывала подоплеку дальнейшей трагической судьбы злосчастного царя. Согласно многим греческим преданиям, Лай считался

изобретателем любви к юношам. К этому можно добавить также сообщение о том, что Пелоп — лишившийся сына отец — произнес страшное проклятие похитителю, довлевшее, скрыто передаваясь по наследству, сыну и внукам Лая, пока сила проклятия не была подорвана смертью Эдипа, который после полной скорбей жизни по воле неба был очищен от греха. Здесь следует избежать грубой ошибки, которую совершают другие, в остальном хорошо знающие античность люди; проклятие отца вызвано не тем, что Лай полюбил юношу и сошелся с ним, а следовательно, не «противоестественной природой» его страсти, как можно было бы предположить, принимая во внимание современные взгляды на педерастию, но только и исключительно потому, что Лай похищает и умыкает юношу вопреки воле отца: виновным Лая делает не извращенная направленность его страсти, а примененное им насилие. Похищение, несомненно, является в целом самым обычным началом всех половых связей первобытной эпохи, и мы знаем, что умыкание женщин и мальчиков как религиозная церемония может иметь место и в высшей степени цивилизованные времена; но схожим образом мы обнаруживаем повсюду, что похищение должно оставаться мнимым, и что использование настоящего насилия осуждается как общественным мнением, так и законами. То, что такой взгляд на вину Лая является правильным, мы увидим из сравнения данного сюжета с формой умыкания, обычной на Крите, о которой речь пойдет далее.

Таким образом, мы вправе говорить о том, что отдельной темой данной трагедии Эсхила было проклятие, которому обрекался нарушивший общепринятую норму Лай: герой думал, будто вынужден похитить мальчика, тогда как он мог просить об этом прекрасном даре свободно и открыто. Проклятие, призванное на его голову, содержит в себе ужасную иронию: после женитьбы царю будет отказано в том, что было для него главной радостью молодости, — в возлюбленном юноше. Его супружество остается бездетным, и когда вопреки року он все-таки порождает сына, катастрофическое сцепление звеньев судьбы обрекает его на гибель от руки наследника, которого он так страстно жаждал. Направляемая слепой яростью судьбы рука отцеубийцы мстит за греховное попрание свободной воли мальчика, которое прежде совершил сам Лай. Но смерть от руки сына — следствие появления страшной Сфинги; чтобы освободить свою страну от этой пагубы, Лай отправляется в Дельфы просить совета или помощи светоносного бога; на обратном пути он встречает остающегося неузнанным сына, который и проливает кровь отца. Неожиданно новым светом озаряется и глубинное значение загадки Сфинги, на которую так ответил Эдип: «Человек на заре жизни свеж и исполнен радостных надежд, а на закате — это слабое и сломленное существо». Одним из таких достойных жалости существ и был Лай, а сын, поразивший отца, оказался единственным человеком, кому хватило ума для того, чтобы разрешить загадку. Если кого-то не трогает такой трагизм, если — в согласии с современным воззрением — кто-то видит вину Лая в любви к сыну Пелопа, — что ж, поэт писал не для него.

В другом месте я говорил о широко распространенной точке зрения, по которой в поэмах Гомера нет и следа педерастии, и только в позднейшую эпоху вырождения греки находили ее следы у Гомера. В своей драме «Мирмидоныне» Эсхил показывает, что узы привязанности между Ахиллом и Патроком трактовались как сексуальная связь, и впервые это произошло не в эпоху упадка, но в пору прекраснейшего весеннего цветения эллинской культуры. Драма содержала эпизод, в котором Ахилл, тяжело оскорбленный Агамемноном, в гневе воздерживается от участия в бое и утешается в своем шатре с Патроком. Трагический хор был представлен ахилловыми мирмидонами, которые в конце концов уговаривают героя позволить им участвовать в сражении под началом Патрокла. Драма заканчивалась гибелью последнего и безнадежной скорбью Ахилла.

2. СОФОКЛ

Во фрагментах, сохранившихся от драматических произведений Софокла, часто говорится о любви к мальчикам и юношам.

Это не удивит тех, кто знаком с жизнью поэта. Великий трагик, о мужской красоте которого и поныне лучше остальных памятников красноречиво свидетельствует знаменитая статуя в Латеране, еще мальчиком был наделен необыкновенной прелестью и миловидностью. Он настолько преуспел в танце, музыке и гимнических искусствах, что на его черные волосы часто возлагался победный венок. Когда греки готовились к празднику в честь славного саламинского сражения, юный Софокл показался столь совершенным воплощением юношеской красоты, что его поставили во главе хора юношей — обнаженным и с лирой в руках (см. *ἄνεος Σοφοκλέους* и *Ath.*, i, 20).

Ослепительный герой «Илиады» Ахилл в пьесе «Поклонники Ахилла», бывшей, скорее всего, сатирической драмой, предстает перед нами в облике прекрасного мальчика. Весьма вероятно, что действие драмы, от которой сохранилось несколько скудных фрагментов, разворачивалось на вершине Пелиона или в пещере Хирона, знаменитого кентавра и воспитателя героев. О красоте юноши можно судить по строке: «Он глаз своих бросает стрелы» [Софокл, фрагм. 151; перевод Ф. Ф. Зелинского]. Более длинный фрагмент из девяти строк (Софокл, 153) сравнивает любовь со снежком, который тает в руках играющего мальчика. Можно предположить, что тем самым Хирон намекает на свое смутное влечение к мальчику. В конце концов Фетида забирает сына у его наставника (Софокл, фрагм. 157, где выражение *τα παιδικά* употреблено в эротическом смысле), и сатиры пытаются утешить Хирона, переживающего утрату возлюбленного. Вероятно, составлявшие хор сатиры также выступали в роли поклонников мальчика; высказывалось предположение, что в конце им приходилось удалиться «обманутыми и укрошенными».

Известный по «Илиаде» (xxiv, 257) нежный сын Приама Троил, юношеской красотой которого восторгался уже трагик Фриних, в

одноименной драме Софокла выступал в качестве любимца Ахилла. Все, что мы знаем о сюжете пьесы, сводится к тому, что Ахилл по ошибке убивает своего любимца во время каких-то гимнастических упражнений. Иными словами, Ахилла постигает такое же несчастье, что и Аполлона, который в результате несчастного случая при метании диска убил горячо любимого им Гиакинта. Ахилл оплакивал смерть Троила; от его плача дошел единственный стих, в котором Троил именуется *ἀνδρόλας*, или мальчиком, который разумом не уступает мужу (Софокл, фрагм. 562).

Не остается никаких сомнений в том, что обценные выражения встречались даже в драмах Софокла (например, фрагм. 388 *ἀναστῆσαι*; фрагм. 390 *ἀποσκόλλετε*; фрагм. 974: *οὐράν*).

3. ЕВРИПИД

История Хрисиппа, юного любимца Лая, послужила сюжетом также для драмы Еврипида. Названная по имени главного героя, драма «Хри-сипп» имела своим поводом личное переживание самого поэта. К числу прекраснейших юношей, притягивавших в ту эпоху чужестранцев на улицы Афин, принадлежал Агафон, сын Тисамена. Этому Агафону Аристофан дает широко известную остроумную характеристику в «Женщинах на празднике Фесмофорий»; он играет важную роль в «Пире» Платона; как трагического поэта его высоко ценил Аристотель. Современникам он представлялся богом, сошедшим с небес и шествующим в человеческом облике по земле. Но многие стремились добиться любви этого эфеба; его красота привела к сцене ревности между Сократом и Алкивиадом, которая так прелестно описана Платоном. Сообщают, что даже насмешник Еврипид был околдован необыкновенными чарами этого поразительного красавца, что именно ради него он написал и поставил своего «Хрисиппа». Если это утверждение верно, — а у нас нет причин подвергать его сомнению, — можно высказать догадку, что герой пьесы Хрисипп был создан по образу прекрасного Агафона и что в образе Лая поэт вывел себя самого. У Цицерона (*Tusc. disp.*, iv, 33, 71) мы находим, замечание, из которого явствует, что в основании драмы лежала вожделеющая чувственность, и что желания Лая, ищущего благосклонности юноши, обнаруживались здесь совершенно отчетливо и неприкрыто. Необходимо уяснить, что речь идет о драме, исполнявшейся публично; на ней, конечно, присутствовали и Еврипид, и прекрасный Агафон. В конце пятого века, в Афинах, знаменитый поэт стремился таким образом завоевать благосклонность выдающегося юноши, равно славившегося красотой и рафинированной образованностью.

Немногочисленные фрагменты не дают, разумеется, подробных сведений о содержании трагедии. Еврипид придерживается широко распространенного мнения, согласно которому Лай был первым, кто ввел в Греции любовь к юношам. Лай также, по-видимому, сопротивлялся своей страсти, особенно если принять во внимание убежденность греков

в том, что любовь — это род недуга, она расстраивает безмятежность духа, а потому с ней следует бороться оружием разума Подобно Меее, противящейся своей любви к Ясону (Овидии, «Метаморфозы», 720), Лай (Еврипид, фрагм 841) жалуется на то, что люди знают правое, но поступают наоборот. Возможно, драма заканчивалась гибелью Хрисиппа, так как Еврипид писал трагедию, ввиду противоречивости традиции большего сказать мы не в состоянии.

II. АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Греческая комедия порождена плещущим через край благочестивым восторгом, выражением благодарности Дионису, величайшему сокрушителю забот и подателю радости, вечно юному богу плодородия щедрой, неизменно обновляющей самое себя природы Поэтому комедия изобилует непристойностями, которые неразрывно связаны с почитанием духов плодородия. Поскольку комедия является гротескно искаженным отражением жизни, постольку в греческой комедии половая жизнь повсюду выступает на передний план, представляя перед нами бурлящим котлом ведьм, чудовищной оргией, в которой, ошеломляя зрителя, словно вокруг исполинской оси гротескного фаллоса, вращаются бесконечно запутанные половые вожеления и всевозможные разновидности любовных утех. Любовь к мальчикам имеет в комедии практически такое же значение, как и любовь к женщинам. Само собой разумеется, что греческая комедия, как и все другие виды поэзии, просто немыслима без любви к мальчикам; эта любовь ни в коей мере не является изнанкой гротескного юмора дионисийского распутства, но служит одним из фокусов, на котором сосредоточена греческая, особенно аттическая, комедия. Но, как уже сказано, нам придется иметь дело с искаженным отражением. Потому-то здесь и не слышны нежные речи скромного юноши Эрота, превратившегося в грубого Приапа. Харита, конечно, спрячет, устыдившись, свое лицо, но наука не может обойти эти факты молчанием.

1. ФЕРЕКРАТ

Из неизвестной комедии Ферекрата (фрагм. 135) до нас дошло оскорбительное изречение. Упрекая Алкивиادا в излишней уступчивости мужчинам, персонаж Ферекрата поносит его также как угрозу женщинам: «Алкивиад, который, кажется, вовсе не был мужем, стал ныне мужем всех жен»³⁶.

³⁶ Ср Светоний, «Цезарь», 32 *Cuno pater eum (sc Caesarem) omnium muherum virum et omnium virogum muherem apellat*, Цицерон, «Против Верреса», и, 78, 192 *at homo magis vir inter muheres, impura inter viros muheroula profem non potest*

2. ЕВПОЛИД

Евполид Афинский является для нас более шедрым источником. Его расцвет приходится на годы Пелопоннесской войны, а около 411 г. до н.э. он погиб, сражаясь за родину при Геллеспонте. Это был один из самых тонких умов среди авторов Древней Комедии, и еще многие годы после его смерти веселая муза Евполида пользовалась всеобщей любовью благодаря своему остроумию и прелести. Не менее семи его комедий из четырнадцати или семнадцати (по различному счету) удостоились первого приза. В четвертый год 89-й Олимпиады (421 г. до н.э.) Евполид поставил комедию «Автолик и к», пересмотренный вариант которой был спустя десять лет исполнен вторично. Автолик был сыном Ликона и Родии, юношей такой красоты, что восхищенный Ксенофонт (*Symposion*, i, 9) писал о нем так: «...как светящийся предмет, показавшийся ночью, притягивает к себе взоры всех, так и тут красота Автолика влекла к нему очи всех» [перевод С. А. Соболевского]. Этот Автолик был любимцем Каллия, славившегося своим богатством и легкомысленным образом жизни, который в ознаменование победы прекрасного юноши в панкратии на Панафинейских играх 422 г. до н.э. задал в его честь пир, описанный Ксенофонтом в знаменитом «Симпосии». Жизнь Автолика оборвалась трагически: после взятия города Лисандром он был казнен по приказу Тридцати тиранов.

О содержании пьесы с определенностью может быть сказано лишь следующее: любовь Каллия и Автолика выставлялась здесь в чрезвычайно неблагоприятном свете, и даже родители юноши, принимавшие участие в пире, были осыпаны насмешками и грязью; осмеянию подвергся и сам пир (Ath., v, 216e; Eupolis, frag. 56: εὐτρήσιος παρά το τετρήσθαι τον Αυτόλικον ὁ Εὐπολις σκόπτει; фрагм. 61: ἀναφλασμός (онанизм)).

В 415 г. до н.э. Евполид представил на городских Дионисиях задорную комедию *Baptae* («Окропители»), где жестоко высмеивалась частная жизнь Алкивиада. В этих *окропителях* следует, вероятно, видеть товарищей Алкивиада, устраивавших ночные оргии во славу богини распутства Котитто и подражавших на них танцам женщин; известную роль здесь играли сладострастные омовения и очищения. Из одного отрывка Лукиана (*Adv. Ind.*, 27: «И ты не покраснел, читая эту пьесу») явствует, что комедия изобиловала непристойностями.

«Льстецы» (поставлены в 423 г. до н.э.) были, очевидно, полностью посвящены любви к юношам. Здесь изображен Демос, выставивший себя на продажу, и во фрагменте 265 мы слышим его жалобу: «Клянусь Посидоном, дверь моя не знает покоя», — так много посетителей, рвущихся на него посмотреть. Демос, сын Пирилампа, богатого афинянина, друга Перикла, выступает в роли знаменитого фаворита и у Аристофана («Осы», 97; ср. игру слов в платоновском «Горгии», 481d). В пьесе имеется также беседа Алкивиада с Б. — лицом нам неизвестным, — где Алкивиад высмеивается за некоторые предосудительные новшества, тем более что он сам ими похвально. Под *λακωνίζειν* подразумевалась простота спартанских трапез, тогда как выражение «поджаривать на сковороде» намекает на некоторую роскошь, до которой Алкивиад был столь охоч. Но Б., по-видимому, придает этому слову чувственное значение: согласно

Суде, λακωνίζειν означает «питать склонность к мальчикам» (παιδικοῖς χρῆσθαι), так что Алкивиаду предоставляется случай похвастаться еще одной из своих заслуг: он научил людей приступать к выпивке с утра пораньше³⁷. Афиняне, несомненно, осуждали тех, кто начинал выпивать поутру; с этой точки зрения интересен отрывок из Батона, в котором отец сокрушается о том, что под влиянием поклонника его сын пристрастился к этой дурной привычке и теперь никак не может от нее избавиться. Плиний также называет изобретателем этого нововведения Алкивиада.

3. АРИСТОФАН

Мы не станем обсуждать значение комедиографа Аристофана и его выдающуюся роль в истории греческой комедии, а лишь вкратце остановимся на исторических предпосылках отдельных комедий и их взаимосвязи. В рамках нашей темы могут быть приведены отрывки из следующих комедий:

(а) «Ахарняне» (драма поставлена в 425 г. до н.э.)

Здесь мы находим фаллическую песнь (262 ел.):

Фалес, приятель Вакха ты,
Любитель кутежей ночных,
И мальчиков, и женщин!
Шесть лет прошло. И вот опять
Тебе молось, вернувшись в дом.
Довольно горя, хватит битв!
Ламахи надоели!

[перевод А. Пиотровского]

(б) «Женщины в народном собрании» (поставлены в 389 или 392 г. до н.э.)

Строки 877 и сл. Гротескная сцена амебейного (поочередного) песенного спора между старой и молодой проститутками; единственная такая сцена во всей мировой литературе.

СТАРУХА

Чего ж мужчины не идут? Пора пришла.
Помазавши себе лицо белилами
И нарядившись в юбочку шафранную,
Сижу напрасно, песенку мурлыкаю,
Воркую, чтобы изловить прохожего.
О Музы, снизойдите на уста мои,
Внушите песню сладко-ионийскую!

³⁷ Фраш. 351: — ΑΛΚΙΒ. μινσω λακωνίζειν, ταγηνίζειν δε καν πρναμην.

В. πολλας δ ...οχμαι νυν βεβνησθαι..

Α. ...ος δε πρώτος εξευπεν το πρωί πιπνεив

В πολλην γε λακκοπροκτιαν ημιν επισταζ ευπων.

Α. ειεν. τις ειπεν αμυδα ποα πρώτος μεταξύ πίνων;

В. Παλαμηδικον δε τούτο τουζευρημα καν σοφον σου.

О питье с утра ср. Батон у Афиня, ш, 193 с; также комментарии к «Птицам» Аристофана, 131; Плиний, Естеств. история, xiv, 143; Ath., 519e.

ДЕВУШКА Гнилушка! Из окна нахально свесилась
И думаешь, пока я далеко, моим
Полакомиться виноградом? Песенкой
Завлечь дружка? Я песнь спою ответную.

Такая шутка хоть привычна зрителям,
Занятна все же и сродни комедии.

СТАРУХА Со стариком якшайся! Забавляйся с ним!

А ты, флейтистка милая, свирель возьми
И песнь сыграй достойную обеих нас.

ФЛЕЙТИСТКА *играет. (Поет в сопровождении флейты.)*

Если хочешь узнать блаженство,
Спи, дружок, в моих объятьях.
Толку нет в молодых девчонках,
Сладость в нас, подружках зрелых.
Из девчонок кто захочет
Верной быть и неизменной
Другу сердца?

От одних к другим порхают.

ДЕВУШКА *(поет в сопровождении флейты.)*

Не брани красоток юных!

Томной негой наслажденья

Стан наш прелестный дышит.

Грудки — сладостный цветок.

Ты ж, старуха,

Гроб в известке, труп в румянах,

Смерть по тебе скучает.

СТАРУХА Лопни, дрянная девка!

Ложе твое пусть рухнет,

Чуть обнимать захочешь!

Пусть змея в подушки ляжет,

Пусть змея тебя облизнет,

Чуть целовать захочешь!

ДЕВУШКА *(поет.)* Ай-ай-ай! Истомилась я,

Милый не приходит.

Мать со двора ушла,

Куда — известно, только говорить нельзя.

(Старухе.)

Тебя заклинаю, бабуся,

Зови Орфагора, если

Сама забавляться любишь.

СТАРУХА Скорей на ионийский лад

Уймешь ты зуд греховный!

А может, приспособишь и лесбийский лад...

ДЕВУШКА У меня забавки милой

Не отнимешь! Час любви

Не загубишь ты мой, не похитишь!

СТАРУХА Пой, сколько хочешь! Изгибайся ласочкой! Ко мне пойдут сначала, а потом к тебе.

ДЕВУШКА К тебе придут на похороны, старая!

СТАРУХА За новизной старухи не гоняются! Мои года — тебе печаль?

ДЕВУШКА А что ж еще? Твои румяна, что ли? Притирания?

СТАРУХА Зачем дразниться?
ДЕВУШКА А зачем в окно глядишь?
СТАРУХА Пою про Эпигона, друга верного.
ДЕВУШКА Гнилая старость — вот твой друг единственный!
СТАРУХА Сейчас дружка увидишь — он зайдет ко мне.
 Да вот и он.
 В отдалении появляется ЮНОША
ДЕВУШКА Проказа! Не тебя совсем
 Здесь ищет он.
СТАРУХА Меня.
ДЕВУШКА Чохотка тощая!
 Пускай он сам докажет. От окна уйду.
СТАРУХА И я. Смотри, какая благородная!
ЮНОША *(в венке и с кубком в руке входит на оркестру, поет.)*
 Если б мог я уснуть с девчонкой юной,
 Если б мне не лежать сперва с курносой,
 Гнилой старухой! Отвращенье!
 Невыносимо это для свободного!
СТАРУХА *(выглядывает из окна.)*
 Хоть ты плачь, а ложись! Мне Зевс свидетель!
 Ты не с другой сошелся Хариксеной.
 Справедливый велит закон,
 По правилам живем демократическим.
 Постерегу, что делать он теперь начнет,
 (Удаляется вновь.)
ЮНОША Пошлите мне, о боги, ту красавицу,
 К которой от попойки я ушел, томясь.
ДЕВУШКА *в окне.*
 Старуху обманула я проклятую —
 Она исчезла, веря, что и я уйду.
 Но вот и тот, о ком я вечно помнила. *(Поет.)*
 О приди, о приди!
 Миленький мой, ко мне приди!
 Со мною ночь без сна побудь
 Для сладостных, счастливых игр.
 Бесконечно влечет меня страсть
 К смоляным твоим кудрям.
 Безграничное желанье
 Томным пламенем сжигает.
 Снизойди, молю, Эрот,
 Чтобы он в моей постели
 Оказался тотчас!
ЮНОША *(поет под окном девушки.)*
 О приди, о приди! Друг прелестный, поспеши
 Отворить мне двери! А не откроешь, лягу здесь, наземь, в пыль,
 Жизнь моя! Грудь твою жажду я Гладить рукой горячей
 И жать бедро. Зачем, Киприда, к ней я страстью пылаю?
 Снизойди, молю, Эрот,
 Чтоб она в моей постели
 Оказалась тотчас.
 Где песнь найти и где слова, чтобы передать свирепость

Моей тоски? Сердечный друг! Я умоляю, сжался!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты.
Златокрылая моя забота! Дочь Киприды!
Ты пчелка песен! Ласка Харит! Радость! Улыбка счастья!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты!
(Яростно стучится в дверь.)

СТАРУХА Чего стучишься? Ищешь ты меня?

ЮНОША Ничуть.

СТАРУХА Ты в дверь мою стучался?

ЮНОША Провалиться мне!

СТАРУХА Так для чего ж сюда примчался с факелом?

ЮНОША Искал друзей из дема Онанистов³⁸.

СТАРУХА Как?

ЮНОША Для старых кляч объездчиков сама ищи.

СТАРУХА Клянусь Кипридой, хочешь ли, не хочешь ли...

ЮНОША В шестидесятилетних нам пока еще

Нет нужды. Мы на завтра отложили их.

Кому и двадцати нет, те в ходу сейчас.

СТАРУХА При старой власти было так, голубчик мой!

Теперь не то — за нами нынче первый ход.

ЮНОША Как ходят в кости? В кости не игрок с тобой.

СТАРУХА А не игрок — так без обеда будешь ты.

ЮНОША Не знаю, что болтаешь. В эту дверь стучусь!

СТАРУХА Сперва в мою ты должен постучаться дверь.

ЮНОША Гнилого решета не надо даром мне.

СТАРУХА Меня ты любишь, знаю. Удивляешься,

Что здесь я, перед дверью. Дай обнять тебя!

ЮНОША Пусти! Страшусь я твоего любовника.

СТАРУХА Кого же?

ЮНОША Живописца пресловутого.

СТАРУХА Кого?

ЮНОША Сосуды красит погребальные

Для мертвых он. Уйди! Тебя заметит здесь.

СТАРУХА Чего ты жаждешь, знаю.

ЮНОША Знаю — ты чего.

СТАРУХА Кипридою клянусь, меня избавшею, Тебя не отпущу я!

ЮНОША Бредишь, старая!

СТАРУХА Ты вздор несешь. В мою постель стащу тебя.

ЮНОША Зачем крюки для ведер покупали мы?

Не лучше ль вот такие вилы старые

Спустить в колодец и на них ведро тянуть?

СТАРУХА Не издевайся, милый, и ко мне иди.

ЮНОША Не смеешь заставлять! Ты пятисотую

Часть своего добра в казну внеси сперва!

СТАРУХА Заставлю! И, клянусь я Афродитою,

С такими молодыми спать приятно мне.

ЮНОША А мне лежать со старыми охоты нет! Я ни за что не соглашусь!

СТАРУХА Свидетель Зевс, Тебя принудит *это вот!*

³⁸ Буквально: «из Анафлестииского дема». (Прим. пер.).

ЮНОША Что *это вот?*

СТАРУХА Закон. Тебе велит он ночевать со мной.

ЮНОША А что стоит в законе? Прочитай!

СТАРУХА Прочту!

«Постановили женщины, когда юнец
С молоденькой захочет переспать, сперва
Пускай прижмет старуху. А откажется
Прижать старуху и поспит с молоденькой,
В законном праве пожилые женщины,
Схватив за жгут, таскать юнца беспощинно».

ЮНОША Беда! Боюсь проделок я Прокрустовых.

СТАРУХА Законов наших мы заставим слушаться!

ЮНОША А что, когда земляк или приятель мой

Даст выкуп за меня?

СТАРУХА Неправомочен он Распоряжаться сверх медимна суммою.

ЮНОША Спаситься присягой можно?

СТАРУХА Без влияния!

ЮНОША А заявить, что я купец?

СТАРУХА Наплачешься!

ЮНОША Так что ж мне делать?

СТАРУХА Как велью, со мной идти.

ЮНОША Ведь это же насилье!

СТАРУХА Диомедово!

ЮНОША Тогда полынь насыпь на ложе брачное,

Четыре связки лоз поставь, и траурной

Повязкой повяжись и погребальные

Кувшины вынь, водицу у дверей налей!

СТАРУХА Тогда уж и могильный мне венок купи!

ЮНОША Конечно! Если только доживешь до свеч

И как щепотка пыли не рассыплешься.

Из дома выходит ДЕВУШКА.

ДЕВУШКА Куда его ты тащишь?

СТАРУХА Мой! С собой веду.

ДЕВУШКА Бессмыслица! Тебе же не ровесник он.

Ну, как с такою старой ночевать юнцу?

Ты в матери годишься, не в любовницы.

Ведь если будете закону следовать,

Эдипами всю землю переполните.

СТАРУХА Завидуешь ты мне, о тварь негодная!

И потому болтаешь! Отомщу тебе! (*Уходит*).

ЮНОША Спаситель Зевс, красотка, славен подвиг твой!

Цветочек! Ты у ведьмы отняла меня.

За эту милость нынешним же вечером

Могучим, жарким даром отплачу тебе.

[перевод А. Пиотровского]

4. АЛЕКСИД

Алексид был уроженцем Фурий в Нижней Италии, жил приблизительно в 392—288 гг. до н.э. и оставил, согласно Суде, 245 комедий.

Первая из интересующих нас комедий — «Агонида» (имя гетеры). Скудные фрагменты ничего не говорят о ее содержании, но не подлежит

сомнению, что известную роль в ней играл Мисгол из аттического дема Коллит. Некоторые авторы свидетельствуют о страсти Мисгола к мальчикам, особенно тем, что умеют играть на кифаре; так, Эсхин говорит (*Tim.*, i, 41): «Этот Мисгол, сын Навкрата из дема Коллит, в других отношениях человек прекрасный душой и телом; но он всегда питал слабость к мальчикам и возле него постоянно увиваются какие-то кифареды и кифаристы». Антифан (фрагм. 26, 14—18) еще прежде намекал на него в своих «Рыбаках», а Тимокл (фрагм. 30) — в «Саф». В «Агониде» (фрагм. 3) девушка говорит матери: «Матушка, не выдавай меня, прошу, за Мисгола, ведь я не играю на кифаре».

Фрагмент 242 (из комедии «Сон»): «Этот юноша не ест чеснока, чтобы, целуя возлюбленного, не внушить ему отвращения».

5. ТИМОКЛ

В комедии Тимокла «Ореставтоклид» известную роль играли любовные связи с юношами некоего Автоклида. Имелся в виду Автоклид из Агнуса, которого упоминает оратор Эсхин в известной речи против Тимарха (i, 52). Замысел комедиографа был примерно следующим: как фурии преследовали некогда Ореста, так теперь стая гетер преследует поклонника мальчиков Автоклида; на это указывает по крайней мере фрагмент 25, где говорится о том, что не менее одиннадцати гетер стерегут несчастного даже во время сна.

6. МЕНАНДР

Менандр Афинский, сын Диопита и Гегесистраты, живший с 342 по 291 гг. до н.э., был племянником вышеупомянутого Алексиды, поэта Средней Комедии, который познакомил Менандра с искусством комедиографии. Уже в возрасте 21 года Менандр одержал победу, и хотя он удостоивался первого приза еще не менее семи раз, его можно отнести к числу тех поэтов, которых больше ценили и любили потомки, чем современники. Мы уже говорили о его «Андрогине, или Критянах».

Во фрагменте 363 описывается поведение *кинэды* (*cinaedus*, развратник); поэт здесь ловко намекает на Ктесиппа³⁹, сына Хабрия, о котором говорили, что он продал даже камни с отцовского надгробия, лишь бы по-прежнему предаваться наслаждениям: «И я, жена, был когда-то юношей, но не купался по пяти раз на дню. А теперь купаюсь. У меня не было даже тонкого плаща. А теперь есть. И благоухающего масла не было. А теперь есть. Буду красить волосы, буду выщипывать волосы и вскорости превращусь в Ктесиппа»

³⁹ О Ктесиппе см. Дифил, фрагм. 38 (и, 552, Кокк) и Тимокл, фрагм. (п, 452, Кокк); фрагм. 480: *πόσθων, penis* и ласкательное имя для маленького мальчика. Ср. Гесихий, s.v. *σφόρδωνες υλοκοριστικώς ἀπό τῶν πορίων, ὡς ποσθῶνες*; Apollodorus, frag. 13, 8; *τὴν γὰρ αἰσχύνην πάσαι πασαν ἀπυλάεκασι καθ' ἑτέρας θύρας*. Другие сексуальные аллюзии, остроты и непристойности из аттической комедии собраны мной в *Anthropophyteia*, vi, 1910, SS. 173, 495.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТРАГИЧЕСКОЙ И КОМИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Старинная трагедия еще редко использует эротические мотивы; за исключением эсхилиевского «Агамемнона», темой которого является убийство Агамемнона неверной женой, охваченной неистовой ревностью, мы вряд ли можем указать хоть одну трагедию, ядром которой была бы любовь, если не принимать во внимание уже рассмотренных гомоэротических мотивов. Поначалу считалось, что любовные истории с трагическим концом не годятся для того, чтобы позволить людям ощутить возвышенность трагической судьбы на празднестве бога — подателя высочайшего восторга.

Уже Софокл задействовал любовную страсть гораздо чаще, но только как вспомогательный мотив: примером тому любовь Медеи к Ясону в «Колхидянках» или Гипподамии к Пелопу в «Эномае». Как основная и единственная тема любовная страсть выступает лишь в одной из его драм — в «Федре», чьей осью, вокруг которой вращается все действие, была необоримая любовь Федры к своему прекрасному пасынку Ипполиту, толкающая царицу на преступление. Это — древнейший образец греческой любовной трагедии в собственном смысле слова. Мы вправе предположить, что блестящее изображение демонической страсти произвело на зрителей глубокое впечатление и послужило мощным стимулом для последующей разработки эротических сюжетов. Не только Еврипид использовал тот же мотив в двух драмах, одна из которых дошла до нас, но, согласно Павсанию (i, 22,1), именно предание о Федре и Ипполите позднее было известно повсюду «даже не грекам, если только они знали греческий язык». Еврипид особенно охотно обращался к эротическим темам и тем самым преобразовал героическую трагедию в род «мещанской драмы» с несчастливым концом; несмотря на то, что он достаточно часто вводил в свои пьесы персонажей героической эпохи, его герои — это его современники, а чувства и страсти, запечатленные поэтом, стали общим достоянием всего человечества и более не связаны с определенным историческим периодом.

С этого времени эротика воцарилась на греческой сцене, а Еврипид и позднейшие трагики никогда не уставали изображать всемогущество любви — высшего из блаженств и сжигающей страсти — во все новых и новых вариациях, позволяя зрителям заглянуть во все глубины и бездны величайшей из загадок, называемой любовью⁴⁰. Еврипид был также первым, кто решился представить на сцене мотив инцеста в «Эоле» (фрагменты см. в собрании Nauck, TGF², p. 365), темой которого была любовь Канаки и ее брата Макарея со всеми ее трагическими последствиями. Схожие мотивы гораздо чаще использовались позднейшими трагиками, и в связи с этим мы должны помнить, что на сцене были представлены не только любовь Библиды к ее брату Кавну, но также и любовь Мирры к своему отцу Киниру, а Гарпалики — к своему

⁴⁰ Относительно эротических мотивов в греческих трагедиях см E Rohde, *Dar Roman*, 1900, S. 31, хотя Роде не учитывает многочисленные гомосексуальные мотивы

отцу Климену. Овидий, несомненно, ничуть не преувеличивает (Tristia, ii, 381—408), когда, перечислив множество эротических трагедий, заявляет, что недостаток времени не позволит ему назвать их все поименно и что перечисление одних только названий заняло бы всю его книгу⁴¹.

В то время как еще Аристофан («Облака», 1372; «Лягушки», 1043 ел., 1081), главный представитель Древней Комедии, восставал против того, что благодаря Еврипиду на сцене воцарилось изображение любовных страстей, которые стали главной движущей силой и средоточием драмы (впрочем, комедии самого Аристофана, как мы уже видели, также изобиловали эротикой), — с приходом Новой Комедии положение изменилось и здесь. Точно так же, как в действительности женщины все более и более выходили из изоляции, обязательной для них в древности, так и в комедии любовь мужчины к женщине занимала все большее место. Постепенно любовные интриги и сентиментальная любовь превратились в главную тему комедий. Поэтому Плутарх (см. Stobaeus, *Florilegium*, 63, 64) совершенно прав, говоря, что «поэзия Менандра была связуема единственной нитью — любовью, которая, как общее животворящее дуновение, разлита по всем его комедиям». Однако и в это время чувственная сторона любви остается главной, ибо все девушки Новой Комедии, которых обхаживают страстно влюбленные юноши, являются гетерами. По-прежнему господствовало убеждение, что брак — это исполнение долга, а отношения с гетерой — дело любви.

Не нуждается в доказательствах тот факт, что древняя сцена обходилась несколькими актерами и что женские роли исполнялись мужчинами.

Наряду с фантастическими масками, буйными выдумками и шутками античная комедия характеризуется также тем, что актеры как служители оплодотворяющего божества носили фаллос, по большей части изготовливаемый из кожи. После всего уже сказанного о культе фаллоса, этот обычай не кажется более странным; комедия выросла из песен, исполнявшихся во время фаллических - шествий.

Если актер должен был играть обнаженного героя, то в этом случае надевался плотно прилегающий корсаж, как правило, с накладным животом и грудью, на которых были четко обозначены пупок и соски. С течением времени фаллос, по-видимому, использовался все реже; во всяком случае, нам известно немалое число рисунков на вазах, изображающих сценическое представление, на которых фаллос отсутствует. Очевидно, он был неотъемлемым атрибутом Древней Комедии, где в тех сценах, что комическим образом использовали мифологические мотивы, он подчеркивал гротескность и усугублял комизм ситуации. Хор сати-ровской драмы носил передник из козиной шкуры, из-под которого спереди выглядывал фаллос, а сзади — хвостик сатира.

Современный человек, вероятно, задастся вопросом, посещалась ли комедия с ее ярко эротическими, зачастую весьма непристойными сценами также женщинами и детьми. Несомненно, это не было запрещено; возможно, зрительницами комедии чаще, чем почтенные жены

⁴¹ Ср. его *Ars Amatoria*, i, 283—340; Проперций, iii, 19; Вергилий, «Энеида», vi, 442 сл.

граждан, были гетеры, однако присутствие на них мальчиков засвидетельствовано достаточно определенно. Всякий, кому это покажется странным или даже возмутительным, должен еще раз вспомнить, что древним было присуще вполне наивное отношение к сексуальному, что, видя в нем нечто само собой разумеющееся, они не окружали его покровом тайны, но воздавали ему религиозное почитание как необходимой предпосылке всеобщего существования. Последние побегі этого религиозного чувства — пусть и искаженные до гротеска — еще различимы в комедии.

III. САТИРОВСКАЯ ДРАМА. ПАНТОМИМА. БАЛЕТ

По-видимому, общеизвестно, что за исполнением серьезных трагедий следовала так называемая сатирическая драма, которая, напоминая о веселости ранних праздников Диониса, удовлетворяла стремление публики к более грубой пище и посредством забав и шуток восстанавливала равновесие после душевных потрясений, вызванных трагическими судьбами. Такие сатирические драмы, из которых сохранилась лишь одна — «Киклоп» Еврипида, — пользовались большой популярностью вплоть до Александрийской эпохи, хотя о их сюжетах с определенностью может быть сказано очень немного. Древнеаттическая комедия еще долго находила подражателей; ее жизнь поддерживалась «искусниками Диониса», которые, обосновавшись на острове Теос, повсеместно распространяли «Дионисийские обычаи» — при дворах царей, в военных гарнизонах, во всех городах и поселках.

Наряду с этим все большее значение приобретал фарс, и, если мы вправе — а мы, пожалуй, вправе — верить Полибию (хххii, 25; ср. Афиней, х, 440), вместе с этими бесчисленными актерами, певцами, танцорами и им подобными повсюду проникали «ионийская распущенность и безнравственность». В эпоху Римской империи по-прежнему исполнялись диалогические партии трагедий и комедий, пока их постепенно не вытеснила пантомима, воздействие которой полностью определялось чувственным очарованием⁴². Посредством непрерывных упражнений и строгого, размеренного образа жизни актеры пантомимы достигали полного владения своим телом и благодаря гибкости членов исполняли каждое движение с совершенным изяществом. Конечно же, на этом поприще подвизались самые красивые и грациозные актеры. «В непристойных сценах, которые придавали пикантность этому виду драмы, обольстительная прелесть в соединении с роскошью и бесстыдством не знали никаких границ. Когда танцевал прекрасный юноша Бафилл, Леда — самая дерзкая из мимических актрис — при виде столь совершенного искусства утонченного обольщения чувствовала себя заурядным неотесанным новичком». (L. Friedlander, *Roman Life and Manners*, Engl. Transl., ii, 106).

⁴² Относительно непрерывной традиции драматических представлений см. Дион Хризостом, XIX, р. 487; Лукиан, *De saltat.*, 27.

Особенной любовью пользовались представления на мифологические сюжеты; подробное описание такого мифологического балета можно прочесть в «Метаморфозах» Апулея (х, 30—34). На сцене был возведен высокий деревянный макет горы Иды, усаженный кустами и живыми деревьями; с вершины его сбегали вниз ручьи; в зарослях бродили козы, которых пас Парис — прекрасный юноша во фригийском платье. Вот входит прекрасный, как на картине, отрок, который, если не считать короткого плаща на левом плече, полностью обнажен. Ниспадая на плечи, его голову венчают прекрасные волосы, из которых пробиваются два золотых крылышка, повязанные золотой лентой. Это Меркурий; танцуя, он скользит по сцене, вручает золотое яблоко Парису и жестами объявляет ему волю Юпитера, после чего изящно удаляется.

Затем появляется Юнона — прекрасная женщина с диадемой и скипетром; за ней быстро входит Минерва, на ней блистающий шлем, в руке щит, она потрясает копьем. За ней выступает третья. Невыразимая прелесть овеивает все ее существо, и цвет любви разлит по ее лицу. Это Венера; безупречная красота ее тела не спрятана завистливо под одеждами, она ступает нагой, и только прозрачная шелковая пелена прикрывает ее наготу. «Дерзкий ветер то приподымал легкую пелену, так что виден был цветок юности, то его теплое дуновение плотно прижимало пелену к телу, и под прозрачным покровом ясно проступали все сладостные формы» [перевод М. А. Кузмина].

Каждая из трех дев, что изображают богинь, шествует со своей свитой. За Юноной следуют Кастор и Поллукс; под прелестные звуки флейт в покойном величии выступает Юнона, благородными жестами обещающая пастуху царскую власть над Азией, если награду за красоту он отдаст ей. Минерву в воинственном наряде сопровождают двое привычных ее спутников и оруженосцев — Страх и Ужас, которые исполняют танец с обнаженными мечами.

Вокруг Венеры порхает толпа Купидонов. Сладко улыбаясь, во всем блеске своей красоты стоит она среди них, радуя взоры зрителей. Можно подумать, что эти кругленькие, молочно-белые, нежные мальчики — настоящие Купидоны; они несут перед богиней зажженные факелы, словно она отправляется на свадебный пир; богиню окружают прелестные Грации и прекрасные Хариты в своей головокружительной наготе. Они проказливо осыпают Венеру букетами и цветами и, воздав почести великой богине чувственности первинами весны, кружатся в искусном танце.

Вот флейты издали сладкие лидийские напевы, и каждое сердце наполняется радостью. Венера — она прелестней любой мелодии, — начинает двигаться. Медленно приподымает она ножку и изящно поводит телом и покачивает головой; каждая из чарующих поз гармонично вторит сладким звукам флейт. Оцепеневший Парис вручает ей яблоко как победную награду.

Юнона и Минерва удаляются со сцены недовольными и разгневанными, а Венера радуется победе, исполняя танец вместе со всею свитой. После этого с самой вершины Иды ударяет высокая струя вина, смешанного с шафраном, и наполняет весь театр сладким благоуханием. Затем гора опускается и исчезает.

О пантомиме и ее излюбленных танцах Лукиан написал весьма примечательное произведение, из которого явствует («О танце», 2 и 5; см. также Либаний, «О танце», 15), что из многочисленных мифологических сюжетов особой популярностью пользовались именно эротические. Конечно, уже и тогда давала знать о себе реакция в лице прячущихся под маской философии педантов, один из которых — некто Краток — произносит в диалоге Лукиана такие речи: «Неужели, Ликин, друг любезный, настоящий мужчина, к тому же не чуждый образования и к философии в известной мере причастный, способен оставить стремление к лучшему и свое общение с древними мудрецами и, наоборот, находить удовольствие, слушая игры на флейте и любуясь на изнеженного человека, который выставляет себя в тонких одеждах и тешится распутными песнями, изображая распутных бабенок, самых что ни на есть в древние времена блудливых — разных Федр, Парфеноп и Родоп, — сопровождая свои действия звучанием струн и напевами, отбивая ногою размер?» И ниже: «Только этого еще недоставало. Чтобы я с моей длинной бородой и седой головой уселся среди всех этих бабенок и обезумевших зрителей и стал вдобавок в ладоши бить и выкрикивать самые неподходящие похвалы какому-то негоднику, ломающемуся без всякой надобности» [перевод Н. Баранова].

Среди упомянутых в данном отрывке из Лукиана сюжетов встречаются также касающиеся инцеста, — например, любовный роман Демофон-та (ошибочно названного у Лукиана Акамантом) и его сестры Филлиды, любовь Федры к ее пасынку Ипполиту или Сциллы к ее отцу Миносу. Конечно же, в Греции не было недостатка в гомосексуальных мотивах. Из сюжетов, связанных с мальчиками и ставившихся в виде балета, Лукиан называет предание об Аполлоне и Гиакинте. Перечисление сцен, разыгрывавшихся пантомимой, занимает у Лукиана несколько страниц; мы видим, что практически все эротические мотивы греческой мифологии (число которых поразительно велико) использовались пантомимой.

Под мифологической оболочкой в театре ставились также любовные сцены с животными. Известнейшая из таких пантомим — «Пасифая» (Лукиан, *De saltat.*, 49; Светоний, «Нерон», 12; Марциал, «Книга зрелищ», 5; *Barens, Poetae Latini Minores*, v, p. 108). Как гласит предание, Посидон, гневаясь на то, что его обошли при жертвоприношении, внушил Пасифае — жене критского царя Миноса — необоримую страсть к быку редкой красоты. На помощь ей пришел знаменитый архитектор Дедал, создавший деревянную корову и прикрывший ее настоящей шкурой. Пасифая спряталась в пустом чреве коровы и таким образом сочелась с быком, от которого родила Минотавра — знаменитое чудовище, полубыка, получеловека. (Овидий, *Ars amatoria*, ii, 24: *Semibovemque virum semivirumque bovem.*)

О том, что такие сцены не были чем-то неслыханным в греческих театрах эпохи империи, свидетельствует тот факт, что мифологический сюжет и аксессуары отбрасывались и на сцене совершались сокоупления между человеком и животным *in puns naturalibus*. Сюжет лукиановского «Лукия, или осла», как известно, заключается в том, что посредством колдовства Лукий превращается в осла, который сохраняет, однако,

разум и чувства человека. В конце приключений человека-осла изложена любовная история знатной дамы из Фессалоник. Лукиан повествует об этой истории довольно подробно; мы можем лишь вкратце изложить эпизод, который сам по себе вполне заслуживает того, чтобы его прочли, и должны отослать любопытного читателя к тексту оригинала. (*Asinus*, 50 ел.)

Эта знатная и весьма богатая дама прослышала об удивительных способностях осла, в котором, разумеется, никто не видит околдованного человека. Она является на него посмотреть и влюбляется в него. Женщина покупает его и отныне обращается с ним как с любовником. Однако утехи этой удивительной любовной пары не остаются незамеченными, и принимается решение выставить редкое дарование осла на всеобщее обозрение. Перед публикой будет представлено зрелище брачного соития осла с приговоренной к смерти преступницей.

«Наконец, когда настал день, в который господин мой должен был дать городу свой праздник, решили меня привести в театр. Я вошел таким образом: было устроено большое ложе, украшенное индийской черепахой и отделанное золотом; меня уложили на нем и рядом со мной приказали лечь женщине. Потом в таком положении нас поставили на какое-то приспособление и вкатили в театр, поместив на самую середину, а зрители громко закричали, и шум хлопков в ладоши дошел до меня. Перед нами расположили стол, уставленный всем, что бывает у людей на роскошных пирах. При нас состояли красивые рабы-виночерпии и подавали нам вино в золотых сосудах. Мой надзиратель, стоя сзади, приказывал мне обедать, но мне стыдно было лежать в театре и страшно, как бы не выскочил откуда-нибудь медведь или лев.

Между тем проходит кто-то мимо с цветами, и среди прочих цветов я вижу листья свежесорванных роз. Не медля долго, соскочив с ложа, я бросаюсь вперед. Все думают, что я встал, чтобы танцевать, но я перебегаю от одних цветов к другим и обрываю и поедаю розы. Они еще удивляются моему поведению, а уж с меня спала личина скотины и совсем пропала, и вот нет больше прежнего осла, а перед нами стоит голый Лукий, бывший внутри осла».

Не скоро удалось утихомирить обманутую публику. Лукий, радуясь тому, что он вновь стал человеком, считает долгом приличия нанести прощальный визит знатной даме, которая так любила его, когда он был ослом. Она любезно принимает Лукия и приглашает его остаться на ужин.

«Я решил, что с моей стороны самое лучшее пойти к женщине, которая была влюблена в меня, когда я был ослом, полагая, что теперь, став человеком, я ей покажусь еще красивее. Она приняла меня с радостью, очарованная, по-видимому, необычайностью приключения, и просила поужинать и провести ночь с ней. Я согласился, считая достойным порицания после того, как был любим в обличье осла, отвергать ее и пренебречь любовницей теперь, когда я стал человеком.

Я поужинал с ней и сильно натерся миррой и увенчал себя милыми розами, спасшими меня и вернувшими к человеческому образу. Уже глубокой ночью, когда нужно было ложиться спать, я поднимаюсь из-

за стола, с гордостью раздеваюсь и стою нагой, надеясь быть еще более привлекательным по сравнению с ослом. Но, как только она увидела, что я во всех отношениях стал человеком, она с презрением плюнула на меня и сказала: «Прочь от меня и из дома моего! Убирайся спать подальше!»

— «В чем я так провинился перед тобой?» — спросил я. «Клянусь Зевсом,

— сказала она, — я любила не тебя, а осла твоего, и с ним, а не с тобой проводила ночи; я думала, что ты сумел спасти и сохранить единственно приятный для меня и великий признак осла. А ты пришел ко мне, превратясь из этого прекрасного и полезного существа в обезьяну!» И тотчас она позвала рабов и приказала им вытащить меня из дома на своих спинах. Так, изгнанный, обнаженный, украшенный цветами и надушенный, я лег спать перед домом ее, обняв голую землю. С рассветом я голым прибежал на корабль и рассказал брату мое смехотворное приключение. Потом, так как со стороны города подул попутный ветер, мы немедленно отплыли, и через несколько дней я прибыл в родной город. Здесь я принес жертвоприношение богам-спасителям и отдал в храм приношения за то, что спасся не «из-под собачьего хвоста», как говорится, а из шкуры осла, попав в нее из-за чрезмерного любопытства, и вернулся домой спустя долгое время и с таким трудом» [перевод Б. Казанского].

ГЛАВА V

ТАНЕЦ И ИГРЫ В МЯЧ. ТРАПЕЗЫ И ЗАСТОЛЬЯ. ОБЫЧАИ ГОСТЕПРИИМСТВА

К ЧИСЛУ театральных представлений в широком смысле слова можно отнести также танцы. Античность не знала общественного танца в его современной форме, когда пары мужчин и женщин танцуют под звуки музыки ради собственного удовольствия. Танец эллинов представлял собой синтез ритма и мимического искусства; иными словами, он являлся телесным воплощением внутренней идеи и воздействовал посредством движения подобно тому, как поэзия — посредством слова. Поэтому греческий танец был настоящим искусством, ритмичным изображением внутренних процессов, в котором были задействованы все части тела, а не только руки и ноги⁴³. Поэтому радовавшиеся красоте греки получали особенное удовольствие от представлений танцевального искусства, в котором усердно упражнялась молодежь, чтобы оживить танцами праздники и зрелища, а также пирушки, застолья и другие частные торжества. Это справедливо и для древнейшего периода; находки на Крите и сегодня рассказывают нам о красоте танцовщиц доисторического Эгейского периода и о их весьма вольной манере одеваться, а Гомер («Одиссея», viii, 263 ел.; 370 ел.; см. трактаты Лукиана и Либания; см. также Афиней, xiv, 628) несколько раз упоминает ритмичные танцы, призванные развеселить и усладить зрителей.

Сколько-нибудь полная история греческого танцевального искусства сама по себе могла бы составить отдельную книгу. В согласии с предметом нашего очерка нам следует ограничиться лишь теми выродившимися разновидностями греческого танца, где сексуальный импульс проступает более или менее явственно.

Хотя мы и говорили о том, что греки не знали общественного танца в нашем смысле слова, следует добавить, что Платон («Законы», 771e), кажется, имеет в виду нечто, по меньшей мере напоминающее такой танец, когда говорит о желательности совместных танцев юношей и девушек на общественных праздниках, чтобы они могли тем самым познакомиться до вступления в брак. В том же месте он требует, чтобы оба пола имели больше возможностей видеть друг друга обнаженными, «насколько это позволяют соображения скромности»; однако весьма

⁴³ Во втором, переработанном немецком издании Герберт Левандовски добавляет: «Схожим образом обстоит дело и поныне в Индии, Индонезии, особенно на Бали». (*Прим. пер.*)

неясно, должны ли мы понимать под требованием Платона современные парные танцы, или же имелось в виду лишь то, что юноши должны исполнять свои танцы на глазах у девушек и *viceversa*. Однако даже если Платон говорил об общественных танцах, подобных модным танцам нашего времени, из указанного отрывка явствует, что они не были чем-то обычным, по крайней мере, в Аттике; мы также не располагаем источниками, которые свидетельствовали бы о том, что они были распространены позднее. Знаменитое описание танца на щите Ахилла в «Илиаде» (xviii, 593 ел.) ничуть не более соответствует современному светскому танцу; это скорее хоровод, который юноши и девушки исполняют не порознь, как обычно, но вместе:

Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, Пляшут, в хор круговидный любезно сплетая руками. Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы Светло одеты, и их чистотой, как елеем, сияют; Тех — венки из цветов прелестные всех украшают; Сих — золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых; Пляшут они, и ногами искусными то закружатся, Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной, Если скудельник его испытует, легко ли кружится; То разовьются и пляшут рядами, одни за другими. Купа селян окружает пленительный хор и сердечно Им восхищается; два среди круга их головоходы, Пение в лад начиная, чудесно вертятся в середине.

[перевод Н. И. Гнедича]

Вышесказанное относится и к тому, что сообщает Лукиан (*De saltat.*, 10) о танце в Спарте: «И доньше можно видеть, что молодежь спартанская обучается пляске не меньше, чем искусству владеть оружием. В самом деле: закончив рукопашную, побив других и сами, в свой черед, побитые другими, юноши всякий раз завершают состязание пляской. Флейтист усаживается в середине и начинает наигрывать, отбивая размер ногою, а юноши, друг за другом, по порядку, показывают свое искусство, выступая под музыку и принимая всевозможные положения: то воинственные, то, спустя немного, просто плясовые, приятные Дионису и Афродите. Поэтому и песнь, которую юноши поют во время пляски, содержит призыв к Афродите и эротам принять участие в веселии и с ними вместе поплясать. А другая песня, — их поется две, — дает наставление, как надлежит плясать. В них говорится: «Дальше ногу отставляйте, юноши, и выступайте дружней!» Другими словами: «лучше пляшите!» Подобным же образом поступают и пляшущие так называемое «ожерелье» (*homos*).

«Ожерелье» — это совместная пляска юношей и девушек, чередующихся в хороводе, который, действительно, напоминает ожерелье; ведет хоровод юноша, выполняющий сильные плясовые движения, — позднее они пригодятся ему на войне; за ним следует девушка, поучающая женский пол вести хоровод благопристойно, и таким образом как бы сплетается цепь из скромности и доблести. Равным образом есть у них в танце и обнажение молодых тел» [перевод Н. Баранова].

Тот факт, что в Греции танцы мальчиков и юношей пользовались повсеместной популярностью, не нуждается в подробных доказательствах и ссылок на древних авторов. Из многочисленных свидетельств мы можем выбрать лишь некоторые.

Так, у Лукиана (*De saltat.* 16) мы читаем: «А на Делосе даже обычные жертвоприношения не обходились без пляски, но сопровождалась ею и совершались под музыку. Собранные в хоровод отроки под звуки флейты и кифары мерно выступали по кругу, а самую пляску исполняли избранные из их числа лучшие плясуны. Поэтому и песни, написанные для этих хороводов, носили название «плясовых припевов» (*hyporchema-ta*), и вся лирическая поэзия полна ими» [перевод Н. Баранова].

Затем он перечисляет внушительное число танцев, не приводя, однако, более подробных сведений об их характере, так что они остаются лишь названиями, которыми мы не станем утомлять читателя⁴⁴. Хотя рассмотренные до сих пор танцы были не лишены эротического подтекста, все же древнейшее упоминание танца, в котором эротический элемент был несомненным, встречается впервые у Геродота (vi, 126 ел.). Могущественный правитель Сикиона Клисфен имел прелестную дочь по имени Агариста, свататься к которой съехались толпы самой выдающейся молодежи со всей Греции и Италии. В течение года женихи оставались при дворе Клисфена, который тщательно их проверял. Наконец наилучшими были сочтены шансы богатого и прекрасного афинянина Гиппок-лида. Когда настал решающий день, Клисфен, принеся жертвы, устроил пышный пир, после которого женихи принялись показывать свои музыкальные и светские таланты. Крепко подвыпивший Гиппоклид очаровал всех изобилием и остроумием своих затей и шуток. Набравшись по этой причине дерзости, в сопровождении флейты он исполнил непристойный танец. Клисфен неприязненно взиравший на это, еще сдерживался. Но когда Гиппоклид взобрался на стол и исполнил на нем еще более лихие пляски, стоя в конце концов на голове и бесстыдно размахивая голыми ногами, предполагаемый тесть обратился к нему со словами негодования: «О, сын Тисандра, проплясал ты свою невесту», на что юноша ответил: «А Гиппоклиду до этого и дела нет», — и со смехом вышел из зала.

Хотя бесстыдство, описанное в этом отрывке, имело место, так сказать, в узком кругу, все же были достаточно известны и такие танцы, которые, с нашей точки зрения, непременно были бы названы непристойными и которые тем не менее исполнялись совершенно открыто. Такой же характер имели вышеназванные непристойные танцы на праздниках Артемиды, танец каллабида, наконец, знаменитая сикиннида⁴⁵. Древние не вполне понимали значение этого слова,

⁴⁴ Можно упомянуть лишь некоторые: «жертвенный поднос», «щипцы», «цветы», «ступа», «квашня» (названы по имени используемых танцевальных фигур), «полет», «неистовство», «рассыпка муки» и т. д. и т. п.

⁴⁵ Ср. Ath., xiv, 630b, где автор пытается объяснить это название. Перечислим важнейшие места, в которых оно упоминается: Dion. Halic., vii, 72, Id; Климент Александрийский, *Paed.*, i, 7; Еврипид, «Киклоп», 37; Ath., i, 20; xiv, 629d, 630; Pollux, iv, 99; схолии к «Облакам» Аристофана, 540.

но нам, по крайней мере, известно, что обыкновенно этот танец в сатировской драме исполняли сатиры и что присущие ему гротескные жесты и вызывающее обнажение делали его, с нашей точки зрения, положительно непристойным, а нежные напевы флейт — еще более возбуждающим.

Столь же непристойным, или скорее эротичным, был кордак (Дион Кассий, Нв, 27; Алкифрон, ш, 18; Демосфен, ii, 18; Bekker, *Anecdota*, 101, 170, 267; Ath., xiv, 630e; Павсаний, vi, 22; Аристофан, «Облака», 532, 547; Лукиан, *Bacch.*, 1; Теофраст, «Характеры», vi), который заключался главным образом в покачивании взад и вперед, подражающем поведению пьяного; к этому добавлялись гротескные и неприличные, выставляющие напоказ формы тела движения и как бы случайное обнажение, так что в конце концов словом «кордак» стали называть непристойные танцы вообще.

Подытоживая сказанное, мы вправе говорить о том, что кордак являлся воплощением того, что современная сексопатология называет «эксгибиционизмом», с той, однако, существенной разницей, что эллины наслаждались теми «показами», что предлагались им от случая к случаю, и мудро избегали общественного негодования, разрешая на время подобные сумасбродства.

С танцем как художественным представлением были тесно связаны игры в мяч. Их гармоничные движения, позволявшие в ясном свете созерцать красоту телесных форм, также могли бы быть названы танцем в античном значении этого слова. Гомер («Одиссея», viii, 370 сл.) описывает феаков, развлекающих такой игрой своего гостя Одиссея:

Но Алкиной повелел Галиоту вдвоем с Лаодамом
Пляску начать: в ней не мог превосходством никто победить их.
Мяч разноцветный, для них рукодельным Полибием сшитый,
Взяв, Лаодам с молодым Галионтом на ровную площадь
Вышли; закинувши голову, мяч к облакам темно-светлым
Бросил один; а другой разбежался и, прыгнув высоко,
Мяч на лету подхватил, до земли не коснувшись ногами.
Легким бросаньем мяча в высоту отличась пред народом,
Начали оба по гладкому лону земли плодородной
Быстро плясать; и затопали юноши в меру ногами,
Стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела.

[перевод В. А. Жуковского]

Афиней описывает различные виды игры в мяч и дает весьма ученые объяснения названий и происхождения этих игр, приводя следующие слова из комедии Дамоксена (Ath., i, 14d; Дамоксен, фрагм. 3, Kock, CAP, III, 353, из Ath., i, 15b): «Мальчик лет семнадцати играл в мяч. Он происходил с Коса, и остров этот, по-видимому, производит на свет богов. Когда, ловя или бросая мяч, он оглядывал зрителей, мы громко восклицали в знак одобрения: «Как прекрасен этот юноша! Как прелестны и стройны его члены в движении!», а когда он говорил, — «Что за красота, что за чудо!» Я никогда прежде не видел и не слышал столь оборвочительной прелес-

ти! Со мною струсилось бы нечто худшее, задержись я еще ненадолго; но ах! мое сердце и так изнывает от любви»⁴⁶.

Пирры и застолья наряду со всенародными праздниками предоставляли наиболее удобную возможность насладиться созерцанием танца, сопровождаемого проникновенными звуками музыки, особенно напевами чувственных флейт. Греческие застолья, или, как называли их сами эллины, *симпосии*, столь часто изображались в широко известных описаниях греческой жизни (Bekker, *Charicles*, 1840; Stoll, *Bilder aus dem altgriechischen Leben*, 1875²), что подробный рассказ о них был бы излишним. Не в последнюю очередь следует указать на два античных произведения, которые нельзя не порекомендовать каждому, кто стремится познакомиться с духом античной Греции. Это сочинения Платона и Ксенофонта⁴⁷, дошедшие до нас под одним и тем же названием — «Пир». Если прелестное повествование Ксенофонта своей свежестью и правдой жизни переносит нас в общество того времени, то интеллектуальная и в то же время удобопонятная философия Платона с ее беседами, источающими благоухание поэзии и посвященными сущности любви, всегда будет очаровывать читателя, если только он не полностью опутан мелочностью повседневности, наполняя его мучительно-сладкой тоской по золотому веку человечества — и заставляя, по слову Гете, «душой искать земли греков».

Можно бегло упомянуть тот факт, что вино в античной Греции было настолько дешево, что даже рабы и наемные рабочие сполна получали свою дневную меру, что вина выпивалось подчас чересчур много, что женский пол почитал вино особенно высоко, что во многих местах, таких, как Массалия и Милет, женщинам запрещали пить вино, веля довольствоваться водой⁴⁸.

Вино разносили по кругу, что и составляло *симпосии* в собственном смысле слова, начинавшийся лишь после того, как присутствующие наелись. Обыкновенно, бросая кости, сотрапезники избирали председателя, так называемого *симпосиарха* или *басилея*, распоряжениям которого они должны были подчиняться. Он определял, в каком соотношении надлежит смешивать вино с водой. Разумеется, такие распоряжения производились в соответствии с интеллектуальным уровнем участников застолья. Среди мужей пытливого ума было принято приправлять и облагораживать радости вина оживленной беседой, удивительные образцы которой приведены в вышеназванных произведениях Платона, Ксенофонта, Плутарха и прочих. Однако здесь оставалось много места также

⁴⁶ Ср. описание игры в мяч, виденной Гете в Вероне (с. 65).

⁴⁷ В дополнение к ним могут быть упомянуты еще два произведения, ни одно из которых не заслуживает неуважительного к себе отношения: «Пир семи мудрецов» Плутарха и «Пир ученых мужей» Афиней. Оба они являются бесценными и богатыми источниками для изучения греческой жизни, хотя и суть не что иное, как вымысел. «Пир, или Лапифы» Лукиана непременно следует прочесть тем, кому по нраву грубая сатирическая прорисовка характеров.

⁴⁸ О дешевизне вина см. Boeckh, *Staatahaushaltung der Athener*, 1, 87, 137. Государственная экономика Афин; рабы и наемные рабочие: Демосфен, *Lacritus*, 32; Плутарх, «Сопоставление Катона и Аристида», 4. О женском пристрастии к вину: Aft., 7, 440; «Палатинская Антология», 298; Аристофан, «Женщины в народном собрании», 227 и т.д. О

запрете пить вино женщинам: Элиан, *Var. hist.*, и, 388; о различных сортах вина см. Bekker, *Charicles*.

для забав и шуток, тем более что свое стимулирующее, а точнее сказать, озобожающее воздействие оказывал дар Вакха.

Не следует смотреть на подобные забавы сквозь критические очки. Плутарх и в самом деле приводит немало таких шуток, которые с j полным правом можно назвать глупыми, однако они, несомненно, весьма веселили гостей в их радостном, приподнятом настроении, вызванном опьянением (Плутарх, *Symposiaka*, i, 4, 3). «[Симпосиарх , приказывал] петь косноязычным, или причесываться лысым, или i плясать хромым. Так, на одном симпосии, чтобы уколоть академика Агаместора, у которого одна нога была сухая и увечная, предложили, назначив пеню за невыполнение, всем выпить кубок стоя на правой ноге; когда же очередь сделать назначенное дошла до него, Агаместор предложил всем выпить так, как он покажет; затем, взяв небольшой глиняный сосуд, он всунул в него свою увечную ногу и в этом положении осушил кубок. Все остальные, признав себя неспособными повторить это, должны были уплатить пеню» [перевод Я. М. Боровского].

Согласно Лукиану (*Saturnalia*, 4), излюбленным «наказанием» было протанцевать голым или трижды обойти комнату с флейтисткой на руках.

Во время симпосия гостям прислуживали обычно молодые рабы, особая ловкость которых проявлялась тогда, когда они подносили полные до краев кубки. В очаровательном четвертом «Разговоре богов» Лукиана, где описывается похищение троянского царевича Ганимеда и его назначение виночерпием и любимцем Зевса, особенно подчеркивается, что прежде всего мальчик должен научиться подносить кубок. Если верить Ксенофону (*Cyrop.*, i, 3, 8), лучше других умели исполнять эту обязанность персидские виночерпии, прелестно подносявшие кубки тремя пальцами. В любом случае, как определенно замечает Поллукс (vi, 95; ср. Гелиодор «Эфиопика», vii, 27), этикет требовал, чтобы юноши-прислужники поддерживали кубки кончиками пальцев. Прислужники переходили от гостя к гостю, наполняя их кубки или подавая кувшины с вином, которое только что было смешано с водой. Каждый, кто знаком с греческим духом, мог бы предположить, что гости нежно и мягко трогали обходившего их виночерпия, пусть даже различные литературные источники и произведения пластического искусства и не подтверждают этого однозначно. Так, Лукиан («Пир, или Лапифы», 15, 26, 29, 39) говорит: «Между тем я заметил, что приставленный к Клеодему мальчик, красавец виночерпий, улыбается украдкой, — я считаю нужнш упомянуть и о менее существенных подробностях пиршества, в особенности о вещах изысканных; и вот я стал внимательно приглядываться, чему же мальчик улыбается. Немного погодя мальчик подошел взять у Клеодема чашу, тот же при этом пожал ему пальчик и вместе с чашей вручил, по-моему, две драхмы. Мальчик на пожатие пальца снова ответил улыбкой, но не заметил, по-видимому, денег, так что не подхваченная им монета со звоном покатиалась по полу, — и оба они заметно покраснели. Соседи недоумевали, что это за деньги, так как мальчик говорил, что не ронял их, а Клеодем, возле которого возник

этот шум, не показывая вида, что это он обронил. Итак, перестали беспокоиться и не обратили на это внимания, тем более что никто ничего и не заметил, за исключением, по-моему, одного только Арис-тенета, который спустя некоторое время переменял прислужника, незаметно отослав первого и дав знак другому, более взрослому, здоровенному погонщику мулов или конюху, стать возле Клеодема. Это происшествие таким образом — худо ли, хорошо ли — миновало, хотя могло повести к великому позору для Клеодема, если бы оно стало известно гостям и не было немедленно замято Аристенетом, который приписал все дело опьянению».

Во время пирушки хозяин получает письмо от философа Гетемокла, в котором наряду с прочим говорится следующее: «Это я привел немногие из многих аргументов, чтобы ты уразумел, каким пренебрег ты мужем, предпочтя угощать Дифила и даже собственного сына ему поручив. Не удивительно: учитель приятен юноше и сам от общения с ним получает удовольствие. Если бы мне не было стыдно говорить о подобных вещах, я бы еще кое-что мог присовокупить, в справедливости чего, если пожелаешь, ты сможешь убедиться, расспросив дядьку Зопи-ра. Но не подобает смущать свадебного веселия и говорить худого о других людях, в особенности обвиняя их в столь постыдных деяниях. И хотя Дифил заслужил твою, сманив у меня уже двух учеников, — но я... я, во имя самой философии буду молчать». Лукиан продолжает: «Итак, когда раб наконец окончил чтение, взоры всего стола обратились на Зенона и Дифила. Испуганные, побледневшие, они смущенным видом своим подтверждали справедливость Гетемоклова обвинения. Сам Аристенет был встревожен и полон смятения, но тем не менее пригласил нас пить и пытался сделать вид, будто ничего не произошло: он улыбался и отослал раба, сказав, что примет все написанное во внимание. Немного погодя и Зенон незаметно встал из-за стола, так как дядька — очевидно, по приказанию отца — кивнул ему, чтобы он вышел» [перевод Б. Казанского].

Согласно Павсанию (i, 20, 1; ср. Ath., ii, 39a, x, 423b; Плутарх, De nob., 20), Пракситель изобразил сатира в виде юноши, подающего кубок.

Утверждение жившего в двенадцатом веке ученого архиепископа Евстафия, будто в роли виночерпиев выступали также девушки, является, несомненно, ошибочным, как ясно каждому, кто хоть немного проник в психологию греческого духа; к тому же я не могу указать ни одного греческого источника, свидетельствующего о таком обычае (Ев-стафий, Комм, к «Одиссее», i, 146, p. 1402, 41; его ошибка, возможно, восходит к таким текстам, как Ath., xiii, 576a). Вне всяких сомнений, приятное состояние опьянения иногда способствовало тому, что уступчивые гетеры, своей наготой приводившие пирующих в возбуждение, брали на себя розлив вина и другие обязанности такого рода; однако, в соответствии со всеми эстетическими воззрениями эллинов, должность виночерпия была привилегией молодых рабов. Как бы то ни было, Микали (L'Italia avanti il dominio dei Romani, илл. 107) описывает рельеф, на котором изображена девушка, наполняющая кубки возлежащих на

двух ложах гостей, в то время как три другие девушки играют на музыкальных инструментах. Однако это нельзя расценивать иначе, как исключение из общего правила.

Насколько высоко ценилась служба виночерпия, явствует из того факта, что во время всенародных празднеств эта должность поручалась мальчикам и юношам из лучших семей. Так, Афиней (х, 424е) говорит: «У древних было принято, чтобы вино разливал один из благороднейших юношей, как сын Менелая у Гомера; Еврипид в молодости также был виночерпием. Как бы то ни было, в своем сочинении о пьянстве Теофраст говорит: «Я слышал, что поэт Еврипид из Афин также был виночерпием у так называемых плясунов». Последние плясали в храме Аполлона Делосского, были благороднейшими из афинян и носили при этом одежды, изготовленные на острове Фера... И Сафо часто восхваляет своего брата Лариха, потому что он был виночерпием в митиленском пританее. Также и среди римлян на всенародных жертвоприношениях знатнейшие юноши должны были исполнять обязанности виночерпиев, во всех отношениях подражая эолийцам».

Едва ли требуется особо упоминать и то, что радости винной чаши приправлялись — в соответствии со вкусом и прихотью гостей — всевозможными представлениями танцоров, акробатов и певцов обоих полов: мы уже говорили о танцовщицах, которые плясали на пирах фессалийской знати. Уже у Гомера («Одиссея», i, 152) песня и танец нерасторжимо связаны с застольем; редко обнаружишь изображения пирушки, на которых отсутствовали бы флейтистка или кифаристка. Если серьезные мужи во время симпосиев имели намерение предаться важной беседе, они отправляли флейтисток домой, как поступает у Платона Эриксимах («Пир», 176; ср. «Протагор», 347), замечая, что флейтистка может сыграть, если желает, самой себе или женщинам в гинекее; в «Протагоре» Платон еще резче выступает против обычая приглашать флейтисток: «Они... неспособны по своей необразованности общаться за вином друг с другом своими силами, с помощью собственного голоса и своей собственной речи, и потому ценят флейтисток, дорого оплачивая заемный голос флейт, и общаются друг с другом с помощью их голоса. Но где за вином сойдутся люди достойные и образованные, там не увидишь ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток, — там общаются, довольствуясь самими собой, без этих пустяков и ребячеств, беседуя собственным голосом, по очереди говоря и слушая, и все это благопристойно, даже если и очень много пили они вина»[перевод Вл. С. Соловьева].

Однако подобное мнение было редкостью; общий вкус не желал отказываться от танцовщиц, которые после пира использовались, разумеется, в других целях; и действительно, согласно Афинеем (xiii, 607d), их зачастую продавали с аукциона, а рисунки на вазах не оставляют никаких сомнений в сексуальных функциях танцовщиц и флейтисток. В одной из драм Херемона (фрагм. 14, Nauck², p. 786; у Афиней, xiii, 608d) о таких услужливых девушках говорится: «Одна лежит здесь и, приспустив платье с плеч, показывает при свете луны нагую грудь»;

другая, танцую, обнажает левое бедро — нагая, обращая глаза к небу, она напоминает живую картину; другая оголила свои пухлые ручки, обвинив ими нежную шею подруги. Одна из них выставила обнаженное бедро в разрезе между складками платья, и красота ее сияющего тела превзошла всякие ожидания».

На расточительно роскошном свадебном пире македонянина Карана, подробно описанном у Афиня (iv, 128с ел.), наряду с флейтистками присутствовали также *sambykistriaí*, или девушки, играющие на самбике (о самбике см. Афиней, xiv, 633 ел., Аристотель, «Политика», viii, 6, И) — треугольным струнным инструменте. В данном случае они прибыли с Родоса и выступали в прозрачных одеждах, так что многие гости думали, что они обнаженные. Позднее на празднике в роли плясунов выступили *ithyphalli*, которые также исполнили фаллические песни. После них жонглеры — как мужчины, так и женщины — принялись плясать вокруг мечей, вбитых в землю, и извергать огонь. Затем появился хор из ста певцов, который пропел свадебную песнь, и снова выступили танцовщицы, облаченные в наряды нимф и nereid. В то время как гости налегали на вино и подкрадывались сумерки, открылась комната, убранная белой материей. В ней перед гостями предстали юноши и девушки, изображавшие наяд, Эрота, Артемиду, Пана, Гермеса и других мифологических персонажей. Они разливали свет серебряных ламп, а их более или менее обнаженные тела принимали самые прелестные позы (Bekker-Goll, *Charicles*, i, S. 152, в основном следуют Ксенофону, *Sympos.*, 2, 1 ел.). Игравшие на самбике девушки благодаря своей безотказной уступчивости пользовались огромной популярностью. У Плутарха они упоминаются в одном ряду с кинемами.

Из других текстов греческих авторов явствует, что большим успехом на подобных пирушках пользовались акробатические трюки, так описываемые Беккером: «Профессиональный танцор, за деньги показывавший свои умения, ввел прелестную девушку и прекрасного мальчика, который ростом походил на молодого мужчину; за ними следовала флейтистка. Мальчик взялся за кифару и в лад флейте ударил по струнам. Затем звуки кифары смолкли; девушка получила несколько обручей, которые она подбрасывала в воздух и ловила один за другим, танцуя под наигрыш флейты. Ей подбрасывали все новые и новые обручи, пока между ее руками и потолком не стала летать добрая дюжина, а зрители не начали громко выражать одобрение прелести и ловкости ее движений».

Затем внесли большой обруч, к краям которого были прикреплены отточенные ножи; его положили на пол и надежно закрепили. Девушка вновь пустилась в пляс; сделав сальто, она вскочила в середину обруча, а затем выпрыгнула обратно, и повторила этот номер несколько раз, так что зрители испугались, как бы столь прекрасная девушка не причинила себе вреда. Затем в дело вступил юноша, танцующий с искусством, еще более подчеркивавшим красоту и соразмерность его юного тела. Вся его фигура превратилась в зеркало выразительнейшего движения; никто не мог сказать, какие его члены — руки, пятки или стопы — более участвовали в произведении того впечатления, под которым находились зрители при

виде прелести его телодвижений. Ему также было высказано шумное одобрение и некоторые из присутствующих были того мнения, что выступление юноши им приглянулось более, чем танец девушки».

Попойки и застоля в древности проводились в частных домах, так как рестораны и гостиницы были неизвестны. В Афинах позднейших эпох, несомненно, существовало множество мест, где люди собирались, чтобы сыграть в кости, выпить и поболтать, как говорится у Эскина (*Timarchus*, 53): «Он проводил свои дни в игорном доме, где сражаются петухи и перепела и идет игра в кости»; однако места подобного рода не могут быть названы ресторанами в современном смысле слова.

В древности люди могли обходиться и без гостиниц, так как уже во времена, описанные Гомером, обычаи гостеприимства были развиты так широко, что, отправляясь в чужие земли, человек мог быть полностью уверен в том, что встретит там дружеский прием. Так же обстояло дело и в историческую эпоху. Хорошо известен рассказ Геродота (vi, 35) о том, что если Мильтиад, сидя перед своим домом, узнавал в прохожих по их одежде чужезранцев, то он поднимался и приглашал их под свой гостеприимный кров. Более того, нам известны законы, которые в память о Зевсе Ксении, покровителе прав гостеприимства, обеспечивали и делали обязательным дружественное обращение с чужеземцами и гостеприимность по отношению к ним (Закон Харонда у Стобея, *Sermones*, 44, 40). Даже среди негреческих народов мы находим высокое уважение к правам гостеприимства; так, закон луканов (Элиан, «Пестрые рассказы», iv, 1; ср. Геркалий Понтийский, *Politika*, 18; Платон, «Менексен», 91), народа, обитавшего в Нижней Италии, запрещал отказывать в приеме страннику, который просил о приюте после захода солнца, и определял суровое наказание для всех, кто его нарушал.

С развитием сообщения между городами частное гостеприимство перестало справляться с потоком путешественников; в силу этого начали появляться заведения, соответствующие нашим гостиницам. Начатки таких учреждений можно видеть в *лесхе* (*lesche*)⁴⁹, упоминаемой уже у Гомера и Гесиода; это было общинное помещение, служившее ночным убежищем для безродных и нуждающихся. Здесь можно было также укрыться в непогоду или встретиться для праздной беседы; в ту эпоху тем же целям служила и кузница. И все же интересно отметить, что Гесиод предостерегает людей от посещения обоих названных мест как обителей праздности, где человек, «прячась от зимнего холода, греется в уюте и пускает свое время на ветер, тогда как дома лежит много несделанной работы». Да и позднее пребывание в лесхе, которых в каждом городе было несколько, по крайней мере, в Афинах и Беотии, не считалось почтенным времяпрепровождением, и уважаемые люди старались его избегать. Это не относится к знаменитой лесхе в Дельфах, которая быша возведена на средства книдян и служила местопребыванием и пристанищем для бесчисленных посетителей, стекавшихся в Дельфы.

⁴⁹ О лесхе и кузнице см. Гомер, «Одиссея», xviii, 328 сл.; Гесиод, «Труды и дни», 493, 501; Etym. Magnum, λέσχη παρά Βοιωτῶν τι κοινά δεῖπνητήρια.

Согласно подробному описанию Павсания (х, 25, 1), ее продольные боковые стены были украшены большими, многофигурными картинами Полигнота, одна из которых изображала завоевание Трои и отплытие греков, а другая — посещение Одиссеем подземного мира.

С течением времени в каждом сколько-нибудь крупном поселении появилась гостиница (*pandokeion*); в самых посещаемых местах — таких, как Олимпия или Книд (Олимпия: схолии к Пиндару, *Olympia*, xi, 55; Элиан, «Пестрые рассказы», iv, 9; Книд: Лукиан, *Amores*, 12), куда ежегодно стекались огромные толпы чужестранцев, чтобы увидеть знаменитый храм и Афродиту Праксителя и не в последнюю очередь ради того, чтобы насладиться здесь радостями любви, — подобные пристанища содержались за общественный счет. Когда Фукидид (ш, 68) сообщает о том, что гостиница, построенная спартанцами в Платеях близ храма Геры, была около шестидесяти метров в длину и имела множество комнат для гостей, мы должны учитывать, что подобные постоялые дворы были в высшей степени примитивными. Так, постояльцы должны были являться сюда со своим постельным бельем, по каковой причине никто не путешествовал без сопровождения одного или нескольких рабов, которые несли багаж на себе (ср. Ксенофонт, *Memorab.*, ш, 13, 6).

Разумеется, такие постоялые дворы весьма отличались друг от друга в зависимости от их класса. Иные из них — как это было всегда и везде — являлись обычными воровскими притонами, где постоялец имел все основания опасаться за свою жизнь. Так, Цицерон (*Divin.*, i, 27, 57; второй рассказ см. *Invent*, ii, 4, 14) рассказывает следующее: «Когда два товарища-аркадца, путешествовавших вместе, прибыли в Мегары, один из них сговорился о ночлеге с содержателем гостиницы, другой — остановился у своего гостеприимца. Они отужинали и отправились спать; тот, что остановился у друга, не успел уснуть, как ему привиделось, что товарищ молит его о помощи, ибо содержатель гостиницы собирается его убить. Проснувшись, он сначала испугался; затем, успокоившись, он улегся опять, думая, что ему привиделся пустой сон. Когда же он снова заснул, ему вновь привиделся товарищ и умолял его, раз уж тот не помог ему, пока он был жив, хотя бы не оставить его смерть неотмщенной; он сказал, что хозяин убил его, спрятав в телеге и забросав навозом, и молил друга явиться к городским воротам поутру, покуда телега еще не выехала из города. Разбуженный этим сном, наутро он спросил у подъехавшего к воротам крестьянина, что у того в телеге. Крестьянин в страхе убежал; мертвеца достали из-под навоза, и хозяин, признавшись в содеянном, понес заслуженное наказание».

Цицерон рассказывает и другую историю, местом действия которой выступает греческая гостиница. Здесь из жадности хозяин убивает постояльца и, чтобы отвести подозрение от себя, утверждает, что окровавленный меч принадлежит другому путешественнику.

Мы могли бы предполагать, что гостиницы нередко изобиловали клопами, даже если бы отсутствовали ясные свидетельства на этот счет (как, например, у Аристофана, «Лягушки», 114, 549). Из того же

источника мы узнаем, что хозяевами постоялых дворов были также женщины. Кроме того, поскольку в большинстве из них известное число услужливых девиц шли навстречу самым сокровенным желаниям гостей, нетрудно объяснить, почему Теофраст («Характеры», 6) упоминает постоялые дворы и публичные дома в одном ряду и почему репутация содержательниц гостиниц была не из лучших (например, Платон, «Законы», xi, 918).

Страбон (xii, 578) заявляет о том, что ему известно о случае, когда во время ночного землетрясения под развалинами постоялого двора, находившегося в некой фригийской деревне, были погребены множество женщин и их владелец; данное известие интересно тем, что не только сам хозяин держал при себе женщин, готовых пойти навстречу постояльцам, но вместе со своим живым товаром в гостиницах поселялись также ловкие и деловитые сводники, дабы обменивать женскую плоть на звонкую монету, сдавая девушек «напрокат» постояльцам. И наоборот: знатные и особенно богатые постояльцы привозили женщин с собой; если им не хотелось расставаться с привычным гаремом, поселившись в гостинице, они призывали его к себе. Согласно Плутарху («Деметрий», 26), именно так поступил Деметрий, на протяжении многих лет правивший Афинами, когда поселился в Парфеноне на Акрополе; популярная в те времена песенка упрекала его в том, что

Святой Акрополь наш в харчевню превратив,
К Афине-деве в храм распутниц он привел.

[перевод С.П. Маркиша]

Чем интенсивнее становилось с течением времени пассажирское сообщение, тем больше появлялось постоялых дворов самого разного класса, так что, по словам Плутарха (*De vitioso pudore*, 8), путешественник имел возможность очень широкого выбора; в более позднюю эпоху мы слышим о весьма комфортабельных гостиницах, где, согласно Эпиктету (*Dissert.*, ii, 23, 36; Strabo, 801a), многие предпочитали оставаться долее, чем это было безусловно необходимо. Это особенно относится к североафриканскому городу Канопу в дельте Нила; его обитатели пользовались широкой известностью за свою роскошь, выражавшуюся в многочисленных шумных торжествах. Страбон писал: «Но прежде всего удивительное зрелище представляет толпа людей, спускающихся вниз по каналу из Александрии на всенародные празднества. Ибо каждый день и каждую ночь народ собирается толпами на лодках, играет на флейтах и предается необузданным пляскам с крайней распущенностью, как мужчины, так и женщины; в увеселении участвуют жители и самого Канопы, которые содержат расположенные на канале гостиницы, приспособленные для отдыха и увеселений подобного рода» [перевод Г. А. Стратановского].

ГЛАВА VI

РЕЛИГИЯ И ЭРОТИКА

Всякий, кто является решительным и предубежденным приверженцем иудео-христианского представления о том, что нравственный идеал человечества состоит в «умерщвлении плоти», что высочайшее воздаяние после земной смерти заключается в вечном блаженстве непреходящего общения с ангелами, которые представляются бесполоми, — всякий, кто мыслит подобным образом, едва ли способен легко воспринять идею о том, что эротика и религия хоть как-то связаны между собой. И все же такая связь существует, причем связь несомненно глубокая. Протестантская церковь с ее унылым, туманно-серым нордическим умонастроением в своих внешних формах действительно сумела разделить чувственность и религию. Однако тот факт, что большинство исповедующих протестантизм более не осознают эротического подтекста своей религиозности, отнюдь не означает, что в их подсознании совершенно отсутствуют эротические флюиды или что эти флюиды, пусть и не замечаемые невооруженным глазом, являются тем самым менее действенными. Но всякий, кто познакомился с католическими обычаями в католических странах, понимает, что многие, если не большинство, из этих обычаев основаны на присущем человеку естественном и потому здоровом смысле, а стало быть, в значительной мере имеют эротические корни. Это, конечно же, не осознается большинством католиков, однако открывается взору опытного наблюдателя гораздо легче, чем в случае с протестантизмом. Можно без преувеличения утверждать, что религиозная потребность и исполнение религиозного желания в значительной мере являются замещением сексуальности, в некоторых случаях — вполне сознательным. Католическая церковь считается с этим фактом, что в немалой мере служит объяснением ее беспримерного успеха. Чего стоит одна только тайная исповедь!

Уже в различных сказаниях о начале мира мы встречаемся с эротическими представлениями. По мнению Гесиода («Теогония», 116 ел.), земля не сотворена *единым* Богом, но после возникновения Хаоса — бесконечного, пустого, зияющего пространства — на свет появились широкогрудая земля и Эрос, «сладкоистомный — у всех он богов и людей земнородных // Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает» [перевод В. В. Вересаева]. И Любовь — тот божественный природный закон становления, что отделяет мужское от женского, — устремляется, сочетая браком, соединить их вновь, чтобы благодаря этому браку на свет появлялись все новые поколения.

⁵⁰ О связи между религией и эротикой см. W. Achellis, *Die Deutung Augustins, Analyse seines geistigen Schaffens auf Grund seiner erotischen Struktur*; James, *The Varieties of Religious Experience*, 1902; Staibuck, *Psychology of Religion*, 1899.

Греки называли небо Ураном (*Ouranos*), понимая под этим именем оплодотворяющую силу неба, которая пронизывает землю теплом и влагой; благодаря ей земля выводит на свет все живое. В «Данаидах» Эсхила (frag. 44, Nauck; ар. Ath., xiii, 600b) мы читаем: «Священное Небо стремится обнять Землю, которую охватывает любовь и желание соединиться с Небом; низвергающийся с Неба дождь оплодотворяет Землю, которая приносит пищу стадам и плоды Деметры смертным».

Плодом любовных объятий Урана и Геи стали Титаны, имя которых получило эротическое истолкование и которые олицетворяют разнообразные небесные, земные и морские явления. Затем на свет рождаются Ки-клопы (не путать с киклопами, упоминаемыми у Гомера), олицетворяющие мощь природы, и Гекатонхейры — сторукие гиганты. Киклопы и Гекатонхейры становятся со временем чересчур могучими для своего отца, и здесь греческое воображение изобретает воистину грандиозный миф. Отец ввергает чудовищ обратно в лоно Земли. Но она призывает своих сыновей Титанов и требует отомстить отцу за поруганную материнскую честь. Так пылкая любовь превращается во взывающую к отмщению ненависть. Однако сыновья не отваживаются поднять руку на отца, и только коварный Крон заявляет о своей решимости. Мать передает ему огромный, остро отточенный серп. Крон прячется в засаде и, когда Уран опускается на Гею для ночных объятий, выскакивает из укрытия, чтобы отсечь его могучий детородный орган и отбросить его прочь. Из сочащихся капель крови Земля порождает Эриний, Гигантов и мелийских нимф, духов возмездия, насилия и кровавых деяний. Отсеченный член падает в море, и из его белой пены рождается прелестная богиня любви — Афродита⁵¹.

Хотя такие религиозные реформаторы, как Ксенофан (см. Секст Эмпирик, *Adv. mathem.*, i, 289; ix, 193; Климент Александрийский, «Строматы», v, 601) и Пифагор, не уставали указывать на то, что греческим представлениям о мире богов присущи сильные черты антропоморфизма, эти выступления, как представляется, не имели большого успеха. Народ уже свыкся с грубым чувственным пониманием своих богов и представлял их такими, какими их описывали поэты и изображали художники.

Сущность греческих богов состояла не в моральной, но эстетической идее, доведенной до своего логического конца; присущее им блаженство было не чем иным, как возможностью, не омрачаемой ни болезнями, ни старостью, ни смертью, сполна наслаждаться утонченной чувственностью, красотой, прелестью и весельем. Слова Шиллера «Только красота была тогда священна» являются в действительности ключом к пониманию греческой мифологии и в то же время всей греческой жизни.

⁵¹ Во многих учебниках утверждается, будто Афродита родилась из морской пены; это, конечно, не что иное, как полная бессмыслица. В древнейшем источнике (Гесиод, «Теогония», 190) этого мифа недвусмысленно сказано следующее: «Долгое время член носился по морю, и вокруг него взбилась белая пена, исходившая из бессмертного члена, и в ней родилась Афродита». Детородный орган, отсеченный непосредственно перед половым актом, был полон семени, которое извергается теперь наружу, порождая Афродиту в море и вместе с морем. Здесь нет и намека на морскую пену.

Следует твердо придерживаться этого взгляда на сущность божественного, чтобы беспристрастно созерцать бесчисленные эротические приключения греческих богов; не следует, далее, забывать о том, что греческая земля была разделена на множество небольших областей, каждая из которых имела свои местные предания. Разумеется, исходя из задач нашей книги, мы не будем даже пытаться упомянуть все эти предания; мы соберем воедино важнейшие эротические мотивы греческой мифологии, не стремясь при этом к достижению полноты.

Начнем с Зевса, верховного бога света, отца богов и смертных. В основе сказаний о многочисленных браках и похождениях этого бога лежит представление об оплодотворяющей влаге неба, что с течением времени, конечно же, забылось. Кроме того, из вполне понятного тщеславия многие знатные семейства возводили свое происхождение к Зевсу. В конце концов от всего этого осталось только эротическое ядро, и таким образом Зевс предстает женихом и благодетелем просто неисчислимого множества смертных и бессмертных женщин и девушек, а это, в свою очередь, не только служит неисчерпаемым кладезем сюжетов для бесчисленных поэтов и художников, но и лежит в основе постоянно тлеющей ревности его жены и сестры Геры, тем более что именно Зевс, похитив прекрасного троянского царевича Ганимеда, утвердил любовь к юношам в заоблачных высях Олимпа. Мы уже говорили о ревности Геры, и если взглянуть на бесчисленные романы Зевса с точки зрения морали, т.е. как на прелюбодеяние, ее будет трудно за это упрекнуть. Однако всеми доступными ей средствами поэзия неустанно славилась брак Зевса и Геры. В религиозных культурах это бракосочетание торжественно праздновалось весной как «священный брак», благословенная свадьба двух небесных сил, которым земля обязана своим плодородием. Воспоминание о первой брачной ночи в благословенных пределах Океана, где, согласно Еврипиду («Ипполит», 743 ел.), течет амвросия и Земля посадила древо жизни, ветви которого отягощены золотыми яблоками Гесперид, мы находим в поразительном рассказе из «Илиады» (xiv, 152 ел.) о том, как Гера, украсив свое тело всеми прелестями юности и красоты, приблизилась к своему супругу. Афродита дала ей чудесный пояс — «очарование любви и страсти, покоряющее сердца всех бессмертных богов и всех смертных». Прекрасная лилейнорукая богиня предстает перед мужем, взирающим с вершины горы на схватку троян и ахейцев; ослепленный прелестями ее тела, Зевс забывает обо всем вокруг и, горя от любви, заключает жену в объятия.

В память о «священном браке» жители многих греческих областей справляли весенние праздники с цветами и венками; во время торжеств по улицам проносили изображение Геры, облаченной в свадебный наряд, для нее готовилось брачное ложе, украшенное цветами, или, коротко говоря, производились все приготовления, свойственные человеческой свадьбе, ибо этот небесный брак рассматривался обычно как образец и начало брака вообще.

Но даже это божественное бракосочетание не обходилось без волнения и бури, что, с космологической точки зрения, является лишь

логическим следствием значения обоих божеств как сил природы. Поскольку именно в Греции такие атмосферные явления, как дождь, шторм и буря, вспыхивают с особенной яростью и внезапностью, то представление о супружеской ссоре между двумя небесными силами здесь, можно сказать, напрашивается само собой. С присущими им наивностью и наглядностью, греческие поэты очеловечили и эти явления. Так, уже у Гомера, в конце первой песни «Илиады» (i, 565 ел.), мы находим сцену грозной ссоры, которой Зевс кладет конец словами:

«...Ты же безмолвно сиди и глаголам моим повинуйся!

Или тебе не помогут ни все божества на Олимпе,

Если, восстав, наложу на тебя необорные руки».

Рек; утрашилась его волоокая Гера богиня

И безмолвно сидела, свое победившая сердце.

[перевод Н. И. Гнедича]

Из других сцен супружеских раздоров Зевса и Геры, описываемых Гомером («Илиада», xv, 18 ел.), упомянем ту, в которой Зевс подвешивает жену в небе, так что она свободно парит в мировом пространстве с двумя тяжелыми наковальнями на ногах. Космологическое объяснение этой удивительной сцены дал уже Проб (*Eel.*, 6, 31), в наковальнях видевший землю и море, а во всей картине — изображение веровного бога, который поддерживает воздух и все сущее в равновесии.

Так как Гера остается верна своему мужу, она ждет того же и от всех состоящих в браке людей и становится богиней — покровительницей брака.

Как огонь сходит на землю с неба, так и Гефест — бог огня — мыслится сыном Зевса и Геры. Его хромота, в которой люди, как им казалось, узнавали «колеблющееся, мерцающее пламя», объясняется у Гомера тем, что, когда однажды Гефест встал в одной из ссор на сторону матери, Зевс схватил его за ноги и сбросил с Олимпа. Поэтому ноги Гефеста так и остались слабыми; чтобы было на кого опереться, он сотворил двух золотых дев («Илиада», xviii, 410), «подобных живым юным девам», которые были, однако, одушевлены. На его шею вздуваются жилы, а грудь его — обнаженная грудь кузнеца — покрыта густыми волосами.

В Лемносском сказании его женой является Афродита, но по другому сказанию она замужем за Аресом, а потому легко возникло предание, которое обстоятельно и с пикантными подробностями декламирует перед феаками сказитель Демодок («Одиссея», viii, 266); это предание во все новых обработках является сюжетом, чрезвычайно популярным в литературе и искусстве античности и нового времени. Всевидящий бог солнца Гелиос открывает Гефесту, что в отсутствие своего закоптелого супруга Афродита предается радостям любви со статным красавцем Аресом. Разгневанный Гефест спешит в свою кузницу и выковывает сеть со столь тонкими нитями, что их не способны разглядеть ни бессмертное, ни смертное око. Эту сеть он тайком раскладывает на супружеском ложе, а затем притворно расстается с женой. Любовники попадают в расставленные для них силки. Блажен-

ствуя на вершине любви, они внезапно чувствуют себя оплетенными хитроумными оковами, так что не могут даже пошевелинуться (Овидий, «Искусство любви», 583). В этом прискорбном положении их застает Гефест, который спешно призывает в свидетели этой низкой измены всех небесных богов и требует от отца возвратить ему свадебные подарки, которые были отданы за «его бесстыжую дочь».

Эта не лишённая юмора и пикантности история часто разрабатывалась в древней и новой литературе и послужила сюжетом для многих художников. Овидий был совершенно прав, когда говорил, что на целом Олимпе нет рассказа более известного, чем этот (Овидий, *Amores*, 9, 40: *notior in caelo fabula nulla fuit*). Сам Овидий с явным удовольствием описал это неприятное приключение Афродиты и Ареса в своем «Искусстве любви» (Н, 561 ел.), не преминув внести в этот эпизод некоторые комические черты: так, Афродита вместе с любовником потешается над руками и ногами своего мужа кузнеца и подражает его хромающей походке.

Уже говорилось, что культ богини-девы Афины Паллады также был не лишен эротической подоплеки. Первоначально весьма глубокое предание о том, что Афина родилась из головы Зевса, которую Гефест рассек топором, приобрело некоторые черты комизма. Это предание, которое с благоговейной серьезностью излагается такими древними поэтами, как Гесиод («Теогония», 886 ел.) и Пиндар (*Olympia*, vii, 34 ел.; см. также «Гомеровские гимны», 28), и встречается на бесчисленных образцах вазопиши, послужило в позднейшую эпоху поводом для смеха и веселья. Так, Лукиан в восьмом «Диалоге богов» остроумно пародирует этот миф следующим образом:

«ГЕФЕСТ: Что мне прикажешь делать, Зевс? Я пришел по твоему приказанию, захватив с собою топор, хорошо наточенный, — если понадобится, он камень разрубит одним ударом.

ЗЕВС: Прекрасно, Гефест: ударь меня по голове и разруби ее пополам.

ГЕФЕСТ: Ты, кажется, хочешь убедиться, в своем ли я уме? Прикажи мне сделать что-нибудь другое, если тебе нужно.

ЗЕВС: Мне нужно именно это — чтобы ты разрубил мне череп. Если ты не слушаешься, тебе придется, уже не в первый раз, почувствовать мой гнев. Нужно бить изо всех сил, немедленно! У меня невыносимые родовые муки в мозгу.

ГЕФЕСТ: Смотри, Зевс, не вышло бы несчастья: мой топор остер — без крови дело не обойдется, — и он не будет такой хорошей повивальной бабкой, как Илифия.

ЗЕВС: Ударяй смело, Гефест, я знаю, что мне нужно.

ГЕФЕСТ: Что ж, ударю, не моя воля; что мне делать, когда ты приказываешь? Что это такое? Дева в полном вооружении! Тяжелая штука сидела у тебя в голове, Зевс, не удивительно, что ты был в дурном расположении духа: носить под черепом такую большую дочь, да еще в полном вооружении, — это не шутка! Что же, у тебя военный лагерь вместо головы? А она уже скачет и пляшет военный танец, потрясает

щитом, поднимает копье и вся сияет божественным вдохновением. Но главное, она настоящая красавица и в несколько мгновений сделалась уже взрослой. Только глаза у нее какие-то серовато-голубые, — но это хорошо идет к шлему. Зевс, в награду за мою помощь при родах, позволь мне на ней жениться.

ЗЕВС: Это невозможно, Гефест: она пожелает вечно оставаться девой. А что касается меня, то я ничего против этого не имею.

ГЕФЕСТ: Только это мне и нужно; я сам позабочусь об остальном и постараюсь с ней справиться.

ЗЕВС: Если тебе это кажется легким, делай как знаешь, только уверяю тебя, что ты желаешь неисполнимого».

[перевод С. Сребрного]

Рассказывают, что Зевс оказался прав: у Аполлодора (ш, 188) мы читаем: «Афина пришла к Гефесту, желая изготовить себе оружие. Гефест, отвергнутый Афродитой, проникся страстью к Афине и стал ее преследовать, та же стала убегать от него. Когда Гефест с большим трудом (ведь он был хромым) догнал ее, то попытался с ней сойтись. Афина, будучи целомудренной девой, не допустила его до себя, и тот пролил семя на ногу богини. С отвращением Афина шерстью вытерла это семя и бросила на землю. После того как она убежала, из этого брошенного в землю семени родился Эрихтоний. Афина тайно от всех богов воспитала его, желая сделать бессмертным» [перевод В. Г. Боруховича].

С рождением Феба Аполлона — бога солнца и света — связан рассказ о яростной ревности Геры, которая гонит Лето (Латону), носящую дитя Зевса, по всей земле, пока той не удастся найти скромного убежища на Делосе, в те времена — носимом по морю маленьком острове. Бог света, спаситель мира рождается в самой скромной обстановке, когда за матерью его по пятам гонится ненависть. Невольно напрашиваются параллели с рождением Христа. Но огромное различие между двумя воззрениями — иудео-христианским и античным — сразу же бросается в глаза. У Луки говорится: «Она родила сына-первенца, спеленала его и положила в ясли для скота, потому что в гостинице места им не нашлось» [перевод В. Н. Кузнецовой]; эта картина очень трогательна, проста и глубока, она подвигла искусство на создание множества удивительных творений. Но греческая поэзия справляет настоящую оргию красоты, описывая рождение своего бога света («Гомеровские гимны», iii, 89 сл.; Феогнид, 5 сл.):

Феб-господин! В тот час, как над озером, круглым, как чаша,

Пальмы трепещущий ствол в муках руками обвив,

Сына родила Латона, прекраснее всех из бессмертных, —

С края до края тогда Делоса берег святой

Благоуханьем обьялся. Земля засмеялась сырая,

Возликовала морей седоголовая хлябь.

[перевод В. В. Вересаева)

Так явился на свет греческий спаситель, чтобы бороться с силами тьмы, которые мыслились в виде страшных драконов, и чтобы затем исполнить свою особую миссию — благословить людей светом, солнцем и радостью жизни. Когда неотесанный гигант Титий заключил его мать Лето в свои похотливые объятия (Гомер, «Одиссея», xi, 576), Аполлон уложил чудовище меткими стрелами и сослал его на вечные муки в подземный мир, чтобы тот служил символом беззаконного вождения.

Бог света и радости, он избирает своим прелестным любимцем и товарищем по играм Гиакинта. Но все, что прекрасно, цветет лишь мгновенье; несчастный случай или, по другой версии, ревность бога ветра Зефира, влюбившегося в прекрасного юношу, направляет пущенный диск в голову Гиакинта, и он погибает во цвете нежной юношеской красоты; из его крови земля производит на свет цветок, названный его именем, — исполненный глубокого смысла, рано вошедший в народную песню символ мимолетного периода юношеского цветения и сладостной весны, цветы которой скоро увядают под палящим кругом солнца (его символизирует диск) и под огненной летней звездой Пса. В память о прекрасном любимце Аполлона, умершем так рано, в июле справлялся праздник Гиакинтии (см. с. 81).

К числу самых очаровательных мифологических сказаний об Аполлоне относятся те, что повествуют о его пастушеской жизни. Уже Гомер («Илиада», xxi, 448; ii, 766) знает о том, что он пас быков Лаомедонта в лесистых теснинах горного хребта Иды и исполнял такую же службу для своего друга Адмета в Фессалии (Еврипид, «Алкестида», 569 ел.). Гоня стада перед собой, Аполлон играл и пел столь восхитительно, что дикие звери покидали свои логова в горах, чтобы его послушать; как говорится в прекрасной песни хора у Еврипида, пятнистая олениха — любимое животное Аполлона — плясала под его музыку. Но он всегда остается богом сияющей красоты и неотразимой привлекательности, наслаждается ли он в одиночестве звуками пастушеской свирели, охотится ли с нимфами или нежно играет с прекрасными мальчиками. Самой известной из возлюбленных Аполлона является прекрасная, но чопорная Дафна; она отказывается пожертвовать своей девственностью и, дабы ускользнуть от преследующего ее бога, превращается, попросив об этом богов, в лавр, который с тех пор посвящен Аполлону. Отдельные местные сказания перечисляют внушительное число любимцев и любимых Феба; исполненные негодования, которое нередко доводит их едва ли не до фальсификации, отличающиеся полным непониманием, Отцы Церкви (Климент Александрийский, *Protr.*, p. 27, Potter; Арнобий, iv, 26; Юлий Фирмик, *De erroribus*, 16) вносят их имена в свои списки, сводя местные предания со всей Греции в единый однообразный рассказ, тем самым стремясь показать, что Аполлону действительно следует приписать бесчисленные любовные связи. Данный вопрос, который касается любовных походов также и других богов, должен быть решен здесь раз и навсегда.

Менее известна, но просветлена золотом истинной поэзии Пиндара (*Olympia*, vi, 36) любовь Аполлона к Эвадне, приемной дочери аркадского

царя Эпита. Когда она не могла долее скрывать свою беременность, ее отец отправляется в Дельфы, чтобы спросить оракула. Тем временем дочь царя, по древнему обычаю отправившуюся за водой, одолевают родовые муки; в лесу она тайно рождает ребенка — мальчика, которого она вынуждена оставить здесь же. Но к нему приползают две змеи и кормят его медом. Отец возвращается из Дельф с ответом, что новорожденный — сын Аполлона и ему определено судьбой стать родоначальником бессмертного рода провидцев. Царь ищет младенца повсюду, но никто не знает, где он. Наконец Эвадна приносит сына из леса, где он лежал, укрытый фиалками, и называет его Иамом, или «сыном фиалок» (от *ion* — фиалка).

Сказание далее гласит, что Аполлон силой добился любви Кирены, дочери фессалийского царя Гипсея. Пиндар удивительным образом преобразил на свой лад и это предание; его возвышенному пониманию божественного противоречил рассказ о том, что Аполлон добился любви Кирены с помощью силы, и потому поэт описывает, как в сердце бога борются страсть и душевное благородство, и переносит этот конфликт в его беседу с Хироном, мудрым кентавром и воспитателем героев. Как говорит Хайнеманн, Аполлон и Хирон, юношеский порыв и дух мудрости, суть две души в груди одного бога. Этим объясняется и задорный, даже насмешливый тон кентавра: он дает совет, зная, что бог уже все решил (*Pythia*, ix, 18 сл.):

Это он [Гипсей] вскормил Кирену, чьи локти сильны,
И не любила она ни возвратный бег челнока по станку,
Ни радость пиров среди верных друзей, —
Нет: меч и дрот

Медный обрушивала она на лесных зверей,
Мирный покой добывая для отчих стад,
И мало взыскивал с ее век перед зарей
Сладкий наложник — сон.

В безоружном одноборстве с тяжелым львом
Застиг ее

Дальний стреловец с широким колчаном, Аполлон;
И так он выкликнул Хирона из покоев его: «Выйдя из святых пещер, сын Филеры,

Подивись на женскую мощь и дух,
Как юная бьется, не дрогнув лбом,
Сердцем осиливая усталь, В душе не буруеваемая страхом!
Кто родил ее? Отсевком какого сева

Она держит убежища тенистых гор? Силу она вкушает безмерную!

Праведно ли поднять на нее громкую мою руку,
Праведно ли с ее ложа сорвать медовый цветок?»
И ярый кентавр,

Усмехнувшись из-под добрых бровей,
Отозвался таким ему советом: «Умному Зову

Тайные вверены ключи
Святых ласк.
И богам и людям
Стыдно у всех на виду
Мягь первины сладкого ложа, —
Оттого-то тебя, кто не властен лгать,
Медвяный пыл
Понуждает к притворному слову.
Откуда ее род,
Спрашиваешь ты, владыка?
Спрашиваешь ты, кто знаешь
Предел всех путей и цель всех вещей,
И сколько вешних листков брызжет из-под земли,
И сколько песчинок клубят моря и реки меж вихрей и волн,
И все, чему быть, и откуда быть?
Но уж если тягаться мне с мудрым,
То слово мое — вот:
Ты пришел сюда быть ей мужем,
Ты умчишь ее за море в избранный Зевсов сад,
Ты поставишь ее владычицею города,
Где надравнинный холм принял люд с островов,
И державная Ливия, край широких лугов,
По-доброму примет в золотом доме твою славную нимфу...»

[перевод М. Л. Гаспарова]

Еще более часты в греческой литературе рассказы о любви Аполлона к мальчикам. Рудольф Бейер в своей работе (*Fabulae Graecae quatenus quave aetate puerorum amore commutatae sunt*: Diss. Inaug., Weida, 1910), посвященной гомосексуальным сюжетам у греков, насчитывает у Аполлона не менее девятнадцати любимцев, причем в своем списке он опускает Илея, один раз упомянутого Гесиодом (фрагм. 137, Kinkel). О Гиакинте мы уже говорили; здесь можно было бы добавить, что изобразительное искусство также с особым пристрастием ухватилось за сюжет любви к Гиакису Аполлона и Зефира, о чем свидетельствует несколько дошедших до нас рисунков на вазах. Большой популярностью любовь Аполлона и Гиакинта пользовалась также среди поэтов, особенно в Александрийский период.

Для всякого, кто хоть в самой скромной мере проник в сущность греческого гомосексуализма, нетрудно понять, что Аполлон, любитель мужественной юности, почитался также и как ее идеал и покровитель. Поэтому в греческом гимнасии его изображение всегда находилось рядом с изображениями Гермеса и Геракла.

Пластическое искусство изображало Аполлона в образе яркого, прекрасного юноши, повторяя этот мотив в бесчисленных вариациях, которых дошло до нас такое количество, что нет нужды говорить о них здесь⁵². Однако я бы хотел вкратце рассмотреть одно из самых прелестных его изображений, так как, на мой взгляд, оно до сих пор не получило верного толкования.

⁵² Из новейших публикаций одной из важнейших в этой связи является следующая книга: К. А. Pfeiff, *Apollon, die Wandlung seines Bildes in der griechischen Kunst*, Frankfurt am Main, 1943 [прим. ко второму немецкому изданию].

Мы читаем у Плиния (*Nat. hist.*, xxxiv. 70) в списке бронзовых работ Праксителя: «Он также создал отрока Аполлона, который затаился с дротиком в руке, подстерегая ползущую по ветке ящерицу; его называют Сауроктон (убивающий ящерицу)». Сохранилось несколько статуй, изображающих обнаженного, изящного, по-девичьи стройного юношу, который, опираясь левой рукой о ствол дерева, занес десницу над бегущей по дереву ящерицей; лучшими из копий являются Ватиканская и Луврская. Далее, известно, что ящерица как существо, любимое солнцем, была по душе и Аполлону, и что с этим изящным маленьким созданием был связан особый вид прорицания (Павсаний, vi, 2, 4; Цицерон, «О дивинации», i, 20, 39, *Galeotae*). Так почему же бог желает ее убить? Непредвзятое рассмотрение объясняет данный сюжет тем, что Аполлон — бог солнца и света — своими теплыми лучами, которые символизирует дротик, выманивает ящерицу из норы, чтобы насладиться ее проворными и грациозными движениями.

Но я думаю, что у данного сюжета есть и эротический подтекст. Греческое слово, обозначающее ящерицу, может обозначать также и мужской половой орган⁵³, особенно половой орган мальчика или юноши. Мы располагаем эпиграммой Марциала, которая гласит: «Коварный мальчик, пощади ползущую к тебе ящерку; она жаждет умереть в твоих руках». Это наводит на мысль о том, что изображения поражающего ящерицу Аполлона символизируют бога, который является другом мальчиков и не желает погубить маленькое существо, но скорее выманивает его поиграть с собой, пока ящерица не умрет от желания и любви под его ласковым пальцем.

Мы уже говорили о том, что культ Артемиды был не лишен эротической подоплеки. Греки представляли себе эту богиню в образе высокой девы, отличавшейся строгой красотой и отменной статью; из окружающих ее нимф она всегда самая высокая и прекрасная. В большинстве случаев ее представляли себе охотящейся или находящейся в стремительном движении, легко одетой, с высоко подобранным платьем, иногда — верхом или в колеснице, запряженной оленями. Во многих областях Греции девушки, выходя замуж, посвящали ей свой девичий хитон или пояс, из-за чего ее прозывали «распускающей пояс»; именно ей замужние женщины посвящали после родов свою одежду и пояс. Поскольку сама Артемида — это богиня строгой воздержности, постольку все целомудренные юноши и девушки являются ее особыми любимцами, что, в частности, иллюстрируется рассказом о прекрасном Ипполите, излагавшимся выше; мы также упоминали ранее Артемиду Ортию и бичевание мальчиков на ее алтаре.

Широко известно сказание о прекрасном охотнике Актеоне, который имел сомнительное счастье подглядеть купающуюся среди своих нимф Артемиду, был затем превращен разгневанной богиней в оленя и разорван на части собственными собаками. Менее известно, что по

⁵³ Нередко в «Палатинской Антологии», например, хп, 3, 2207, 242; ср. Марциал, xiv, 172: *Ad te reptanti, puer insidiose, lacertae pake; cupit digitis ilia perire tuis*, где *perire* — погибать от любви, быть без ума от любви.

той же причине она превратила в женщину Спирета (Антонин Либерал, 17).

Культ знаменитой Артемиды Эфесской пронизан азиатскими представлениями. Здесь она мыслится не девой, но кормилицей и всепитающей матерью, о чем свидетельствует множество грудей на ее культовом изображении; среди многочисленных ее жрецов было немало храмовых рабов (*hierodouli*) и внухов. Согласно азиатскому преданию, служение Артемиде Эфесской было введено амазонками, которых греки представляли себе воинственными женщинами чужеземного племени, сражавшимися с самыми знаменитыми героями античности; так, Пентесилея, царица амазонок, обитавших у Фермодонта (северное побережье Малой Азии), пришла на помощь троянцам и, совершив бранные подвиги, была повержена Ахиллом. Победоносный поход в землю амазонок совершил Геракл.

Уже Гомер называл амазонок «мужеравными», но только в более позднее время легенда превратила их государство в совершенную *гине-кократию* (*gynaikokratia* — правление женщин). Их превосходство над мужчинами основывалось на разгроме последних в военном походе, обусловленном, по мнению одних, климатическими, по мнению других, — астрономическими обстоятельствами. Родившихся мальчиков калечили или ослепляли, или — в лучшем случае — совершенно не заботились об их телесном развитии. Только девочек посредством гимнастических упражнений готовили к охоте или войне. Каллимах описывает воинственные танцы амазонок.

Исходя из их имени (альфа привативум + $\mu\alpha\zeta\omicron\varsigma$, грудь), в позднейшую эпоху заключали, что девушкам-амазонкам вырезали или выжигали одну или обе груди, чтобы им не приходилось испытывать неудобств при натягивании лука или метании копья. Данная этимология представляется неправдоподобной, однако удовлетворительного объяснения этого имени мы не знаем до сих пор. Они одевались на мужской манер в короткий хитон, который часто оставлял обнаженной правую грудь. Именно в таком виде предпочитало изображать их пластическое искусство, однако — из эстетических соображений — увечь одной из грудей здесь не заметно. Они сражались тяжелым оружием героев, но особенно любили лук и стрелы и устрашающие одно- или двулезвейные топоры; будучи блестящими наездницами, при случае они сражались и с боевых колесниц. Если в амазонках следует видеть тип, обозначаемый латинским словом *virago* (муже-женщи-на), то в наших источниках мы не найдем ничего, что предполагало бы гомосексуальную направленность полового влечения. И все же следует заметить, что они считались нерасположенными к любви и что позднейшие поэты предпочитали говорить об их целомудрии. (Об амазонках см. «Илиада», ш, 189; Стефан Византийский, s.v., Αμαζόνες ; Каллимах, «Гимн к Артемиде», 237 ел.; Ptol., *Astr. Jud.*, i, 2, p. 18.) Амазонки являются излюбленным сюжетом пластического искусства древних, лишенным, однако, ярко выраженного сексуального подтекста.

Наконец, как богиня женской плодovitости Артемиды почиталась в Персии и других частях Азии, где она носила имя Анаитида, посредством храмовой проституции многочисленных гиеродулов.

Образ бога войны Ареса, как известно любому читателю, в частности, из «Илиады», оставляет мало места для нежных эмоций любви и чувственности; однако история о его беззаконной связи с Афродитой (с. 127) показывает, что эротические сказания оплетали своими нитями и Ареса. Этот сюжет не чужд и изобразительному искусству; так называемый Арес Людовизи в Риме — это бог, отложивший оружие в сторону и удобно расположившийся отдохнуть, в то время как Эрос забавляется с его боевым снаряжением. Однако особенно популярны были групповые изображения Ареса и Афродиты, многие из которых дошли до нас в мраморе, на геммах и помпейских рисунках. Последние отличаются особенно ярко выраженным чувственным характером: как правило, Арес сладострастно ласкает грудь любимой и стягивает одежду, скрывающую ее прелести.

Если на этих картинах Афродита — не более чем женщина, дарящая любовью и просящая о любви, то в данном случае мы имеем дело с последней ступенью ее первоначальных, гораздо более широких функций. Прежде всего Афродита олицетворяет любовь неба к матери-земле и радость созерцания растущего космоса, затем — созидательный инстинкт жизни как таковой, особенно в зачатии, инстинкт, который естественной религией переносится с человека и животных также и на богов. Культ Афродиты — первоначально восточного характера — сочетает в причудливой смеси Прекрасное и Уродливое, Возвышенное и Низменное, Нравственное и (с нашей точки зрения) Безнравственное.

Культ Афродиты предположительно попал в Грецию через посредничество финикийцев, происходивших из великой семитской семьи народностей, распространившейся от Малой Азии до Вавилона и Аравии; поэтому два главных эмпория финикийской торговли — острова Кифсра и Кипр — рассматривались как древнейшие центры ее культа и даже как место ее рождения. .

О рождении богини от брошенного в море детородного члена Урана мы уже говорили выше (с. 124). В гомеровском гимне к Афродите («Гомеровские гимны», 6; Гесиод, «Теогония», 194 ел.) мы читаем:

В удел ей достались твердыни
В море лежащего Кипра. Туда по волнам многозвучным
В пене воздушной пригнало ее дуновенье Зефира
Влажною силой своей. И Оры в золотых диадемах,
Радостно встретив богиню, нетленной одели одеждой:
Голову вечную ей увенчали сработанным тонко,
Чудно прекрасным венцом золотым.
После того, как на гело ее украшения надели,
К вечным богам повели...
Эрос сопутствовал деве, и следовал Гимер прекрасный.
С самого было начала дано ей в удел и владенье
Между земными людьми и богами бессмертными вот что:
Девичий шепот любовный, улыбки, и смех, и обманы,
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий.

[перевод В. В. Вересаева)

Греческие поэзия и пластическое искусство никогда не уставали во все новых вариациях изображать миф о рождении Афродиты и ее принятии в сонм богов, украшая его всеми оттенками чувственной радости. Более того, все художественное творчество греков есть не что иное, как один-единственный гимн всемогуществу Афродиты и Эроса; попытка собрать воедино относящиеся сюда отрывки пусть даже с приблизительной полнотой вылилась бы в написание весьма внушительного тома.

Начиная с Платона («Пир», 180d), философская мысль различала Афродиту Уранию, или богиню чистой и супружеской любви, и Афродиту Пандемос, богиню свободной любви и ее продажных радостей. Данное разделение едва ли стало достоянием народного сознания; по крайней мере из Лукиана (*Dialogi meretr.*, 7, 1; ср. Ath., xiii, 572d ел.) явствует, что гетеры приносили жертвы как Урании, так и Пандемос.

Власть Афродиты простирается на весь мир. Она является небесной Афродитой в узком смысле слова, т.е. богиней атмосферы и всех небесных явлений. Но она владеет также и на море, волны которого она умиряет во время бури, ниспосылая счастливое плавание и радостное возвращение.

Эти две стороны ее божественной природы мы не будем рассматривать подробней, отсылая читателя к справочникам по мифологии. Однако мы, несомненно, обязаны сказать об Афродите, дарующей радости любви богам и людям. Любовь и красота для греков неразделимы; и поэтому Афродита является богиней весны, цветов и цветения, особенно мирта и роз, которые пышно распускаются благодаря ей и которыми она увенчивается и украшается. Ранней весной в ней самой пробуждается любовь; вся в цветах, идет она по лесам навстречу любимому; где бы она ни появилась, дикие горные звери ластятся к ней и отдают, по слову гомеровского гимна (iv, '69 ел.), сладостному влечению. Большинство праздников в честь Афродиты, справлявшихся ночью, устраивалось весной в цветущих садах и беседках, с танцами, музыкой и раскрепощенными радостями любви — «сладким даром златовенчанной Афродиты».

Особенно пышными были подобные праздники любви на Кипре — удивительнейшем острове, источающем благоухание цветов, которые цветут на нем в величайшем изобилии: миртов, роз, анемонов, гранатов, обязанных своим ростом Афродите.

Праздник был посвящен ее рождению из моря; на побережье Пафоса, где она впервые ступила на благословенный остров, для встречи Афродиты собирался народ, чтобы в праздничном ликовании проводить богиню в ее священные сады. Женщины и девушки омывали статую богини в священном море, наряжали ее, а затем, готовясь к грядущим оргиям любви, сами омывались в реке под сенью миртовых зарослей. (Об этом празднике в Пафосе на Кипре см. Ath., ш, 84с; Страбон, xiv, 683; Овидий, «Метаморфозы», x, 270 и «Фасты», iv, 133; Эсхин, «Десятое письмо»).

Такие праздники Венеры справлялись по всей благосклонной к чувственности Греции. Особенно пышным был праздник в Книде на

побережье Малой Азии, где Афродита имела прославленное святилище, так описываемое Лукианом (*Amores*, 12): «Тотчас от самого святилища нам навстречу повеяли дуновения Афродиты: ведь внутренний двор не был устлан гладкими каменными плитами, уложенными на бесплодную почву, но, как и должно быть в храме Афродиты, был весь возделан и плодоносил. Все вокруг осеняли плодовые деревья, образовавшие свод простертыми высоко в воздухе густыми кронами. Сверх всего, пышно разросся там, у своей повелительницы, обильно усыпанный плодами мирт, принесший щедрый урожай; и все остальные деревья цвели здесь во всей красоте, какая дана каждому в удел. Дряхлость старческого возраста не иссушила их, и даже в самую пору зрелости они расцветали молодыми побегами. Вперемежку с ними стояли те деревья, которые плодов не приносят, но которым красота заменяет плод: кипарисы и платаны, до неба высотой, и с ними лавр Дафна, перебежчица в стан Афродиты, прежде убегавшая от радостей этой богини. Жадный любовник-плющ подкрадывался к каждому дереву и обнимал его. Густые виноградные лозы были увешаны частыми плодами: ведь приятнее Афродита, соединенная с Дионисом, и сладостны оба в смеси; а если они разлучены, то меньше доставляют наслаждения. Под самыми тенистыми кущами деревьев стояли веселые ложа для тех, кто желал там устроить пир. Люди образованные редко приходили туда, но простой народ из города, собираясь там, справлял праздники и подлинно занимался делом Афродиты» [перевод С. Ошерова].

Однако горькая истина, которую «Песнь о Нибелунгах» выражает в одном из прекраснейших своих стихов «*wie Hebe mit leide ze jungest lonen kann*», не пощадила и Афродиту. За краткими весенними радостями приходит иссушающий жар лета, опаляющий все цветы и растения и лишающий поля их урожая. Греческая фантазия изобрела несколько символизирующих этот переход преданий, которые незначительно отличаются друг от друга в зависимости от места действия, однако в сущности имеют один и тот же смысл. Одаренный всеми прелестями прекрасный юноша любим Афродитой, но его безвременная смерть становится причиной невыразимой скорби разлученной с ним богини. Таков бесконечно трогательный образ Адониса (с. 83).

Афродита более всего известна как богиня женской красоты и любви. Поэзия и пластическое искусство с наслаждением одаряют богиню все новыми прелестями. Она — златовенчанная, сладкосмею-щаяся; украшенная восхитительной диадемой, она носит обольстительный пояс, в котором заключены все очарования любви: преданность, влечение и ошеломляющая страсть. Об этом знаменитом поясе знает уже Гомер; пояс этот, добавляет поэт, сведет с ума даже мудреца. Особенно прекрасны ее большие, влажно-мерцающие глаза, ее изящные шея и грудь, ее сладкие уста, сравнимые поэтами с розовым бутонем; в общем, все мыслимые прелести объединены греками в богине любви. Эти прелести оттеняются и усиливаются роскошными одеждами и ослепительными нарядами; и поэты в упоении любовно описывают все это великолепие.

Даже та часть тела богини, название которой в хорошем обществе

нашего времени является непроизносимым, наделена поразительным очарованием — факт, который благодаря отсутствию у греков дурацкого ханжества отнюдь не кажется удивительным. Только в Греции могла явиться мысль строить храмы и устанавливать статуи богини, чтобы воздать хвалу этой почти неназываемой части тела; от одного края своей страны до другого греки поклонялись своей «Афродите Каллипиге», богине «с прекрасными ягодицами».

Каждый посетитель знаменитого Национального музея в Неаполе, входящий в комнатку под названием «Венеры» в восточном крыле первого этажа, увидит в центре комнаты изысканно обнаженную статую Венеры на вращающемся пьедестале. Она кокетливо приподняла край платья и бросает взор через плечо на свои прелести, которые она как бы ласкает взглядом, исполненным одновременно нежности и гордости. Это положение символизирует кульминационный пункт утонченной эротики, которая, однако, не вызывает ни раздражения, ни возмущения. Все дело здесь в той удивительной пластике, с которой запечатлены эти столь прекрасные, с эстетической точки зрения, формы тела, и в наивной, можно даже сказать, невинной радости, с которой богиня созерцает свои прелести.

Творение самой пылкой, обнаженной чувственности, совершенно не производя неприятного впечатления, воздействует как совершенная красота, ибо с непревзойденной пластической формой оно соединяет наивную радость обладания такой красотой.

Эстетическое наслаждение, очарованность *каллипигией* не оставили столь глубокого следа в сознании ни одного другого народа и не нашли такого отражения в любом другом искусстве и литературе. У Афиня (xii, 544c) мы читаем о двух прекрасных дочерях некоего крестьянина, избранных двумя братьями в невесты из-за красоты своих ягодиц и с тех пор прозванными у сограждан *Kallipygoi*. Как говорит в своих ямбах Керкид из Мегалополя, две *Kallipygoi* имелись также и в Сиракузах; получив благодаря замужеству значительные средства, они возвели храм Афродиты и назвали богиню *Kallipygos*, о чем свидетельствуют также ямбы Архелая.⁵⁴

Богиня красоты является в то же время и богиней любви. Она — владычица душ, она подчиняет себе все стихии, она способна сочетать враждебные друг другу начала. Но она не только делает любовь стоящей того, чтобы к ней стремиться, и вводит ее среди богов и людей: она сама благословляет своими милостями многих смертных и бессмертных. — Она одаряет своих любимцев всем мыслимым счастьем, наделяет их красотой и молодостью, властью и богатством, радостью и очарованием. Так, известный уже Гомеру («Илиада», xi, 20) как первый царь Кипра Кинир в юности, согласно Пиндару (*Pythia*, ii, 15), был любимцем Аполлона. Он также был первым жрецом Афродиты на Кипре и цивилизовал остров, научив людей стричь овец и готовить шерсть, извлекать из недр земли металлы и производить из них искусные изделия. Ослепительно прекрас-

⁵⁴ Схожая, но более богатая подробностями история рассказывает о споре двух девушек, Триалгиды и Миррины, в письмах Ашшфрона (I, 39). Данная тема встречается также в «Палатинской Антологии» (v, 35—36; приписывается Руфину; ср. v, 54, 55, 129).

ный, он сочетает в себе роскошную изнеженность восточного князя любви с мужественностью могучего правителя и культурного героя.

Восточное влияние дает о себе знать и во внешности другого любимца Афродиты — Париса, достаточно хорошо известного из сказания о Троянской войне. Парис — тоже обворожительно прекрасный юноша, наделенный всяческими прелестями, блестяще играющий на музыкальных инструментах, изящный танцор. Но он не бранелюбив и изнежен — вполне восточный тип мужчины, так что, по выражению Вергилия («Энеида», iv, 215), в его свиту входят «полумужи», или евнухи.

Афродита наделила его страшной властью над женщинами, так что ему не составило труда, гостя у царя Менелая в Спарте, пленить его жену Елену, которая последовала за прекрасным чужеземцем в Трою и тем самым вызвала несчастья многослезной Троянской войны. Пообещав троянскому царевичу прекраснейшую из жен, Афродита сумела одержать победу на суде Париса (с. 107); в то же время достойным внимания является тот прискорбный и символический факт, что женщине совершенно все равно, будет ли она причиной горя и несчастий, — лишь бы достичь целей своего мелочного тщеславия. Поэты и художники античности с особым пристрастием любили изображать, как под действием и с помощью Афродиты Парис овладел сердцем Елены. Возможно, ни одному из поэтов древности не удалось обрисовать демоническую, лишающую разума сторону характера Париса в более ярких красках, чем великому учителю любви Овидию («Героиды», 15, 16), самому изящному из римских поэтов.

Любовь Афродиты к Анхизу, с большими поэтическими красотоми и чувственным жаром описываемая в гомеровском гимне к Афродите, также принадлежит к троянскому кругу сказаний. Плодом этого любовного союза является Эней, который в течение всей своей жизни, исполненной счастья и несчастья, пользуется постоянным покровительством Афродиты, пока после падения родного города, долгих странствий и приключений он не становится родоначальником семейства Юлиев на земле Италии.

Когда Афродита овладевает человеческим сердцем и зажигает в нем любовь, тогда у человека нет ни свободы выбора, ни сил сопротивляться, а богиня превращается в демона, покоряющего женщин, так что они, сознавая пагубность своих действий, не могут ей противостоять и отдаются сладкой, опьяняющей страсти. Так, уже в «Илиаде» Елена предстает жертвой Афродиты; так же и Медея, безумно любя Ясона, забыв о долге перед родителями, братьями и сестрами, родиной и отеческим кровом, следует за милым чужеземцем в Грецию; отвергнутая им, она становится жутким демоном ненависти и мести, принося в жертву двух любимых сыновей. Демонические чары Афродиты обречены были испытать на себе три критянки: Ариадна, Пасифая и Федра, судьба которых с неумолимой жестокостью показывает, сколь далеко может зайти неистовая любовь и до какого отчаяния может она довести: Ариадна — это прототип покинутой любовницы, Пасифая — жертва противоестественного вождения, Федра — типичный образец превра-

щения отвергнутой любви в губительную ненависть. Эти и множество других женщин были обречены на то, чтобы узнать от Афродиты любовь и страсть, сходную с той, что позднее описывает Еврипид в обширном отрывке из неизвестной трагедии,⁵⁵ где помимо прочего он говорит, что любовь — это смерть и необоримая сила, яростное безумие и пламенное желание, горечь и пытка, величайшая сила природы, но также и мать всего прекрасного. Даже и после смерти те, что охвачены такой демонической любовью, не находят успокоения, ибо, согласно Вергилию («Энеида», vi, 444 ел.), несчастные любовники беспокойно скитаются по одиноким тропам в миртовой роще в отведенной для них части подземного мира.

Такая сила присуща характеру Афродиты не только по природе, но проистекает также из чар любви, изобретательницей которой считали эту богиню греки. Как говорит Пиндар (*Pythia*, iv, 214 ел.), Афродита принесла Ясону вертишейку,

Чтобы мудрый Эсонов сын
Научился молитвенным заклätям,
Чтобы отнялась у Медеи дочерняя любовь,
Чтобы под бичом Эова
По желанной Элладе охватил ее жар.
[перевод М. Л. Гаспарова]

У Феокрита (И, 17 ел.) покинута девушка также использует заклинания, чтобы приворожить неверного возлюбленного. Вертишейка называлась по-гречески *iunx* (*iMx torquilld*), и беспрестанная игра красок на ее мерцающей шейке символизировала беспокойство и волнения любовной страсти. Для придания заклинанию действенности птица была «распростерта на колесе о четырех спицах», т.е. крыльями и лапками прикреплялась к колесу о четырех спицах, после чего колесу придавалось стремительное вращение.

Афродита, разумеется, не только пробуждает любовное чувство, но и ведет к его осуществлению. Греки отнюдь не стыдились «сладостных даров Афродиты», как выражались их поэты, и поэтому вполне понятно, что чувственные радости любви нашли свое выражение в их воззрениях на природу богини и в ее культе. Как только мы осознаем, что сексуальная распушенность есть установленная божеством обязанность, такое установление, как религиозная проституция — обычай, на первый взгляд, трудно объяснимый, — становится понятным. Здесь о нем достаточно только упомянуть, так как подробнее он будет рассмотрен в главе, посвященной продажной любви в Греции. То же относится к Афродите как к богине гетер; о том же, что она могла выступать в роли покровительницы брака, мы говорили выше (с. 135). В согласии с часто упоминавшимся естественным представлением о половой сфере вполне логично, что Афродита Гетера (богиня — покровительница гетер) со временем превратилась в Афродиту Порнею (буквально, Афродиту Про-

⁵⁵ См Stobaeus, Flor., 63, 6, где эти стихи приписаны Софоклу; см., однако, Nauck2, комм, к Софоклу, фраг. 865

ститутку), а это попросту означает, что под ее покровительством находились все разновидности полового наслаждения или, как сказали бы мы, все мыслимые формы разврата. Этот факт может быть осознан на примере Спарты, где для Афродиты было изобретено известное число прозвищ, которые, на наш взгляд, следует признать в высшей степени неприличными. Так, мы слышим об Афродите Перибасо, или «прогуливающейся по улице», и об Афродите Трималитис, или «пронзенной насквозь». (Об именах Афродиты см. Клим. Алекс., *Protrept.*, p. 33P; и Гесихий, s.v.)

С течением времени доступ в Грецию получил и культ так называемой Сирийской Афродиты, так что в эпоху эллинизма она почиталась в нескольких греческих областях (Тацит, «Анналы», ш, 63; СЮ, № 3137, 3156, 3157; Диодор Сицилийский, v, 77; Павсаний, iv, 31, 2; vii, 26, 7). Это та же богиня, которая, согласно Тациту, почиталась в Смирне под именем Афродиты Стратоникиды, названной так, чтобы почтить память Стратоники, жены сирийского царя Антиоха Сотера (280—261 гг. до н.э.). Лукиан написал чрезвычайно интересный очерк, затрагивающий историю цивилизации, где показано, что в культе этой богини заметную роль играли почитание фаллоса и евнухи, однако этот очерк слишком пространен, чтобы приводить его здесь.

Как в почитании Сирийской богини выдающееся значение имел фаллос, так и в культе Афродиты в целом важную роль играло все, что напоминало бы о половой жизни и наводило на мысль о чувственности или щедрой плодовитости. В первую очередь это, конечно же, сами половые органы, изображения или имитации которых использовались в служении Афродите самыми различными способами; многими предпринималась попытка связать гомеровский эпитет Афродиты *philommeides* (любящая смех) с ее любовью к *medea* (половые органы).⁵⁶ Согласно Клименту Александрийскому, в Пафосе при посвящении в таинства Афродиты иницируемым вручали соль и фаллос. Эпитет Венеры «Фисика» (под этим именем она особо почиталась в Помпеях) самым простым образом может быть объяснен из слова *physis*, «половые органы».

Афродите были посвящены мирт и яблоко; любовники дарили или бросали яблоки возлюбленным в знак своей привязанности, как говорит в одной из эпиграмм Платон:⁵⁷

Я тебе яблоко бросил. Подняв его, если готова
Ты полюбить меня, в дар девственность мне принеси.
Если же нет, то все же возьми себе яблоко это,
Только подумай над ним, как наша юность кратка.

[перевод Л. Блуменау]

⁵⁶ Гесиод, «Теогония», 200, объясняет эпитет *philommeides* тем, что Афродита «была рождена от детородного члена Сатурна». Однако этот стих является сомнительным, а объяснение принадлежит, по-видимому, грамматикам.

⁵⁷ Эпиграмма Платона приведена у Диогена Лаэртца, ш, 32. О яблоке как о символе любви см. комментарии к Феокриту, и, 120; Пропорций, ι, 3, 24 и в других местах; Аристофан, «Облака», 997.

Катулл (Iхv, 19) набрасывает очаровательную картинку, изображая девушку, которой возлюбленный послал яблоко. Полуобрадованная, полунепуганная, она прячет яблоко на груди; когда внезапно заходит мать, она вскакивает, забыв о яблоке, которое скатывается на пол и выдает ее, и прелестный багрянец стыда окрашивает щеки девушки, смущенной тем, что ее тайна раскрыта. Таким образом, символическое эротическое значение яблоко имеет не только в библейском сказании об искушении Евы. У греков оно восходит к преданию об Аконтии (Овидий, «Тероиды», 20, 21), который был безответно влюблен в Кидип-пу. Чтобы завоевать ее, он написал на яблоке «Клянусь Афродитой, я выйду за Аконтия» и подбросил его Кидиппе в храме Артемиды. Та прочла эти слова вслух, но затем отбросила яблоко прочь. Позднее она захворала, и, узнав от оракула, что причиной болезни является гнев оскорбленной богини, она покорилась желаниям Аконтия. Можно также упомянуть прекрасную, но чопорную Аталанту (Аполлодор, ш, 106; Овидий, «Метаморфозы», х, 560 ел.), которая соглашалась выйти замуж лишь за того, кто опередит ее в беге. Любивший ее Миланион рассыпал на бегу золотые яблоки, и так как Аталанта, подбирая их, напрасно теряла время, ей пришлось покориться влюбленному. Миланион получил эти яблоки в дар от Афродиты.

Из-за ее любвеобильности Афродите были посвящены такие представители животного мира, как козел, баран, заяц, голубь и воробей. Поэтому баран часто появляется на монетах Кипра; Афродита Эпитра-гия, восседающая на козле, была известна не только в Афинах. Афродиту верхом на козле можно было видеть и в Элиде — то была статуя знаменитого Скопаса (Павсаний, vi, 25, 2). При многих храмах богини, особенно на Кипре и Сицилии, содержались большие стаи голубей — восточный обычай, отголосок которого мы видим и сегодня на площади Святого Марка в Венеции, куда культ голубя пришел из Константинополя. Обыкновение молодых супружеских пар кормить голубей Святого Марка является последним, пусть и весьма поблекшим, побегом некогда столь процветавшего культа Иштар, о чем еще и сегодня свидетельствуют данные языка, ибо заимствованное слово *peristera*, которым греки называли голубя, означает «птица Иштар». У Апулея (*Metam.*, vi, 6) в величавую колесницу Венеры впряжены четыре голубки, богиню сопровождают воробьи и другие птицы. Сафо (фрагм. 1, 10) описывает колесницу богини, которую влекут воробьи, ибо благодаря своей чувственной любвеобильной природе воробей принадлежит к свите Афродиты.

Эротические воззрения повлияли также на образ любезника Гермеса. Так, об итифаллическом Гермесе мы уже имели повод говорить выше (с. 90 ел.); его изображения нередко находят вместе с изображениями Афродиты, несколько примеров чему приводит Павсаний (ii, 19, 6; vi, 26, 5; viii, 31, 6; ср. Плутарх, *Præcepta conjugalìa*, ad init). Богу стад и пастухов присуща некая изначальная наивность, в его постоянном общении с нимфами лесов и гор нередко приобретающая черты вульгарности. Еще будучи младенцем, в колыбели, он повел себя неучтиво в знаменитом споре со своим братом Аполлоном, который так замечатель-

но описан в гомеровском гимне к Гермесу (iv, 295 ел.; ср. Дион Хризостом, vi, 104):

В руки попов Дальновержца, в уме своем принял решенье

Аргоубийца могучий и выпустил знаменье воздух, —

Наглого вестника брюха, глашатая с запахом гнусным.

[перевод В. В. Вересаева]

Мы уже говорили о значении Гермесовых столбов, а также о Гермесе как об управителе и покровителе гимнасиев и палестр и той мужественной молодежи, что в них собиралась. В этом качестве он вдохновлял художников на все новые творения; они изображали его зрелым, могучим юношей, край его хламиды был обыкновенно отогнут, так что прелесть юношеских форм открывалась зрителю самым очаровательным образом. Однако излюбленным сюжетом пластического искусства являются также любовные игры Гермеса с нимфами; знаменитая группа на Вилле Фарнезе в Риме — прекраснейший и самый характерный ансамбль этого рода: Гермес с нежностью во взоре склоняется над почти полностью обнаженной нимфой, одной рукой лаская ее грудь, а другой совлекая скудные одежды с ее лона.

Вечно влюблена богиня Эос (Аврора) — богиня зари, которую Гомер называет розовоперстой из-за нередко наблюдаемого на юге явления, когда солнце, перед тем как взойти, веером расстилает на небе розовый образ своих лучей, напоминающий распростертые пальцы.

Согласно Аполлодору (i, 27), причиной вечной влюбленности Эос была Афродита, узнавшая о том, что та вступила в связь с Аресом. Она любит все, что прекрасно, особенно мужественных юношей, и похищает все, что воспламенило ей сердце, символизируя тем самым, что краткое росистое утро побуждает без промедления срывать свои наслаждения. Так она похищает Клита, Ориона, Тифона (Тиртей, фрагм. 122, 5; «Гомеровские гимны», v, 218 ел.; Гораций, «Оды», ii, 16, 30). Последний из них был так прекрасен, что его красота вошла в пословицу, и он-то был, по-видимому, ей милее всех; для него она выпросила у Зевса бессмертие и вечную жизнь. Но, увы, царственная Эос позабыла попросить о наделении юноши вечной молодостью; и когда в ее чертоге у отдаленнейших потоков Океана к Тифону пришли седина и дряхлость, богине он наскучил. Легенда, тон которой едва ли не современен, является символом вечно обновляющегося юного дня и утра, которые — свежие и прекрасные поначалу — как бы засыхают и старятся под прибавляющимся жаром. Этот символ повторяется и в образе солнца; Мемнон («Одиссея», xi, 522), согласно Гомеру, — прекраснейший из всех, кто бился под Троей, — погибает от руки Ахилла, любимого друга которого — Антилоха — он убил. Посему и ныне столпы Мемнона, установленные близ египетских Фив в память о герое, издают протяжный печальный стон, когда его нежная мать Аврора восходит на небо и первыми лучами позлащает изображение сына.

Едва ли нужно особо подчеркивать, что Селена (Луна), «сияющее око ночи», также была влюбчивой натурой. Некогда она покоилась в объять-

як Зевса, которому родила прекрасную Пандию. В Аркадии ее любовником считали Пана, который, согласно Вергилию («Георгики», ш, 391), завоевал ее любовь, подарив богине стадо белых ягнят. Но самой знаменитой является ее любовь к Эндимиону, прекрасному юноше, которому она неожиданно явилась, когда он спал в лесистых холмах Латмоса, после чего каждую ночь одаряла его милостями своей любви. Некоторые видят в этом символ смертного сна, сквозь мрак которого все же способен пробиться лучик любви. Ликийский Хиосский (фрагм. 3, у Афиней, хiii, 564с) действительно писал, что Гипнос — бог сна — был без ума от любви к Эндимиону: «Он так сильно любил глаза своего Эндимиона, что даже во сне не позволял им закрываться, но, погружая юношу в сон, оставлял их открытыми, чтобы вечно наслаждаться их созерцанием».

О происхождении Ориона⁵⁸, яркого созвездия, в котором древние видели либо гиганта, шагающего по небу с угрожающе поднятой дубиной или блестящим оружием в руках, либо могучего охотника, рассказывают следующее удивительное предание. Зевс, Посидон и Гермес, странствуя по земле, пришли однажды в Фивы к престарелому Гириэю, который, несмотря на бедность, принял их очень радушно. В благодарность боги разрешили старику просить об исполнении его мольбы; он сказал им, что с давних пор вдовствует, но, не желая жениться вторично, хочет иметь сына. Боги решили исполнить его просьбу. И вот принесена шкура убитого ранее быка, в которую боги испускают свое семя. Затем шкуру погребают под землей, и спустя девять месяцев из нее выходит мальчик, который впоследствии становится могучим Орионом. Это предание, которое, несомненно, возникло из ложной этимологии, должно было свидетельствовать о том, что такой могучий гигант, как Орион, нуждался не в одном, а в трех отцах, и что он, как почти все гиганты, происходит из земли.

Когда Орион вырос, его сильная чувственность нашла себе выход кощунственным образом. Опынев, он насилует дочь (или жену) своего гостя и друга Энопиона, царя Хиоса (Парфений, 20; Пиндар, фрагм. 72). За это отец лишает его зрения, но Орион ошупью бредет на восток, где лучи солнца вновь зажигают свет его зрения. Позднее его охватывает вожделение к Афродите, и он пытается учинить над нею насилие; после этого богиня насылает скорпиона, который убивает гиганта своим ядовитым жалом (Арат, «Явления», 636 ел.; Никандр, *Ther.*, 13 ел.; Гораций, «Оды», Ш, 4, 70). По другому рассказу, излагаемому Пиндаром (фрагм. 74), похоть в Орионе пробудила Плейона с дочерьми; пять лет он преследовал их, пока Зевс не поместил их всех среди звезд: гонимых беглянок он превратил в созвездие Плеяд, гиганта — в созвездие Ориона, его гончую — в звезду пса Сириус.

Если красота представлялась грекам высшей ценностью, которой они неустанно поклонялись, то вполне понятно, что среди пестрого сонма их

⁵⁸ О рождении Ориона см. Овидий, «Фасты», v, 495 ел.; Нонн, *Dionysiaca*, хiii, 96 ел.; Гигин, *Fab*, 195, *Poet, astrnn.*, π, 34, хотя, согласно Страбону, ιχ, 404, о нем говорил уже Пиндар (фрагм. 73) Неверна этимология, производящая его имя от *οβρεῖν*, глагола, означающего не только «мочиться», но и «извергать семя» (так, например, у Антон Либера, 41).

богов были и такие, что мыслились подателями и распределителями красоты. Подробно рассматривать очаровательные легенды, изобретенные чувственной радостью и воображением эллинов, значило бы раздуть книгу вне всякой меры. В нашей краткой подборке, призванной соответствовать определенной цели, мы можем лишь слегка коснуться того, о чем сказать совершенно необходимо. Поэтому ограничимся беглым упоминанием Ор, которые символизировали времена года, обуславливая своевременный рост цветов, растений и плодов. Поэты и художники изображали их в образе очаровательных дев, украшенных золотом, драгоценными камнями, цветами и плодами, облаченных в легкие, прозрачные одежды. Самой изящной из трех (по обычному счету) Ор была богиня весны, звавшаяся у греков Хлоридой, а у римлян — Флорой. В нее были влюблены Борей, могучий бог северного ветра, и Зефир, нежный западный ветер; она отдала свою благосклонность Зефиру, которому остается неизменно верна в своей трогательной любви. Прекрасная картина в Помпеях, к несчастью, частично разрушенная, изображает по-юношески прекрасного, увенчанного миртом Зефира, который держит в левой руке цветущую ветвь и в сопровождении двух Эротов приближается к спящей возлюбленной, в то время как третий Эрот стягивает одежду с верхней части ее тела (другое объяснение данной картины читатель найдет в книге W. Helbig, *Wandgemälde Campaniens*, S. 194, № 974). С течением времени Ор стали отождествлять скорее с часами суток, а времена года изображались в виде мужских фигур.

Возможно, еще более очаровательны, чем Оры, были Хариты, или, как называли их римляне, Грации. Обычно считалось, что Харит, как и Ор, — три и что они персонифицируют все чарующее, веселое, изящное, чувственно—прекрасное. Для эллинской культуры чрезвычайно много значит тот факт, что подобное прославление обнаженной чувственности относится не к позднему периоду упадка, как его принято называть, но что задолго до него древнейшие поэты, творившие во мгле предыстории, — например, мифический гимнопевец Памф (Павсаний, ix, 35, 4) — воспевали Харит и их чувственное очарование. Эти богини всегда там, где речь идет о проявлении самых веселых радостей жизни, где игра и танец, где беспечальный пир, где звучат песни и ударяют по струнам. По Феогниду (Феогнид, 15; пословица у Зенобия, i, 36; ср. Сенека, *De benef.*, i, 3), вместе с Музами они пропели на свадьбе Кадма и Гармонии: «Вечно прекрасное мило, а что не прекрасно — не мило» — слова, которые столь верно отражают сущность Харит и являются квинтэссенцией греческой жизненной мудрости вообще. Они и сами прелестны, всегда смеются и танцуют, поют и скачут. Они купаются в ручьях и реках и увенчивают себя весенними цветами, особенно розами. Древнейшие художники изображают их одетыми, но с течением времени их одежды становятся все более прозрачными, пока наконец они не предстают совершенно обнаженными, заключая друг друга в объятия, так что выражение «нагой, как Грации» становится пословицей.

С Грациями часто ассоциируются Музы — богини искусства в самом широком смысле слова. Число Муз обычно равняется девяти,

и особого упоминания заслуживает Эрато — Муза эротической поэзии.

Поэты и художники запечатлели Гебу как олицетворение цветущей юности; вместе с Орами, Харитами и нимфами она входит в свиту Афродиты. Из Гомера мы знаем («Илиада», v, 905; «Гимн к Аполлону», 17, «Илиада», iv, 2; Геба в свите Венеры: Гораций, «Оды», i, 30, 7; «Гимн к Аполлону», 195), что она помогает купающемуся Аресу, что, пока Аполлон играет, она вместе с Музами пляшет перед богами и подносит чаши на их пирах. Когда Геракл, после жизни, исполненной бесконечных трудов и страданий, принимается в сонм богов, в жены он получает Гебу. Между тем ее служба виночерпия подходит к концу, ибо Эрос взволновал сердце Зевса, и тот возносит на небо прекрасного троянского царевича Ганимеда, чтобы он в качестве пажа подносил ему наполненную вином чашу, а в качестве любимца делил с ним ложе. У нас будет случай говорить об Эросе и Ганимеде подробнее, когда мы перейдем к рассмотрению любви к юношам.

Наконец, среди спутников Афродиты следует упомянуть также Гермафродита, о котором мы говорили выше. Можно добавить, что, согласно Плинию (*Hist. nat.*, xxxvi, 33), изобразительному искусству был известен также Гермерот.

Женская половая жизнь и особенно роды были, по представлениям древних, теснейшим образом связаны с луной, поэтому и все богини, так или иначе связанные с луной, а именно Гера, Артемида, Афродита и Афина, являются в то же время защитницами женщин на протяжении всей их половой жизни, но главным образом во время родов. Однако была также известна и особая богиня родов — Илифия (*Eileuthia*), бывшая якобы дочерью Геры; ее имя говорит о муках разрешения от бремени, и потому уже Гомер упоминает нескольких Илифий. Во многих уголках Греции ей были возведены святилища, самое известное из которых — святилище коленопреклоненной Илифий в Тегее. Греки верили в то, что, если роженица, стоит на коленях, роды протекают наиболее легко.

Великая мать богов, родившая Зевса, Посидона и Аида и тем самым сотворившая все царство богов, — это Рея, к которой обычно прилагается эпитет «Кибела», намекающий на пещеры и пещерные святилища горных хребтов Фригии, где, как и на Крите, были главные центры ее почитания. В согласии с природой этого лесистого горного хребта, ее культу присуща некоторая дикость; ее спутники — это пантеры и львы, но в других отношениях она подобна Кипрской и Сирийской Афродите, с которой она нередко отождествлялась, особенно в Лидии. Ее жрецы и почитатели являются экзальтированными фанатиками, которые носятся по лесам и горам с дикими криками, под шумную музыку рожков и дудок, литавр и кастаньет, при свете пылающих факелов, и в своем безумном неистовстве они доходят до того, что наносят раны себе или друг другу — как дервиши и факиры нашего времени — и даже совершают самооскопление. Это религиозное бесчинство, так напоминающее оргии средневековых флагеллантов, процветало главным образом во фригийском городе Пессинунте на реке Сангарий. Здесь на высокой

горе Диндимае, давшей богине прозвище Диндимена, находились священная скала Агдос и пещера, которую считали древнейшим святилищем Реи Кибелы Агдистис. Здесь также показывали могилу ее возлюбленного — Аттиса. Аттис, как Адонис и тому подобные персонажи греческой мифологии, — это символ сладостной красоты, но также и скорбной мимолетности и хрупкости жизни с ее непрерывным чередованием рождения и смерти, весны и зимы, радости и печали. Павсаний (vii, 17, 10; Арнобий, *Adv. nat.*, v, 5; Катулл, Ixiii; Лукиан, «Разговоры богов», 12) излагает следующее сказание: «...говорят, что Зевс, заснув, уронил семя на землю и что с течением времени от этого семени родилось божество, имеющее двойные половые органы, мужские и женские. Имя этому божеству дали Агдистис. Испугавшись этой Агдистис, боги отрезали у нее мужские половые органы; из них выросло миндальное дерево, и когда на нем появились плоды, то, говорят, дочь реки Сангария сорвала этот плод и положила себе в платье на грудь, плод этот тотчас же исчез, а девушка стала беременной. Когда она родила и родившийся мальчик был выкинут, то коза стала о нем заботиться. Когда мальчик начал подрастать, он стал сверхчеловеческой красоты, и [богиня] Агдистис [Рея Кибела] влюбилась в него» [перевод С. П. Кондратьева].

Его дух переселился в смоковницу, а из капелек его крови выросли фиалки, нежно прильнувшие к смоковнице, — прелестное представление о том, что души мертвых возрождаются в цветах и деревьях. Печаль Агдистис нельзя передать словами; она не может жить без любимого и просит Зевса воссоединить их. Но все, что тот может для нее сделать, — это Пообещать, что тело прекрасного юноши никогда не будет обезображено отвратительным тлением, что локоны его не увянут, но что оживет только его мизинец. Так как богине, жаждущей любви, этого недостаточно, она переносит смоковницу в свою пещеру, чтобы, взирая на нее, вечно утолять свою скорбь.

В отношении бога Диониса, глубокомысленного и прославленного поэтами символа неисчерпаемого земного плодородия, мало что можно добавить к тому, что уже было сказано. Преллер говорит столь же хорошо, сколь и верно: «Нет ни одного другого культа, где пантеизм и гилозоизм, присущие целому естественной религии, представляли бы столь многогранно и в таких живых и точных чертах. Но, с другой стороны, служение Дионису гораздо более красочно и вдохновенно, чем служение любому другому богу. Если только обозреть изобилие поэтических произведений и художественных творений, которые своим происхождением обязаны ему, то, исполнившись восхищения, мы откажемся от попытки вместить их все в краткий очерк. В поэзии дифирамб, комедия и трагедия с сатировской драмой выросли — полностью или в основном — из побуждений дионисийского служения. Равным образом сама живая музыка и современное ей представление идеальных рассказов в виде аллегорических танцев и хоров получили наиболее полное развитие в круге Диониса. Пусть каждый, кто желает составить представление о богатстве сюжетов, полученных изобразительным искусством из этого культа, пробежится по любому музею, по любому собранию слепков античных скульптур, вазописи

или других художественных произведений. Всюду и везде, во все новых, неожиданных формах, в столь же изобильной полноте и многообразии оттенков и группировок ему будет встречаться Дионис и его вдохновенные спутники».

Одна из знаменитых дочерей Кадма Семела наслаждалась в Фивах любовью Зевса, но по наущению ревнивой Геры заявила, что желает видеть Зевса в его полном величии бога грома и молнии. Но человеческие существа не в силах вынести зрелища божественного величия, и, преждевременно разрешившись от бремени, легкомысленная женщина гибнет в пламени; Зевс зашивает плод в бедро, чтобы родить его во второй раз, когда он созреет (Лукиан, «Разговоры богов», 9; см. также Stephani, *Comptes Rendus*, 1861, pp. 12 сл.). Также и эта история, чье глубокое значение — бесконечные мучения и любовь, без которых не вырастишь винограда, послужила Лукиану материалом для шуток и насмешек; повитухой он делает Гермеса, «которому пришлось таскать воду для Зевса и заботиться обо всем остальном, что является обычным у рожениц».

Выросши в крепкого эфеба, красотой подобного лучам солнца, Дионисий высаживает виноградную лозу, напивается допьяна сам и опаивает новозданным напитком своих нянек, всех духов и богов лесов и полей и отправляется со своей свитой в шумные походы; он выглядит слабым, несколько женственным, и все же невозможно противиться его необоримой силе сладостного желания и блаженного опьянения.

Любовь Диониса к прекрасной Ариадне и ее вознесение к звездам столь часто расписывалось поэтами, что этот сюжет следует считать широко и хорошо известным. Как пишет Сенека («Эдип», 491), на бракосочетании Диониса и Ариа/щы из каменной скалы било превосходнейшее вино. Менее известно, что мистическая сторона дионисийско-го культа была особенно развита в Аргосе и что в Лерне в честь бога справлялись таинства, которые можно рассматривать, как подражание Элевсинским мистериям, имевшие, однако, в высшей степени непристойный характер. Согласно Геродоту (ii, 49), Меламп ввел в культ Диониса ставшее с тех пор привычным фаллическое шествие, а Гераклит (фрагм. 70) отмечал, что во время шествия распевались бесстыдные песни. Дионисийские таинства, справлявшиеся во Фракии в честь богини Котитто, которые уже упоминались выше в связи с *Vaptae* Евполида (с. 97) были, по нашим понятиям, в высшей степени непристойными.

Огромное число местных преданий, которые с течением времени образовались вокруг Диониса, излагаются Ионном (IV век н.э.) в его иполинском эпосе *Dionysiaka*, богато расцвеченном и приправленном эротическими эпизодами. Как уже не однажды отмечалось, в почитании Диониса — что вполне естественно — фаллос имел немалое значение, и повсюду в честь Диониса проводились фаллические шествия. В Мефимне на Лесбосе почитался Дионис Фаллен (Павсаний, x, 19, 3), а Афиней (x, 445) упоминает распущенные фаллофории на Родосе.

Бык, пантера, осел и козел являются животными вакхического культа. Двое последних, разумеется, отнесены к нему ввиду своего врожденного сладострастия⁵⁹.

Более нежные стихийные духи ручьев и потоков, цветов и деревьев, гор и лесов звались нимфами. Это — дружелюбные духи природы, веселое существование которых сводится к пению и пляскам, играм и веселью, охоте и странствиям, к тому, чтобы любить и быть любимыми. Их излюбленными друзьями являются Аполлон и Гермес, в чьих объятиях они любят срывать золотые дары Афродиты. Однако это не мешает им наслаждаться любовными ласками множества куда более грубых сатиров, от назойливости которых им нередко приходится спасаться при помощи ловкости и поспешного бегства. Они охотно одаряют своими любовными милостями также и людей, особенно прекрасных мальчиков и юношей, среди которых и Гилас, которого, когда он набирал воду, нимфы источника затащили под холодные струи потока.

Более низменные стихийные духи гор и леса — сатиры мыслились существами, которые обладают чертами животных — заостренными ушами, удлиняющимися кверху, и короткими хвостиками. Это лукавые и хитрые, иногда глуповатые пропойцы, которые в первую очередь страстно охочи до женской плоти. Древние писатели (например, Плутарх, *De sanitate tuenda*, 381) часто упоминают траву под названием *satyrion*, которой приписывалось возбуждающее действие. Таким образом первоначальной и самой своеобразной их чертой является ярко выраженная чувственность, что наглядно подтверждает сикиннида — танец, напоминающий козлиные прыжки, свойственные сатирам. Стремительная и в то же время закономерная эволюция греческого чувства красоты может быть прослежена на примере изображения сатиров в пластическом искусстве. Если в древнейшую эпоху они изображаются бородами, уродливыми и зачастую отталкивающими стариками, то со временем они становятся все более юными, милыми и красивыми, так что в классический период сатиры входят в число идеальных мужских художественных форм и объединяются в великолепные скульптурные ансамбли с нимфами и вакханками.

Древнейшим из сатиров часто называют Силену, и когда его образ приобрел множественность, древнейшие сатиры стали называться силенами. Следует, однако, различать силенов и сатиров, хотя и тем и другим присуща страсть к винопитию и неутомимое сладострастие. Старик Силен очень забавен; первоначально воспитатель Диониса, он становится самым восторженным почитателем этого бога — иными словами, он обычно пьян, так что едва может держаться на ногах, а посему всегда разъезжает на осле, рискуя при этом под него свалиться; иногда он передвигается в повозке, запряженной козлами, и

⁵⁹ Особенно обстоятельно культом Диониса занимался Ницше. Он говорит о себе: «Я, последний последователь и посвященный Диониса» (*Jenseits von Gut und Bose*, Abshmtt 295), он пишет Дионисийский дифирамб и вопрошает в «Ессе homo»: «Поняли ли меня? — Дионис против Распятого!» [Прим. ко второму немецкому изданию]

сатирам приходится немало попотеть, чтобы поддержать его в вертикальном положении. Сущность силенов — первоначально духов текущей, оплодотворяющей воды — постепенно приобретает все более чувственную и низменную окраску, так что их животное — осел — стал олицетворением похотливости и мощной сексуальной силы силенов. Древние поэты имели в запасе немало забавных рассказов об этом животном. Так, Овидий⁶⁰ повествует о приготовлениях к празднику Диониса, проводившемуся раз в два года в пору зимнего солнцестояния; в нем принимали участие все духи, составлявшие свиту бога, — сатиры, нимфы, Пан, Приап, Силен и другие. Праздник протекает весело. Дионис разливает реки вина, которое подносят очаровательные полуобнаженные наяды. Вино и беспрепятственное созерцание женской плоти пробуждает во всех чудовищное вожделение, и все предвкушают наступление ночи, когда по окончании пирушки можно будет дать выход своим страстям. Приапу вскружила голову прекрасная, но неприступная Лотида, которая, однако, отказалась иметь дело с богом, отнюдь не отличающимся красотой. Пришла ночь, и почти беззащитная Лотида, побежденная вином и усталостью, уснула в мягкой траве под сенью клена. Осторожно, затаив дыхание, к ней подкрадывается Приап; он уже воображает, что желание его вот-вот осуществится, прекрасная Лотида недвижима, он уже приподнимает ее одежды, как вдруг... осел Силен «издает несвоевременный рев; Лотида в испуге просыпается, отталкивает докучливого Приапа и будит своими криками всех спящих, которые посреди всеобщего веселья устремляют взоры на незадачливого любовника». Разгневанный Приап убивает ни в чем не повинного ослика, и поэтому с тех пор ослы приносятся ему в жертву.

Приап, играющий столь незавидную роль, олицетворяет половое влечение в его самой животной форме.

Обычно Приапа считали сыном Диониса и нимфы (или Афродиты); он был духом — покровителем лугов, садов и виноградников, пчел, козых и овечьих стад. Можно говорить и о том, что Приап является огрубленным воплощением Эроса, которого в древности почитали в беотийских Феспиях в образе, весьма напоминающем Приапа. Жертвоприношение осла, конечно же, не объясняется легендарным сказанием, приводимым Овидием; его истинным объяснением служит то обстоятельство, что осел⁶¹ рассматривался как существо, наделенное особой детородной силой; по той же причине ему был посвящен и гусь. Согласно Диодору (Диодор Сицилийский, iv, 6, 4), почти во всех таинствах, а не только дионисийских, Приап почитался «грубым смехом и шутками». Неизвестный древнейшей поэзии греков Приап внезапно появляется в одноименной комедии Ксенаρχа (*ΣΑΡ*,

⁶⁰ «Фасты», I, 391 ел.; также VI, 319 ел., где тот же рассказ изложен с незначительными изменениями. В последнем случае имеется в виду праздник Цереры, и похоть Приапа распаляется при виде Весты (а не нимфы); Гигин, *Poet, astron.*, II, 23; Lact, *Institut. div.*, I, 21, 25.

⁶¹ Об осле см. Gruppe, *Griechische Mythologie*; о гусе — Петроний, 137; Keller, *Tiere des Altertums*, S. 288; о созвездии осла — Гигин, *Poet, astron.*, II, 23.

II, 472), о которой ничего более не известно. Негодование Макробия и Августина (Макробий, «Сатурналии», vi, 5, 6; Августин, «О граде Божиим», vi, 7) свидетельствует о том, что Приап выводился на сцену и в других комедиях. Позднее Приап играет большую роль в Александрийской литературе, особенно в «Палатинской Антологии» и у буколиков; под названием *Carmina Priapea* до нас дошел сборник латинских стихотворений, отчасти весьма эротического и зачастую непристойного характера.

Бесчисленны сохранившиеся изображения Приапа: даже на многих монетах, особенно из Лампсака на Геллеспонте, — и это характерно для античного понимания сексуального — он изображается с напряженным членом. В Риме культ Приапа был введен сравнительно поздно (Пруденций, *Contra Symm.*, I, 102 ел.). В городах ему поклонялись в особых святилищах, а в сельской местности (Павсаний, ix, 31, 2) — повсюду, где разводились козы, овцы и пчелы; его почитали также моряки и рыбаки. Приапу приписывали не только содействие урожайности полей, но и их защиту от воров и птиц. Поэтому в полях и садах возвышалась грубо сработанная, выкрашенная в красный цвет деревянная фигура нагого Приапа с большим восставшим членом; в большинстве случаев в руке он держал серп; нередко к его голове прикреплялась связка тростника, которая шуршала на ветру и отпугивала птиц. Так как фаллос использовался также для защиты могил, Приап появляется и на орнаментах памятников этого рода.

Нет необходимости подробнее вдаваться в вопрос, был ли Приап изначально тождествен Дионису (Ath., i, 30). В поэзии Приап рассматривается как один из спутников Диониса, так что Мосх (ш, 27) даже говорит о нескольких Приапах. Далее, он ставился в тесную связь с Гермафродитом, с которым действительно имел немалое сходство: например, в изобразительном искусстве, где он приподымает платье, чтобы показать свои могучие эротические достоинства; его грудь зачастую имеет женские формы, так что во многих случаях неясно, изображен ли здесь Гермафродит или Приап; отметим также, что Приап часто изображается художниками вместе с Гермафродитом. (О Приапе и Гермафродите ср. W. Helbig, *Wandgemälde Campaniens*, № 1369; Gerhardt, *Antike Bildwerke*, ил. 306, 1.)

Поскольку считалось, что порождающее начало, воплощенное в Приапе, содержит истоки всего сущего, его также отождествляли с теми божествами, в которых люди древности видели богов жизни вообще. В ту эпоху думали, что половое влечение и жизненное начало — синонимы. Так, Приапа идентифицировали с солнечным богом Гелиосом (Евстафий, комм. к «Илиаде», 691, 45) или с Космосом (Корнут, 27); на одной из дакийских посвячительных надписей (CIL, III, 1139) Приап обозначен как вселенское божество Панфей, а изображение мужских детородных органов, воплощающих высшую эротическую силу, подписано ΣΩΤΗΡ ΚΟΣΜΟΥ, «Спаситель мира» (E. Fuchs, *Geschichte der erotischen Kunst*, 1908, S. 133).

Грекам были известны и другие итифаллические божества. Так, в поздней орфической мистике одним из имен первопринципа творения

было имя Фанес (с эпитетом *Protogonos*, «первородный»)⁶². Миф гласит, что Фанес родился из серебряного яйца, сотворенного в эфире Хроносом, и был существом двуполым. И вновь нам не остается ничего другого, как поражаться тому, что результаты современной науки были тысячелетия назад предвосхищены греческой мифологией. Другие сказания о Фанесе — некоторые из них весьма глубоки и запутанны — нами затрагиваться не будут; можно, однако, упомянуть, что Фанес отождествлялся также с Приапом и, реже, с Дионисом, прекрасным любимцем Афродиты, которого тоже иногда считали двуполым.

Кроме того, имя «Фанес» носит также один из двенадцати геликонских кентавров, перечисляемых Ионном; некоторые из них — а именно, Спрагей (похотливый), Кепей (садовник, как Приап) и Ортаон (стоячий) — позволяют догадываться об их итифаллических свойствах. С этим хорошо согласуется указание Павсания на то, что Приап искони имел культ на горе Геликон.

Одна из утраченных пьес Аристофана носила название *Triphales* («муж с тремя фаллосами»); вероятно, в ней подвергалась осмеянию половая жизнь Алкивиада (CAF, 1, 528 ел.). Одна из сатир Варрона была озаглавлена *Triphallus*; в ней речь шла о мужской силе. Согласно Геллию (*Noct. Att.*, II, 19), так же называлась комедия Невия.

Один из входивших в свиту Афродиты итифаллических демонов звался Тихон; по Страбону (xiii, 588), особым почитанием он пользовался в Афинах, а согласно Диодору Сицилийскому (iv, 6; ср. *Etym. Magn.*, 773, 1; Hesych., s.v. $\tau\omicron\chi\omega\nu$), под именем Приапа его почитали также в Египте.

Симпатичен образ бога Пана, дружелюбного горного демона, защитника стад и символа мирной природы; его родила Гермесу Киллена в лесистых горах Аркадии. Необычный с виду — с козлиными ногами, рожками и длинной бородой, — в первую очередь он является богом козьих стад, пасущихся и скачущих повсюду на склонах греческих гор. Когда нимфы не предаются с ним любовным утехам (а Пан постоянно влюблен), они пляшут, поют и играют в его обществе. Необычные голоса и звуки, которые слышатся в безлюдных горах, эхо, раздающееся среди растущих до небес аркадских скал, произвели на свет замечательное предание о том, как Пан влюбился в нимфу Эхо, которая предпочла ему прелестного Нарцисса; она изводится от неизбывной тоски, тело ее постепенно истаивает, и остается один лишь голос (предание об Эхо излагается по-разному; Мосх, 6; Лонг, ш, 23). Увидев свое отражение в ручье, Нарцисс безумно влюбился в собственную удивительную красоту и изнемог от безответной страсти — глубокомысленный и бесконечно трогательный символ весеннего цветка, который, отражаясь в потоке, увядает после недолгого цветения⁶³. Столь же глубокомысленные предания сплетаются греческой поэзией вокруг образа нимфы Сиринги

⁶² О Фанесе см. *Orphka*, ed. Abel, frag. 62; 6, 9; 56, 4; 69, 1; также Стобей, *Eclog.*, I, 2, 11; Nonnus, *Dion.*, xiv, 187).

⁶³ О Нарциссе см. Овидий, «Метаморфозы», Ni, 339 ел.; Павсаний, ix, 31, 7; Конон, 24. О символизме данного мифа см. Плутарх, *Conviv.*, 5, 7, 4; Артемидор, ii, 7.

(Овидий, «Метаморфозы», i, 690 ел.; Лонг, ii, 34, 37) — олицетворения пастушеской флейты, или вокруг Питии, олицетворяющей ель (Лукиан, «Разговоры богов», 22, 4), ветвями которой обыкновенно украшает голову Пан.

Самой важной — применительно к цели нашей книги — чертой характера Пана следует считать его неизменное сладострастие. Как говорит Лонг (ii, 39), от него нет покоя ни одной нимфе, но он не всегда удачлив в своих похождениях. Овидий («Фасты», ii, 303 ел.) рассказывает одну историю, которую сам поэт называет в высшей степени забавной. Однажды Пан увидел рядом с Омфалой молодого Геракла, который должен был по велению судьбы прислуживать царице в наказание за убийство своего друга Ифита, совершенное в состоянии безумия; служа Омфале, Геракл опустил до того, что сам стал подобен женщине, прядя шерсть и нося женскую одежду, как нередко изображают его поэты. Стоило Пану увидеть Омфалу, как он обезумел от любви. «Прочь, нимфы гор, — сказал он, — мне нет дела до вас; одну прекрасную Омфалу люблю я ныне». Он не уставал смотреть на нее, на ее распущенные волосы, источавшие аромат тонких благовоний и ниспадавшие на обнаженные плечи; он восхищался ее обнаженными грудями, розовые бутоны которых были тронуты золотом.⁶⁴ Геракл и Омфала устраивают обед в идиллическом гроте близ лепечущего ручья, который навевает сладкую дрему, где Омфала облачает героя в свой наряд; она подает ему пурпурную рубашку и изящный пояс, который слишком узок для Гераклова стана. Она растягивает тесную ему тунику; ни браслеты, ни узкие туфли на него не налезают. Сама она надевает одежду Геракла, облачается в львиную шкуру и гордо взирает на героя, распростертого у ее ног. После трапезы они восходят на общее ложе.

Около полуночи к ним подкрадывается Пан: он уже подобрался к ложу и осторожно 'ощупывает его рукой. Он прикасается к львиной шкуре и в ужасе отскакивает, словно путник, нечаянно наступивший на змею. Ощупывая постель с другой стороны, он чувствует нежность женского платья, забирается на ложе и укладывается рядом с мнимой Омфалой. Дрожащей рукой он приподымает легкие одежды; вдруг он чувствует волосы на бедрах Геракла, который, пока рука Пана ощупывает его тело дальше, пробуждается и с размаху сбрасывает дерзкого наглеца с ложа, так что тот едва может приподняться от боли, в то время как Геракл и Омфала добродушно хохочут над ним.

Краткий обзор эротических элементов в сказаниях о греческих богах никоим образом не является исчерпывающим. Мы не в состоянии рассмотреть данный предмет полностью, не раздув непомерно настоящую главу, а потому нам не остается ничего иного, как оставить многое в стороне и только вкратце упомянуть об остальном. До сих пор речь шла только о греческом мире богов; однако к мифологии принадлежат

⁶⁴ Овидий говорит здесь о моде своего времени, когда подобная утонченность была не в диковинку. У Ювенала, vi, 122, Мессалина приходит в публичный дом «нагая с позолоченными грудями» (т.е. «подкрашенными позолотой»).

также легенды и сказания о героях, и без них в нашем изложении осталась бы весьма существенная лакуна. Все же мы вправе утешиться мыслью, что едва ли найдется такая греческая легенда, средоточие или, по крайней мере, фон которой не составляла бы эротика. Следовательно, мы должны ограничиться самым важным, иначе мы получим в итоге полный справочник по греческой мифологии. Кроме того, предполагается, что читатель знаком по меньшей мере с большей частью греческих мифов, и поэтому в дальнейшем мы вкратце укажем лишь на то, что отличается некоторыми особенностями или не слишком хорошо известно. Подчеркнем, наконец, что все легенды, имеющие гомосексуальный характер, будут рассмотрены позднее.

Среди фессалийских лапифов возросла прекрасная дева Кенея (Апол-лодор, «Эпитома», i, 22), похвалявшаяся любовью Посидона; в награду за свою благосклонность она попросила бога превратить ее в мужчину, что и было исполнено. В этом сказании речь идет, возможно, о мерцающем в подсознании представлении о женщине с мужской душой, называвшейся у римлян *virago*.

Другой лапиф, царь этого народа, — Иксион — в дерзости своей возжелал Геру, возвышенную царицу неба, которая мнимо уступила его желаниям и поместила рядом с ним свой созданный из облака образ; плодом этого диковинного соития стали кентавры. Но Иксион достаточно бесстыден, чтобы, захмелев, хватать о милости, которой он якобы наслаждался; в наказание за это он был привязан к вечно вращающемуся колесу в подземном мире (Софокл, «Филоктет», 676). Другой национальный герой лапифов Пирифой, сын Зевса, дорого заплатил за свою преступную любовь, ибо он попытался похитить у Аида его жену Персефону; прикованный Пирифой обречен вечно томиться в подземном мире (Гораций, «Оды», ш, 4, 79).

В соответствии с кощунственной страстью, которой они были порождены, племя кентавров отличается самой разнузданной чувственностью. Они всегда жаждут женщины и пускаются во все тяжкие, постоянно находясь в опьянении. Особенно дикие сцены, часто изображаемые поэтами и художниками, произошли на знаменитой свадьбе Пирифоя и Гипподамии («Илиада», i, 262; «Одиссея», хxi, 294; Гесиод, «Щит», 178 ел.; Овидий, «Метаморфозы», хii, 146 ел.), когда гости опьянели от вина и вида прекрасной невесты. Дикий кентавр Эврит хватает Гипподамию за грудь и пытается пойти еще дальше, после чего, как повествует «Одиссея», ему отсекают нос и уши, а сам он изгоняется прочь, тогда как, согласно более распространенной версии, начинается жестокая схватка между лапифами и кентаврами, которая завершается победой лапифов.

Мы уже познакомились (с. 104, 138) с Федрой в ситуации, напоминающей о ветхозаветной жене Потифара. С ней схоже предание о Сфенебее, жене Прета, царя Тиринфа. Сфенебея безумно влюбляется в прекрасного юного Беллерофонта; однако ей не удается соблазнить его, и тогда мнимая любовь превращается в пламенную жажду отмщения. «Ты должен или умереть, — говорит она мужу, — или убить Беллерофонта, ищущего цвета моего тела». Прет слишком

слаб, чтобы не поверить наветам своей бесстыдной жены; он отправляет целомудренного юношу к своему тестю в Ликию с посланием, в котором тайными письменами просит убить подателя письма. Но злой замысел потерпел неудачу; напротив, путешествие в Ликию становится для Беллерофонта началом его героических деяний. Любопытно, что на многих рисунках на вазах предательское письмо вручается юному герою в присутствии Сфенебеи, которая все еще пытается завлечь его томными, сладострастными взорами (относительно сказания о Беллерофонте см. «Илиада», vi, 150 сл.).

Братья Кастор и Поллукс — это два идеальных типа мужественной юности. Их матерью считалась Леда, с которой, как говорили, в образе лебедя сочетался сам Зевс. Поэты и художники древности и нового времени не уставали изображать этот сюжет во все новых вариациях. О том, что происходило дальше, мифология повествует различно; по самой распространенной версии, Леда родила яйцо, из которого вышли на свет два Диоскура (*Dioskouroi* — сыновья Зевса); в выросших братьях соединилось все то, что, по представлениям греков, служит украшением молодого мужчины, так что мы вправе сказать, что Диоскуры воплощают идеальный тип юноши⁶⁵. Среди их любовных приключений из поэзии и изобразительного искусства достаточно хорошо известно похищение Кастором и Поллуксом дочери Левкшша⁶⁶.

То же самое может быть сказано и о похищении Зевсом прекрасной дочери финикийского царя Европы. Он увидел деву близ Сидона, когда она собирала цветы на пышном лугу, и — восплавав любовью — превратился в быка, завлек ее к себе на спину и унес по морю на Крит.

Менее известным, хотя и весьма распространенным в поэзии и изобразительном искусстве сюжетом является сказание о сестрах Прокне и Филомеле. Его подробности передаются по-разному. Во всхлиplyвающей пении соловья греку чудились жалоба и печаль; поэтому в соловье он видел некогда прекрасную деву Филомелу, которой довелось перенести тяжкие страдания и которая была превращена в птицу сжалившимися над ней богами. Ее сестра была выдана замуж за человека, который пылал к ней страстью и который

— под тем предлогом, что его жена мертва, — ее изнасиловал. Но Филомела узнает правду и угрожает возмездием, после чего он вырезает ей язык и не позволяет увидеться с сестрой. Посредством хитроумного наряда, на котором она выткала свою историю, вплетя в ткань фигуры и знаки, она дает знать сестре о происшедшем. Мстя супругу, они разрывают его маленького сына Итиса (Итила) на куски и, сварив его, подают отцу на съедение. Когда ему открывается страшная правда, он гонится за сестрами с топором, и они превра-

⁶⁵ О Зевсе и Леде см. особенно Еврипид, «Елена»; ср. Аполлодор, II, 126 сл.; относительно скульптуры см. O. Jahn, *Archaeologische Beiträflge*, SS. 1-11.

⁶⁶ Феокрит, xxii, 137 сл.; Пиндар, *Nemea*, χ, 60 сл.; Овидий, «Фасты», v, 699 сл. О памятниках изобразительного искусства см. Павсаний, iii, 17, 3; 18, 11.

щаются в птиц: Терей, отец Итиса, — в удода, Прокна — в ласточку, Филомела — в соловья⁶⁷.

Не столь кроваво сказание об Ионе, которого родила дочь аттического царя Креуса, тайно сойдясь с Аполлоном. Она оставила ребенка в том же гроте, где когда-то отдалась богу, но тот сжалился над беспомощным младенцем и доставил его в Дельфы, где он воспитывается жрицей и вырастает в цветущего юношу. В лице Иона мы снова сталкиваемся с идеальным типом удивительного, одаренного всеми телесными и духовными способностями юноши, какими изобилуют греческие литература и искусство. Из служки при храме он становится его зрителем и стражем бесценных сокровищ.

Тем временем Креуса выходит замуж за Ксуфа, но у них нет детей; поэтому разочарованные супруги обращаются к оракулу, который отвечает, что первый, кого они встретят, выходя из храма, и будет их сыном. После многих осложнений все разрешается наилучшим образом, и Ксуф признает Иона своим сыном. Это сказание излагалось Софоклом в его утраченной трагедии «Креуса» (фрагменты у Наука, TGP, pp. 199, 207) и Еврипидом в дошедшей до нас чудесной драме «Ион». Греческие сказания о героях тоже изобилуют эротическими мотивами, так что и здесь нам приходится прибегать к самоограничению.

Самый могучий из всех греческих героев — это Геракл. Когда Алкмене пришел срок вот-вот стать матерью любимого сына Зевса, снедаемой ревностью Гере достало хитрости исторгнуть из Зевса клятву, что рожденный в определенный день ребенок станет могущественнейшим из владык. Затем она поспешает в Аргос, где одна из ее подруг беременна уже седьмой месяц, и как богиня родовспоможения ускоряет эти роды, сдерживая родовые схватки Алкмены, так что Эврис-фей рождается прежде Геракла.⁶⁸ Так как несмотря на свою ярость Зевс вынужден держаться клятвы, правителем Аргоса становится трусливый и слабый Эврисфей, вынуждающий Геракла пойти к нему в услужение. Всю свою жизнь Геракл терпит преследования Геры, ненавидящей его столь неистово, как может ненавидеть только презренная ревность низменной женщины, не способной возвыситься духом даже на мгновение; безвинный герой невыразимыми муками и трудами должен нести кару за то, что, порождая его, Зевс удлинит радости любви до трех ночей, запретив на один день всходить солнцу. Но на хитрость Зевс отвечает хитростью: ему удастся убедить Геру приложить новорожденного к груди, и младенец сосет так крепко, что она отбрасывает его от себя, и струя божественного молока бьет широкой дугой, благодаря чему на небесном своде появляется Млечный Путь (Диодор Сицилийский, iv, 9; Павсаний, ix, 25, 2).

Согласно местному феспийскому преданию, восемнадцати лет Геракл убивает мощного льва. Чтобы подстеречь чудовище, он останав-

⁶⁷ Таково предание о Прокне и Филомеле в изложении Софокла, «Терей» (Наука, TGF², p. 257 сл.).

⁶⁸ О том, как Гера задержала схватки Алкмены, см. Овидий, «Метаморфозы», ix, 280. Она послала к ней Фармакид — злых духов, обладающих этой способностью. Согласно Павсанию, ix, И, 3, их изображения можно было видеть в Фивах.

ливается на ночь в гостях у царя Феспия, отца пятидесяти дочерей — одна краше и сладострастнее другой. Но Геракл не был бы Гераклом, не осчастливь он их всех своей любовью в одну и ту же ночь. Хотя пятьдесят дочерей Феспия были, собственно говоря, сельскими нимфами, здесь все же ясно различима аллегория природного мифа, и уже древним мифографам нравилось видеть в этой ночи любви наглядное доказательство необыкновенной силы героя, так что они называли этот пятидесятикратный любовный поединок «тринадцатым подвигом» Геракла (Диодор Сицилийский, iv, 29; Павсаний, ix, 27, 6).

Двенадцать подвигов, которые из-за коварства злой мачехи Геры Геракл вынужден был совершить во исполнение подневольной службы слабому и трусливому царю Эврисфею, известны столь широко, что здесь их можно обойти молчанием, особенно потому, что по большей части они лишены какой-либо эротической подоплеки; однако стоит упомянуть некоторые мелкие и не столь хорошо известные детали.

Когда Геракл проникает в подземный мир, чтобы вывести из него Аидова пса Кербера, он находит здесь знаменитую пару друзей — Тесея и Пирифоя, — которые в наказание за свою дерзкую попытку похитить жену Аида Персефону приросли к скале. Могучему герою удастся оторвать от нее Тесея; но когда он пытается сделать то же и с Пирифоем, сильное сотрясение земли предостерегает его от дальнейшего попрания законов подземного царства. Комические поэты имели обыкновение с немалым удовольствием расписывать, как вызволенный Тесей, который прирос к скале ягодицами, оставляет эту часть тела на камне, так что теперь он вынужден бегать взад и вперед как *hypolispos*, или человек с гладкими, натертыми р скалу ягодицами. Нетрудно представить, какими аплодисментами встречали афиняне это сценическое остроумие, тем более что они знали, что и сами они, будучи народом мореходов, постоянно протиравшим ягодицы о скамьи для гребцов, удостоились этого прозвища у своего Аристофана, который поэтому мог говорить об их «Саламинской заднице». Каждый, кто хоть сколько-нибудь посвящен в язык аттической комедии, знает какой побочный обценный смысл извлекать — и, несомненно, извлекала — из этого смешливая афинская публика⁶⁹.

Благодаря двенадцати подвигам, число которых было увеличено местной эпической поэзией за счет некоторых других, Геракл стал выдающимся национальным героем греков, на которого в священном воодушевлении взирали снизу вверх прежде всего молодые мужчины.

И тем более позорным, куда горше служения царю Эврисфею, оказывается рабское состояние, до которого Геракл опустился при дворе лидийской царицы Омфалы, где славный герой испытал самое постыд-

⁶⁹ О Тесее см. Суда s. v. *Ἴσθλο*; Аристофан, «Всадники», 1368 и схол. к месту. Данное сказание, без всякого эротического призвука, достаточно распространено: см., например, Аполлодор, ii, 124; Павсаний, x, 29, 9; Диодор Сицилийский, iv, 26; Плутарх, «Тесей», 35. Из-за этого афиняне звались *ἀλοῦλοντοι* (мелкозадые); ср. также Aisen., *Viol*, 64. О «Саламинской заднице» см. Аристофан, «Всадники», 785.

ное обращение, ибо, как мы уже видели, он стал не только рабом женщины, но и самой женщиной.

Если Геракл является национальным героем всей Греции, то Тесей — национальный герой ионийского племени. По пути из Трезена, где он провел свои детские годы, в Афины он совершает шесть героических деяний, которые, должно быть, известны каждому читателю с детства. Проходя по городу в поисках отца, юноша в волочащемся ионийском платье с изящно подвязанными волосами становится предметом насмешек рабочих, которые возводят храм и потешаются над мнимой девушкой, в одиночестве бродящей вокруг. Тогда герой подбрасывает повозку со строительным материалом так высоко, что все, пораженные, немеют и смех смолкает.

Когда, сразив Минотавра, Тесей освободил семерых афинских юношей и девушек, которые каждый девятый год приносились в жертву чудовищу критского Лабиринта, воцарились всеобщая радость и великое ликование. Под звуки песен и лютни, украшенный венками любви и торжества, Тесей танцует с Ариадной, и спасенные юноши и девушки в память об извивах Лабиринта искусно исполняют замысловатый «танец журавля», фигуры которого до позднейшего времени сохранялись на Делосе, куда причалил Тесей после того, как оставил спящую Ариадну на острове Наксос (Лукиан, *De saltat.*, 34; Плутарх, «Тесей», 21; Схол к «Илиаде», xviii, 590; «Одиссея», xi, 321). Достаточно хорошо известно и то, что Тесей был более чем восприимчив к радостям женской любви, так что нет необходимости перечислять имена множества его любовниц⁷⁰. Ученик Каллимаха историк Истр (Афинея, xiii, 557a) в своей «Аттической истории» рассуждал о любовных связях Тесея и подразделял их на три категории: с некоторыми он жил «по любви», с другими — «так как они были его военной добычей», с третьими — «в законном браке».

Предание об аргонавтах и другие сказки о героях можно упомянуть лишь в той мере, в какой они имеют эротический характер. Во-первых, небезынтересен тот факт, что уже в греческих мифах шла речь о некоем роде омоложения⁷¹. Когда Медея вместе с Ясоном воротилась из путешествия аргонавтов в Грецию, она вернула юность постаревшему супругу с помощью весьма решительного метода «кипячения». Схожий метод лечения был предложен ею и одряхлевшему отцу Ясона Эсону: вскипятив магические травы в золотом котле, она дала испить ему это зелье; в этом случае, впрочем, отвар оказался слишком крепок, так что бедный старик, согласно мнению по крайней мере нескольких источников, умер, его отведав. Схожим образом она вернула молодость Нисейским нимфам, нянькам Диониса, вновь сведя их с мужьями, — это свидетельствует о том, что ловкая Медея была знакома с последним и самым действенным средством омоложения.

Из древней и новой поэзии и изобразительного искусства известно

⁷⁰ Об этих многочисленных романах ср. Плутарх, «Тесей», 29; Афинея, xш, 557a.

⁷¹ Ср. Aigum.Eunp, *Medea*, Схолии к Аристоф., «Всадники», 1321, «Облака», 749; Овидий, «Метаморфозы», vii, 242 сл.

о том, как страшно мстит Медея неверному мужу и, распаленная неистовой ревностью и неугасимой ненавистью, убивает двух любимых сыновей и с inferнальным коварством умерщвляет соперницу.

Все вышесказанное относится также к образам и событиям фиванского и троянского циклов преданий. Когда бессмертная Фетида должна была стать супругой Пелея, человеческого сына, она долго боролась с судьбой, ибо не желала покоиться в объятиях смертного. Поэтому разгорается жестокая битва, и, по Пиндару (*Nemea, in, 35*), Пелею пришлось «крепко обхватить деву моря»; Овидий («Метаморфозы», xi, 229 ел.) с немалым удовольствием описывает, как Фетида, намеревавшаяся, оставшись без стесняющих одежд, предаться сладкому полуденному отдыху, превращается во множество существ, дабы бежать вожделения Пелея, пока наконец не оказывается побеждена его ловкостью и не отдается ему; в его объятиях она зачинает великого Ахилла. В высшей степени эротичная картина, в которой нечего домыслить воображению. Затем следовало описывавшееся греческими поэтами с особой любовью бракосочетание Фетиды со смертным, на котором присутствовали все боги и которое изображалось греческим искусством во все новых, все более прекрасных вариациях. На брачном пиру появлялась, конечно, Эрида, подбрасывавшая гостям пресловутое яблоко раздора, и этот поступок влек за собой суд Париса и опустошительную трагедию Троянской войны. Глубокомысленный символ той пугающей истины, что к земному счастью всегда примешана капля горечи.

Общеизвестен образ Одиссея — хитроумного, много испытавшего страдальца. Однако менее известно сказание о том, что в области Пеллана, где некогда жили со своими детьми Тиндарей и Икарий, можно было видеть изображение Стыдливости (*Aidos*⁷²), воздвигнутое Икарием после отъезда его дочери Пенелопы. Напрасно он просил Одиссея переселиться со скалистой Итаки в прелестные долины Лакедемона и попусту убеждал дочь остаться с ним. В молчании она закрыла лицо покрывалом и последовала за любимым.

Когда по всей Греции шла подготовка к карательному походу против Трои, в котором должны были участвовать все знаменитые герои, чтобы отомстить троянскому царевичу Парису, оскорбившему всю Грецию, похитив Елену и увезя с собой бесчисленные сокровища, Фетида, по-матерински заботясь об Ахилле — прекрасном юном эфебе, — поселила его на острове Скирос, где ему не пришлось бы участвовать в ужасах войны и он воспитывался бы среди дочерей Ликомеда. (Данный случай, насколько мне известно, несомненно, является древнейшим и, вероятно, единственным примером совместного воспитания в греческой античности; греки были слишком умны для такого безобразия; это, сказали бы они, все равно что пытаться запрячь в одну упряжку лошадей

⁷² Слово *αἰδώς* означает не «целомудрие», но то, что римляне называли *pietas* — «скромная преданность долгу». Дочь Икария не желает опечалить отца, однако она не желает нарушить слово, данное возлюбленному. Поэтому она прячет лицо под покрывалом, чтобы не показать своей душевной борьбы и дать понять, что не следует долее настаивать (о Пенелопе с покрывалом на лице см. Павсаний, ш, 20, 10).

и быка". Естественные последствия этого воспитательного эксперимента не замедлили сказаться, ибо, хотя Ахилл жил среди девушек, чувства его были отнюдь не девичьи, так что юная царская дочь Деидамия должна была однажды, краснея, признаться матери в том, что носит в чреве дитя от своего нежного сотоварища, расхаживающего в девичьих одеждах. Этот ребенок стал позднее прославленным героем Неоптолемом. Уже на знаменитой картине Полигнота, описываемой у Павсания, Ахилл был изображен в женском платье; с тех пор эта тема пользовалась популярностью в изобразительном искусстве; особенно характерна и в высшей степени эротична картина кисти Джольфино, висящая в веронском Музео Чивико.

После разрушения Трои Кассандре пришлось смириться с тем, что ее оторвали от статуи девы Паллады и ее девичий цвет был принесен в жертву мощи Аякса из Локр.

Так называемые *Nostoi*, или поэмы о возвращении героев из-под Трои, предоставляли немало удобных случаев для описания любовных приключений. Так, прекраснейшая и самая известная из этих поэм — «Одиссея» изобилует эротическими ситуациями. Достаточно лишь упомянуть имена Калипсо, Кирки, Навсикаи, Сирен, феаков и других, чтобы пробудить в каждом читателе воспоминание о колоритных и чувственно выписанных картинах.

Мы подошли к концу нашего изложения религиозных и мифологических воззрений греков. Хотя эта глава оказалась более обширной, чем ожидалось, я полностью сознаю неадекватность моего описания, ибо материал по этой теме слишком 'безбрежен и обширен, чтобы его можно было изложить вкратце в одном-единственном очерке. И тем не менее читатель узнает, возможно, к своему изумлению, насколько насыщена эротикой религия и мифология греков. Должен еще раз подчеркнуть: то, что было рассмотрено выше, представляет собой лишь фрагментарную подборку; каждый, кто¹ желает полнее ознакомиться с эротикой, лежащей в основе мифологических представлений греков, должен обратиться к любому обстоятельному справочнику по этому предмету.

⁷⁴ Хорошо известно, что Одиссей, чтобы избежать участия в Троянской войне, прикинулся безумным и обнаружил свое «безумие», заставив тащить плуг лошадь и быка: см. Павсаний, i, 22, 6. Об Ахилле среди девушек см. также Овидий, «Метаморфозы», xiii, 162 сл.; Стаций, i, 206 сл. О произведениях искусства см. O. Jahn, ArchOologische Beitrage, S. 352; Overbeck, 287

ГЛАВА VII

ЭРОТИКА В ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В ИСТОРИИ нравов не обойтись без рассмотрения литературы и искусства, так как творения разума, запечатленные на письме или созданные художниками, представляют собой истинное отражение эпохи. Соответственно, в круг нашего рассмотрения мы сможем включить лишь те произведения, которые имеют ярко выраженный эротический характер, или же те, существенную часть которых составляют эротические эпизоды. Мы также не коснемся здесь обширной гомосексуальной литературы, которая будет подробно рассмотрена в дальнейшем (с. 276—335). Здесь не будут затронуты ни трагическая, ни комическая поэзия, так как эротический характер двух этих видов литературы мы уже рассматривали в четвертой главе. Даже при этих ограничениях объем материала остается грандиозным.

Задача автора осложнена также тем, что вплоть до настоящего времени практически не имелось полезных вводных работ, так как история эротической литературы и искусства греков, в которой мы так нуждаемся, до сих пор не написана, и лишь от случая к случаю можно встретить разрозненные и застенчивые намеки. Таким образом, автору пришлось пересмотреть всю греческую литературу с точки зрения преследуемой им цели при полном отсутствии заслуживающих упоминания вводных работ. Всякий, кто имеет хотя бы самое отдаленное представление о количестве греческих произведений, которые дошли до нас или содержание которых восстанавливается при помощи точных методов филологического анализа, не станет требовать невозможного от одиночки, которому, разумеется, весьма далеко до полного совершенства. Утверждение, что наше знание всегда остается фрагментарным, как нельзя лучше применимо к неисчерпаемой области классической филологии.

I. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Мы начнем наш обзор с мифической эпохи доистории и будем исходить из известного замечания Цицерона («Брут», 18, 71) о том, что поэты существовали и до Гомера. Это замечание, вне всяких сомнений, правильно, и свидетельства тому, что дело обстоит именно так, обнаруживаются в самих гомеровских поэмах. Но от всех этих поэтов не сохранилось ничего; они были первопроходцами, проложившими дорогу

для Гомера, преобразовавшими язык и создавшими эпический стих — длинную гекзаметрическую строку; их творения оказались в тени забвения, когда на литературном небосклоне взошло солнце гомеровской поэзии. И тем не менее, до нас дошло немало сведений об этом периоде, и история греческой литературы приводит внушительное число имен поэтов, которые жили до Гомера, хотя, конечно же, большинство из них остаются для нас всего лишь именами — выдумкой позднейшей эпохи.

Одним из древнейших догомеровских поэтов был Памф, о котором Павсаний (ix, 27, 2) сообщает, что он сочинял гимны к Эроту. Это замечание имеет для нас ценность постольку, поскольку показывает, что уже в древнейшую эпоху своей литературной истории греки усваивают культ Эрота, и посему мы с полным правом можем утверждать, что Эрот стоит у истоков эллинской культуры, хотя в гомеровских поэмах имя этого бога не названо ни разу. Но в «Теогонии» Гесиода (120) Эрот последовательно упоминается среди древнейших, или существующих с самого раннего времени, богов.

В сущности, гораздо более известен, чем всецело мифический Памф, полулегендарный Орфей, который может рассматриваться как символ примирения религий Диониса и Аполлона. Хотя Аристотель (согласно Цицерону, «О природе богов», i, 38, 107) отрицал его существование, поэтические произведения его времени столь часто приписывались самому Орфею, что даже в наше время историки литературы называют эту эпоху и эту школу «орфической». Всем известно сказание о том, как Орфей низошел в нижний мир, чтобы силой песни забрать у его повелителя — Аида — свою жену Эвридику, которая умерла от укуса змеи. Аид был растроган чудным пением Орфея и позволил ему вывести жену обратно в мир живых, под тем, однако, условием, что он не должен оглядываться, пока не достигнет света дня. Это условие оказалось слишком трудным для смертного человека; влекомый любовью, Орфей обернулся назад, и Эвридика, увидеть которую ему было не суждено, растаяла тенью в стране Аида. Так, Орфей, стоящий у истоков греческой литературной истории, представляет собой сверкающий образец трогательно любящего супруга; мы еще встретимся с ним вновь (с. 309—310), хотя и в несколько иных обстоятельствах.⁷⁴

Тот факт, что великие национальные эпосы греков — «Илиада» и «Одиссея» Гомера — насыщены эротикой и содержат множество красочных, расцветенных всеми приемами литературного искусства картин, отличающихся высоким чувственным очарованием, упоминался уже неоднократно, и поэтому обсуждение его представляется излишним. То же относится к так называемым «Гомеровским гимнам»; четвертый из этих гимнов с немалым изяществом, чувственностью и не без привкуса пикантности повествует о любви Афродиты к Анхизу. Я уже имел случай указывать на эротические эпизоды, содержащиеся в «Гомеровских гимнах». Я также не вижу необходимости подробно останавливаться на поэмах так называемого эпического цикла, так как эротические элементы

⁷⁴ Об Орфее и Эвридике см. Аполлодор, i, 14, и Конон, 45; ср. также Афиней, xiii, 597 (Гермесиакт); Вергилий, «Георгики», iv, 454 сл.; Овидий, «Метаморфозы», x, 1 сл.

в них основываются по большей части на прославлении юности и красоты, а выведенные в них мужские и женские персонажи были рассмотрены нами выше. Нет необходимости говорить даже о поэмах Гесиода, так как заключенные в них эротические элементы, такие, как миф о Пандоре, враждебное описание женского характера, женского кокетства, существовавшего даже тогда, и постоянной готовности женщин наброситься на свою жертву, уже упоминались ранее.

От Гесиода до нас дошла еще одна поэма, озаглавленная «Щит Геракла». В ней описывается битва Геракла с чудовищем Кикном; своим названием она обязана описанию щита Геракла, занимающего значительную часть поэмы. В самом начале поэт сообщает о том, как Зевс, дабы подарить миру спасителя и исцелителя, возгорается любовью к прекрасной Алкмене, жене фиванского царя Амфитриона: «Она далеко превосходила всех земных женщин красотой форм и статью, и ни одна из рожденных смертными не могла сравниться с ней умом. Ее лицо и черные глаза дышали прелестью самой златовенчанной Афродиты. Пока отсутствовал Амфитрион, который во искупление кровопролития находился в походе, с его женою сблизился Зевс. После того как Зевс наслаждался любовью Алкмены и удалился, возвращается муж, сердце которого исполнено страстного влечения к жене. Подобно избежавшему мучительной болезни или злого плена, с радостью и охотой возвращался домой Амфитрион после тяжких трудов войны. Весь остаток ночи провел он в объятиях милой супруги, наслаждаясь дарами златовенчанной Афродиты». Алкмена понесла и родила двойню: Геракла — от Зевса, а Ификла — от Амфитриона.

Интересен отрывок из Гесиодовой «Меламподии» (3): «Гесиод, как и многие другие, рассказывал, будто Тиресий однажды подсмотрел совоплощение двух змей в Аркадии. Он ранил одну из них, после чего превратился в женщину и имел сношения с мужчинами. Но Аполлон открыл ему, что если он еще раз увидит змей и ранит одну из них, то вновь станет мужчиной. Так и случилось. Однажды Зевс и Гера спорили, кто получает большее наслаждение от соития, мужчина или женщина. Так как Тиресий изведal и то и другое, они спросили его мнения и получили ответ: «Когда мужчина спит с женщиной, он получает одну десятую наслаждения, тогда как женщина — десять десятых⁷⁵. Гера была рассержена этим ответом и отняла у Тиресия зрение, но взамен Зевс наградил его даром прорицания и долгой жизни».

2. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Не многим больше, чем из только что рассмотренных эпических произведений, удастся добыть из лирической поэзии греков. В основном она, конечно же, имеет эротическую природу, однако — и в этом существеннейшее отличие греческой лирики от современной — предме-

⁷⁵ Таково толкование древнего схолиаста к Ликофрону, 683; по другим, доля в удовольствии женщины составляет девять десятых (v. Kinckel).

том этой эротики почти всегда выступают мальчики и юноши, именно их воспевают греческие лирики. Ввиду этого подробнее рассматривать лирическую поэзию мы будем ниже, в главе, посвященной гомосексуализму; сейчас же мы ограничимся некоторыми сведениями относительно любви мужчины к женщине.

Мимнерм Колофонский (конец VII века до н.э.) — первый греческий лирик, воспевающий любовь между мужчиной и женщиной. Немного женственный и сентиментальный, всегда влюбленный, он прославляет радости жизни и ее чувственные наслаждения и скорбит о скоротечности юности и краткости любовного счастья. Темой его любви и поэзии была прекрасная флейтистка Нанно.

Архилох Паросский (около 650 г. до н.э.) был первым поистине великим греческим лириком; для этой страстной, беспокойной личности поэзия означала исповедь в переполняющих его чувствах. Он был влюблен в Необулу, дочь богатого Ликамба: «В его стихотворениях пышет жаркое пламя любви. Страсть сжимает его сердце, вырывает нежную душу из груди; его глаза меркнут, и любовная мука пронизывает его до мозга костей. Необула вняла его бурному сватовству. Счастливый случай сохранил для нас образ горячо любимой девушки:

Своей прекрасной розе с веткой миртовой
Она так радовалась. Тенью волосы
На плечи ниспадали ей...
...старик влюбился бы
В ту грудь, в те миррой пахнущие волосы,

[перевод В. В. Вересаева]

Но когда ее отец Ликамп отменяет обручение, поэт теряет всякую меру: он не только поносит отца за нарушение слова, но бесчестит любимую, ставя под сомнение целомудрие и невинность бывлой суженой. Потомки содрогались от ужаса, вспоминая о мести Архилоха. Он, несомненно, знает себя лучше всех, сравнивая себя с ежом, который, «собравшись в клубок, направляет свои колючки на врага»⁷⁶.

С хронологической точки зрения, следующим должен быть упомянут Семонид Аморгосский (около 625 г. до н.э.); о его остроумной сатирической поэме, посвященной женщинам, мы уже говорили. Здесь следует также упомянуть Гиппонакта Эфесского (около 540 г. до н.э.), пусть даже только ради двух весьма злобных стихов, сохранных у Стобея (*Florilegium*, 68, 8; ср. *Apostol.*, iv, 38c; Haupt in *Hermes*, iv, 159):

Два дня всего бывают нам милы жены:
В день свадьбы, а потом в день выноса тела.

[перевод Г. Церетели]

У Керкида из Мегалополя, писавшего во времена царя Филиппа шуточные стихотворения, называвшиеся мелиамами, нас интересует

⁷⁶ К. Heinemarm, *Die klassische Dichtung der Griechen*, 1912; см. также Beigk, *Poetae Lyrici Graeci*, I, p. 2 ел.

только одна строчка (Афинея, xii, 544d): «Жили некогда в Сиракузах две девушки с округлыми ягодицами» — убедительное свидетельство о том, что прежде всего приходило в голову грекам, влюбленным в женский пол.

Алкей из Митилены, один из величайших и разносторонних греческих лириков, написал большое число любовных песен, от которых, однако, как, впрочем, и от большей части греческой лирики, сохранились лишь жалкие фрагменты. В своих стихах он славил «сладко смеющуюся, фиалкоудрую» Сафо, но прекрасная поэтесса его не услышала, ибо ее сердцу любовь мужчины не говорила ничего.

Анакреонт Теосский, который даже в преклонном возрасте не расставался с вином и женщинами, был неизменным глашатаем любви и радостей жизни. Дошедшие до нас фрагменты его поэзии довольно скудны, а то, что ранее служило предметом восхищения как поэзия Анакреонта (так называемая «Анакреонтика»), оказалось на поверку шутивными подражаниями, принадлежащими к самым разным эпохам. То, что выступает здесь под именем любви, — это легко читающиеся милые пустячки, которые никак не могут претендовать на звание истинной поэзии.

Чистейшее золото поэзии сверкает в стихотворениях Сафо, которую, вне всяких сомнений, следует отнести к числу величайших поэтических гениев всех времен. В ее стихах говорит только любящее и жаждущее любви сердце; образы и мысли, которые она выражает с никогда не отказывающим ей тактом подлинного чувства, на протяжении столетий остаются образцом для подражания, недоступным большинству эротических поэтов. Однако Сафо не может быть предметом подробного рассмотрения в данной главе, ибо жизнь и поэзия этого лесбосского чуда гомосексуальны. Поэтому мы вернемся к ней позднее и ограничимся лишь тем, что еще раз подчеркнем: гомосексуальная любовь греков есть свидетельство не упадка, но скорее прогресса их культуры, ибо она создала для них интеллектуальные ценности, которые пребывают в веках и не перестают будить в нас изумление и восхищение.

Терпандр сочинял песни для девичьих хоров, которые впоследствии были доведены до новой степени совершенства великим Алкманом, или Алкмеоном (около 650 г. до н.э.). Ему в заслугу следует поставить то, что он способствовал музыкальному воспитанию спартанских девушек. Отношения между поэтом и его певицами, которым он время от времени воздает должное в своих песнях, были, по-видимому, личными и интимными, что вполне правдоподобно, если принимать во внимание довольно свободный образ жизни спартанских девушек.

Фрагменты сицилийца Стесихора, расцвет которого приходится на 600 г. до н.э., столь же скудны, как и фрагменты произведений Алкмана. Согласно Платону («Федр», 243а; ср. Bergk, PLG, II, p. 218), он сочинил стихотворение, поносившее прелюбодеяние Елены, за что был наказан разгневанной героиней, которая поразила его слепотой; Стесихор исцелился, только написав знаменитую «палинодию», где он утверждал, что за соблазнителем Парисом последовала не Елена, но ее созданный Зевсом призрак, который и послужил причиной многослез-

ной Троянской войны. Очевидно, что слепота поэта и его исцеление Еленой не могли служить истинной причиной написания «палинодии», существование которой надежно засвидетельствовано другими источниками. Если, таким образом, невозможно вообразить, чтобы поэт считал себя обязанным объяснить случайную и временную потерю зрения как акт мщения со стороны героини — что более чем маловероятно, то следует предположить, что отказаться от нападков на Елену, сколь бы глубокие корни не имело такое отношение к ней в поэтической традиции, заставило Стесихора общественное мнение, ибо, по представлениям дорийцев, Елена была богиней, удостоенной культа. Если такое объяснение правильно — а все говорит в его пользу, — то в «палинодии» Стесихора мы должны видеть первую веху на пути к феминизации, которая, медленно, но неуклонно прогрессируя в течение многих веков, привела в конце концов к состоянию современного феминизма.

Трогательным и волнующим образом Стесихор использовал также мотив несчастливой любви; в своей поэме он повествовал о прекрасной Калике, покончившей с собой после того, как она была отвергнута своим возлюбленным Эватлом. Афиной (xiii, 601a) ясно свидетельствует о том, что в поэмах Стесихора эротический момент играет значительную роль, и даже среди его фрагментов мы находим немало эротических мотивов. Так, он ввел в поэзию образ пастуха Дафниса, позднее ставший столь популярным: юноша был любим нимфой, но из-за своей неверности встретил печальный конец. Стесихор также воспел жестокую судьбу Радины, которая, хотя и была замужем за правителем Коринфа, все же отказалась расстаться со своим возлюбленным Леонтихом.

Эротические мотивы в изобилии обнаруживаются также в стихотворениях Симонида (556—468 гг. до н.э.) и его племянника Вакхилида — и это вполне естественно, так как в творчестве обоих значительную роль играет миф, богатый эротизм которого мы уже рассматривали выше. То же относится и к дошедшим до нас произведениям Пиндара (518—442 гг. до н.э.). Пиндар — самый сильный и возвышенный из всех греческих лириков, и мы являемся счастливыми обладателями сорока четырех его эпиникиев. Это — песни самого различного объема, которые сочинялись, чтобы восславить победителей четырех общенациональных праздников; их распевал хор, иногда — прямо на пиру в честь победы, но большей частью — дома, при вступлении победителя в родной город. Главным содержанием победной песни почти всегда является миф, излагаемый Пиндаром с совершенным искусством и имеющий особое отношение к победителю или его семье. Из этих мифов можно извлечь внушительное число эротических мотивов.

3. ПРОЗА

Прозаические произведения классического периода греческой литературы также способны вознаградить исследователя разнообразными эротическими мотивами.

Уже у Ферекида Сиросского, которого греки считали своим древнейшим прозаиком, можно было прочесть эротические рассказы, что подтверждает фрагмент, обнаруженный лишь четверть века назад на египетском папирусе; здесь очаровательно описывается «священный брак» Зевса⁷⁷.

В историческом труде Геродота можно найти несколько эротических новелл, как, например, посвященная кровосмесительной связи Микери-на с собственной дочерью, или жене Интаферна, или прелестная история о Гиппоклиде (см. выше, с. 113), «проплясавшем свою невесту», и несколько других, рассмотренных мною в отдельной статье⁷⁸. Древнейшим образчиком любовной новеллы на греческом языке, изложенной подробно и мастерски, является трогательный рассказ о индийском царе Стриангее и Заринее — царице саков, записанный врачом и историком Ктесием (Ктесий, 25—28; ср. Ник. Дамасский, FHG, III, 364), который семнадцать лет прожил в Персии.

Тимей (у Парфения, 29, и фрагм. 23) повествовал о любовных приключениях прекрасного Дафниса. Он также был первым, кто заговорил о несчастливой любви Дидоны к Энею. Филарх (у Парфения, 15 и 31) ввел в поэзию тему прекрасной, но чопорной Дафны, которая была любима Аполлоном, но, взмолившись о том, чтобы избежать насилия со стороны бога, была превращена в лавр. Он также рассказывал о Дамойте, который нашел выброшенное на берег моря тело прекрасной женщины и долгое время сожительствовал с ней. Когда это стало невозможным, он похоронил тело и покончил с собой.

Любовные новеллы в большом числе входили в состав местных мифологических собраний, возникавших почти повсюду, особенно в ионийских городах Малой Азии. Местные предания богатого Милета столь изобиливали эротическими сюжетами, что Аристид — этот греческий Бокачко перврго века до н.э. — назвал свой сборник эротических новелл, составлявший как минимум шесть книг, по большей части обценного характера, «Милетскими рассказами». Какой популярностью пользовались эти отпрыски сладострастной музыки, явствует из того факта, что Корнелий Сизенна перевел их на латинский язык (фрагменты см. Bucheler, *Petronius*³, S. 237), а также из одного замечания Плутарха («Красе», 32), по которому экземпляры данного сочинения были обнаружены среди вещей офицеров Красса во время Парфянской войны (53 г. до н.э.). Эти рассказы до нас не дошли, но мы можем полагать, что они в известной мере напоминали новеллы из «Метаморфоз» Апулея. То, что рассказывалось выше о купании невест в Скамандре, вполне могло быть заимствовано из «Милетских рассказов».

Если мы вправе видеть в знаменитом рассказе об эфесской матроне сюжет из «Милетских рассказов», тогда одним из их лейтмотивов являлось доказательство того, что нет такой добродетельной женщины, которая не могла бы однажды воспылать беззаконной страстью к

⁷⁷ Первое издание Grenfell-Hunt, *Greek Papyri*, ser. II, 1897, № 11.

⁷⁸ «Sexuelles aus dem Geschichtsweweike des Herodot». *JahrbuchflirdiesexuelleZwischenstufen*, Jahrgang XXII, Leipzig, 1922, S.65 сл.О Микерине см.Геродот, ц, 131, об Интаферне, ш, 118.

любовнику, как говорит у Петрония Евмолп, излагающий этот рассказ следующим образом (Петроний, 111):

«Жила в городе Эфесе мужняя жена, да такая скромная, что даже от соседних стран стекались женщины, чтоб на нее подивиться. Когда скончался у нее супруг, она не удовольствовалась тем только, чтобы его проводить, как обыкновенно делается, распустивши волосы и терзая на глазах у собравшихся обнаженную грудь, но последовала за покойником в усыпальницу и, поместив в подземелье тело, стала, по греческому обычаю, его стеречь, плача денно и нощно. Так она себя томила, неминуемо идя к голодной смерти, и ни родные не умели ее уговорить, ни близкие; последние ушли с отказом должностные лица, и всеми оплаканная пять дней уже голодала беспримерной доблести женщина. Рядом с печальницей сидела служанка из верных верная, которая и слезами помогала скорбящей, а вместе и возжигала угасавший часом светильник. В целом городе только о том и толковали, и люди всякого звания признавали единодушно, что просиял единственный и неподдельный образчик любви и верности.

Об эту самую пору велел тамошний правитель распять на кресте разбойников, и как раз неподалеку от того сооружения, где жена оплакивала драгоценные останки. И вот в ближайшую ночь воин, приставленный к крестам ради того, чтобы никто не снял тела для погребения, заметил и свет, так ярко светившийся среди могил, и вопль скорбящей расслышал, а там по слабости человеческой возжелал дознаться, кто это и что делает. Спустился он в усыпальницу, и, увидев прекраснейшую из жен, остановился пораженный, будто перед неким чудом и загробным видением. Потом только, приметив мертвое тело и взяв в рассмотрение слезы на лице, ногтями изодранном, сообразил он, конечно, что тут такое: неумогу женщине перенести тоску по усопшем. Приносит он в склеп что было у него на ужин и начинает уговаривать печальницу не коснеть в ненужной скорби и не сотрясать грудь свою плачем без толку: у всех-де один конец, одно же и пристанище и прочее, к чему взывают ради исцеления израненных душ. Но та, услышав нежданное утешение, еще яростней принялась терзать грудь и рвать волосы, рассыпая их на груди покойного. Однако не отступил воин, более того, с тем же увещанием отважился он и пищу протянуть бедной женщине, пока, наконец, служанка, совращенная ароматом вина, сама же к нему не потянула руки, побежденная человечностью дарователя, а там, освеженная едой и питьем, принялась осаждать упорствующую хозяйку, говоря так: «Ну какая тебе польза исчахнуть от голода? заживо себя похоронить? погубить неповинную жизнь прежде, чем повелит судьба?»

Мнишь ли, что слышат тебя усопшие тени и пепел?

Ужель не хочешь вернуться к жизни? рассеять женское заблуждение и располагать, покуда дано тебе, преимуществами света? Да само это тело мертвое должно призывать тебя к жизни». Что ж, нет никого, кто негодовал бы, когда его понуждают есть и жить. А потому изможденная

воздержанием нескольких дней женщина позволила сломать свое сопротивление и принялась есть не менее жадно, чем служанка, что сдалась первой.

Ну, вы же знаете, к чему обыкновенно манит человека насыщение. Той же лаской, какую воитель достиг того, чтобы вдова захотела жить, повел он наступление и на ее стыдливость. Уже не безобразным и отнюдь не косноязычным казался скромнице мужчина, да и служанка укрепляла их расположение, повторяя настойчиво:

...Ужели отвергнешь любовь, что по сердцу?

Или не ведаешь ты, чьи поля у тебя пред глазами?

Не стану медлить. Не отстояла женщина и этот свой рубеж, а воин-победитель преуспел в обоих начинаниях. Словом, ложились они вместе, и не той только ночью, когда свершилось их супружество, но и на другой, и на третий день, запирая, конечно же, вход в спальню, так что всякий, знакомый ли, или нет, подходя к памятнику, понимал, что тут над телом мужа лежит бездыханно стыдливейшая из жен. А воин, надо сказать, увлеченный и красотой женщины, и тайной, все, что только находил получше, закупал и нес, чуть смеркнется, в спальню. Когда же заметили родные одного из повешенных, что ослаб надзор, ночью стащили своего с креста и отдали последний долг. Воин, которого так провели, покуда он нежился, наутро видит, что один крест остался без тела, и в страхе наказания рассказывает женщине о происшедшем: приговора суда он ждать не станет, а лучше своим же мечом казнит себя за нерадение; пусть только она предоставит ему место для этого, и да будет гробница роковою как для мужа, так и для друга. Не менее жалостливая, чем стыдливая, «да не попустят, — воскликнула женщина, — боги, чтобы узреть мне разом двойное погребение двоих людей, которые мне всего дороже. Нет, лучше я мертвого повешу, чем убью живого». Сказала и велит вынуть тело мужа из гроба и прибить к пустующему кресту. Не пренебрег воин выдумкой столь распорядительной жены, а народ на другой день дивился, как это покойник на крест угодил» [перевод А. К. Гаврилова].

Одно из сочинений Ксенофонта Афинского (около 430—354 г. до н.э.) почти целиком посвящено проблеме Эроса; это его очаровательный «Симпосий». Пир давался богатым афинянином Калием в честь своего прекрасного любимца Автолика, одержавшего победу в панкратии на Панафинейских играх 422 г. до н.э. В противоположность платоновскому «Симпосию», в этом пире участвуют клоуны, танцовщицы и флейтистки, а также прекрасный мальчик, который развлекает гостей своими гимнастическими и музыкальными трюками. После всевозможных речей серьезного и шуточного характера Сократ произносит речь о любви, смысл которой сводится к тому, что следует пленяться умственными дарованиями мальчика, а не его телесной красотой. Заключением пира служит мифологический балет, представляющий любовную сцену между

Дионисом и Ариадной; балет производит на присутствующих такое впечатление, что «холостяки давали клятву жениться как можно скорее, а женатые мужи седлать коней и со всей поспешностью мчаться домой к своим женам».

Должен быть упомянут также «Анабасис», в котором Ксенофонт описывает зловещий поход Кира Младшего против его брата Артаксеркса и мучительное, полное опасностей отступление наемной греческой армии; дело в том, что и здесь время от времени затрагиваются эротические вопросы: например, любовь еще безбородого мужчины к бородатому, похищение юношей и девушек, трогательный рассказ об Эписфене, прекрасном юноше и их смелом самопожертвовании, благодаря которому юноша спасается от смерти («Анабасис», ii, 6, 28; iv, I, 14; iv, 6, 3; vii, 4, 7—10). «Домострой», или трактат о наилучшем ведении домашнего хозяйства, упоминался выше (с. 30); в этом сочинении дается очаровательное описание семейной жизни недавно женившегося Исхомаха. Эротические вопросы, к которым мы обратимся ниже, поднимаются также в «Гиероне» — диалоге между Симонидом и сицилийским царем Гиероном. Наконец, следует указать «Киропедию» («Воспитание Кира») — тенденциозный политический роман воспитания, так как и здесь имеются эротические новеллы, самой пленительной из которых является рассказ о Панфее, ее трогательной любви и верности.

На первый взгляд, это покажется неожиданным, но и произведения греческого красноречия, или греческих ораторов в самом широком смысле этого слова, также вносят свой вклад в историю античной эротики. И тем не менее, ораторы охотно приводят легендарные и исторические примеры и параллели, чтобы придать особое значение своим взглядам и утверждениям, а многие речи вполне непринужденно трактуют судебные дела ярко выраженного сексуального характера — важнейшие из них будут вкратце рассмотрены ниже. Так, мы располагаем речью Антифонта, которой воспользовался незаконнорожденный сын, чтобы обвинить мачеху в приготовлении приворотного зелья для отца. Интересно отметить, каким образом удалось оратору Андокиду изменить политический вердикт, вынесенный против него; ему была известна неутомимая потребность сограждан в красоте, и вследствие этого, как передает Плутарх (*Moratia*, 835b; подтверждается надписью CIA, 553, 21), из своих значительных средств, нажитых вне Афин посредством удачных торговых сделок, он снарядил самый пышный хор мальчиков и покорила все сердца.

Следующим мы должны упомянуть включенное Платоном в диалог «Федр» «любовное послание» оратора Лисия с парадоксальной темой: вознаграждать любовь следует скорее не любящего, чем любящего. До нас дошли также некоторые другие эротические послания Лисия, и представляется, что именно он первым ввел в литературу этот вид посланий, ставший позднее столь популярным. Самой знаменитой из его речей были речи «Против Эратосфена» и речь в защиту мужа, который, будучи коварно обманут бесчестным Эратосфеном, загладил оскорбление своей супружеской чести, убив прелюбодея.

То, что философия также пыталась разрешить проблему любви, уделяя ей все возрастающее внимание и стремясь исследовать ее природу, не только правдоподобно само по себе, но и подтверждается философскими сочинениями. Ибо любовь, как однажды сказал Плутарх, — «это загадка, которую нелегко понять и разгадать» (Стобей, *Florilegium*, 64, 31: αἰνύμα δυσερέτων καὶ δύσλυτον) хотя, вне всяких сомнений, философская мысль в соответствии с греческим воззрением была обращена скорее к юноше Эроту, чем женственной Афродите.

Из тех произведений Платона, что посвящены эротическим вопросам, диалоги «Хармид», «Лисид», «Пир» и «Федр» мы рассмотрим позднее, так как они целиком или в значительной своей части посвящены гомосексуальной любви.

С течением времени возрастал интерес к проблеме брака; уже великий Аристотель⁷⁹, а затем его ученик Теофраст писали книги по вопросам брака, причем последний сказал о браке не много утешительного. Его ученик и друг Деметрий Фалерский, знаменитый философ-перипатетик, игравший также видную политическую роль и бывший на протяжении десяти лет (317—307 гг. до н.э.) правителем Афин, написал *Eroticus*, который не сохранился. Не уцелело и сочинение Фания Лесбосского, которое повествовало об убитых из мести тиранах. Оно изобиловало эротическими материалами новеллистического характера, так как многие тираны и в самом деле были умерщвлены из соображений ревности. Клеарх из Сол на Кипре также написал *Eroticus* (правильнее *Erotica*). В этой книге, от которой сохранились отдельные фрагменты, Клеарх предпринял попытку проникнуть в суть любви посредством мифологических и исторических примеров. В ней можно было прочесть о любви Перикла к Аспасии и о далеко идущих эротических запросах самого прославленного из греческих политиков, о сомнительном любовном приключении Эпаминонда, о страстной привязанности лидийского царя Гигеса к своей возлюбленной жене и о величественном памятнике, воздвигнутом по его указу после ее смерти. Не было здесь недостатка и в любопытных анекдотах: например, о глубокой любви гуся к мальчику и о павлине, который был так влюблен в некую девушку, что не пережил ее смерти. Но Клеарх также говорил о принятых свадебных обрядах и их происхождении, о том, почему любовники носят в руках цветы и яблоки или украшают дверь любимой цветами. Каждый желающий может прочесть эти бесконечные рассуждения у Афиня, который цитирует множество отрывков из вышеперечисленных авторов⁸⁰.

Иероним Родосский, как и многие другие авторы этого периода, с упоением пересказывал всевозможные эротические анекдоты в своих «Исторических записках»; некоторые из анекдотов (о Сократе, Софокле и Еврипиде) были сохранены Афинеем (xiii, 556a; 557e; 604d).

⁷⁹ Фрагменты из Ερωτικός Аристотеля собраны В. Розе в книге *Aristotele's quaeferabantur libronim fragmenta*, Leipzig, 1886, но это только широко известные отрывки, приводимые у Афиня (xv, 674b; xш, 564b) и Плутарха (*Pelop.*, 18; *Amatorius*, 17).

⁸⁰ Фрагменты у Мюллера, FHG (Деметрий, ii, 362; Фаний, ii, 293; Клеарх, ii, 302); Афиня, xv, 669f.

II. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. ПОЭЗИЯ Эпос и лирика

В постклассический период греческой литературы, обозначаемый термином «эпоха эллинизма» и, по мнению большинства ученых, начинающийся после смерти Александра Великого (323 г. до н.э.), эротика также играет большую, и даже еще большую роль, чем в классический период. Характерно, что чем больше иноземных элементов проникает в греческую жизнь, тем дальше на задний план отходит любовь к юношам; женское начало занимает в литературе все более значительное место по мере того, как возрастает — особенно в крупных городах — общение молодежи с гетерами.

Многие поэтические произведения этой эпохи утеряны, и мы вынуждены обращаться к римским подражателям — Катуллу, Тибуллу, Проперцию и Овидию, из сочинений которых мы можем заключить *a posteriori* о ярко выраженной чувственности эллинистической поэзии. Так Филет Косский, наряду с эротическими элегиями, написал эпос «Гермес», предметом которого было любовное похищение Одиссея с Полимелой, дочерью Эола. Другом Филета был Гермесианакт из Клазомен, написавший три книги элегий, которые были посвящены его любовнице Леонтион и повествовали о всемогуществе любви. У Афиней (xiii, 597b) сохранился большой фрагмент в 98 строк, где с очаровательным изяществом перечисляются жившие до Гермесианакта поэты, которые прославляли в стихах любимых женщин и дев. В этом списке он допускает заметные вольности, делая, например, Анакреонта любовником Сафо, что полностью исключено по хронологическим соображениям. Благодаря многочисленным цитатам мы также неплохо осведомлены о многих других любовных сюжетах, разрабатывавшихся в его элегиях. Так, он повествовал о горячей любви богатого, но незнатного юноши Аркеофонта к Арсиное, дочери царя Кипра (Антонин Либерал, «Метаморфозы», 39). Его сватовство было, однако, напрасным, и несмотря на роскошные свадебные дары он был отвергнут отцом любимой. Тогда он подкупил кормилицу, чтобы та стала посланницей его любви. Высокомерная Арсиноя выдала кормилицу родителям, которые жестоко ее изувечили и выбросили из дома. От горя Аркеофонт покончил с собой; когда любимого всеми юношу несли к могиле, Арсиноя презрительно смотрела из окна на погребальную процессию, — и разгневанная подобным жестокосердием Афродита превратила горячку в камень. Это предание постепенно стало излюбленной темой эллинистической эротики и впоследствии излагалось различными поэтами со все новыми подробностями, так что во времена Плутарха оно еще было живо на Крите (Плутарх, *Amatorius; Moralia*, 766c).

Самым значительным поэтом данного периода был Каллимах из Кирены (около 310—240 гг. до н.э.). У нас нет повода подробно останавливаться на его творчестве, так как он отнюдь не был эротичес-

ким писателем; самое большое, что можно упомянуть, — это серенада к его возлюбленной по имени Конопион и несколько эпиграмм эротического содержания, не менее двенадцати из которых посвящены любви к прекрасным юношам. В своем «Гимне к Аполлону» поэт с особенным удовольствием описывает любовь бога к прекрасной Кирене.

Аполлоний Родосский (около 295—215 гг. до н.э.) в четырех книгах дошедшего до нас эпоса «Аргонавтика» описывает плавание аргонатов в Колхиду, их приключения в пути и возвращение. Это важное и, за исключением отдельных отклонений от темы, весьма интересное произведение (5835 строк) содержит несколько эротических эпизодов, исполненных чувственного огня и силы. Любовь — это существеннейшая часть всего эпоса; повествование достигает кульминации в третьей книге, в которой поэт, воззвав к Эрато, Музе любовной поэзии, описывает, как царская дочь Медея была сражена стрелами никогда не бьющего мимо цели Эроса, превосходно изображая при этом душевные борения и, следовательно, придавая особое значение психологическому моменту.

Эпические поэмы Евфориона Халкидского (фрагменты собраны А. Майнеке в *Anal. Alex.*, pp. 1—168) изобиловали эротическими темами. Сам он не был особенно щепетилен в любви: говорили, что в молодости он был любимцем поэта Архебула Ферского, за что подвергся осмеянию в очень злой эпиграмме Кратета, непередаваемой ввиду игры слов⁸¹. Впоследствии он опустил до того, что стал любовником похотливой, но богатой старой вдовы из Никеи, благодаря чему приобрел немалое состояние и в то же время попал в поговорку, сохранившуюся в сочинениях Плутарха (*Moralia*, 472d) — «спит с богатой старухой, как Евфорион». Возможно, как предполагал Ф. Ницше⁸², анекдот, передаваемый из остальных источников только Судой, по которому Гесиод был по ошибке убит двумя братьями изнасилованной девушки вместо истинного виновника, восходит именно к нему. Другие произведения Евфориона, такие, как «Фракийец» и «Гиацинт», состояли главным образом из эротических историй. Так, во «Фракийце» наряду с другими предметами речь шла о любви Гарпалики к своему отцу Климену; любовная связь между отцом и дочерью встречалась также в «Аполлодоре». Наконец, Евфориону принадлежит известное число эротических эпиграмм.

Стихотворения «Антологии»

Эпиграмма, доведенная в классический период до высокой степени совершенства (в частности, Симонидом), с течением времени все более отдалялась от своего первоначального назначения, а именно — служить

⁸¹ «Палатинская Антология», χι, 218: Χοίριλος Αντιμάχου πολὺ λείπεται, ἀλλ' ἐπὶ πάσιν // Χοίριλον Εὐφορίων εἶχε δια στόματος // Καί, καταγλωσσ' ἔποιε τα ποιήματα καὶ τα Φιλῆτα // Ἀτρεκέως τῆδε καὶ γὰρ Ὀμηρικὸς ἦν. (Хуже гораздо Херил Антимаха; однако повсюду // Евфорион на устах срам у Херила имел, // Полные темных словес он песни творил, и Филета // Истинно песни певал: он ведь гомеровец был [перевод Ю. Шульца]).

⁸² *Rhem. Mus.*, xxviii, 1873.

надписью на надгробии. Постепенно, а особенно после эпохи Александра Великого она все чаще стала рассматриваться как независимый вид поэзии, как излюбленный жанр поэтического обмена мыслями самого разнообразного содержания. Серьезность и шутка, радость и скорбь, дружба и любовь, радости застолья и попойки, короче говоря, все, что составляло настроение момента, нашло свое красноречивое выражение в эпиграмме. Среди бесчисленных писателей, эпиграммы которых сохранились, мы найдем немало славных имен, и, хотя зерна не свободны от плевел, все же и здесь мы поражаемся бесконечному многообразию форм, в которых перед нашим взором предстает греческая жизнь.

Начало собиранию рассеянных повсюду цветов в один букет было положено уже в древности: Мелеагр Гадарский, который сам был знаменитым эпиграмматистом, в последней четверти первого века до Рождества Христова объединил значительное количество эпиграмм в упорядоченной по алфавиту антологии; вторая антология была издана Филиппом, жившим во времена Калигулы, Обе они, наряду с третьей, изданной Агафием, вошли в «Антологию» Константина Кефалы, который жил в первой половине десятого века нашей эры и собрал в своей книге сотни эпиграмм разнообразного содержания. Так как эта «Антология» дошла в рукописи, хранившейся в Палатинской Библиотеке в Гейдельберге (№ 23), собрание получило название «Палатинской Антологии».

В XIV веке монахом Планудом была подготовлена еще одна «Антология» в семи книгах, которая, разумеется, во многом совпадает с Палатинской, зато, с другой стороны, не только зачастую дает лучшие чтения, но и содержит около 400 эпиграмм, не вошедших в «Антологию» Кефалы. Приложение к этому собранию, включающее эротические эпиграммы, которые были опущены Планудом, издано Л. Штернбахом под заглавием *Anthologiae Planudeae Appendix Berberino-Vaticana* (Leipzig, 1890).

«Палатинская Антология» подразделяется на пятнадцать книг; нас будет интересовать главным образом книга V, так как она содержит только эротические эпиграммы. Седьмая книга включает в себя не менее 748, зачастую превосходных, эпиграмм-эпитафий. Очевидно, что чувственность отходит здесь на задний план: горячая страсть отступает перед серьезностью смерти и оставляет место воспоминанию, которое живо и после похорон. Чувственная сторона любви вновь выходит на передний план в одиннадцатой книге, содержащей 442 эпиграммы, которые по большей части обязаны своим возникновением веселому и озорному подпитию. Двенадцатая книга содержит гомосексуальные эпиграммы, а потому будет рассматриваться позднее.

В последующем кратком обзоре я отохожу от расположения эпиграмм в «Палатинской Антологии» и буду рассматривать произведения каждого поэта по отдельности и, по мере возможности, в хронологическом порядке.

Асклепиад Самосский, современник вышеупомянутого Филета, оставил после себя около сорока эпиграмм, большинство которых — эротического характера. В одной из них он увещевает возлюбленную не

беречь свою невинность с такой неприступностью, ведь она не найдет себе любовника в Аиде — только здесь, в этой жизни, мы можем изведать счастье. Мы узнаем о трех гетерах, настоящих портовых шлюхах, которые обирают своих клиентов-мореходов до нитки и которые, по мнению поэта, опаснее сирен. В другой эпиграмме (Anth. Pal., v, 169) мы читаем:

Сладок холодный напиток для страждущих в летнюю пору;

После зимы морякам сладок весенний зефир;

Слаще, однако, влюбленным, когда, покрываясь одною
Хленой, на ложе вдвоем славят Киприду они.

[перевод Л. Блуменау]

Никарх подтрунивает над тем, что никто не находит наслаждения в объятиях собственной жены, но каждого влечет только чужое ложе.

Посидипп из Александрии имел склонность описывать в своих эпиграммах веселые пирушки и похождения с гетерами. То же относится и к Гедилу, от которого до нас дошла такая забавная эпиграмма: «От Вакха, расслабляющего члены, от Афродиты, расслабляющей члены, произошла дочь — Подагра, расслабляющая члены»⁸³.

Диоскорид, с которым, как с пламенным энтузиастом любви к эфебам, мы еще встретимся позднее, оставил также несколько весьма чувственных эпиграмм о любви к женщине (Anth. Pal., v, 56):

Сводят с ума меня губы речистые, алые губы;

Сладостный сердцу порог дышащих нектаром уст;

Взоры бросающих искры очей под густыми бровями,

Жгучие взоры — силки, сети для наших сердец;

Мягкие, полные формы красиво изваянной груди,

Что улаждают наш глаз больше, чем почки цветов...

[перевод Л. Блуменау]

Другое знаменитое имя «Антологии» — Антипатр Сидонский (или Тирский), эпиграммы которого отличаются ритмичностью и цветистым языком; но, к сожалению, только немногие и притом весьма незначительные из дошедших до нас его эпиграмм имеют эротический характер.

Гораздо большее значение имеет Мелеагр из Гадары в Сирии, который, как уже говорилось, составил древнейшее и самое известное собрание эпиграмм. До нас дошло около 130 эпиграмм самого Мелеагра, по меньшей мере шестьдесят из которых посвящены гомосексуальной любви. Они отличаются свободным и изысканным языком, а также сентиментальностью; в сущности, единственная их тема — это любовь. Из многих девушек, которых не устают воспевать галантный поэт, он особенно привязан к Зенофиле и Гелиодоре; в двух изящных эпиграммах он — как Лепорелло в «Дон Жуане» Моцарта — приводит внушительный список своих многочисленных зазноб.

⁸³ Выше упомянуты и процитированы следующие эпиграммы «Палатинской Антологии». Асклеиад, v, 85, 161, 169; Никарх, xi, 7; Гедил, xi, 414.

Среди прочих он любил белошекую Демо, но она, по-видимому, предпочла ему еврея, или, как выражается сам поэт, «еврейскую любовь».

Тимарион, бывшая некогда столь прекрасной, теперь, когда она постарела, сравнивается с раснащенным судном, причем злое сравнение проводится вплоть до самых интимных и непристойных подробностей. Поэт находит сладостные слова любви для прекрасной Фанион. Но прежде всего он неустанно восславляет прелести Зенофилы и Гелиодоры. Он воспевает их музыкальные способности и рассудительную речь, их красота затмевает красоту всех луговых цветов; он молит комаров пощадить сон возлюбленной; но тщетно, ибо даже эти неразумные создания испытывают наслаждение, касаясь ее сладострастных членов. Другой раз он посылает к ней вестником любви комара или завидует чаше, которую она пригубила; он хочет приблизиться к ней, как бог сна, или славит ее красу, которую она получила от Венеры и самих Граций. Его страсть к Феодоре была, может стать, еще более глубокой, и после ее смерти он хранит память о ней, как явствует из нежной и сердечной эпитафии, которую он сочинил в ее честь. Венок на ее челе, говорит он в другом месте, вянет, но она сияет, как венец венцов. В одной эпиграмме ему удастся нарисовать милую картинку того, как Гелиодора играет с его сердцем, а в другой он трогательно молит Эрота остудить пылающую в нем страсть.

Однако поэт умел извлекать из своей лиры и другие звуки. В одном очаровательном стихотворении он выписывает ордер на арест Эрота, словно беглого раба; но Эрот и не думал бежать, он просто спрятался в очах Зенофилы. Поэт скорбит о необоримой власти этого мальчика и непереносимости возжигаемого им пламени — это особенно удивительно потому, что его мать Афродита родилась из холодных волн. Поэтому бесполезного сорванца следует продать; но со слезами в глазах он смотрит на поэта так трогательно, что тому вновь становится его жалко: ладно уж, пусть остается и играет с Зенофилой⁸⁴.

Поэт Архий, известный своей дружбой с Цицероном, грустит о том, что невозможно уберечься от любви, да это и неудивительно, ведь у любви есть крылья и она всегда догонит человека (v, 59):

Нужно бежать от любви, говоришь? Но напрасны усилия,
Ведь от крылатой любви как ты пешком ускользнешь?

Одним из виднейших эротических поэтов «Антологии» является Филодем Гадарский, знаменитый эпикуреец времен Цицерона, отзывавшегося о поэте как о хорошо образованном, любезном и ученом человеке. Среди его обширных литературных произведений нас интересует лишь сборник эпиграмм, который он издал и посвятил Пизо-ну; в нем он поэтически отобразил свой богатый опыт любви и винопития, а также опыт Пизона. Если верить Цицерону, в этих

⁸⁴ Мелеагр: «Палатинская Антология», v, 142, 213, 214, 176, 175, 177, 196, 197, 159 (ср. 171, 172), 203; xii, 53, 82, 83, 138, 139, 143, 150; 151, 170, 173, 194, 195; vii, 476.

«весьма изящных стихах он описал разнообразные страсти, любое мыслимое распутство, попойки и пирушки и, наконец, свои прелюбодеяния, так что в них, как в зеркале, отразилась вся его жизнь» (Цицерон, *In Pison.*, 29, 70). Цицерон добавляет, что эти стихи пользовались большой популярностью, а в известной сатире Горация (i, 2, 120), посвященной сексуальным излишествам, мы находим дословный перевод цитаты из Филодема. В этом отрывке Гораций замечает, что не следует заводить связи с замужней женщиной, потому что у таких всегда наготове отговорки. То они говорят: «Нет, не сейчас», то: «Да, если ты побольше заплатишь», то: «Подожди, пока не отлучится муж». Пусть этим довольствуются евнухи, которым некуда спешить; он соглашается с Филодемом и предпочитает женщин, которые не доставляют таких хлопот и берут недорого.

Исходя из интересов культурно-исторического исследования, остается лишь сожалеть, что эти эпиграммы Филодема (*Anth. Pal.*, v, 3, 12, 45, 114, 119, 122, 123, 305, 307, 309) не дошли до нас в полном объеме. Однако из собрания Филиппа в «Палатинскую Антологию» включено по меньшей мере двадцать четыре эпиграммы, которым невозможно отказать в остроумии, прелести и изяществе, иногда сочетающихся с изрядным сладострастием. Он желал бы унести лампу из спальни и плотно притворить двери; только ложу позволено знать, какие дары приносит в сладостной тайне Венера. Гетере Харито уже шестьдесят, но ее спутанные черные кудри по-прежнему чаруют, мраморно-белые полушария груди не прикрывает завистливая лента, ее неувядающее тело источает бесчисленные прелести — в общем, тот, кто жаждет пылкой страсти, по-прежнему найдет в ней то, что ищет. Очень мила оживляемая диалогом эпиграмма, описывающая сделку юноши с одной из тех дев, что всегда рады услужить. Это игра вопросов и ответов, как гласит приписка в рукописи:

Здравствуй, красавица. — «Здравствуй». — Как имя? —
«Свое назови мне».

Слишком скоро. — «Как и ты». — Есть у тебя кто-нибудь? «Любящий есть постоянно». — Поужинать хочешь со мною?

«Если желаешь». — Прошу. Много ли надо тебе? «Платы вперед не беру». — Это ново. — «Потом, после ночи,

Сам заплати, как найдешь...» — Честно с твоей стороны. Где ты живешь? Я пришло. — «Объясни». — Но когда же придешь ты?
«Как ты назначишь». — Сейчас. — «Ну, хорошо. Приходи».

[перевод Л. Блуменау]

Наряду с досужими шутками (например, имя «Филодем» обязывает поэта любить многих девушек по имени Демо) в словах обманутой в своих ожиданиях любовницы мы находим и такую правдоподобную психологическую зарисовку:

В полночь, тихонько оставив на ложе супруга, пришла я,
Вымокнув вся по пути от проливного дождя.
Но почему у тебя мы сидим, а не спим утомившись?
Как подобает вот так истинно любящим спать?

[перевод Ю. Шульца]

В другой раз он находит прекрасные слова, чтобы воззвать к Селене — богине Луны — с просьбой пролить на него свой мягкий свет, когда он творит дела любви; ведь и она была когда-то влюблена в Эндимиона, и знает, что такое любовь. Нежная девочка, почти еще ребенок, таит в себе угольки могучего пламени, которое она вскоре раздует в пожар — Эрот уже точит об оселок свои меткие стрелы.

Мелочная ревность и любовные капризы милой дают ему основание для жалобы:

Плачешь средь жалобных слов, о пустяшном пытаешь, ревнуешь,
Трогаешь часто меня, страстно целуешь, обняв, —
Вижу, что ты влюблена... Когда же сказал я: «С тобою
Лягу, что ж медлишь?» — с тех пор ты уж не любишь меня.

[перевод Ю. Шульца]

Следующая эпиграмма вполне могла бы быть озаглавлена «Холостой выстрел»: «Постой, красавица! Назови свое прелестное имя! Где бы я мог с тобою встретиться? Я дам тебе все, что пожелаешь. Где живешь ты? Я пошлю за тобой. У тебя кто-то есть? Прощай, гордячка! Ты не скажешь даже «прощай»? Я буду подходить к тебе вновь и вновь, потому что умею смягчать и тех, что подтверже тебя. Теперь же прощай!»

С возрастом голос поэта становится мягче; с кротким сожалением он думает о юности и ее сладостных играх любви, на место которых пришли теперь мудрость и благоразумие, однако, примирившись с судьбой, он утешается тем, что всему — свое время.

Фарс, кинедическая поэзия, мим, буколическая поэзия, мимиамб

От относящихся к данному периоду лирических произведений в собственном смысле слова до нас не дошло почти ничего. Александр Этолийский, прозванный так по месту рождения, в середине третьего века до н.э. в своей элегии «Аполлон» вывел бога прорицания предсказывающим истории несчастливой любви. Парфений сохранил одну из них — рассказ о преступной любви жены Фобия к прекрасному Антею, которого она впустую пыталась соблазнить, а затем из мести сбросила в колодец.

В Нижней Италии, особенно в сладострастном Таренте (согласно «Законам» Платона, 637b, во время Дионисий был пьян весь город), получил развитие особый вид фарса, *hilarotragedia* или так называемая драма флиаков (*phlyax*), и грубые народные фарсы этого типа быстро распространились по всей Греции. В литературе они были введены

Ринтоном из Тарента, которому приписывалось тридцать восемь фарсов, большая часть которых, по-видимому, представляла собой травестийные перелицовки пьес Еврипида. От них не сохранилось ничего заслуживающего упоминания, однако из рисунков на вазах с изображением сцен из драмы флиаков или из плавтовской трагикомедии «Амфитрион» мы можем получить представление о грубом и местами в высшей степени обценном характере этих народных представлений. Согласно одному замечанию Афиней (xiv, 621f), именем флиаков в Нижней Италии называли фаллофоров. Согласно знаменитому музыканту и биографу Аристоксену (Афиней, xiv, 620d, где приводятся некоторые сведения об этих фарсах), существовало два вида таких народных фарсов: «гиларо-дия», или «симодия», и «магодия», или «лисиодия» (названия происходят от имен поэтов — Симоса и Лисида; название «магодия», возможно, свидетельствует об их магическом воздействии), которые сопровождалась песней и танцем, с тем лишь различием, что в первом случае актер играл мужские и женские роли под аккомпанемент струнных инструментов, тогда как во втором в качестве сопровождения выступали литавры и кимвалы, женские роли игрались в мужской одежде, и важным элементом были непристойные танцы (с. 106—110).

Согласно Семосу (Афиней, xiv, 622b), итифаллические актеры носили уже упоминавшиеся *тарентидии*, под которыми следует понимать род «трико». По Поллуксу (iv, 104), их обычно носили так называемые *гипоны* (*gypones*), или танцоры на ходулях.

То, что известно под именем кинедической поэзии, мало, чем уступало в гротескной непристойности драме флиаков. Мы вернемся к названию и содержанию этого вида поэзии в главе, посвященной гомосексуальной литературе, однако упомянуть его следует уже сейчас, так как один из Виднейших его представителей — Сотад из Маронеи на Крите (Афиней, xiv, 621a: εἰς οὐχ ὀσίην τρ-οαλίην το κέντρον οθεῖς) — прибежал к нему, когда собирался поведать всю правду о великих мужах и владыках своего времени, особенно относительно их сексуальных сумасбродств. Так, одно из его стихотворений было направлено против Белестихи, любовницы царя Птолемея II (285—247 гг. до н.э.), который, согласно Плутарху (*Amatorius*, 9; *Moralia*, 753f), воздвиг ей храм как Афродите Бедестихе. В одном непристойном стихе он высмеивает женитьбу царя на своей сестре Арсиное, откуда происходит прозвище Птолемея Филадельф. Царь был чрезвычайно оскорблен и надолго заточил поэта в тюрьму, из которой тому удалось в конце концов бежать; однако побег его был неудачен: в открытом море один из флотоводцев царя схватил поэта и приказал сбросить его в свинцовом ящике за борт.

Если верить Страбону (xiv, 648a), Клеомах, кулачный боец из Магнесии, влюбился одновременно в *кинеда* и находившуюся у него на содержании девушку, и это подвигло его запечатлеть эти персонажи в диалогической форме.

Реалистические тенденции эллинистической поэзии и ее склонность к жанровым зарисовкам повседневной жизни способствовали развитию мима, о котором уже шла речь выше (с. 106). От первых мимов

Софрона не сохранилось ничего заслуживающего упоминания; из того, что дошло до нас, на первом месте стоят в высшей степени стилизованные мимы Феокрита. В нашу задачу не входит определение места буколической, или пастушеской, поэзии в истории греческой литературы и оценка заслуг Феокрита. Мы лишь вкратце — насколько это возможно — перечислим эротические эпизоды в тридцати идиллиях Феокрита, к которым примыкают сорок четыре эпиграммы. Богатое гомосексуальное содержание этих произведений будет освещено в последующих главах. От эротики не свободно, пожалуй, ни одно из стихотворений Феокрита; поэтому мы укажем лишь наиважнейшее и должны просить читателя дополнить сказанное самостоятельным чтением идиллий. В первой идиллии два пастуха поочередно (амебейно) рассказывают о несчастливой любви Дафниса — главного героя буколической поэзии, его страданиях и безвременной смерти. Вторая представляет собой удивительную песнь-жалобу покинутой девушки и ее попытку вернуть неверного любовника с помощью магии. Глубокой ночью, при свете луны, она приступает к колдовству, которое не обходится ни без магического колеса с вертишейкой (с. 139), ни без изготовленной ею восковой фигурки возлюбленного, которую она растапливает на огне, чтобы неверный пылал таким же жаром, от которого истаивает она сама:

Бездна морская молчит, успокоились ветра порывы,
Только в груди у меня ни на миг не умолкнет страданье.
Все я стогаю о том, кто презренной несчастную сделал,
Чести жены мне не дав и девической чести лишивши.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

Ее заклинания становятся все неистовее, и благодаря им мы можем составить достаточное представление о любовных суевериях того времени. Говорят, что волшебным⁸⁵ действием обладает трава гиппоманес (*hippomanes*)⁸⁵; с одежды неверного срезается клочок шерсти, сжигаемый затем на огне; ящерица (относительно эротического значения ящерицы см. с. 132) растирается в порошок и смешивается с любовным напитком, который она собирается подать ему при первой же возможности.

И вот, одинокая и покинутая, глубокой ночью, когда все спит и не слышно даже лая чутких псов, она вызывает в памяти историю своей несчастливой любви; она вспоминает, как впервые увидела этого чудного юношу в обществе его красавца друга, как вернулась домой, изнемогая от любви, и как десять дней и ночей пролежала в жестокой лихорадке. Наконец, не в силах более сдерживать страсть, она посылает за ним свою преданную служанку:

Выждешь, чтоб был он один, и, кивнув головой потихоньку,
Скажешь: «Симайта зовет» и ко мне его тотчас проводишь.

⁸⁵ О том, что же такое *гиппоманес*, существовали различные мнения: (1) упомянутая здесь трава, которая росла главным образом в Аркадии; (2) мясистый, плотный нарост на лбу новорожденного жеребенка, который мать отгрызает сразу же после его рождения; (3) слизистая масса, в жаркую погоду выделяемая кобыльими гениталиями.

Так я велела; служанка, послушавшись, в дом мой приводит Дельфиса с белою кожей; а я-то, лишь только заслышав, Как он к порогу дверному притронулся легкой ногою, —

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. Вся я застыла, как снег, и холодные капельки пота Лоб мой покрыли внезапно, подобные влажным росинкам. Рта я открыть не могла и ответить хоть лепетом слабым, Даже таким, что малютка к родимой во сне обращает; Тело застыло мое, я лежала, как кукла из воска.

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. Он на меня поглядел, и, безжалостный, очи потупив, Тихо на ложе присев, он молвил мне слово такое: «Да, сознаюсь, забжала вперед ты немного, Симайта, Так же, как давеча я обогнал молодого Филина: В дом свой меня пригласила ты раньше, чем я собирался».

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. «Да я и сам бы пришел, в том клянусь я Эросом сладким! Трое иль четверо нас; мы сегодня же ночью пришли бы, Яблоки, дар Диониса, припрятавши в складках накидок, В светлых венках тополевых; священные листья Геракла Мы бы украсили пышно, пурпурною лентой обвивши».

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. «Коли б меня приняла, то и ладно бы; ловким красавцем, Право, меж юношей всех меня почитают недаром. Только б коснулся тогда поцелуем я губок прекрасных. Если бы меня оттолкнула, засовами дверь заложивши, С факелом, с острой секирой тогда бы я в дом твой ворвался».

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. «Первое дело теперь — я Киприде воздам благодарность, Ну, а потом — и тебе. Ты спасаешь от огненной пытки, Милая, тем, что меня пригласила сегодня на ложе; Я ведь почти что сожжен; ах, губительно Эроса пламя! Жарче палить он умеет, чем даже Гефест на Липаре».

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. «Девушек чарами злыми он манит из девичьей спальни, Жен новобрачных влечет с неостывшего мужнего ложа».

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена. Вот что он мне говорил, и впивала я все легковерно. За руку взявши его, я на ложе к себе привлекала. Тело прикинуло к телу, и щеки от счастья горели Жарче и жарче, и сладко друг с другом мы тихо шептались. Многих я слов не хотела б терять, о Селена благая, Как до предела дошел он, и вместе мы страсть разделили.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

Третья идиллия Феокрита — это серенада, с которой молодой козопас обращается к своей ставшей неприступной Амариллис. Четвертая — беседа двух пастухов на самые безобидные темы — завершается грубыми остротами в адрес похотливого старца.

Полифем, известный каждому, кто читал «Одиссею», как отвратительный людоед, в музыкальной комедии Филоксена — современника Феокрита — предстал в высшей степени забавным тоскующим любо-

вником. Он влюблен в прекрасную nereиду Галатею, но, как нетрудно догадаться, не встречает у нее взаимности.

Феокрит дважды обращался к образу изнывающего от любви великана. В одиннадцатой идиллии мы читаем очень смешные любовные излияния Полифема; мы узнаем о неуклюжей и неловкой манере, в которой он подносит неприступной nereиде всевозможные подарки, надеясь сделать ее более сговорчивой. В конце концов он утешает себя тем, что найдется много других дев, еще более прекрасных, которые пригласят его «на игры ночные».

Охваченный любовью Киклоп вновь появляется в шестом стихотворении, в котором этот самодовольный любовник выставляется круглым дураком. Эта идиллия построена в форме драмы, разыгрываемой пастухами Дафнисом и Дамойтом. Первым поет Дафнис и вполне откровенно показывает, в кого же Галатея влюблена на самом деле, но Киклоп этого как бы вовсе не замечает. Дамойт, в роли Киклопа, отвечает, что он намеренно притворяется, будто не замечает ухаживаний за Галатеей, дабы воспламенить ее страсть и довести до безумия своей холодностью. Смесь тщеславия, легковёрности и грубости во влюбленном остолопе донельзя комична.

Десятая идиллия — это диалог двух жнецов. Первый признается, что его снедает любовная печаль, а затем поет песнь во славу своей девушки. Второй отвечает на его сентиментальную арию старой доброй песней жнецов, высмеивая бесполезные любовные мечтания, которые ни к чему трудолюбивому работнику.

В четырнадцатой идиллии юноша жалуется другу на то, как пренебрежительно обошлась с ним возлюбленная на веселом застолье; теперь-то он знает, что она ему неверна, и не видит иного пути перенести свое несчастье, как пойти по белу свету и стать солдатом. Друг одобряет его решение и советует ему вступить в армию царя Птолемея.

О пятнадцатой (с. 83) и восемнадцатой (с. 40) идиллиях мы уже говорили выше.'

Девятнадцатая⁸⁶ идиллия, авторство которой, по неоспоримому суждению филологической критики, Феокриту не принадлежит, представляет собой *oaristys* (беседу влюбленных), в которой участвуют пастух Дафнис и неприступная поначалу дева, выказывающая, однако, готовность уступить после того, как Дафнис дает торжественное обещание на ней жениться.

Можно отметить, что сравнение груди с парой яблок было очень популярно среди греков⁸⁷. Когда, полунугодая, полумлея, дева жалуется, что Дафнис положил руки ей на грудь, он отвечает: «Яблочки эти твои, погляжу я, сегодня поспели», после чего ласки станут все более и более смелыми. Стихотворение, которое отнюдь не принадлежит к лучшим образцам греческой буколки, заканчивается следующим образом:

⁸⁶ Двадцать седьмая, по Лидделу-Скотту.

⁸⁷ Древнейшее место в греческой литературе, где женские груди сравниваются с яблоками, — это фрагмент Кратета в САФ, I, 142.

Так, наслаждаясь они своим телом цветущим и юным,
Между собою шептались. И краткое ложе покинув,
Встала и к козам она, чтоб пасти их, опять возвратилась;
Стыд затаился в глазах, но полно было радостью сердце.
К стаду и он возвратился, поднявшись с счастливого ложа.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

Мосх из Сиракуз жил во втором веке до н.э. и наряду с поэмой «Европа» (165 строк) оставил несколько поэтических безделиц. Темой «Европы» является известное сказание о любви Зевса к Европе, дочери финикийского царя Агенора, и ее похищении Зевсом, который в образе прекрасного быка приближается к девушке, собирающей с подругами луговые цветы неподалеку от моря. Он столь доверчив и кроток, что Европа ласкает его и садится ему на спину, после чего бык стремглав бросается к морю и со своей прекрасной ношей плывет на Крит, где Зевс предстает перед ней в своем истинном облике и торжественно сочетается с ней браком. Прелестно второе стихотворение: это нечто вроде объявления о розыске беглого преступника, посланное Афродитой вдогонку сбежавшему от нее сыну; богиня обещает подарить поцелуй тому, кто приведет Эрота обратно.

Список греческих буколических поэтов замыкает Бион из Флоссы близ Смирны, живший приблизительно в конце второго века до н.э. Мы уже упоминали его плач о смерти Адониса (с. 83); «Эпиталамий» Ахиллу и Деидамии, приписываемый ему, несомненно, по ошибке, к сожалению, дошел до нас в виде фрагмента из тридцати одной с половиной строки. Здесь повествуется о том, как юный Ахилл, чтобы избежать участия в ужасах войны, в одеянии девы был доставлен заботливой матерью ко двору царя Ликомеда на Скирос, где некоторое время воспитывался как девушка. Однако естественные влечения молодости невозможно подавить; он не оставляет Деидамию, нежно ласкает ей руку и освобождает ее от многих женских работ:

...он все время старался,

Как бы с ней сон разделить. И промолвил ей слово такое:

«Глянь-ка ты, девушки все сообща засыпают друг с другом,

Я ж в одиночестве сплю, и, красавица, ты одинока.

Мы же ровесницы обе, и обе с тобой мы прекрасны.

Обе на ложах своих мы одни. Ненавистные ночи

Тянутся долго и злобно меня от тебя отлучают. Я от тебя далеко...»

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

На этом пылающий чувственностью фрагмент обрывается. Нашу утрату едва ли способен смягчить тот факт, что из других источников нам известно дальнейшее течение событий. Ахилл достигает своей цели и зачинает с Деидамией Неоптолема. Вскоре после этого благодаря известной хитрости Одиссея его обнаруживают, и блестящий герой отправляется на Троянскую войну.

Восемнадцать других сохранившихся стихотворений и поэтических фрагментов Биона дышат нежным флиртом и мягкой сентиментальностью. Так, он рассказывает о сне, в котором ему привиделась Афродита, приведшая за руку мальчишку Эрота и повелевшая преподавать ему искусство буколической поэзии. Приказание было исполнено, и учитель старался изо всех сил. Но ученик оказался упрямым и не обращал никакого внимания на его уроки, предпочитая петь ему любовные песни и сообщать о любовных похождениях богов и людей. Или Бцион обращается с прочувствованными словами к Гесперу, вечерней звезде, «золотому свету прелестной пеннорожденной богини», и молит его излить свой мягкий свет и сиять над ним, когда он предается ночным забавам любви. Или мальчик, пытаясь поймать птичку, находит на дереве Эрота. Он никогда не видел такой птицы прежде и показывает свою находку старому крестьянину, который очень его любит. Но тот озабоченно качает головой и говорит:

Эту охоту ты брось, не гоняйся за птицею этой,
Лучше ее избегай. Это страшная птица. Ты будешь
Счастлив, пока не поймал ее ты. Но как станешь мужчиной,
Он, кто, тебя избегая, порхает, тогда своей волей
Сам же к тебе прилетит и на голову сядет внезапно.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

В 1891 году папирусная находка в Египте возвратила нам изрядное количество стихотворений Геронда, из которых прежде были известны лишь скудные отрывки в виде случайных цитат. Геронд, вероятно, происходил с острова Кос и жил в середине третьего века до н.э. Его стихотворения, называвшиеся мимиамбами (*mimiamboi*), т.е. мимами, написанными «хромающими» ямбическими триметрами, глубоко погружены в повседневную жизнь, которую они описывают увлекательно и поразительно правдиво. Сохранилось семь сенок: изображение обольстительницы-сводни, наглых манер содержателя публичного дома, который по-аттически ораторствует перед судом на Косе, учителя, усердно поколачивающего бездельника-ученика по просьбе его матери, женщин, восхищающихся храмом Асклепия и приносящих жертвы, ревнивицы, которая карает и милует своих рабов, когда ей вздумается, двух подруг, ведущих интимную беседу об источнике получения *олисбов* (*olisboi*), или искусственных penisов, и, наконец, посещения женщинами лавки лукавого сапожника Кедрона. Мы уже говорили о сценке со сводней и приводили из нее обширный отрывок (с. 47); шестая, предметом которой являются олисбы, будет рассмотрена позднее⁸⁸.

Через несколько лет после открытия мимиамбов Геронда на папиру-

⁸⁸ Мимиамбы Геронда, изд. O. Crusius (Gottingen, 1893); «Жалоба девушки» впервые опубликована Гренфеллом (*An Alexandrian Erotic Fragment*, Oxford, 1896); схожая пьеска в диалогической форме обнаружена на острове близ Луксора (Геронд, изд. O. Crusius⁴); ср. *Eroticorum Graecorum Fragmenta Papyracea*, coll. Biuno Lavagnini, Leipzig, 1922.

се, который датируется вторым веком до нашей эры, был найден эротический фрагмент «Жалоба девушки»; он содержит страстные сетования покинутой гетеры, которая не хочет расставаться со своим неверным возлюбленным.

2. ПРОЗА

Чтобы дать хотя бы краткий обзор прозы этого периода, в первую очередь следует назвать имя Филарха, на которого мы уже ссылались ранее (с. 166), автора обширного исторического труда в двадцати восьми книгах; Филарха нельзя обойти молчанием потому, что его сочинение изобиловало эротическими рассказами и чувственными любовными новеллами, которые были изложены, несомненно, увлекательно, но совершенно ненаучно. Так, здесь были предания об Аполлоне и Дафне, о любви Хилониды к своему пасынку Акрократу, о постыдном поступке Фиалла, который из любви к жене Аристона стал святотатцем, и мрачная история о любви к трупу (с. 166). Все, что мы знаем об этом, в подробностях известно нам из Парфения, тогда как фрагменты множества других любовных новелл мы находим у Аполлодора и особенно у Афиня, который весьма интересуется подобными историями. Так, об обитателях Византия рассказывалось, будто они были такими пьяницами, что проводили ночи в кабаках и сдавали свои дома вместе с женами в аренду постояльцам. Близ Аравийского залива существовал якобы такой источник, что, стоило смочить в нем ноги, член купающегося вырастал до неправдоподобных размеров, так что привести его в нормальное состояние стоило больших трудов и едва выносимых мучений, а иногда это не удавалось вовсе. В Индии тоже рос некий корень с магическими свойствами; всякий, кто мылся в воде, к которой он был примешан, становился импотентом и походил на евнуха, и юноши, которые так поступали, за всю свою жизнь не могли восстановить эрекцию. Он рассказывал далее об индийских знахарских снадобьях, одни из которых, если во время соития положить их в ноги, невероятно возбуждают, тогда как другие действуют противоположным образом. Он же приводил рассказ о слонихе Нике, которая так полюбила месячное дитя своего хозяина, что впадала в меланхолию, когда ей не удавалось его увидеть, и отказывалась принимать пищу; когда же малыш спал, то, чтобы отогнать мошек, слониха помахивала закатым в хоботе пучком соломы, а когда он кричал, качала хоботом колыбель и баюкала его.

Такие истории, по-видимому, нравились Филарху особенно; но он рассказывал также и об орле, который завязал крепкую дружбу с мальчиком, продолжавшуюся и после его смерти (Парфений, гл. 15, 23, 25, 31; FHG, Филарх, фрагм. 33, 48, 60, 81)⁸⁹. Даже в трудах по сельскому хозяйству, оригиналы которых пол-

⁸⁹ Многочисленные сохранившиеся у Афиня фрагменты Филарха см. FHG, I, 334 f. Рассказ о жителях Византия см. у Афиня, x, 442c; о выросшем пенисе — Apoll. Dyscol., *Hist. Comrn.*, 14; о белом корне — там же, 18; об индийских снадобьях — Афиней, i, 18d; о слонихе — Афиней, xш, 606 и Элиан, *Denat. anim.*, κι, 14, об орле — Цен, «Хилиады», iv, *hist.*, 134, 288 ел. и Элиан, *Denat. amm.*, vi, 29.

ностью утрачены, но от которых сохранился эксерпт в двенадцати книгах под названием «Геопоника», составленный в десятом веке нашей эры, можно найти немало эротических рассказов («Дафна», «Кипарис», «Мирсина», «Пития», «Дендроливан», «Родон», «Ион», «Нарцисс», «Китт»)⁹⁰.

III. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

1. ПОЭЗИЯ

Период между 150 г. до н.э. и 100 г. н.э. носит в истории греческой литературы название переходного периода, под которым подразумевается переход к классицизму; вполне понятно, что обзор этого непродолжительного временного отрезка, отмеченного неуклонным возрастанием восточных влияний, мы начнем с поэтов.

Парфений из Никеи, живший главным образом в Нижней Италии и известный как учитель Вергилия, написал несколько произведений поэтического характера: элегии, «Афродиту», «Метаморфозы», в которых значительное место занимали эротические рассказы о превращениях и излагалась, например, история несчастливой любви царской дочери Скиллы к царю Миносу. Как похваляется сам Парфений (*Erotica*, 11, 4), он также описал в гекзаметрах трогательную историю Библиды и Кавна, шесть строчек из которой он и приводит. Библида была объята любовью к своему брату Кавну, который, чтобы избежать этой греховной страсти, переселился в страну делегов, где основал город Кавн. Но сестра была вне себя от тоски и, коря себя за то, что из-за нее брат сторонится родного дома, собственной рукой лишила себя жизни. Из ее слез возник ручей, который был назван Библидой. Кроме того, Парфений составил дошедшее до нас собрание прозаических «Рассказов о несчастливой любви»; его другу, римскому поэту Корнелию Галлу, оно должно было служить чем-то вроде справочника. В этой книге, отрывки из которой мы уже приводили, собраны тридцать шесть примеров несчастливой любовной страсти, почерпнутых из различных источников — поэтов и историков (Скилла: Meineke, *Analecta Alex.*, p. 270 сл.).

Другим справочным пособием — хотя изначально эта книга предназначалась для развлечения — являются пятьдесят мифологических рассказов Конона, которые дошли до нас в извлечениях Константинопольского патриарха Фотия (857—879). Здесь также богато представлена эротическая тематика, и некоторые из рассказов очень важны, так как они неизвестны по другим источникам или в лучшем случае известны в иной редакции.

То немногое, что дошло до нас от чисто лирической поэзии этого периода, практически не может служить цели нашей работы. Но следует вновь сказать о некоторых эпиграмматистах. Парменион вкладывает в уста проститутки слова о том, что Зевс овладел Данаей в образе золотого дождя.

⁹⁰ Относительно отрывков из «Геопоники» см. E. Rohde, *Dergriechische Roman*², S. 370.

— Зевс Данаю за злато купил — я за злато тебя покупаю: Я ведь отдать не могу больше, чем отдал Зевес⁹¹.

Лоллий Басе (v, 125) говорит гетере Коринне, что не желает растекаться золотом или превращаться в лебедя или быка, как Зевс; он предлагает ей обычные два обола (около 3 пенсов), и даже не подумает летать — стало быть, он ее постоянный клиент.

Марк Аргентарий (Anth. Pal., v, 116, 118, 127, 128) рассказывает о своей нежной любви к девушке и о победе, последовавшей за тем, как он употребил все свое искусство убеждения. Любовники тщательно охраняют свою тайну, но внезапно девушка попадает к матери, которая говорит: «Дочь моя, Гермес — общий»⁹².

Произведения драматического искусства данного периода практически полностью сводятся к миму и пантомиме; конечно, на более возвышенных праздниках вновь игрались комедии и трагедии классических авторов, но в целом народ нуждался в более грубой пище, которая лучше соответствовала его вкусам. Мы можем судить о мимических представлениях имперского периода по настенным росписям римской виллы Памфили.

Такой мим, или по крайней мере его заключительная часть, представлен на оскиринском папирусе (Oxyrhynch. Papyri, III, № 413, ныне опубликован Крузием в его издании Геронда, где помещены также три других упомянутых фрагмента). Речь в нем идет о том, что необходимо выволить гетеру Харитион из-под власти индийского царя, намеревающегося принести ее в жертву богине луны. Спасителем оказывается брат девушки, которому помогает некий шут, обращающий врагов в бегство испусканием ветров; после того как они опаивают индийского царя до бесчувствия, освобождение осуществляется самым успешным образом. Этот мим разыгрывался под аккомпанемент литавр и кастаньет.

Среди папирусных находок нам известны также плач мальчика о его мертвом петухе, серенада влюбленного перед домом милой и сентиментальные любовные излияния ночного мечтателя.

В пантомиме (о пантомимах см. Лукиан, «О пляске»; 34; Либаний, «Речи», 64F; Choricus, *Apol. Mint.*) содержание почти совершенно отступает на задний план. Мы уже достаточно подробно обсудили этот чувственный тип античных театральных представлений, так что остается добавить только несколько слов.

Бафилл из Александрии довел в Риме искусство комической пантомимы до высшей утонченности. В промежутке между сценами, несомненно, звучали песни хора, хотя они играли, безусловно, второстепенную роль. Эти балеты или мимические танцы, сопровождаемые инструментальной музыкой, ни в коей мере не могут быть отнесены к

⁹¹ «Палатинская Антология», v, 34.

⁹² Пословица, употреблявшаяся в случае счастливой находки, смысл которой: половина — моя. Другая эпиграмма гласит: «Грудью прижавшись к груди и сосцов Антигоны касаясь, //К сладостным девы устам жадно губами припав, //Телом я лег на нее... Остального поведать не смею: //Счет поцелуев и ласк знает светильник один» (Anth. Pal., v, 128).

литературе. Хотя философы — такие, как Сенека и Марк Аврелий, — выступали с декламациями против пантомимы (Сенека, «Естественнонаучные вопросы», vii, 32; Марк Аврелий, xi, 2), а императоры — например, Траян и Юстиниан — пытались ее запретить, она твердо стояла на ногах до самого падения античного мира.

2. ПРОЗА

Вероятно, этим периодом следует датировать первые греческие любовные романы⁹³.

Темой так называемого «Романа о Нине» (издан Вилькенем в *Hermes*, xxviii, 1893), два фрагмента которого содержатся на папирусе из берлинской коллекции, является любовь Нина и Семирамиды. По этим фрагментам мы можем составить представление о характерных чертах практически всех греческих романов, а потому нам нет нужды пускаться в более пристальное рассмотрение их сущности, тем более что их подробный анализ дан в превосходном труде Эрвина Роде. Во фрагменте «Романа о Нине» сначала рассказывается о юности любовников, затем об ухаживании за девушкой, о разлучении любящей пары (в данном случае причина разлуки — война, в других — пираты и т.п.) и, наконец, о их счастливом соединении после всевозможных напастей. Таков — с большими или меньшими вариациями — сюжет всех греческих любовных романов, и мы злоупотребили бы терпением читателя, предприняв попытку описать незначительные расхождения в разработке этого сюжета в каждом из сохранившихся романов, которые, за исключением отдельных мест, скучны до утомления. Но греки и не могли достичь какого-либо совершенства в этом виде романа, потому что главный секрет данной формы, литературного искусства — психология любви мужчины к женщине — вследствие их сосредоточенности на гомосексуальной тематике оставался от них сокрытым. Таким образом, в греческих романах речь может идти лишь об отдельных приключениях и чисто чувственной страсти, но никогда о собственно психологическом, глубоко осмысленном изображении жизни души.

Некий Протагорид из Кизика был автором «Эротических бесед» и «Забавных рассказов», о которых нам неизвестно ничего, кроме названий. То же относится к «Эротическим сочинениям» Асоподора Флиунтского, которые Роде принимает за «эротическую поэму в прозе»⁹⁴

«Библиотека» Аполлодора, датируемая первым веком нашей эры, — это сборник греческих мифологических сказаний, предназначенный главным образом для целей школы. Если принять во внимание подробности, приведенные в шестой главе нашей книги, где было рассмотрено известное число греческих эротических сказаний, знанием которых мы

⁹³ E Rohde, *Der gnechische Roman*, 1900².

⁹⁴ О Протагориде см Susemihl, II, 396; об Асоподоре — Rohde, S 265, n.1. От научной прозы этого периода до нас не дошло ничего, что заслуживало бы упоминания в настоящей работе

во многом обязаны Аполлодору, то, исходя из современных воззрений, мы будем просто поражены, обнаружив, с какой простотой и наивностью относились греки к сексуальным вопросам даже тогда, когда заходила речь о научной подготовке и воспитании молодежи.

Во времена Нерона жила ученая Памфила, жена грамматика и сама знаменитая любительница учености, благодаря своей начитанности составившая тридцать три книги по истории греческой литературы. О ее книжке «О любовных утехах» (Περὶ ἀφροδισίων, упоминается только Судой: см. FHG., III, 520) нам неизвестно ничего, кроме названия.

Врачи также постепенно начинают проявлять интерес к специфическим половым вопросам. Так, в правление императора Траяна Руф Эфесский (ed. R. von Daremberg-Ruelle, Paris, 1879) писал о сатириазе (распухание половых органов) и сперматорее; от этого небольшого трактата до нас дошло несколько фрагментов.

Плутарх Херонейский (около 46—120 гг.) был столь многосторонним писателем, что было бы удивительным, не выкажи он величайшего интереса также и к эротической проблематике. И действительно, в его многочисленных сочинениях можно найти немало интимных подробностей. Упомянем здесь только те монографии, которые затрагивают эротическую проблематику. Кроме того, мы уже не раз касались многих деталей, почерпнутых из его сочинений, и будем ссылаться на них позднее.

В его юношеской и, с художественной точки зрения, не слишком ценной работе «Пир семи мудрецов» часто поднимаются эротические вопросы. Важный и превосходный трактат *Erotikos* целиком посвящен интересующей нас проблематике и в приятной и увлекательной форме рассматривает тему, столь часто обсуждавшуюся в греческой литературе: какой любви — к юношам или к женщинам — следует отдать предпочтение. Главным действующим лицом учтивой беседы, очарование которой усиливают вставные новеллы, является Автобул, сын Плутарха; в противоположность диалогу Лукиана «Две любви» он отдает предпочтение любви к женщинам и в конце разговора выступает с речью, восхваляющей брак и женскую добродетель, которую Плутарх не устает превозносить при каждом удобном случае.

В девяти книгах «Застольных бесед» от случая к случаю обсуждаются эротические вопросы.

Следует также упомянуть «Советы супругам», посвященные молодой супружеской паре — друзьям Плутарха и содержащие известное число как весьма недалеких, так и превосходных наставлений. Как и Платон до него, Плутарх убежден в нравственной равноценности обоих полов и пытается доказать это на исторических примерах; с этой целью им составлено сочинение «О доблести женщин». Он написал также очерк (ныне утраченный), в котором утверждал, что женщины, как и мужчины, должны получать образование; не дошли до нас и его сочинения «О прекрасном», «О любви», «О дружбе» и «Против сладострастия». Пять приписываемых ему маловажных «Любовных историй» Плутарху не принадлежат.

Для того чтобы судить о творчестве Плутарха с точки зрения

нашей темы, достаточно упомянуть, что он оценивает литературные произведения в соответствии с их нравственным содержанием. Его высшим идеалом является чистота семейной жизни, которую он горячо поддерживал не только в своих писаниях, но и в домашней жизни. Особенно характерен его небольшой очерк «Сопоставление Аристофана и Менандра», где он совершенно открыто заявляет о том, что беспутной гениальности предпочитает сдержанную благопристойность. Плутарх был высоконравственной личностью, и как биограф он гениален, однако его стиль и метод не поднимаются, в сущности, выше общих мест.

IV. ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. СОФИСТИКА; ГЕОГРАФИЯ; ИСТОРИЯ; СОЧИНЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

Из соображений полноты следует сказать несколько слов о постклассическом периоде греческой литературы, который, как считается, начинается около 100 г. н.э. и заканчивается в начале шестого века, хотя мы можем отметить только самое важное⁹⁵.

В течение этого периода эротика остается, как и прежде, главным предметом лирической поэзии, на что совершенно правильно обращает особое внимание ритор Максим Тирский (*Dissertatio*, 29, р. 338), подтверждающий свои слова примерами. К сожалению, сохранившиеся фрагменты большей частью весьма скудны, но в обширном наследии остроумного сирийца Лукиана Самосатского (около 120—180 гг. н.э.) эротика занимает столь заметное место, что в 1921 году автор этих строк посвятил данной теме отдельную монографию, к которой он и отсылает читателя⁹⁶.

Неисчерпаемым источником для истории эротической литературы греков является «Описание Эллады» Павсания из Магнесии (второй век нашей эры), который объехал всю Грецию и записал все, что слышал примечательного о мифологии, истории, археологии и искусстве; этот энциклопедический путеводитель имеет для нас неоценимое значение и не без оснований получил название «древнейшего Бедекера». Здесь невозможно привести все содержащиеся в нем любовные новеллы; многие из них излагались выше, а некоторые — еще более важные — будут рассмотрены позднее⁹⁷.

Флегонт из Тралл (фрагменты Флегонта см. в FHG, III, 602), вольноотпущенник императора Траяна, также включил в свою «Историческую хронику» и особенно в «Чудесные рассказы» изрядное количество эротического материала, однако сохранившиеся фрагменты, к не-

⁹⁵ См. W. von Christ-Stahlin-Schmid, *Geschichte der Klassischen Literatur*. Abt. 2, *Die nachklassische Periode der griechischen Literatur* (вторая часть посвящена периоду между 100 и 530 годами нашей эры).

⁹⁶ Hans Licht, *Die Homoerotik in der griechischen Literatur; Lukianos von Samosata*, Bonn, 1921.

⁹⁷ i, 30, 1 (Мелес и Тимагор); vii, 23, 1—3 (Селемн и Аргира); viii, 47, 6 (Аристомелид и стыдливая девушка); vii, 21, 1—5 (Корес и Каллироя); vii, 19, 1—5 (Меланипп и Комето).

счастью, малозначительны, за исключением одного довольно большого отрывка, из которого Гете заимствовал сюжет для своей «Коринфской невесты».

Мы не будем подробно останавливаться также и на фрагментах Фаворина (FHG, III, 577 ел.), о котором говорили, будто он — гермафродит; В. фон Крист видит в нем «тип ученого сплетника в риторически-философском одеянии, ставшего благодаря этому основоположником разнообразных литературных жанров». Он не только написал о любовном искусстве Сократа, но также оставил собрание анекдотов о философах классического периода и обширную компиляцию «Разнообразные истории» в двадцати четырех книгах.

Максим Тирский, Живший при императоре Коммодe (годы правления 180—192 н.э.), оставил сорок одну лекцию на самые различные темы, одна из которых — о сократовском Эросе (см. ниже) — . особенно для нас важна.

Здесь следует упомянуть следующие произведения писателей, носивших имя Филострат и до сих пор удовлетворительным образом не различаемых филологической наукой. Во-первых, это «Жизнь Аполлония Тианского» в восьми книгах, написанная по заказу императрицы Юлии Домны (умерла в 217 году), вероятно, затем, чтобы в лице знаменитого чудотворца, странствующего проповедника и обманщика, жившего в первом веке, провести параллель к Иисусу Христу; тем не менее, здесь содержится немало эротических подробностей, что свидетельствует о беспристрастном подходе той эпохи к половым вопросам. Приведем лишь несколько примеров: наряду с различными гомосексуальными пассажами речь заходит о чувственности Эвксена, о мнении Пифагора относительно полового сношения, о целомудрии Аполлония, который в отроческие и молодые годы не совершил ни одного полового акта, сохраняя целомудрие и в дальнейшем, о пикантной попытке евнуха соблазнить обительницу гарема, о пойманной во время течки пантере, о безумии мифа о Елене, о двуполости эфира, о многочисленных эфесских гермафродитах и о многих других предметах эротического характера, которые в наши дни вы едва ли встретите в книге, посвященной императрице⁹⁸.

Под именем Филострата сохранилось шестьдесят четыре любовных письма, одно из которых обращено к императрице Юлии Домне. Другие адресованы как юношам, так и девушкам, и нередко бывает так, что одна и та же тема разрабатывается то применительно к юноше, то применительно к девушке, хотя мы с полным правом можем утверждать, что послания к юношам куда более очаровательны. Наконец, «Картины», или описание шестидесяти пяти полотен одной из неаполитанских галерей, предоставляют богатые возможности для сладострастного живописания эротических сцен. Еще семнадцать картин описаны дедом Филострата.

⁹⁸ Издание Кайзера (Leipzig, Teubner, 1890): Эвксен, i, 6, 28; Пифагор, 13, 6; целомудрие Аполлония, 13, 8 и 13, 12; евнух, 38, 27 ел.; пантера, 44, 14; миф о Елене, 99, 14; двойной пол, 112, 8 и 125, 30.

Клавдий Элиан из Пренесте близ Рима собрал в своем сочинении «О природе животных» множество эротических историй из жизни последних. Его «Пестрые рассказы» в четырнадцати книгах представляют собой богатое собрание анекдотов, изобилующих эротическими подробностями. Сохранилось двенадцать его писем; его порицание «мужеженщи-нь» — императора Гелиогабала — утрачено (218-222 гг. н.э.).

Возможно, в нашей книге ни один автор не цитируется так часто, как Афиней из Навкратиса, который во времена императора Марка Аврелия составил колоссальную компиляцию «Пир ученых мужей» в пятнадцати книгах — практически бездонный источник для науки о древности и в особенности для познания сексуальной жизни античности.

Обед состоялся в доме Ларенсия, видного, высокообразованного римлянина; были приглашены двадцать девять гостей, сведущих в самых разных отраслях науки — философы, риторы, поэты, музыканты, врачи, юристы и сам Афиней, который в рассматриваемом труде рассказывает другу Тимофею обо всем, что было сказано во время застолья. Тринадцатая книга целиком посвящена эротическим вопросам.

Воззав к Музе Эрато, гости уточняют тему разговора и ведут далее «беседы о любви и эротических поэтах». Метод расположения материала, время от времени перемежаемого случайными эпизодами, установить несложно: в первую очередь, речь идет о браке и замужних женщинах, вторая часть с привольной неспешностью толкует о сущности многочисленных разновидностей гетер, а третья посвящена любви к юношам.

Автор уже дал исчерпывающий анализ этой книги в отдельном очерке (H. Licht, *Drei erotische Kapitel aus den Tischgesprächen des Athenaios*, 1909), так что здесь к нему будут добавлены лишь некоторые детали. После указания на то, что старику негоже свататься к молоденькой, следует долгий список несчастий и бед, виновницами которых были женщины. Они послужили причиной множества войн, начиная с Троянской и заканчивая той, что на протяжении десяти лет бушевала у стен Кирры из-за нескольких похищенных девушек. Ради женщин уничтожались целые семьи, из-за их ревности и страстей раздоры проникли во многие прежде цветущие города. Сила любви необорима — истина, подтверждаемая несколькими превосходными цитатами из Еврипида и Пиндара. Но хотя Эрос умеет зажигать неодолимые губительные страсти, все же высший и благороднейший этический принцип, известный человечеству, — это тот, который соединяет любящих свободных людей. Прекраснейшим и самым чистым образом, по мнению греков, он проявляется в любовном союзе двух юношей; затем говорится несколько слов на эту тему, и третья часть посвящена ей уже полностью.

Хотя исключительно с эротической проблематикой дело имеет тринадцатая книга, многие замечания и эпизоды эротического содержания встречаются также в других книгах, причем в таких количествах, что извлечение из работы Афиней всех отрывков, затрагивающих вопросы пола и другой важный материал по истории нравов, заняло бы объемистый том.

В греческой литературе не было недостатка и в сонниках, некоторые из которых были весьма обширны. Их следует упомянуть здесь потому, что сон самым изощренным образом отражает душевные процессы, а следовательно, всегда насыщен эротизмом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что античные сонники весьма подробно истолковывают эротические сны, о чем свидетельствует важнейший из дошедших до нас сонников, составленный Артемидором Эфесским. В нем с предельной наивностью и без тени смущения рассматриваются темы, против которых восстает все наше существо (например, сон, в котором человек видит себя совокупляющимся с собственной матерью).

2. ЛЮБОВНЫЙ РОМАН И ЛЮБОВНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Причины однообразия греческих романов разъяснились выше (с. 187). Следуя поставленной нами цели, рассмотрим вкратце дошедшие до нас романы.

Харитон из Афродисии в Карий написал во втором веке нашей эры любовный роман о Херее и Каллирое в восьми книгах. Вскоре после бракосочетания ревнивый муж жестоко истязает жену; мнимо умершую Каллирою погребают, но ее уносят разбойники. Несмотря на множество соблазнов, она сохраняет верность мужу, с которым воссоединяется, пережив разнообразнейшие приключения.

Ксенофонт Эфесский в пяти книгах повествует о любви Габрокома и Антии. Герой романа принадлежит к тому же типу, что и прекрасный, но неприступный Ипполит. Здесь тоже за свадьбой вскоре следует разлука и всевозможные приключения, которые претерпевают тоскующие друг по другу влюбленные. И он, и она успешно противостоят всем посягательствам, находят друг друга и проводят сладостную ночь любви. Самым интересным для истории культуры является здесь выдающаяся роль культа Исиды, с которым автор искусно сплетает эротические события романа.

Что касается «Истории Аполлония, царя Тира», так называемого «Романа о Трое» Диктиса и многочисленных редакций романа об Александре, то мы должны отослать читателя к справочникам по греческой литературе.

Очаровательная новелла об Эроте и Психее также может быть упомянута лишь бегло, потому что ее, вероятно, весьма древний материал, вне всяких сомнений, впервые нашел свое отражение в греческой прозе, но известен нам только в той форме, которую придал ему Апулей («Метаморфозы», iv, 28 — vi, 22).

Сириец Ямвлих повествует в своих «Вавилонских рассказах» о любви Родана и Синонида. Сохранился лишь экскерпт этого произведения у Фотия, о чем не приходится особенно горевать, так как автор делает ставку исключительно на эффектные положения и немотивированную напряженность. Прекрасная Синонида пробуждает желание в царе,

заточающем влюбленных в темницу, из которой они пробуют бежать; за ними бросаются в погоню, и после ряда приключений Родан назначается царским главнокомандующим, одерживает для царя победу и наконец вновь соединяется с Синонидой. Чувственно-эротический момент в этой истории выражен весьма ярко, по крайней мере, так утверждает Фотий, не приводя, однако, никаких примеров (Фотий, «Библиотека», cod. 94, 736, Bekker).

От романа Антония Диогена «Невероятные приключения по ту сторону Фуль» в двадцати четырех книгах до нас дошел только краткий эксцерпт. Этот роман, вызвавший насмешки Лукиана в его «Правдивой истории», о которой мы еще будем говорить, был, насколько нам известно, первым опытом соединения романа странствий с эротикой.

Самый длинный из полностью сохранившихся греческих романов, повествующий в десяти книгах о любви Теагена и Хариклеи, написан Гелиодором из Эмезы. Живо и увлекательно, и в то же время благопристойно описываются в нем превратности судьбы дочери эфиопского царя. Будучи подкидышем, после множества опасностей она торжественно признается отцом и выходит замуж за Теагена, с которым познакомилась и которого полюбила на Пифийских играх.

Четыре книги пасторального романа о Дафнисе и Хлое, написанные Лонгом с Лесбоса, представляют собой нечто совершенно особенное. В нем нет ничего, кроме «языческого» настроения и чувственной радости. Это небольшое произведение в прелестных отдельных картинах описывает перипетии судьбы двух подкидышей, которые воспитаны добросердечными пастухами; в конце концов они оказываются детьми состоятельных родителей, но испытывают такую привязанность к прелестным деревенским полям своего счастливого детства, что возвращаются сюда, чтобы пожениться и провести остаток жизни вдаль от города. Сельский пейзаж, описываемый с яркой наглядностью, которой так восторгался Гете, поэт оживляет прелестными образами панов, нимф и озорных богов любви. Здесь влюбленным тоже угрожают приключения и опасности: пираты уведут Дафниса; Хлою похищают; к ней сватаются богатые женихи; гомосексуалист Гнафон искушает Дафниса. Но все эти приключения не более чем эпизоды, а главной темой автора остается мастерски исполненное описание отношений двух влюбленных, которые после первого пробуждения еще не осознаваемого эротического влечения постепенно достигают глубочайшей интимности окончательного сексуального соединения. Приведем несколько примеров из романа. «И когда они увидели, что козы и овцы пасутся, как надо, севши на ствол дубовый, осматривать стали они, — в яму свалившись, не ободрался ли Дафнис до крови. Ничего у него не было ранено и ничего окровавлено, но запачканы были землей и грязью волосы и тело все остальное. И было у них решено, чтоб Дафнис обмылся, пока не узнали Ламон и Миртала о том, что случилось.

И войдя вместе с Хлоей в пещеру Нимф, где ручей был, он отдал Хлое стеречь свой хитон и сорочку, и сам, став у ручья, омывал свои кудри и тело. Кудри его были черные, пышные; тело же смуглым сделал от солнца загар, и можно было б подумать, что тело окрашено тенью

кудрей. С восхищением Хлоя смотрела — прекрасным казался ей Дафнис, и, так как впервые прекрасным он ей показался, причиной его красоты она купанье считала. Когда спину и плечи ему омывала, то нежная кожа легко под рукой поддавалась; так что не раз украдкой она к своей прикасалась, желая узнать, которая будет нежнее. Солнце было уже на закате; тогда свои стада домой они погнали, и с тех пор ни о чем не мечтала уже более Хлоя, лишь о том, что хотела вновь увидеть, как купается Дафнис. С наступлением дня, когда на луга они пришли, как обычно, сидя под дубом, Дафнис играл на свирели, а вместе с тем и за козами он наблюдал: они же лежали, как будто его напевам внимали. А Хлоя, севши рядом, глядела за стадом своих овец, но чаще на Дафниса взор направляла. И вновь, на свирели когда он играл, прекрасным он ей показался, и опять причиной его красоты звуки песен считала она, так что, когда он кончил играть, она и сама взялась за свирель, надеясь, что, может быть, станет сама она столь же прекрасной. Она убедила его опять купаться пойти и вновь увидала его во время купанья и, увидавши, к нему прикоснулась и ушла опять в восхищеньи, и восхищение это было началом любви. Каким она мучилась чувством, не знала юная дева: ведь она воспиталась в деревне, ни разу она не слыхала, никто не сказал, что значит слово «любовь». Томилась ее душа, и взоры ее рассеяны были, и часто, и много она говорила о Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала, о стаде своем забывала, то смеялась, то горько рыдала, то засыпала, то вновь подымалась; лицо у нее то бледнело, то вновь, как зарево, ярко горело. ,

...Об одной только Хлое он мог говорить. И если один без нее оставался, он так сам с собой, как в бреду, говорил:

«Что сделал со мной Хлоя поцелуй?

Губы ее нежнее роз, а уста ее слаще меда, поцелуй же ее пронзил сильнее пчелиного жала. Часто я целовал козлят, целовал нежных щенят и телка, подарок Доркона, но ее поцелуй — что-то новое. Дыханье у меня захватывает, сердце хочет выскочить, душа тает, как воск; и все же опять я хочу ее поцелуя. На горе себе я тогда победил, небывалая раньше меня охватила болезнь, и имя ее я даже назвать не умею. Собираясь меня целовать, не отведала ль Хлоя трав или питья ядовитого? Как же она не погибла сама? Как поют соловьи, а свирель у меня все время молчит! Как весело скачут козлята, а я недвижимо сию! Как ярко цветы цветут, распустившись, а я венков не плету! Вон фиалки, вон гиацинт цветы свои распускает, а Дафнис уже уводит. Неужели Доркон станет скоро красивей меня?»

Так говоря, страдал и томился Дафнис прекрасный; ведь впервые вкусил он от дел и слов любовных.

...А с наступлением полдня время уже начиналось, когда их глаза были в плену очарованья: когда Хлоя нагого Дафниса видала, ее поражала его цветущая краса, и млела она; ничего в его теле не могла она упрекнуть. Он же, видя ее одетой в шкуру лани, с сосновым венком в волосах, как она подавала ему чашу с питьем, думал, что видит одну из нимф, обитавших в пещере. И вот он похищал сосновый венок с ее головы, сначала его целовал, а потом на себя надевал; и она, когда он

омывался в реке, снимая одежды, надевала их на себя, сама их сначала целуя. Иногда они друг в друга яблоки бросали и головы друг другу украшали, пробормотав волосы деля; Хлоя говорила, что волосы его похожи на мирты, так как темными были они, а Дафнис лицо ее сравнивал с яблоком, так как оно было белым и розовым вместе. Он учил ее играть на свирели, и когда она начинала играть, он отбирал свирель у нее и сам своими губами проводил по всем тростникам. С виду казалось, что учил он, ошибку ее поправляя, на самом же деле посредством свирели нежно и скромно Хлою он целовал.

Как-то раз в полуденную пору, когда он играл на свирели, а их стада в тени лежали, незаметно Хлоя заснула. Это подметив, Дафнис свирель свою отложил и ненасытным взором всюю он ей любовался; ведь теперь ему нечего было стыдиться; и тихо он сам про себя говорил: «Как чудесно глаза ее спят, как сладко уста ее дышат! Ни у яблок, ни у цветов на кустах нет аромата такого! Но целовать ее я боюсь; ранит сердце ее поцелуй и, как мед молодой, безумным быть заставляет. Да и боюсь поцелуем своим ее разбудить. О болтливые цикады! Громким своим стрекотаньем вы не дадите ей спать; а вот и козлы стучат рогами, вступивши в бой; о волки, трусливей лисиц! чего вы их до сих пор не похитили!»

Когда он так говорил, цикада, спасаясь от ласточки, хотевшей ее поймать, вскочила к Хлое на грудь, а ласточка, преследуя ее, схватить не смогла, но, гоняясь за ней, близко так пролетела, что крыльями щеку Хлои задела. Она же, не зная, что такое случилось, с громким криком от сна пробудилась. Увидав же ласточку, — близко еще летать она продолжала, — и видя, что Дафнис смеется над испугом ее, от страха она успокоилась и стала глаза протирать, все еще дальше хотевшие спать. Тут цикада из складок одежды на груди у Хлои запела, как будто моливший в беде, получивши спасенье, приносит свою благодарность. И вновь громко вскрикнула Хлоя, а Дафнис опять засмеялся. И под этим предлогом руками груди он коснулся у ней и оттуда извлек милую эту цикаду; она даже в руке у него петь продолжала. Уйдевши ее, в восхищенье Хлоя пришла, на ладонь ее взяла, целовала и вновь у себя на груди укрывала, а цикада все петь продолжала...

Схоронивши Доркона, омывает Дафниса Хлоя, к нимфам его приведя и в пещеру его введя. И сама впервые тогда обмыла тело свое на глазах у Дафниса, белое, красотой без изъяна сияющее. Для такой красоты незачем было воды; а затем, собравши цветы, что цвели по полям тою порою, увенчали венками статуи богинь, а Доркона свирель прикрепили к скале как дар богам, как им посвященье. И после таких очищений они пошли и коз и овец осматривать стали. Они на земле все лежали; не паслись они, не бляели они, но думаю я, так как не было видно Дафниса с Хлоей, о них тосковали они. Когда ж они показались и раздался обычный их окрик, и на свирели они заиграли, овцы тотчас же встали и стали пастись, а козы стали скакать, зафыркали, как бы радуясь все спасенью привычного им пастуха. А вот Дафнис не мог заставить себя быть веселым: когда увидел он Хлою нагою и красу ее, прежде сокрытую, увидел открытою, заболело сердце его, будто яд какой-то его снедал.

Дыхание его было частым и скорым, как будто кто гнался за ним, то совсем прекращалось, как будто силы свои истощив в беге своем предыдущем. И можно сказать, что купанье в ручье для него оказалось страшнее, чем в море крушение. Он полагал, что душа его все еще остается во власти разбойников. Простой и наивный, как мальчик, не знал он еще, что в жизни страшнейший разбойник — любовь».

[перевод С. П. Кондратьева].

К эротической литературе должны быть также причислены любовные послания (возможно, самый ранний их образец — это упоминавшееся выше (с. 169) эротическое письмо Лисия, включенное в диалог Платона «Федр»). Здесь можно привести в качестве примера записку, которую отправляет своему другу девушка Феникион, персонаж комедии Плав-та «Псевдол» (I, 1, 63), так как эта пьеса, скорее всего, восходит к греческому прототипу:

Прощай, ты, наша страсть — вся сласть любовная,
Игра и шутки, поцелуи сладкие,
И тесные любовные объятия,
И нежных губок нежные кусания,
Прощай, грудей упругих прижимание!
Нет больше наслаждений этих нам с тобой.
Пришел распад, разлука, одиночество,
Друг в друге если не найдем спасения.
Дать знать тебе стараюсь, что узнала я.
Увижу я, насколько любишь ты меня,
Насколько притворяешься. Теперь прощай.

[перевод А. Артюшкова]

Во втором столетии нашей эры ритор Лесбонакт издал собрание эротических писем; точно так же эротические письма писал Зоней, а Мелесерм — письма к гетерам. Об этих авторах мы не знаем практически ничего, кроме имен⁹⁹, зато сохранилось 118 писем Алкифрона, младшего современника Лукиана. Особенно прелестны два письма, которыми обменялись Менандр и его возлюбленная Гликера; здесь также приведено известное число писем к гетерам, которые первоначально занимали всю четвертую книгу. Эти письма Алкифрона дышат любовью к Афинам и утонченной афинской культуре, обрисовываемой очень живо; многие из них излучают неистовую, яркую чувственность; в качестве образца приведем следующее письмо:

Мегара к Бакхиде

«Из всех девушек у тебя одной есть любовник, и ты не можешь расстаться с ним ни на минуту. Благая Афродита, что за дурной тон! Хотя много недель назад Гликера просила тебя явиться к ней на

⁹⁹ Источники упоминают пятьдесят безнравственных писем Эпикура, подложность которых доказал некий Диотим или Теотим (см. Диоген Лаэртский, х, 3), который также приписал несколько неприятных писем, вышедших из-под его же пера, стоику Хрисиппу.

жертвенный пир — она приглашала нас в праздник Диониса, — ты не пришла! И именно из-за него, я полагаю, тебе невыносимо навещать старых подруг. Ты стала добродетельной женщиной, верной своему любовнику, а мы все те же разнузданные шлюхи. Собрались все — Фессала, Мосхарион, Фаида, Антракион, Летала, Триаллида, Миррина, Хрисион, Евксиппа; даже Филумена, хотя она только что вышла замуж и у нее ревнивый муж, едва увидев, что милый заснул, сразу же пришла к нам. Не было только тебя; но ты, конечно, ласкалась со своим Адонисом. Думаю, ты опасешься, как бы какая-нибудь Персефона не отняла твоего любовника у тебя, его Афродиты, которая придержала его для себя?

Какая была у нас пирушка! — я очень хочу задеть тебя за живое — исполненная прелести и сладострастия! Песни, шутки, кутеж до поросычьего визга, благовония, венки, лакомства! Ложе осеяли ветви лавра, и только одного не хватало — тебя! Мы нередко устраивали попойки и раньше, но редко когда было так хорошо, как тогда. Больше всего позабавил нас спор между Триаллидой и Мирриной, у кого из них самые красивые и нежные ягоды. Первой распустила свой пояс Миррина: она стала перед нами в шелковой сорочке, сквозь которую была видна ее налитая попка, которая подрагивала, словно студень или простокваша; затем она посмотрела через плечо на колебания своих ягод. В то же время она нежно вздохнула, словно совершала в этот момент дела сладострастия, так что я просто онемела от восхищения.

Триаллида от нее не отстала, но превзошла ее в распутстве, молвив: «Я буду сражаться, не спрятавшись за завесой и не жеманясь, но — как борец — обнаженной».

3. ФИЛОСОФИЯ

Мы вступаем в совершенно иной мир, вчитываясь в «Эннеады», или разделенные на девять книг сочинения Плотина из Ликополя (третий век нашей эры). Неутомимый, полуслепой, физически надломленный создатель неоплатонизма часто затрагивает проблему любви; однако он видит в чувственности порок, в лучшем случае — препятствие на пути к духовному знанию и саморазрушение, о чем свидетельствует его знаменитое аллегорическое истолкование образа прекрасного юноши Нарцисса, который, влюбившись в свое отражение на водной глади, затягивается его чарами в роковую бездну. Плотин полностью захвачен мыслью, что мудрец должен так проникнуться идеей Чистоты и Прекрасного, чтобы, познав отражения Прекрасного в чувственном мире и освободившись от телесности, он мог достичь высшего блаженства, заключающегося в единении с чисто духовной идеей. Таким образом, воодушевленно прославляемое им Прекрасное тождественно для него нравственному благу, и на этой основе он строит три блестящих сочинения: «О Прекрасном», «Об Эросе» и «Об умной красоте». Издатель его произведений, Порфирий из Тира, идет в своих требованиях еще дальше Плотина; например, в сочинении «О воздер-

жании» он отвергает мясную пищу, ибо она способствует чувственности. Следует также упомянуть, что он проводил свое учение в жизнь, женившись на Марцелле, вдове с семью детьми, столь же мало одаренной благами этого мира, как и он сам, зато наделенной богатым философским духом. Видимо, уже тогда в христианском лагере был пущен слух, будто Порфирий из алчности женился на старой увядшей еврейке с множеством детей и вследствие этого отпал от христианства.

Едва ли есть необходимость напоминать, что в многочисленных дошедших до нас лексикографических трудах, особенно в собраниях пословиц, в антологиях и хрестоматиях эротические подробности поистине неисчислимы; но эти работы не могут стать предметом нашего рассмотрения ввиду того, что представляют собой не самостоятельный вид литературы, но лишь выписки из имевшихся литературных произведений. Конечно, задайся компетентный исследователь целью выискать в этих источниках эротический материал, дело того бы стоило. Его добыча была бы паразитально богата.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Нам осталось дать краткий обзор заключительного периода греческой литературы, который принято датировать промежутком между 300—530 г. н. э., тем временем, когда греко-римская культура, самый драгоценный цветок на древе человечества, постепенно умирала. Ее уничтожение — эту самую прискорбную катастрофу из всех, когда-либо постигавших род человеческий, — следует объяснять внешними причинами, такими, как вторжения варварских народов, среди которых следует упомянуть парфян и блеммиев, а также не в последнюю очередь германские орды готов; но важнейшей из них было все возрастающее влияние христианства. Язычники, особенно со времени правления императора Аврелиана, который в 275 году, после пятилетнего правления, как и многие другие люди культуры, пал под кинжалами заговорщиков, несомненно, предпринимали попытки соединить христианское и языческое мировоззрения в так называемом культе солнца — но тщетно; «терпимое» христианство не приняло в нем участия, оно было слишком исполнено злосчастных иллюзий относительно своего превращения в универсальную религию; -и жизнь шла своим чередом, и рылась могила красоте и чувственной радости, говорящей «да» миру.

Но дело не только в этом. Высокие слова, которые с гордостью произносились древними греками — свобода, независимость, свобода слова и другие, — поблекли в эпоху автократии цезарей, правивших из новой столицы мира — Византия, или, как он теперь назывался, «Константинова града», и именно этой эпохой византийской чиновной иерархии рожден раблепный тон, который и поныне принят в общении между «подчиненным» и «начальником», и который справедливо зовется низкопоклонством (Byzantinismus).

1. ПОЭЗИЯ

Начиная разговор с поэзии, упомянем в первую очередь папирусный фрагмент эпиталамия (см. каталог греческих папирусов в книге J. Rylands Lybrary, Manchester, 1911, № 17). Никого не удивит тот факт, что посещение мимов и пантомим со временем стало предосудительным и потому сначала было запрещено для студентов римского университета и наместников, а постепенно запрет был распространен и на более широкие круги населения. Однако окончательный запрет пантомимы совершился при императорах Анастасии и Юстиниане. Несомненно, уже задолго до этого женские роли исполнялись обычно девушками, причем весьма сомнительной репутации. Песни хора, придававшие тексту связность, имели, по всей видимости, чрезвычайно вольный характер.

Квинт Смирнский оставил эпическую поэму в четырнадцати книгах, посвященную «послегомеровским событиям»; его поэма есть не что иное, как скучное подражание приключениям древнего эпоса. Этого не скажешь об эпосе в сорока восьми песнях Нонна-из египетского Панополя. Эпическая ширь, разнообразящаяся бесчисленными эпизодами, исполненная цветущей чувственности, ярких жизненных красок и подлинного языческого мироощущения, воспеваает деяния Диониса. Это обширное произведение повествует о походе Диониса в Индию; эротические подробности этого гигантского эпоса странствий настолько многочисленны, что вполне заслуживают обстоятельного изложения в отдельной монографии.

В эпоху Юстиниана жил, по всей вероятности, такой милый поэт, как Мусей, который оставил нам небольшой эпос (или, вернее, *эпилли*) в 340 гекзаметров, посвященный любви Леандра к Геро; эта небольшая поэма, эротический сюжет которой приобрел общую известность благодаря балладе Шиллера, была (очень удачно названа цюрихским профессором Г. Кехли «последней рѣзой увядающего сада греческой поэзии».

Возможно, Мусею принадлежит также авторство прекрасного стихотворения, частично сохраненного «Палатинской Антологией» (ix, 362) и повествующего о любви речного бога Алфея к нимфе источника Аретусе, которую бог преследовал на всем пути от Элиды до самой Сицилии, где и сошелся с ней любовью.

Вторым веком нашей эры следует, по-видимому, датировать совершенно неучитываемые стихи из «Зеркала женщин» Навмахия, частично сохранившиеся у Стобея (Anth., xxii, 32; xxiii, 7).

Во второй половине шестого века нашей эры адвокат Агафий из Миррины обнаружил сборник эпиграмм в семи книгах; шесть из них содержали стихотворения, посвященные любви, часть которых дошла до нас в составе «Палатинской Антологии» (Агафий, v, 269, 294):

К милой на ложе легла, потеснив ее грубо, старуха,
Деву прижала фобом жадная злая карга,
Словно сгена крепостная ее оградив от соблазна,
Оберегая от всех поползновений чужих.
Двери служанка затем расторопная быстро прикрыла

И повалилась у ног, чистым упившись вином.
Не испугали меня: крюк дверной приподнял я бесшумно,
Платьем ночник загасил дымный, под ложе заполз.
Вором проник я сюда, обманув задремавшего стража,
И в ожиданьи притих, лежа на брюхе своем.
Но, понемногу затем распрямил я свой стан и расправил
Члены затекшие там, где позволяла стена.
Вылез и с девушкой лег я неслышно и, грудь охвативши
Нежную, долго ласкал, милой целуя лицо.
Трудно прекраснее рот разыскать в целом мире и лучше,
Радовал негою он и опьянял мне уста.
Губы — добыча моя, поцелуй ее нежный остался
Символом схватки ночной, знаком любовной борьбы.
Ведь я твердыни не взял, не сломал я ограды и крепость,
Не разгромил до конца, девство ее сохранив.
Неодолимой стеной предо мной оно твердо стояло,
Но в состязаньи другом быстро разрушу его.
Вряд ли удержат меня все преграды, и после победы
Я Афродите венок, коль повезет, принесу.

[перевод Т. М. Соколовой и М. Н. Цетлина]

Эпиграмматист Паллад из Александрии, живший на рубеже IV— V веков, оставался язычником. По профессии он был школьным учителем и так страдал от бедности, что ему пришлось продать некоторые издания классиков из своей библиотеки; ко всему прочему, он был женат на «сатане в юбке»¹⁰⁰. Поэтому совершенно неудивительно, что в его сборнике нет ни одной эротической эпиграммы, зато в нескольких эпиграммах он с беспримечной язвительностью говорит о своем отвращении к женскому полу: «Каждая женщина — злоба и яд; она доставляет радость только два раза в жизни: первый — в свадебном покое, второй — на одре».

От Павла Силенциария, придворного чиновника Юстиниана (годы правления — 527—565), до нас дошло семьдесят восемь эпиграмм, главным образом эротических, чувственность которых не могла быть превзойдена ни одним другим эпиграмматистом («Палатинская Антология», v, 252, 255, 258, 259, 620):

(а) Милая, скинем одежды и, оба нагие, телами
Тесно друг к другу прильнем в страстном объятье любви.
Пусть между нами не будет преград. Вавилонской стеною
Кажется мне на тебе самая легкая ткань.
Грудью на грудь и губами к губам... Остальное молчаньем
Скрыто да будет, — претит мне невоздержность в речах.
(б) Видел я мучимых страстью. Любовным охвачены пылом,
Губы с губами сомкнув в долгом лобзанье, они
Все не могли охладить этот пыл, и, казалось, охотно
Каждый из них, если б мог, в сердце другому проник.
Чтобы хоть сколько-нибудь утолить эту жажду слиянья,
Стали меняться они мягкой одеждою. Он

¹⁰⁰ Продажа изданий Пиндара и Каллимаха: Anth. Pal., ix, 171, 175; «сатана в юбке» — ix, 165—168, 169; xi, 378, 381; отзыв о христианстве, ix, 528.

Сделался очень похож на Ахилла, когда, приютившись
У Ликомеда, герой в девичьем жил терему.
Дева ж, хитон подобрав высоко до бедер блестящих,
На Артемиду теперь видом похожа была.
После устами опять сочетались они, ибо голод
Неутолимой любви начал их снова терзать.
Легче бы было разнять две лозы виноградных, стволами
Гибкими с давней поры сросшихся между собой,
Чем эту пару влюбленных и связанных нежно друг с другом
Узами собственных рук в крепком объятье любви.
Милая, трижды блаженны, кто этими узами связан.
Трижды блаженны. А мы розно с тобою горим.
(в) Краше, Филинна, морщины твои, чем цветущая свежесть
Девичьих лиц; и сильнее будят желанье во мне
Руки к себе привлекая, повисшие яблоки персей,
Нежели дев молодых прямо стоящая грудь.
Ибо милей, чем иная весна, до сих пор твоя осень,
Зимнее время твое лета мне много теплей.

[перевод Л. Блуменау]

О бане, одно отделение которой отведено для мужчин, а другое — для женщин, он говорит следующее: «Надежда сопутствует любви, но невозможно застичь женщин, ибо могучую Пафийскую богиню удерживает маленькая дверь. Однако сладостно и это: когда люди охвачены любовью, надежда воистину слаще исполнения желаний».

От Македония (Anth. Pal., v, 243), также жившего в эпоху Юстиниана, дошла такая эпиграмма:

Ночью привиделось мне, что со мной, улыбаясь лукаво,
Милая рядом, и я крепко ее обнимал.
Все позволяла она и срвсем не стеснялась со мною
В игры Киприды играть в тесных объятьях моих.
Но взревновавший Эрот, даже ночью пустившись на козни,
Нашу расстроил любовь, сладкий мой сон разогнав.
Вот как завистлив Эрот! Он даже в моих сновиденьях
Мне насладиться не даст счастьем взаимной любви.

[перевод Ф. Петровского]

Практически в то же время, когда были написаны и пользовались популярностью эти распущенные и фривольные эпиграммы, неоплатоник Прокл сочинил «Гимны к богам», семь из которых сохранились; два гимна обращены к Афродите. Здесь мы не найдем ничего чувственного, все проникнуто интеллектуальным и нравственным началом; поэту-теософу нечего сказать о чувственном наслаждении, он жаждет озарения и очищения от земной тщеты, от ошибок и грехов жизни. Даже Афродите Прокл молится так, словно обращается не к языческой богине, но к христианской Мадонне (Прокл, «Гимны», 5, 14):

Душу мою вознеси к красоте от уродства земного,
Да избежит она злостного жала постыдных порывов!

[перевод О. В. Смыки]

2. ПРОЗА

Из прозаических писателей данной эпохи, представляющих интерес для нашей работы, первоочередного упоминания заслуживают софисты Либаний (314—395 гг.) и его современник Гимерий, известные своей энергичной, хотя и неизбежно тщетной борьбой с распространением христианства. Они сполна извели красоту античности и из соображений благочестия решились объявить войну врагу жизни из Назарета — войну, которая, если принять во внимание положение вещей, была обречена на неуспех. Поражение в этой войне потерпел даже высокоодаренный энергичный племянник Константина Великого Флавий Клавдий Юлиан, отпавший в 351 году от христианства (относительно отступничества Юлиана см. его письма, особенно 51, 52 и 25—27) и принявший посвящение в таинства Митры; однако он не был Гераклом и не сумел отсечь все отрастающие головы новой гидры. Начало его правления (361 г.) было ознаменовано множеством прекрасных надежд, но два года спустя удар судьбы положил всему конец: возвращаясь из победоносного персидского похода, Юлиан умирает от совершенно случайной раны. Если верить Либанию, смертоносный дротик метнул один из своих — некий сарацин, подстрекаемый ненавистью христиан. Последний культурный герой античности был смертельно ранен двадцать шестого июня 363 года на фригийской равнине Маранга у берегов Тигра. Насколько мне известно, на месте этой всемирной катастрофы никогда не был поставлен памятник; напротив, на нескольких малоазийских надписях имя Юлиана было стерто. История присвоила ему прозвище Апостата — отступника от христианства. С ним умерла последняя великая надежда классической культуры; после него началось крушение античной цивилизации, за которым последовали века дикости и безумия. Вступив на престол, своими постановлениями и сочинениями он тщетно пытался утвердить собственные религиозные, т.е. древнеязыческие, идеалы, обратив христиан Александрии в солнцепоклонников; напрасно сочинил он три книги (к сожжению, утраченные) полемического трактата «Против христиан». Со временем возвышенный человек и несчастливый император был заклеямен победителями-христианами как «проклятый» (*κατάρα-τος*); позднее о нем отзывались как о «союзнике сатаны»; трагической фигурой он становится только в поэзии девятнадцатого столетия, особенно в глубокой драме Ибсена «Император и Галилеянин».

Последней попыткой спасти радостную чувственность эллинизма от мрачной резины назарейства стал в четвертом веке любовный роман. Александрийский ритор Ахилл Татий описал в восьми книгах историю любви Клитофонта и Левкиппы. Упомянутые выше (с. 187) мотивы, присущие романной технике греков, повторены здесь с удручающей пространностью. Большая часть событий является следствием глубокомысленных сновидений, два из которых достаточно любопытны, чтобы привести их здесь: «Когда мне было девятнадцать и отец уже начинал готовиться к моей свадьбе, назначенной на следующий год, мне привиделось во сне, будто верхней частью тела вплоть до пупка я сросся с невестой, однако ниже наши тела

разделялись. Затем появилась женщина: она была огромна и устрашающа, с дикими чертами лица и налитыми кровью глазами; щеки ее были отвратительны, а на голове вместо волос клубились змеи. В правой руке она держала серп, а в левой — факел. Стремительно приблизившись ко мне, она занесла серп, погрузила его в живот, где я сросся с девушкой, и отделила меня от нее». В другой раз матери приснилось, что «разбойник с обнаженным мечом похитил ее дочь, положил ее на спину и рассек посередине сверху донизу» (Ахилл Татий, i, 3; ii, 23). Роман изобилует софистическими размышлениями и тягучими рассуждениями о природе любви и ее всевозможных проявлениях: мы слышим о любви павлинов, растений и магнитов; нет недостатка и в мифологических сюжетах, таких, как любовь Алфея и Креусы, не обойдена молчанием и излюбленная тема, какой любви — к юношам или женщинам — следует отдать предпочтение (ii, 35—38). Большая глава (i, 8) посвящена злодеяниям женщин и несчастьям, которые из-за них приходится терпеть человечеству. Жрец Артемиды не без удовольствия произносит долгую речь, состоящую из сплошных непристойностей, хотя они и облечены в выражения, звучащие вполне благопристойно.

В роман включены несколько писем; наряду со всевозможными безделицами из легенд, исторических сказаний и естественной истории приводятся описания искусств и ремесел, служащие приправой к этой примечательной мешанине. Здесь описывается гиппопотам и рассказываются весьма занимательные вещи о слонах, например, о том, что слонихе требуется десять лет на усвоение семени самца и столько же — на то, чтобы выносить плод; вообще, о хоботных из романа можно узнать множество любопытных подробностей, среди которых следует упомянуть их «благоуханное дыхание», причина которого тут же разъясняется (гиппопотам — iv, 2; слон, — iv, 4, 5).

Здесь же превосходно излагается предание о любви Пана к Сиринге: «Сиринга была прекрасной девой, которая бежала в чащу от преследующего ее Пана. Но Пан не отставал и уже простирал руки, чтобы ее схватить. Думая, что нагнал беглянку и держит ее за волосы, Пан обнаружил, что в руках у него — тростник, выросший, по преданию, на том месте, где девушка погрузилась в землю. Рассерженный Пан обломал стебли растения, думая, что они прячут от него возлюбленную, но так ее и не нашел. Тогда он пришел к мысли, что девушка превратилась в тростник, и пожалел о содеянном, ибо думал теперь, что погубил возлюбленную. Тогда собрал он обломки тростника, словно то были части ее тела, и, сжав их в ладони, стал осыпать поцелуями, как бы целуя раны любимой. Обезумев от любви, он издавал вздохи, вдывая их в полые тростниковые трубки, и все целовал тростник. Его дыхание проникло в узкие трубки и родило в них музыку — так пастушеская флейта получила свой голос» (viii, 6).

Особенно забавен эпизод, в котором Левкиппа должна быть принесена в жертву на алтаре. К счастью, друзья заранее прикрепили к ее телу наполненные кровью кишки животного, и именно их палач отсекает мечом.

Чтобы уличить Мелиту в связи Клитонтом, якобы имевшей место в его отсутствие, Ферсандр принуждает ее войти в воды Стиги (viii, 11— 14); замечательное свойство этой реки состояло в том, что она отступала перед безупречной женщиной и подступала к самому подбородку клятвоступницы. Мелита входит в воду с табличкой, которая привязана к ее шее и на которой начертана клятва, что в отсутствие Ферсандра она ни разу не сходилась с Клитонтом. Она с честью выдерживает испытание, так как женщина и в самом деле ни разу не сходилась с Клитонтом до тех пор, пока не возвратился Ферсандр.

Мы располагаем двумя книгами эротических писем некоего Аристе-нета, которые нередко граничат с порнографией. Их темой является пылкое прославление женской красоты наряду с известным числом любовных историй, почерпнутых частью из личного опыта, частью из иных источников.

Таковы последние побеги греческой литературы — по крайней мере в той области, которая является предметом этой книги. Отмеченные в нашем литературно-историческом очерке факты принадлежат к эротической литературе в самом широком смысле этого слова; порнография, о которой кое-что будет сказано ниже, еще не становилась предметом нашего рассмотрения.

Часть II

ГЛАВА I

ЛЮБОВЬ МУЖЧИНЫ К ЖЕНЩИНЕ

В НАСТОЯЩЕЙ ГЛАВЕ речь пойдет о нормальном половом общении, т.е. общении между мужчиной и женщиной; другие виды сексуального поведения будут рассмотрены в последующих главах. Мы уже достаточно подробно рассмотрели те составляющие греческой половой жизни, которые касаются души, поэтому здесь нам остается описать ее физическую, или чисто чувственную, сторону. Вспомним, что по античным представлениям и, в частности, по мнению греков, любовь, или ее физическая сторона, являлась недугом, более или менее острой формой безумия. Говоря о любви как о недуге, греки имели в виду в первую очередь то, что любовь, или чувственное эротическое влечение, возникает вследствие нарушения здорового равновесия тела и разума, так что под натиском полового вожделения разум теряет свою власть над телом; выражение «безумие» следует понимать в том смысле, что половое влечение само по себе может объясняться лишь временным помрачением рассудка. Довольно любопытно, что современная сексология для объяснения сексуальных явлений выдвигает гипотезу существования мужской и женской субстанции, или химических веществ, вырабатываемых телом и имеющих токсическое действие, способствующее временному ослаблению умственных способностей.

Великий философ Гартманн (*Philosophie des Unbewusstes*, Berlin, 1869, S. 583), как Шопенгауэр до него (*Die Welt als Wille und Vorstellung*, 1859³, II, S. 586), разделяет это воззрение и выводит из него логичное, на первый взгляд, заключение: «Любовь приносит больше боли, чем удовольствия. Удовольствие лишь иллюзорно. Не будь любовь *фатальным* половым импульсом, рассудку следовало бы заставить нас избегать любви, — а потому лучшим выходом была бы кастрация». Я называю это заключение логичным лишь на первый взгляд потому, что Гартманн не знал или забыл о том, что кастрация никоим образом не избавляет от полового влечения. Греки об этом отлично знали: прекрасным подтверждением тому служит рассказ Филострата (ed. Kayser, Leipzig, Teubner, I, p. 38) о евнухе, пытавшемся соблазнить обитательницу гарема, и множество аналогичных свидетельств. О значении кастрации в греческой культуре мы будем говорить ниже; здесь она упоминается лишь для того, чтобы показать, что греки знали: нож не является лекарством от любви. Если Феокрит («Идиллии», xi, 1 ел. и 21) начинает свое знаменитое стихотворение, в котором он сочувствует любовным страданиям своего друга, милетского врача Никия, словами: «Против любви никакого нет, Никий, на свете лекарства; // Нет ни в присыпках, ни в мазях, поверь

мне, ни малого прока.// В силах одни Пиериды помочь; но это лечение, // Людям хотя и приятно, найти его — труд не из легких» [перевод М. Е. Грабарь-Пассек], то этим доказывается, что единственное настоящее лекарство от любви грекам было известно; таким лекарством являлось и является осознанное отвлечение внимания посредством каких-нибудь напряженных занятий — будь то тяжелый труд, как советует простой рыбак в другой идиллии Феокрита, или, как предлагает в только что приведенном отрывке сам Феокрит, сосредоточение на поэзии, т.е. на некоторой умственной деятельности вообще¹⁰¹.

Однако греки — эти мудрые врачеватели души — знали не только лекарство от болезни любви, но и пути, которыми этот душевный яд проникает в человека и утверждается в нем.

Вратами, через которые входит носитель любовного недуга, *bacillus eroticus*, являлись, по их мнению, глаза. «Необоримы, — говорит Софокл («Антигона», 795), — колдовские чары очей молодой девы, ибо в них богиня Афродита ведет свои не знающие поражения игры». У Еврипида («Ипполит», 525) говорится, что «Эрос источает страсть из глаз, пробуждая сладостное упоение в душах тех, кого желает покорить», а Пиндар начинает Восьмую Немеюскую оду словами: «Царственная Юность, вестница Афродиты, восседающая в очах юношей и дев...» Эсхил говорит о «нежной стреле любви, сияющей из очей, сокрушающем сердце венце телесных чар» и о «колдовской стреле девичьих очей».

Наконец, Ахилл Татий говорит: «Красота ранит больше стрелы и проникает через глаза в душу, ибо глаза — это путь для ран любви».

Покрывающиеся милым румянцем стыда девичьи щеки, по словам Софокла («Антигона», 783), пробуждают в мужчине любовь: «Эрос разбил свой стан на нежных щеках девы»; или, как говорит Фриних (фрагм. 8, у Афиней, хiii, 603e): «На ее пурпурно-красных щечках пылает огонь любви». Когда же, по словам Симонида (фрагм. 72, у Афиней, хiii, 604b), «голос слетает с пурпурных уст» девушки, — любовник окончательно покорен, а после того, как «...убеждающий сладко Эрот и Киприда, рожденная морем, //Золотую тоску в наши груди вдохнет и расплавит желанием члены, //И упругую силу мужам подарит и протянет их руки к объятьям» (Аристофан, «Лисистрата», 551), сопротивление становится невозможным, и любовники готовятся приступить к «нежным делам любви»¹⁰². Губы прижимаются к губам, любовники долго

¹⁰¹ Дафнис и Хлоя — дети природы из пасторального романа Лонга (см. с. 194—197) были, несомненно, совершенно иного мнения: «Нет от Эрота лекарства: любовь не запешь, не заешь, заговорами от нее не избавишься; средство одно: целоваться друг с другом, всегда обниматься и вместе, нагими телами крепко прижавшись, лежать» [перевод С. П. Кондратьева].

¹⁰² «Нежные дела любви»: Мимнерм, i, 3; поцелуи и покусывания — Брандт, комм, к *Amores*, i, 7, 41; поцелуи с помощью языка — Брандт, комм, к *Amores*, ii, 5, 24, и с. 214; поцелуи и покусывание плеч и груди — Брандт, комм, к *Amores*, i, 7, 41; поглаживание груди, Нонн, «Дионисиака», i, 348, хiii, 67, ср. 303 ел., 312; Феокрит, ххvii, 48; Аристофан, «Лисистрата», 83. См. далее Брандт, комм, к *Amores*, i, 5, 20, и с. 203; также Аристенет, i, 16, Аристофан, «Женщины в народном собрании», 903. Сравнение груди с яблоками — «Палатинская Антология», v, 59, 289. Сцены раздевания: Аристофан, «Лисистрата», 615, 662, 686. Ласки эrogenных зон женщины — Овидий, «Искусство любви», ii, 707 ел.; мужчины — Аристофан, «Лисистрата», 363. Выражение «распустить девичий пояс» часто встречается у Гомера; см., например, «Одиссея», xi, 245.

пребывают в нежных объятиях, их уста полуоткрыты, а языки ласкают друг друга¹⁰³, в то время как руки юноши сжимают девичьи груди и сладострастно ласкают эти тяжелеющие яблоки; поцелуи сопровождаются нежным покусыванием, особенно плеч и грудей, с которых совлекла одежды пламенная рука юноши. Задолго до этого он распустил ее девичий пояс; теперь он увлекает свою прекрасную добычу на убранный цветами ложе и после бесчисленных взаимных ласк и нежных словечек совершает жертвоприношение любви.

Все упомянутые здесь фазы любовной игры, число которых можно было бы значительно умножить, заимствованы из античных произведений, указанных в сноске. Конечно, описание любовной игры дано нами в обобщенной форме; в действительности перечисленные фазы чувственной любви также и у греков сменялись в определенной последовательности и были, разумеется, неисчерпаемы в своих формах.

Среди поцелуев особой популярностью пользовался так называемый «поцелуй-с-ручкой» *χῦτρα*; см. Эвник, САР, I, 781, из Поллукса, х, 100; см. также Плутарх, *Moralia*, 38с). В комедии Эвника встречались слова: «Возьми меня за уши и подари поцелуй-с-ручкой». Как название, так и сам тип поцелуя принадлежали первоначально к реалиям детской жизни: *ребенка* брали за оба уха и целовали, причем ребенок в это время должен был держать своими ручками целующего за уши.

Столь же популярной формой ласки был поцелуй в плечо или грудь, что подтверждается тьмой отрывков из стихотворений «Антологии» и элегий.

Античные литература и искусство развили подлинный культ женской груди. Наилучшим образом иллюстрирует энтузиазм греков по отношению к красоте женской груди знаменитая история о Фрине и ее защитнике Гипериде (Афинеи, хiii, 590е); Фрина обвинялась в совершении тягчайшего преступления; собравшиеся судьи уже склонялись к тому, чтобы осудить прекрасную преступницу. Тогда Гиперид распахнул ее платье и открыл взорам блистающую красоту ее груди, и чувство красоты заставило судей отказаться от мысли осудить обладательницу таких прелестей. Более восторженного прославления женской груди трудно даже вообразить. Можно вспомнить и приведенную выше историю о Менелее, который при виде обнаженных грудей Елены забыл о ее измене и простил изменницу.

Мужское любование этими прелестями отражено также в произведениях греческой литературы и искусства. Тому, кто вознамерился бы собрать все отрывки, в которых воздается должное красоте груди, пришлось бы написать целую книгу. Из бесчисленного множества отрывков приведем лишь некоторые. Н они называются «яблочки» женской груди «дротиками любви». У того же автора мы читаем о том, как любовник «сжимает тяжелеющий шар налитой груди», или о том, как Дионис «приближает любящую руку к груди стоящей перед ним девы и как бы случайно касается выступающей округлости ее платья; когда он чувствует ее тяжелые груди, рука бога, сходящего от женщин с ума,

¹⁰¹ Греки называли поцелуи такого рода словом *καταγλώττισμα* (Аристофан, «Облака», 51).

начинает трепетать». В другом месте той же поэмы: «Как награду держал я в руке два яблока — двойной плод, выросший на одном стволе». У Феокрита девушка спрашивает: «Что делаешь ты, сатир, почему трогаешь мою грудь?», и Дафнис отвечает: «Пробую твои поспевшие яблочки». Аристофан: «Как прекрасна твоя округлая грудь!»¹⁰⁴.

Сцена раздевания и робкого сопротивления девушки изображена в следующем отрывке из Овидия (*Amores*, i, 5, 13: ср. ш, 14, 21 и *Ars*, i, 665):

Легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала, —
Скромница из-за нее все же боролась со мной.
Только сражалась, как те, кто своей не желает победы,
Вскоре, себе изменив, другу сдалась без труда.
И показалась она перед взором моим обнаженной...
Мне в безупречной красе тело явилось ее.
Что я за плечи ласкал! К каким я рукам прикасался!
Как были груди полны — только б их страстно сжимать!
Как был гладок живот под ее совершенною грудью!
Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!
Стоит ли перечислять?.. Все было восторга достойно.
Тело нагое ее я к своему прижимал...
О, проходили бы так чаще полудни мои!
[перевод С. В. Шервинского]

В другом месте у Овидия сказано: «Возможно, поначалу она будет сопротивляться и говорить: «Негодник!», но, даже сопротивляясь, она покажет, что желает твоей победы».

Упомянем в этой связи также две эпиграммы «Палатинской Антологии» (v, 131 и 54), принадлежащие Филодему и Диоскорида; они уже приводились нами ранее.

Для эротических и оорбо интимных прикосновений чаще всего использовалась левая рука (Овидий, *Amores*, ii, 15, И, ср. *Ars*, ii, 706: *pes manus in lecto laeva iacebit iners*; Марциал, xi, 58, 11). Так, Овидий говорит: «Тогда я пожелал, чтобы ты быша рядом со мной и я мог трогать твою грудь и левой рукой ласкать тебя под одеждой».

Я не припоминаю случая, чтобы мне доводилось читать в греческих произведениях подробное описание самого полового акта; это отнюдь не случайность, но следствие эстетического чувствования греков, которые терпели подобные сцены только в сочинениях порнографического характера в собственном смысле слова; что касается римской литературы, то в ней подобные описания встречаются неоднократно.

¹⁰⁴ Насколько мне известно, самым древним местом в греческой литературе, где женские груди сравниваются с яблоками, является сороковой фрагмент Кратета (САР, I, 142), в котором они также сравниваются с плодами земляничного дерева.

ГЛАВА II МАСТУРБАЦИЯ

НАИБОЛЕЕ распространенным и важным субститутом любви является самоудовлетворение, или онанизм¹⁰⁵, — термин, которым несмотря на его ошибочность нам приходится пользоваться ввиду того, что предложенный Хиршфельдом термин «ипсация» так и не прижился.

В греческой жизни онанизм играл отнюдь не малую роль, и поэтому мы не можем обойти его молчанием. В отличие от нас, греки не считали его пороком; как и в случае с большинством прочих сексуальных явлений, они относились к мастурбации без морального предубеждения, присущего нашему времени. Они, конечно, знали о том, что приносящие вред излишества могут иметь место и здесь, однако они понимали, что это относится и ко всем остальным удовольствиям. Таким образом, они видели в онанизме заменитель любви, созданную самой природой отдушину, предотвращающую сексуальные расстройства и тысячи преступлений против нравственности со всеми их последствиями — незаконнорожденностью, лишением свободы, самоубийствами.

Касаясь терминологии, в первую очередь заметим, что в греческом языке имелось поразительно много выражений для этого понятия¹⁰⁶. Так, мы находим слова χειρουργειν, ἀναφλαν, ἀποτυλοῦν, δέφειν, δέφεσθαι, ἀποσκο-λύπτειν. У Аристофана имеется слово ἀναφλύστηρ, выигрывающее в силе оттого, что в Аттике действительно существовал Анафлестийский дем. Термин «мастурбация» происходит от латинского *masturbare*, составленного из *manus* и *turbare* или *stuprare*^m.

Разумеется, греки использовали также шуточные описательные выражения, из которых здесь можно упомянуть четыре наиболее удачных. Греки говорили: «обслуживает себя рукой, как Ганимед», или «поет

¹⁰⁴ Первый научный труд по этой теме был написан лозаннским врачом С. А. Тиссо в 1760 году (S.A. Tissot, *De l'onanisme ou dissertation physique sur le maladies produites par la masturbation*). Широко известно, что термин «онанизм» восходит к первой книге Моисея (Бытие, xxxviii, 9), где Онан, сын Иуды, практикует нечто отличное от того, что ныне понимается под онанизмом, — так называемое «прерванное соитие» (*coitus interruptus* или *reservatus*).

¹⁰⁶ Используемое во многих медицинских трудах слово *cheiromania* — «страсть, [удовлетворяемая] при помощи руки» — в классическую эпоху не употреблялось, поскольку слово *cheiromantis* означало «тот, кто гадает по ладони, предсказатель будущего».

¹⁰⁷ Относительно χειρουργειν см. Диоген Лаэртский (с добавлением αἰδοῖον, О смерти Перегринуса) Лукиана (17) и (без αἰδοῖον, *Lexiph.*, 12; Аристофан, «Лисистрата», 1099, и т.д.; согласно Поллуку (II, 176) — Аристофан (CAF, I, 401) использовал ἀναφλαν и ἀνακλάν в значении «заниматься онанизмом». Тот же корень находим в слове ἀναφλασμός, заимствованном Судой из комедии Евполида (CAF, I, 203); Суда объясняет его как τεχ αφροδισια. Αναφλύστιος — см. Аристофан, «Лягушки», 427. Глагол ἀποτυλοῦν буквально означает «делать твердым посредством трения»; так во фрагменте 204 Ферекрата (CAF, I, 203); ср. Поллукс, ii, 176: ἐκαλεῖτο δε και τυλος το αἰδοῖον, ὅθεν και Φερεκράτης το γυμνοῦν αὐτό τι χειρ! ἀποτυλοῦν εἶπεν. Относительно δέφειν и δέφεσθαι ср. Евбул, фрагм. 120, 5 у Афиней (I, 25с); Артемидор, i, 78; Аристофан, «Всадники», 24; «Мир», 290, и в других местах. Αποσκολύπτειν — см. Софокл, фрагм. 390 (TGF, p. 223).

свадебную песнь рукой», что, по мнению некоторых остроумцев, было полуденным обыкновением у лидийцев, или «женится без жены», или «сражается рукой с Афродитой».

Чаще всего греки использовали для этой цели левую руку. Карл Людвиг Шляйх высказал любопытные психологические наблюдения относительно оппозиции «правая рука — левая рука». Он пишет: «Левая рука ближе к сердцу; в ней больше душевности, кротости, успокоения. Она является органом нежности, поглаживания; левая рука служит как бы смягчающим, примиряющим противовесом своей могучей напарницы».

Онанизм рассматривался греками как средство, способное предотвратить естественную половую деморализацию, и, как свидетельствуют авторы, практиковался теми, кто был лишен возможности вступить в нормальное половое общение.

Принимая во внимание чрезвычайно широкую распространенность этого явления (как в древней Греции, так и сейчас), нетрудно понять, что художники, особенно миниатюристы, очень любили изображать такие сценки на вазах и в глине. Так, в коллекции Королевского Музея в Брюсселе имеется кубок, на котором изображен совершающий акт самоудовлетворения юноша с венком на голове.

Вполне естественно, что о женском онанизме греческая литература говорит значительно реже, так как в целом письменные источники говорят о женщинах куда меньше, чем о мужчинах, и было бы ошибкой *a posteriori* заключить, будто греческие девушки и женщины занимались онанизмом не так часто, как мальчики и юноши. И тем не менее у греческих авторов мы найдем немало мест, где говорится о секретах греческих девушек. Эти отрывки подтверждают то, о чем мы, конечно, вполне догадались бы и без них: женский онанизм осуществлялся в Греции при помощи руки либо при помощи орудий, приспособленных или специально изготовленных для этой цели.

Эти орудия, или «самоудовлетворители», греки называли *баубонами* (*Βαυβον*) или *олисбуами* (*olisbos*). Изготавливали их главным образом в богатом и преуспевающем торговом городе Милете, откуда они экспортировались в различные страны. Некоторые подробности мы узнаем из шестого мимиамба Геронда, озаглавленного «Две подруги, или Доверительный разговор»; здесь описывается, как подруги, поначалу немного смущаясь, а затем без малейшего стеснения беседуют об этих олисбуах. Метро· слышала, что у ее подруги Коритто уже есть свой олисб, или, как она его называет, баубон. Не успев еще им воспользоваться, Коритто одолжила его близкой подруге; но последняя — Евбула — неосмотрительно передала его кому-то еще, так что этот олисб довелось видеть и самой Метро. Она очень хотела бы получить такой инструмент и жаждет узнать имя мастера, выпускающего этот товар. Ей говорили, что его зовут Кедрон, но она не удовлетворена этими сведениями, потому что она знает двух ремесленников, носящих это имя, «о которых она ни за что бы не подумала, что они владеют таким искусством»; весьма примечательно, что она так хорошо информирована о башмачниках, работающих в ее городке, их искусности и именах их

искусности и именах их клиентов. Затем Коритто дает более точное описание этого ремесленника и с восхищением рассказывает об удивительных баубонах, изготавливаемых им. После этого Метро уходит, чтобы приобрести это сокровище для себя.

Такие олисбы девушки иногда использовали в укромной тишине спален, иногда они пользовались одним олисбом сообща. Отрывок из сочинения Лукиана «Две любви» указывает на совместное пользование данным инструментом. В добродетельном негодовании Харикл восклицает: «Применяя бесстыдно изобретенные орудия, чудовищные колдовские жезлы бесплодной любви, женщина возлежит, как мужчина, с другой женщиной; пусть слово, которое до сих пор так редко приходило на слух — мне и сейчас стыдно его произнести — пусть похоть трибад бесстыдно празднует свои триумфы».

Слово *баубон* напоминает о таком мифологическом персонаже, как Баубо, которая из-за своей наготы становится в позднейшую эпоху символом бесстыдства и еще у Гете («Фауст», Первая часть, Вальпургиева ночь) изображается скачущей на свинье.

ГЛАВА III

ЛЕСБИЙСКАЯ ЛЮБОВЬ (ТРИБАДИЗМ)

ЦИТИРОВАННЫЕ выше слова Харикла подвели нас к обсуждению так называемого трибадизма. Под *трибадами* мы подразумеваем женщин, предпринимающих совместные половые действия — будь то ласки руками, куннишнг, сношение посредством олисба или естественным образом. Последнее представляется, на первый взгляд, совершенно невозможным, однако медицинские авторитеты уверяют, что естественное половое сношение между женщинами не такая уж и редкость, так как встречаются девушки с особенно крупными клиторами. В силу очевидных причин автор не считает необходимым касаться чисто анатомических аспектов, относительно которых он отсылает читателя к медицинским справочникам. Нас будет интересовать литературная сторона проблемы, или то, какое выражение трибадизм нашел в литературе.

Слово «трибада»¹⁰⁸ у греческих лексикографов является обычным (нередко используемым и римлянами) обозначением женщины, предающейся гомосексуальным связям; наряду с ним употребляются слова «гетеристрия» (*hetairistria*) или «дигетеристрия» (*dinetaeristria*)¹⁰⁹: и то и другое — производные от «гетера».

Относительно происхождения однополой любви в древности имелись различные мнения, самым известным и остроумным из которых является то, которое Платон вкладывает в своем «Симпосии» в уста Аристофана. Согласно его рассказу, посредством разделения надвое трех изначальных полов, а именно: мужчины, женщины и муже-женщины (андрогина), Зевс придал людям их окончательную форму, так что индивидуум отдает предпочтение тому виду любви, который соответствует полу первоначального цельного существа, от которого он произошел. В силу того, что одна из половин ищет другую, с которой ее разлучили, от изначального мужчины произошли мужи, предающиеся однополой любви, от изначальной женщины — гомосексуальные женщины, из андрогина же — мужчины, взыскующие жен, и женщины, любящие мужчин.

Как мы узнаем из Лукиана¹¹⁰, женский гомосексуализм был, по общепринятому представлению античности, особенно распространен на острове Лесбос, почему и в наши дни говорят о «лесбийской

¹⁰⁸ τριβάς в старых лексиконах; τριβακή ασέλγεια (трибадическое распутство) у Лукиана, *Amores*, 28.

¹⁰⁹ ἑταιρίστρια: Платон, «Пир», 191e; Лукиан, «Разговоры гетер», 5, 2; δῆτοαρίστρια: у Гесихия; *tribas* у Федра, iv, 14; Марциал, vii, 67, 1; *frictrix*, Тертуллиан, *De pallia*, 4; в поздней латыни мы находим слово *frictrix* — «та, которая трет» (*mfricare*, — тереть).

¹¹⁰ Лукиан, «Разговоры гетер», 5, 2.

любви» и «лесбиянстве». На Лесбосе родилась не только Сафо — царица трибад, но и Мегилла — персонаж знаменитых трибадических разговоров в сборнике Лукиана «Разговоры гетер». Согласно Плутарху¹¹¹, сексуальные связи между женщинами были частым явлением в Спарте. Это, однако, не более чем случайные упоминания; само собой разумеется, что в Древней Греции женская гомосексуальная любовь была так же мало связана с определенным местом и временем, как и в наши дни.

О трибадической любви самым подробным образом говорится в том пятом диалоге гетер Лукиана, который не был включен Виландом в его классический перевод сочинений Лукиана. Приведем некоторые выдержки из него:

«КЛОНАРИОН: Удивительные вещи рассказывают о тебе, Леэна. В тебя якобы влюбилась, как мужчина, богачка Мегилла с Лесбоса, и говорят, будто вы живете вместе. Никогда бы не подумала, что такое может случиться. Неужели? Вижу, ты покраснела. Так скажи мне, что в этих разговорах правда.

ЛЕЭНА: Эх, Клонарион, то, что они говорят — правда, только мне стыдно признаться, уж больно все это необычно.

КЛОНАРИОН: Благая Афродита, о чем ты?!

ЛЕЭНА: Мегилла и коринфянка Демонасса тоже пожелали устроить пирушку, на которую пригласили и меня поиграть им на кифаре. Демонасса, да будет тебе известно, так же богата и распутна, как Мегилла. Что ж, я пошла и сыграла им на кифаре. Когда я закончила играть и наступило время сна, обе они были уже под хорошей мухой, и Мегилла сказала мне: «Видишь, Леэна, пришло время как следует выпатся, иди, ложись между нами».

КЛОНАРИОН: Ты так и сделала? И что же случилось потом?

ЛЕЭНА: Сначала они целовали меня, словно мужчины, касаясь не только губами, но и открывая рот и поигрывая языками; затем они обняли меня и стали трогать мою грудь. При этом поцелуи Демонассы походили скорее на укусы. Я уже не знала, что и думать. Вскоре Мегилла, которая к тому времени здорово уже распалилась, сорвала с головы парик, которого я раньше на ней не заметила — столь искусно был он сделан и столь похож на настоящие волосы, — и теперь со своей короткой прической ужасно походила *"на мальчика или даже на настоящего молодого атлета*. В первый момент я просто оторопела. Она же обратилась ко мне и сказала: «Видела ли ты прежде столь прекрасного юношу?» — «Но где же этот юноша?» — спросила я. «Не считай, что видишь перед собой женщину, — продолжила она, — потому что зовут меня Мегиллом, недавно я женился на Демонассе, и теперь она моя жена. Услышав это, я не сдержала улыбки и молвила: «Так, значит, ты мужчина, Металл, а мы об этом и не догадывались: видать, ты, как Ахилл в девичьем платье, рос незаметно среди дев. Но есть ли у тебя тот самый признак мужественности и любишь ли ты Демонассу, как любил бы ее мужчина?» — «Этого, конечно, нет, — возразила она, — да это и не обязательно. Ты скоро узнаешь, что моя любовь еще слаще».

¹¹¹ Плутарх, «Ликур!», 18.

КЛОНАРИОН: Чем же и как вы затем занимались? Об этом я хотела бы получить как можно более точные сведения.

ЛЕЭНА: Не задавай больше вопросов; мне так неловко, что от меня правды ты ни за что не узнаешь».

Наряду с литературными свидетельствами следует также вкратце упомянуть памятники изобразительного искусства. Блох приводит следующие примеры: «На чаше Памфея из Британского музея мы видим обнаженную гетеру с двумя олисбами в руке; схожее изображение находим на чаше Евфрония: обнаженная гетера с набедренной лентой на правой ноге пользуется кожаным олисбом. Яйцевидный предмет, который она держит в правой руке, неоднократно встречается на вазах этого периода, например, в руке у эфеба на заднем плане хранящейся в Лувре чаши Гиерона. Это флакон, маслом из которого гетера окропляет фаллос. В собрании ваз Берлинского музея имеется ваза с весьма интересным изображением, которое, по-видимому, свидетельствует о том, что после использования олисба женщины обычно совершали омовение. Фуртвенглер описывает ее так: «Обнаженная женщина завязывает сандалию на левой ноге; она подалась вперед, обеими руками притягивая к себе красные ленты, и опустила на правое колено, чем достигается наилучшее заполнение поверхности вазы. Плоский таз у ее ног наводит на мысль, что она только что омылась. В свободном пространстве справа от нее видны очертания обращенного к ней большого фаллоса».

Герхард и Панофка описывают несколько терракот из Неаполя со схожими сюжетами: на одной из них (№ 20) обнаженная женщина сидит, обнимая лежащий на ней фаллос; тот же сюжет представлен на терракотах № 24 и № 18. На № 16 изображена лысая старуха, левой рукой опершаяся на подушку и рассматривающая лежащий перед ней фаллос.

В дополнение следует упомянуть краснофигурную аттическую гид-рию (сосуд для воды) пятого века до нашей эры, хранящуюся в Берлинском Антиквариуме. Здесь изображена девушка с пышной грудью и еще более пышными ягодицами; в правой руке она держит гигантский фаллос в форме рыбы.

Знаменитой трибадой была Филенида из Левкадии, написавшая первую книгу о трибадических ласках, которая, по сообщению Лукиана, была снабжена иллюстрациями; впрочем, эпитафия Филениды, составленная Эсхрионом, отрицает, что эта обценная книга была написана ею. Мы не можем с определенностью сказать, тождественна ли ей Филенида, часто упоминаемая Марциалом; вероятнее всего, это имя придумано Марциалом в качестве собирательного адресата его эпиграмм, бичующих современное ему распутство.

Самой прославленной женщиной, имеющей наибольшее значение с точки зрения нашего исследования, была Сафо, или, как она называла себя на эолийском диалекте, Псапфа, знаменитая поэтесса, «десятая Муза» (Anth. Pal., ix, 506; vii, 14; ix, 66, 521; vii, 407), как называли ее восторженные греки, или, как сказал Страбон (Страбон, xiii, 617с), «диво

среди женщин». Она была дочерью Скамандронима; родилась около 612 года до н.э. в Эресе на острове Лесбос или, по другим источникам, в Митилене. У нее было три брата, один из которых — Харакс — значительное время жил в Навкратисе (Египет) с кокетливой гетерой Дорихой, которую прозвали Родопой (розовощекая); в одном из своих фрагментов (фрагм. 138) Сафо порицает брата за эту безрассудную связь. О другом ее брате — Эвригии — нам не известно ничего, кроме имени; третий — Ларих — благодаря своей замечательной красоте был взят виночерпием в митиленский пританей. Упомянутый лишь Судой брак Сафо с Керкилом из Андроса, бесспорно, является выдумкой, которую следует отнести на счет комедии, в которой частная жизнь Сафо весьма рано становится объектом критики, а сама поэтесса, вопреки истине, высмеивается как нимфоманка (фрагм. 75)¹¹². Утверждение, будто у нее была дочь Клеида, также представляет собой не более чем заключение a posteriori на основании некоторых отрывков из ее стихотворений, в которых она говорит о девушке Клеиде, например:

Есть прекрасное дитя у меня Она похожа
На цветочек золотистый, милая Клеида.
Пусть дадут мне за нее всю Лидию, весь мой милый
[Лесбос]...

[перевод В. В. Вересаева]

Судя по тому, что во всех фрагментах любовь к мужчине упоминается лишь однажды, причем поэтесса сразу же ее решительно отвергает, Клеида была скорее одной из подруг Сафо, чем ее дочерью. Роман Сафо с красавцем Фаоном, вне всяких сомнений, является от начала до конца легендой; равным образом, знаменитый прыжок в море, на который она решилась ввиду того, что наскучила Фаону, следует объяснять неверным пониманием распространенной у греков метафоры — «броситься в море с Левкадской скалы», т.е. очистить душу от страстей.

Жизнь и поэзия Сафо пронизаны любовью к собственному полу; в античности — а возможно, и во все времена — она была знаменитейшей жрицей данного типа любви, так что словосочетание «лесбийская любовь» возникло уже в древности. Сафо собрала вокруг себя кружок юных женщин, из которых во фрагментах названы по имени Анагора, Эвника, Гонгила, Телесиппа, Мегара и Клеида; мы узнаем также об Андромеде, Горго, Эранне, Мнасидике и Носсиде. С подругами ее связывали прежде всего поэтические и музыкальные интересы; в ее «доме Муз» (фрагм. 136) девушки обучались всем мусическим искусствам, в частности, игре на музыкальных инструментах, пению и танцам. Она любит своих девочек так горячо и в своих скудных фрагментах говорит о любви с такой страстью, что после усилий Велькера и прочих новая попытка спасти Сафо от упрека в любви к представительницам своего пола — несмотря на все благие намерения — не имеет ни малейших шансов на успех. В согласии с греческим мировоззрением и его сравнительным

¹¹² Андрос — город мужчин, имя Керкил произведено от *kerkos* — пенис

безразличием к таким вопросам, склонность Сафо не считалась грехом; конечно, ей не удалось избежать отдельных насмешек, однако она подвергалась им не из-за своей сексуальной ориентации, но из-за той искренности, с которой она открывала потаенные глубины своей души, из-за ее выхода — расценивавшегося как эмансипация — за пределы домашнего мира, в котором обязана была пребывать греческая женщина той эпохи.

Гораций (*Ep. i, 19, 28*) метко назвал Сафо «мужественной» (*mascula*): *temperat Archilochi Musam pede mascula Sappho*. «Мужественность» ее существа объясняет сафическую любовь и является ключом к пониманию ее поэзии. «Словно ель, колеблемая бурей», она глубоко потрясена всемогуществом Эроса. Ее поэзия проникнута неизреченным счастьем и бездонной мукой любви. Бог в ее груди знает, как придать терзаниям ревности и горю перенесенной измены ошеломляющую форму. Любимейшей из подруг была для нее Аттида; сердечная любовь двух девушек, одаренных исключительной душевной и физической красотой, явственно различима даже в чрезвычайно плохо сохранившихся фрагментах, причем мы в состоянии выявить, по крайней мере, отдельные ее фазы.

К самому началу их любви следует, возможно, отнести слова, в которых Сафо признается, что в груди у нее пылает могучий огонь страсти:

Эрос вновь меня мучит истомчивый —
Горько-сладкий, необоримый змей¹¹³.

И вновь она сознает необоримость бога, которому невозможно противостоять и который является перед ней в новом образе:

Словно ветер, с горы на дуб налегающий, Эрос души тойряс нам...

Она, конечно, ищет способы заставить страсть смолкнуть, и с губ ее не без борьбы слетает трогательная жалоба, которая выдает, что сердце поэтессы рвется на части: «Я не знаю, как быть: у меня два решения». Но напрасна борьба с любовью: «Как дитя к милой матери, стремлюсь к тебе». Когда Сафо наконец понимает, что бесполезно противиться желаниям души, она обращается с проникнутой детским благочестием молитвой к великой богине, которая понимает ее муку, и из ее поэтических уст изливается бессмертный гимн к «ковы плетушей» Афродите. Ей позволено рассказать о своих страданиях, и ода становится исповедью благочестивого, но истомленного страстью сердца. Она призывает богиню помочь ее изболевшей душе; только бы она сошла с небес, как уже сходила однажды, и облегчила ее печали. С подлинно поэтическим воображением она вызывает в памяти образ богини, которая некогда предстала перед ней, с ласковым участием расспросила, почему она так печальна, и обещала

¹¹³ Здесь и ниже фрагменты из Сафо даны в переводе В. В. Вересаева.

исполнить желания ее сердца. К этому воспоминанию она присоединяет мольбу и надеется, что и на этот раз бессмертная будет к ней милостива и окажет ей поддержку:

Пестрым троном славная Афродита,
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя — не круши мне горем
Сердца, благая!
Но приди ко мне, как и раньше часто
Откликалась ты на мой зов далекий
И, дворец покинув отца, всходила
На колесницу
Золотую. Мчала тебя от неба
Над землей воробушков милых стая;
Трепетали быстрые крылья птичек
В даях эфира.
И, представ с улыбкой на вечном лице,
Ты меня, блаженная, вопрошала,
В чем моя печаль, и зачем богиню
Я призываю,
И чего хочу для души смятенной.
«В ком должна Пейто, укажи, любовью
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою
Кто, моя Псапфа?
Прочь бежит? — Начнет за тобой гоняться.
Не берет даров? — Поспешит с дарами.
Нет любвц к тебе? — И любовью вспыхнет,
Хочет не хочет».
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!

Благая богиня не могла устоять против такой мольбы; во всяком случае, она наполнила сердце своей подопечной отвагой и радостной надеждой на любовь, так что Сафо удалось побороть смущение и открыться возлюбленной во второй из полностью дошедших до нас песен, которая приводится Лонгином в качестве образца Возвышенного:

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, — уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как, будто
С жизнью прощусь я.

«Нельзя удивляться тому, что она перечисляет вместе душу, тело, слух, язык, глаза, цвета, сколь бы ни были они сами по себе различны, и что, соединяя противоположности, она в одно и то же время горит и холодеет, лишается чувств и обретает их вновь; она трепещет и чувствует приближение смерти, так что в ней проявляется не одна какая-нибудь страсть, но столкновение страстей».

С этим суждением нельзя не согласиться; следует добавить, что мы должны видеть в этой оде не прощальную песнь, как полагают некоторые, но песнь-ухаживание, изливающуюся из пылкой и открытой души, которая, может статься, после долгих борений находит наконец в себе смелость и позволяет возлюбленной заглянуть на мгновение в свои сокровенные мысли и еще не исполненные желания. Этому не противоречит то, что она называет счастливецом мужчину, который удостоился счастья лицезреть ее прекрасную подругу; здесь ее слова звучат весьма смутно, и у нас нет оснований сомневаться в том, что в действительности она называет счастливым каждого, кто сидит подле ее возлюбленной, не теряя при этом голову от любви; к тому же вполне вероятно, что она намеренно выражается столь неопределенно, ибо ее наделенная живым воображением и опережающая события душа уже предчувствует с горечью тот день, когда любимая будет принадлежать мужчине, и в душу поэтессы вонзается жало ревности еще до того, как ей самой удалось насладиться счастьем любви. Наше понимание этого стихотворения как песни-ухаживания подкрепляется, с другой стороны, тем фактом, что Катулл, стремясь открыть свою страсть возлюбленной и добиться ее благосклонности, перевел его чуть ли не слово в слово. Катуллоva Клодия, однако, слишком хорошо была знакома с поэзией Сафо — в честь знаменитой поэтессы Катулл даже называл ее Лесбией, — чтобы мы могли поверить, будто тонко чувствующий римлянин способен допустить такую оплошность и пытаться завоевать любовь своей Сафо «прощальной песней» настоящей Сафо.

Таким образом, в двух жемчужинах поэзии Сафо нашла свое чистое и трогательное выражение ее любовь к Аттиде, и та не закрыла свое сердце для песен вдохновенной свыше поэтессы. Обе девушки связали себя прочными узами дружбы, благодаря которой на свет было произведено немало прекрасного: множество нежных и глубоких песен дружбы, любви и невинных радостей жизни и множество возвышенных величественных гимнов, когда поэтессой овладевало божественное наитие, размыкавшее ей уста. Немилосердная судьба похитила все это и лишь от случая к случаю мы находим одно-два словечка лесбийской девы, свидетельствующие о ее любви к Аттиде; несомненно, признание, которым она однажды делится в минуту радости, относится к дням безоблачного счастья: «Я любила тебя, Аттида, всем сердцем, когда ты еще не знала об этом».

Принимая во внимание, сколь страстно привязалась Сафо к возлюбленной, мы ничуть не будем удивлены, узнав, что поэтесса была терзаема и муками ревности; она говорит о своей боли словами, в которых чудится упрек, хотя — поскольку они по-прежнему порождены любовью — в них нет особого гнева:

Ты ж, Аттида, и вспомнить не думаешь
Обо мне. К Андромеде стремишься ты.

Были у нее основания для ревности, или только временная разлука исторгла из уст Сафо тихую жалобу, в которой так много чувства?

Луна и Плеяды скрылись,
Давно наступила полночь,
Проходит, проходит время,
А я все одна в постели.

В другой раз Сафо охватывает мучительный страх, и с губ ее невольно срывается вопрос: «Иль кого другого ты любишь больше, // Чем меня?» Но любовь Сафо к Аттиде тем более сердечна, что она нравилась ей еще в те дни, когда была маленькой девочкой и час замужества был от нее далек.

О том, что в конце концов Аттида рассталась с Сафо, мы узнаем из поэтического фрагмента, найденного в 1896 году на папирусе вместе с множеством других отрывков египетским отделением государственных музеев в Берлине. Стихотворение — к несчастью, весьма плохо сохранившееся — обращено к общей подруге, возможно, к Андромеде, которая, как и Сафо, скорбит от того, что возлюбленная ими Аттида пребывает ныне в далекой Лидии:

Ныне блещет она средь лидийских жен.
Так луна розоперстая,
Поднимаясь с заходом солнца, блеском
Превосходит все звезды.

Стихотворение завершается прочувствованным описанием лунной ночи над усеянными цветами полями, когда в чашечках цветов блестит роса и распространяется благоухание роз и донника.

И нередко, бродя, свою кроткую
Вспоминаешь Аттиду ты,
И тоска тебе тяжко сердце давит...

Если, таким образом, наши сведения о задушевной подруге Сафо, почерпнутые из немногочисленных фрагментов, весьма скудны, то о других ее подругах и ученицах мы знаем и того меньше. Клятву вечной верности она облакает в такие прекрасные слова:

Сердцем к вам, прекрасные, я останусь
Век неизменной.

В одном сравнительно обширном фрагменте, который, к несчастью, дошел до нас с несколькими лакунами, одна из ее учениц, чувствуя приближение смерти, трогательно прощается с Сафо, которая призывает подругу крепиться и не забывать ее. Пусть она думает о богине, которую покидает, и вспоминает все прекрасное, чем наслаждались они, служа ей. Она напоминает ей о венках из роз и фиалок, которыми они вместе с Сафо украшали храм, и о совместном служении богине. (Сафо, фрагм. 35, 31, 36; Лонгин, «О возвышенном», 10. Этому знаменитому стихотворению подражал Катулл, li.)

В дружбе Сафо со своими ученицами древние видели сходство с близкими отношениями между Сократом и его учениками; несомненно важное и весьма полезное для суждения о характере этих отношений сравнение подробно проведено философом Максимом Тирским (*Dissert.*, 24, 9), жившим во времена римского императора Коммода. Он говорит следующее: «Что такое страсть лесбийской певицы, как не любовное искусство Сократа? Ибо оба они понимали под любовью одно и то же. Чем были для Сократа Алкивиад, Хармид и Федр, тем же были для Сафо Гирилла, Аттида и Анактория; чем были для Сократа такие соперники, как Продик, Горгий, Трасимах, тем же были для Сафо Горго и Андромеда. Она высмеивает и обличает их, пользуясь тою же иронией, что и Сократ: «Привет тебе, мой Ион», — говорит Сократ; «Приветов много// Дочери Полианакса шлю я...» — говорит Сафо. Сократ заявляет, что очень долго любил Алкивиада, но не желал приближаться к нему до тех пор, пока считал, что тот не поймет его слов; «Ты казалась мне девочкой малой, незрелой», — говорит Сафо. Всех забавляют манеры и осанка софиста; «В сполу одетая деревенщина», — замечает Сафо. Эрот, говорит Диотима Сократу, не сын, но спутник и слуга Афродиты, и Сафо в одной из своих песен обращается к богине: «Ты и твой служитель Эрот». Диотима говорит, что Эрот богат до пресыщения и изнывает от нужды; та же мысль заключена в словах Сафо: «горько-сладостный, причиняющий боЛь». Сократ называет Эрота софистом, Сафо — искусным в речах. Он теряет рассудок от любви к Федру — сердце Сафо судорожно сжимается от любви: так буря в горах колеблет дубы. Сократ упрекает Ксантиппу в том, что она оплакивает приближение его смерти, — Сафо говорит своей Клеиде: «В этом доме, дитя, полном служенья Музам, // Скорби быть не должно: нам неприлично плакать».

Такое сопоставление Сафо и Сократа полностью оправдано. В обоих случаях исключительная чуткость к телесной красоте составляет основание дружеских отношений с молодежью и является предпосылкой эротического характера такой дружбы. О Сократе мы будем говорить ниже. Что же касается Сафо, то, как уже отмечалось на основании сохранившихся фрагментов ее поэзии и почти единственного свидетельства античности, более нет и не может быть ник, ких сомнений относительно эротического характера ее од и отношений с подругами. Даже Овидий, который — нужно заметить — еще мог читать стихотворения Сафо в неискаженном виде, утверждает, что нет ничего более чувственного, чем ее поэзия, и потому самым настоя-

тельным образом рекомендует их чтение девушкам своего времени. В другом месте он ясно говорит, что вся поэзия Сафо была единственным в своем роде курсом обучения женскому гомосексуализму. Наконец, Апулей замечает, что «Сафо писала страстные и чувственные стихи, несомненно, распушенные, и все же столь утонченные, что распушенность ее языка завоевывает благосклонность читателя сладостной гармонией слов». Все это — свидетельства авторов, которые располагали произведениями Сафо в их полноте, а потому их суждения должны стать решающими, тем более что они согласуются с нашими выводами, сделанными по рассмотрении сохранившихся фрагментов Сафо. И именно из этих отрывков явствует, что ее поэзия не только дышала чувственным пылом страсти, но и озарялась чувством, исходившим из интимнейших глубин ее души.

Вне всяких сомнений, постепенно и, главным образом, через посредничество аттической комедии, а позднее, и нездоровой эрудиции духовная составляющая этой поэзии все решительнее отодвигалась на задний план, и Сафо стали считать то ли нимфоманкой, то ли бесстыжей трибадой. Нам известно шесть комедий под названием «Сафо» и две под названием «Фаон», от которых сохранились только скудные фрагменты, однако надежно установлено, что в них изображалась пылкая чувственность поэтессы, которая была самым грубым образом гиперболизирована и даже выставлена на осмеяние. Слово сочетание «лесбийская любовь», напоминающее о происхождении поэтессы, вошло со временем в моду, и глагол «лесбиянствовать» часто встречается уже у Аристофана, в комедиях которого он значит «распутствовать на лесбийский лад». Лесбиянки, несомненно, считались женщинами безнравственными, так что слово это становится синонимом шлюхи (*lakaistria*). Дидим — эрудит, живший во времена Цицерона, — посвятил особое исследование вопросу, была ли Сафо обыкновенной проституткой; распутный характер ее отношений с подругами подчеркивали гуманисты Домиций Кальдерин и Иоанн Британник, а также комментаторы Горация — Ламбин, Торренций и Круквий. Если мы добросовестно рассмотрим все факты, особенно фрагменты ее поэзии, мы поневоле приходим к заключению, что Сафо была вдохновенным художником, выдающимся поэтическим феноменом и в то же время — необузданно чувственной трибадой, пусть и сколь угодно просветляемой золотом своей поэзии¹¹⁴.

В конце IV века жила Носсида, поэтесса из нижнеиталийской Локриды, дерзнувшая поставить себя в один ряд с Сафо (*Anth. Pal.*, vii, 718):

¹¹⁴ Мнения античных авторов о Сафо: Овидий, «Искусство любви», ш, 331, *Nota sit et Sappho, quid enim lascivius ilia? Tristia*, h, 365, *Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare puellas*; ср. также Марциал, vii, 69; x, 35, 15 и Апулей, «Апология», 413. *λεσβιάζειν* — Аристофан, «Птицы», 1308, *λεσβίζειν* — «Осы», 1346; Гесикий, s.v. *Λακιάστρια*; Дидим, *An Sappho publica fuerit*, см. Сенека, «Письма», 88, 37 (M.Schmidt, *Didymi -Chakenteri Fragmenta*, 1854). Обо всех вопросах, связанных с Сафо, ср. P.Brandt, *Sappho. Ein Lebensbild aus den Frithlingstagen altgriechischen Dichtung*, Leipzig, 1905.

Если ты к песням славной плывешь Митиле, о путник,
Чая зажечься огнем сладострастной Музы Сафо,
Молви, что Музам приятна /была и рожденная в Локрах,
Имя которой, узнай, было Носсида. Иди!

[перевод Л. Блуменау]

Она изъявляла восторженное восхищение своими подругами в изящных эпиграммах, некоторые из которых сохранились; в одной из них (*Anth. Pal.*, v, 170) она признается в том, что «нет ничего сладостнее любви» и что, если Афродита не будет милостива к человеку, ему ни за что не узнать, как прекрасны ее цветы.

ГЛАВА IV ПРОСТИТУЦИЯ

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ описания греческих нравов и культуры мы то и дело отмечаем, что в данном случае приходится работать на совершенно неподготовленной почве или — когда дело касалось отдельных глав — что вводные справочные пособия по данному вопросу отсутствуют, то, переходя к теме греческой проституции, нельзя не сказать, что к ней подобные сетования не относятся. Истинно скорее обратное, и автору нужно чуть ли не оправдываться за обилие работ, посвященных этой теме, количество которых в нашем случае весьма трудно определить даже приблизительно. Поэтому нам остается лишь обработать материал, которым нас снабжают легкодоступные справочники, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы общая картина вышла достаточно полной, а затем обратиться к деталям, почерпнутым из малодоступных, а потому и менее известных источников.

В греческой античности на продажную любовь смотрели без предрассудков. Дело не только в том, что женщины, которых можно было нанять за деньги, звались *гетерами* (*hetairae*), что можно было бы перевести как «подательницы радости» или «подруги»; дело еще и в том, что об этих жрицах Венеры говорили и писали совершенно открыто и без тени смущения, а веселейшая роль, которую они играли в частной жизни, нашла свое отражение также и в греческой литературе. Существовало множество сочинений как о гетерах вообще, так и о гетерах отдельных городов, особенно таких, как Коринф или Афины. Даже великий грамматик и филолог Аристофан Византийский (*Ath.*, xiii, 567a; A. Nauck, *Arist. Byz. Grammatici Alexandrini Fragmenta*, 1848) не считал, что унижает свое достоинство, публикуя разыскания о жизни афинских проституток. Из авторов подобных разысканий, согласно списку, приводимому Афинеем, могут быть названы также ученик Аристофана, знаменитый исследователь Гомера Каллистрат (*Ath.*, xiii, 59Id) и филологи Аполлодор, Аммоний Анти-фан и Горгий (Аполлодор, см. Susemihl, II, 41, 54; Аммоний — *ib.* II, 155, 43; Горгий - *Ath.*, xiii, 567a, 583a, 596f).

Фактически от всех этих сочинений сохранились одни названия. Однако до нас дошли остроумные «Разговоры гетер» Лукиана, и на нижеследующих страницах мы переведем или, по меньшей мере, кратко изложим другие источники в соответствии с их содержанием.

Мы уже упоминали «Письма гетер» Алкифрона и приводили некоторые выдержки из них. О «Хриях» Махона, представляющих

собой собрание анекдотов, мы будем говорить в настоящей главе¹¹⁵.

Терминология. Если греки хотели избежать скверного слова «шлюхи» (πόρνοι), они деликатно называли дев, продающих свои услуги за деньги, «гетерами» (εταίραι), то есть «товарками» или «подругами». Существовало множество иных — более или менее грубых — наименований; такие лексикографы, как Поллукс и Гесихий, указывают несколько дюжин синонимов. Среди обозначений, собранных последним, имеются такие: ἀπόφασις, «преграждающая дорогу»; γεφυρίς, «мостовая», или женщина, слоняющаяся у мостов; δαμιουργός, «ремесленница»; δημίη, «публичная женщина»; δρομάς, «бегунья»; ἐπιπαστάς, «постельничья»; касαλβάς (Аристофан, *Eccles.*, 1106) и касάλβη, по схолиасту к «Всадникам», 355, составлены из καλεῖν и σοβεῖν, ибо проститутки сначала «завлекают» мужчин, а затем «гонят их прочь» — весьма сомнительная этимология; сюда же относится глагол касαλβάζειν («Всадники», 355), означающий «обращаться, как с проституткой»; см. Гермипп в схолиях к «Осам», 1164. Схожие обозначения «шлюхи» суть касαύρα, касαυρίς, кас-ωρν'ς (Ликофрон, 1385), касωρῆτις (Антифан у Евстафия, 741, 38) и κάσσα (Ликофрон, 131). С ними могут быть сопоставлены слова касάλβων, касαυρεῖον («Всадники», 1285) и касώριον — все со значением «публичный дом».

Гесихий (Поллукс, vii, 203; Гесихий, περὶ εταίρων καὶ πόρνων; ср. также Евстафий, комм, к «Илиаде», xxiii, 755) перечисляет и другие обозначения шлюх: κατὰκλειστός, «закрытая» (коринфск.), о девушках, содержащихся в публичном доме; λυπτά (гlossa, дошедшая, вероятно, в искаженном виде, означающая собственно «волчица» — намек на алчность и жадность проституток); λωγάς, возможно, то же, что и лаикάς (Аристенет, 2, 16); также лаикаστρια (Аристофан, «Ахар-няне», 529), лаикаζειν, «распутствовать» (Аристофан, *Thesm.*, 57, «Всадники», 167) и лаикаν (Гесихий) с тем же значением; также лωγάγιος, собственно говоря, «игральные кости», поскольку проститутки попадают в руки мужчин, а затем отбрасываются прочь; маχλάς (Anth. Pal., v, 301, 2) и маχλῆς, также маχλοσση (Гомер, «Илиада», xxiv, 30), маχλότης (Схол. к Ликофрону, 771; *Etym. Magn.*, 524, 24) и маχλοῦν, «вести себя подобно шлюхе», маχλεῦειν, «заниматься проституцией»; маχλικός, «распутный» (Манефон, iv, 184) — все производные от маχλός, «нечистый, похотливый» применительно к женщинам; применительно к мужчинам тот же смысл имело слово λάγνος (Lobeck, комм, к Фриниху, 184). К тому же корню, несомненно связанному с лаγός, «заяц» (животное, славившееся своей похотливостью), принадлежат также слова лаγνεῖα — «семяизвержение» (Аристотель, «О природе животных», vi, 21), имеющее и более общее значение «похоть», а кроме того λάγνευμα (у Гиппократ) и лаγνεῖν — с общим значением «сладострастничать» (Лукиан, *Rhet. praec.*, 23).

¹¹⁵ Из современных описаний греческой проституции могут быть названы: F. Jacobs, *Vermischte Schriften*, iv, 311; Becker-Goll, *Charicles*, ii, 85, Berlin, 1877; Limbourg-Brouwer, *Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs*, ii, 174, Groningen, 1883; Pauly-Wissowa-Kroll, *Realencyklopadie der klassischen Altertumswissenschaft*, viii, Sp. 1331, Stuttgart, 1913.

Другие наименования из Гесихия: *πόλος*, «жеребенок»; Евбул (САР, II, 193) назвал гетер «жеребятами Афродиты». *Σαλαβακχώ* — имя шлюхи у Аристофана («Всадники», 765; *Thesmoph.*, 805), которым обитатели Аттики называли всех представительниц этого ремесла. *Σινδῖς*, в собственном смысле слова, — «женщина из страны синдвов», обитавших у подножия Кавказа, отсюда — «проститутка»; *σλοδησιλάυρα* (Евстафий, 1921, 58), в собственном смысле слова, — «подметалка»; *στατή* (безусловно, искаженное чтение) объясняется у Гесихия при помощи слова *κάρδολος* — «квашня»; *στεγίτις* — «покрывальщица»; *χαμοατύπη* (Тимокл у Афиней, xiii, 570f и в др. местах) — собственно, «лежащая на земле»; также *χαμοαυτεῖον* — «публичный дом» (Лукиан, «Нигрин», 22 и в др. местах); *χαμαίτυλος* (Полибий, viii, 11) — «торговец проститутками» и «проститутка»; *χαμαίτυλια* (Алкифрон, 3, 64) — «торговля проститутками»; *χαμαίτυλικός* — «подобный шлюхе»; *χαμαίτυλις* — «шлюха», также *χαμειταρίς* и *χαμειυνάς* (Ликофрон, 319).

Что касается содержателей публичных домов, сводников и сводниц, сутенеров и прочих, то для них греческий язык располагал множеством словечек; некоторые из них были в высшей степени «крутыми»; филологически подготовленного читателя я должен отослать к указателю к четвертому тому выполненного Морицем Шмидтом большого издания Гесихия (Jena, 1857), а также к упоминавшейся в примечании на с. 225 статье из «Энциклопедии реалий» Паули-Виссова-Кролля.

2. ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА

Проститутки, расквартированные в публичных домах (*πορνεία*), занимали самую нижнюю ступень внутри социального слоя *filles de joie*; их называли не гетерами, но просто «шлюхами». В Афинах учреждение публичных домов приписывали мудрому Солону.

Проститутки в публичных домах выставлялись напоказ очень легко одетыми или даже совсем без одежды, так что любой посетитель мог совершать выбор, руководствуясь собственным вкусом. Данное утверждение само по себе заслуживает доверия, и к тому же мы располагаем множеством свидетельств в его пользу. Так, Афиней (xiii, 586e; Евбул, фрагм. 84, САР, II, 193) говорит: «Разве ты не знаешь, что говорится в комедии Евбула «Панихида» о любящих музыку, выманивающих деньги женщинах-птицеловах, разряженных жеребятах Афродиты: они выстраиваются в ряд, словно на смотре, в прозрачных платьях из тонкотканой материи, точно нимфы у священных вод Эридана. У них ты за сущие пустяки можешь купить наслаждение, которое тебе по сердцу, причем без всякого риска».

В комедии «Наннион» (фрагм. 67, САР, II, 187) говорится: «Кто, как вор, засматривается на запретное ложе, — не он ли несчастнейший из людей? А ведь он может видеть обнаженных дев, стоящих при ясном солнечном свете» и т.д.

Далее Афиней говорит: «Также и Ксенарх (фрагм. 4, САР, II, 468) в комедии «Пятиборье» так порицает людей, что живут, как ты,

вождея к дорогим гетерам и свободным женщинам: «...ужасное, ужасное, просто невыносимое совершает молодежь нашего города. И это там, где в публичных домах вдоволь милых девочек — посмотри и увидишь, как с обнаженной грудью в тонких одеждах они выставлены в ряд на открытом солнце; ты можешь выбрать любую, какая понравится, — худую, толстую, полную, длинную, кривую, молодую, старую, среднего роста, зрелую — тебе не нужна лестница, чтобы прокрасться к ним, тебе не нужно карабкаться в слуховое окно или хитроумно пробираться к ним, спрятавшись в куче соломы: они сами почти силой затаскивают тебя в дом, называют тебя, если ты стар, — «папочка», если молод — «братик» или «мальчишечка». Любую из них ты можешь без всякого риска получить за незначительную сумму — днем или ближе к вечеру».

Представляется, что вход в публичный дом стоил сущие пустяки — согласно уже цитированному отрывку из комедиографа Филемона, один обол (около полутора пенсов). Это подтверждает и отрывок из Диогена Лаэртца (vi, 4), где мы читаем: «Когда Аристипп увидел уносящего ноги прелюбодея, он заметил: «Осел! Какой опасности ты мог избежать всего за один обол!» Конечно, плата за вход зависела от места и времени и различалась в соответствии с качеством заведения, однако мы вправе предположить, что в любом случае она была не слишком высока, потому что публичные дома являлись низшей, а потому самой дешевой формой проституции. Разумеется, следует добавить, что наряду с входной платой девушке полагалось сделать «подарок», величина которого определялась предъявляемыми к ней требованиями. Если я правильно понимаю одно замечание у Суды, то стоимость такого подарка колебалась в пределах между оболем, драхмой и статером¹¹⁶.

Из доходов, полученных за счет заработков девушек, содержатель публичного дома (порновоσκόс)¹¹⁷ должен был выплачивать ежегодный налог государству, так называемый проституционный налог (τέλος пор-νικόν)¹¹⁸, собирать который назначался один или несколько специальных чиновников (порνοτελώνης)¹¹⁹. Вознаграждение (μισθώμα), которое посетитель выплачивал девушкам, также фиксировалось особыми чиновниками — агораномами (ἀγοράνομοι)¹²⁰.

Публичные дома, как и вся система проституции в целом, находились под надзором городских должностных лиц — астиномов (αστυνόμοι), в обязанности которых входило поддержание общественных приличий и разрешение споров.

В приморских городах большинство публичных домов размещалось, по всей вероятности, в прилегающих к гавани -кварталах; по ясному свидетельству Поллукса (ix, 5, 34), в Афинах дело обстояло именно так. Однако в районе под названием Керамик, по Гесихию (s.v. Κεραμεικός),

¹¹⁶ Драхма — около девяти пенсов, с т а т е р — около одного фунта.

¹¹⁷ Ср. Демосфен, 59, 30; Эсхин, 1, 188; 3, 214. ¹¹⁸ Эсхин, 1, 119.

¹¹⁹ Филонид у Поллукса, ix, 29; CAF, I, 255 и Vockh, *Public Economy of Athens*.

¹²⁰ Афиней, xiii, 581a, xii, 526b.

также можно было обнаружить множество публичных домов самого разного пошиба.

Керамик — «район гончаров» — простирался от рынка на северо-запад вплоть до так называемого Дипилона, «двойных ворот», а за Дипилоном — называясь уже Внешним Керамиком — тянулся вдоль Священной дороги, которая вела в Элевсин. Интересно отметить, что святость этой улицы религиозных шествий ничуть не умалялась оттого, что на ней стояли многочисленные публичные дома. Через этот район пролегла длинная широкая улица, называвшаяся Дромос («Перспект»), которая вела из внутренней части города и по обеим сторонам была украшена колоннадами, где располагались многочисленные лавки.

Греческие авторы мало говорят об устройстве публичных домов, их убранстве и внутреннем распорядке, но мы вправе предположить, что они едва ли многим отличались от публичных домов Рима и Италии, относительно которых мы информированы достаточно хорошо. На самом деле, греко-римский «дом радости» мы можем посетить даже в наши дни. Всякий, кто знаком с Помпеями, поймет, что я имею в виду: в Двенадцатом квартале Четвертого района, на углу *Vicolo del Balcone Pensile*, под номером 18 расположен *u lupanare*, где молодежь Помпеи давала выход своей энергии, о чем и поныне напоминают многочисленные непристойные фрески и надписи на стенах. Интересно также отметить, что через отдельный вход посетитель по галерее (*pergula*) мог проникнуть сразу на второй этаж.

Гораций и автор «Приапеи» (Гораций, «Сатиры», i, 2, 30; «Приапея», 14, 9) называют римские публичные дома (*fornices* или *lupanaria*) дур-нопахнущими, что, по-видимому, свидетельствует о грязи и нечистоте, а согласно Сенеке (*Controv.*, i, 2: *redoles adhuc fulginem fornicis*), посетитель уносил этот запах на себе, как с мрачным удовлетворением в своей язвительной, сатире (vi, 131) Ювенал говорит об императрице Мессалине, торговавшей своим телом в публичных домах. В каждом таком доме имелось, разумеется, известное количество комнат или «номеров», называвшихся *cellae* (Ювенал, vi, 122, 127; Петроний, 8; Марциал, xi, 45); над каждой комнатой было надписано имя обитавшей в ней девушки (Марциал, xi, 45; Сенека, *Controv.*, i, 2) и, возможно, указывалась ее минимальная такса. Авторы¹²¹ упоминают также различные покрывала (*lodices, lodiculae*), расстилавшиеся на ложе или на полу, и, как нечто само собой разумеющееся, — светильник (*lucerna*)¹²².

Плату девушки брали вперед, о чем, по-видимому, свидетельствует одно место у Ювенала (vi, 125: *exceptit blanda intrantes atque aer poposcif*). Персии называл проститутку также *нонариями* (*nonariae*)¹²³, так как заведения не могли открываться ранее девятого часа (около четырех часов пополудни), «чтобы не отвлекать молодежь от ее занятий». Чтобы завлечь

¹²¹ Петроний, 20; Марциал, xiv, 148, 152.

¹²² Марциал, xiv, 39—42; Гораций, «Сатиры», и, 7, 48; Ювенал, vi, 121; Тертуллиан, «Кжене», ii, 6.

¹²³ Персии, i, 133, и схолиаст: *nona dicta meretrix quid apud veteres a nona hora prostabant, ne mane omissa exercitatione illo irent adulescentes.*

прохожих, девушки стояли или сидели перед *лунанариями*, по каковой причине их также называли *prostibula* или *prosedae* (относительно *prostibulum* см. Ноний Марцелл, v, 8; относительно *proseada* — Плавт, *Poenulus*, I, 2, 54); первое из этих слов произведено от глагола *prostare*, отсюда и «проституция». Если девушка принимала в своей комнате посетителя, она закрывала дверь, вывесив перед этим на двери табличку «*occupata*» — «занята» (Плавт, *Asinaria*, iv, I, 15). В определенный час, вероятно, с приближением утра публичные дома закрывались, как можно заключить из одного места у Ювенала (vi, 127). Мы вполне могли представить, что стены комнат были украшены непристойной живописью, даже в том случае, если бы находки в помпейском «доме радости» не подтверждали эту догадку.

Взгляды древних на сексуальное не позволяли им относиться к посещению публичных домов как к чему-то предосудительному, что с очевидностью явствует из нескольких пассажей античных авторов. Так, в своей знаменитой сатире (i, 2, 31), посвященной половой жизни, Гораций говорит следующее:

Мужа известного раз из-под свода идущим увидя,
Молвил божественно-мудрый Катон: «Твоей доблести- слава!
Ибо, надует когда затаенная похоть им жилы,
Юношам лучше сюда спускаться, хватать не пытаясь
Женщин замужних...¹²⁴

[перевод М. Дмитриева и Н. С. Гинзбурга]

Совершив экскурс в мир римской проституции, вернемся в Грецию. Промежуточное место между обитательницами публичных домов и гетерами занимали «вольноопределяющиеся» проститутки и девицы, рассматривавшие проституцию как средство дополнительного заработка. Нет нужды подробно останавливаться на уличной проституции, потому что ее формы едва ли существенно отличались от тех, что распространены в наши дни. В соответствии с природой вещей, способы общения проституток с клиентами и наоборот были бесконечно многообразны. Несколько любопытных образчиков сохранились в «Палатинской Антологии»; один из них я уже приводил.

Вот еще один пример (Anth. Pal., v, 101):

«Здравствуй, красотка!»
«Привет!» — «А кто впереди... Там?» —
«Неважно!»
«Дело есть у меня!» — «Это моя госпожа!»
«Можно надеяться?» — «Да». — «Сегодня ночью?» — «Что дашь ты?»
«Золото!» — «О, хорошо!» — «Вот!» — «Это мало... Отстань!»

[перевод Ю. Голубец]

¹²⁴ По этому поводу схолия к Горацию замечает: «Однажды, когда Катон проходил мимо публичного дома, некий юноша, смутившись при виде его, попытался незаметно скрыться за углом. Но Катон обратился к нему и сказал, что в его поступке нет ничего предосудительного. Когда же впоследствии он видел того же юношу неоднократно выходящим из того же публичного дома, он остановил его и сказал: «Тогда я похвалил тебя, так как думал, что ты бываешь здесь от случая к случаю, а не что ты здесь живешь». (Ср. также Гораций, «Сатиры», ii, 7, 47).

Мы располагаем эпиграммой Асклепиада (v, 185), в которой он отправляет товарища на рынок за некоторыми покупками для веселого пира с молодой проституткой: тому следует купить трех больших и десяток маленьких рыб, дюжину креветок и не забыть приобрести шесть венков из роз (весьма характерно для греков).

Одна из эпиграмм Посидиппа описывает пирушку четырех юношей с четырьмя проститутками. Одного сосуда Хиосского вина явно недостаточно, и поэтому мальчика-слугу посылают к виноторговцу Аристию сказать тому, что в первый раз он прислал кувшин, наполненный лишь наполовину, — «там не хватало по меньшей мере двух галлонов». Уже говорилось, что такие сценки встречаются довольно часто, особенно в вазописи.

Ритуал, к которому прибегали эти блуждающие жрицы Венеры, желая заполучить мужчину, был практически тем же, что и в наши дни, и в этой связи ничего особенно оригинального сказано быть не может. По воле случая до нас дошла туфелька одной из таких уличных дам. На ее подошве (копия подошвы помещена в монументальном труде Darem-berg-Saglio) выбито слово ΑΚΟΛΟΥΘΙ (что означает: «Следуй за мной»), так что пока девушка ходила в поисках клиента, это слово отпечатывалось на мягкой земле улиц, и у прохожих не оставалось ни малейших сомнений относительно ее ремесла.

Асклепиад (v, 158) упоминает, что однажды он забавлялся с девушкой по имени Гермiona, которая носила пояс с вышитыми на нем цветами и надписью: «Люби меня всегда, но не ревнуй, если и другие будут иметь дело со мной». Это, несомненно, была не уличная проститутка низшего сорта, но гетера.

Уличные проститутки, конечно, бродили всюду, куда их привлекало оживленное городское движение. Поэтому в особенно больших количествах они скапливались в гаванях и на ведущих к ним улицах. Они принимали клиентов у себя дома или в специально снятых комнатах либо отдавались им в темных углах и подворотнях (Катулл, Iviii) или даже среди надгробных памятников, которые соседствовали с некоторыми улицами (Марциал, i, 34, 8), а также в публичных банях (Марциал, ш, 93, 14). Кроме того, существовали заведения, предоставлявшие стол и ночлег, а также постоянные дворы (см. в лексиконах статьи *ματρυλλείον*, *ματρύλλον*, *μαστρύλιον*; относительно таверн см. Афинея, xiii, 567a; Филострат, *Ep.*, 23), называвшиеся по-гречески *ματρυλλεία*; при этом таверны и постоянные дворы, особенно в портовых районах, в любое время гостеприимно открывали свои двери проституткам и их клиентам.

Вряд ли нужно особо подчеркивать тот факт, что легкомысленные компании флейтисток, кифаристок, акробатов и т.п. без труда можно было уговорить деньгами или добрым словом.

3. ГЕТЕРЫ

Гетеры стояли на гораздо более высокой ступени и занимали куда более важное положение в частной жизни греков. От обитательниц публичных домов их отличали как уважение, которым они пользовались

в обществе, так и образованность. «Многие из них, — говорит Хельбиг, — отличались утонченной образованностью и бойким остроумием; они знали, как очаровать наиболее выдающихся деятелей своего времени, — полководцев, политиков, писателей и художников — и как надолго привязать их к себе; они являются наглядным воплощением существования, отмеченного смешением утонченных интеллектуальных и чувственных удовольствий, — существования, которое так почиталось греками того времени. В жизни почти каждой замечательной личности, игравшей выдающуюся роль в истории эллинизма, различимо влияние какой-нибудь знаменитой гетеры. Большинство современников не находили в этом ничего предосудительного. В эпоху Полибия (xiv, 11) прекраснейшие здания Александрии носили имена прославленных флейтисток и гетер. Портретные статуи таких женщин устанавливались в храмах и других общественных строениях рядом со статуями заслуженных полководцев и политиков. И слабеющее чувство чести греческих свободных государств не видело ничего зазорного в том, чтобы венками, а иногда даже алтарями и храмами почитать гетер, которые были близки с выдающимися деятелями» (Ath., vi, 253a).

Нам известно, что гетерам воздавалась и иная почесть, замечательная тем, что ничего более характерного невозможно было бы и помыслить. Совершенно согласно с природой вещей то обстоятельство, что их ремесло процветало главным образом в крупных городах, и особенно в могущественном торговом городе Коринфе, который стоял на Истме и потому омывался водами двух морей. Трудно преувеличить распущенность жизни в этой благословенной метрополии древней торговли. Надпись, обнаруженная в помпейском публичном доме: NIS NAVITAT FELICITAS — «Здесь обитает счастье» (надпись была найдена не в собственно публичном доме, но в кондитерской, где для посетителей нередко держали нескольких проституток) с равным правом могла быть гигантскими буквами начертана у входа в коринфскую гавань¹²⁵. Все, что сладострастная чедовеческая фантазия в других местах могла только вообразить, находило в Коринфе свой дом и зримое воплощение, и очень многие, кому так и не удавалось выбраться из водоворота весьма дорогих удовольствий большого города, теряли в нем репутацию, здоровье и состояние, так что в поговорку вошел стих: «Поездка в Коринф по зубам не каждому»¹²⁶. На улицах города толпились неисчислимые жрицы продажной любви. В районе обеих гаваней размещались бесчисленные публичные дома самого разного сорта, а улицы были затоплены толпами проституток. В известном смысле центром притяжения безбрачной любви и высшим учебным заведением коринфских гетер служил знаменитый храм Венеры, на ступенях которого не менее тысячи гетер,

¹²⁵ О жизни в Коринфе ср. Дион Христомом, 37, 34, который называет его самым распутным (ἐλαφροδιδότατον) из всех когда-либо существовавших городов. Замечание относительно тысяч храмовых девушек заимствовано у Страбона (vii, 378); ср. Гораций, «Послания», i, 17, 36: *non cwis homini contingit adire Corinthum*.

¹²⁶ Т.е. очень немногие располагают средствами, достаточными для весьма дорогих пороков Коринфа (Страбон, vii, 378).

или, как они эвфемистически называли себя, *hierodouli* (храмовые рабыни), занимались своим ремеслом и всегда радостно приветчали своих Друзей.

На неровной почве городской цитадели — твердыни Акрокорин-фа, известного всем из знаменитой баллады Шиллера «Ивиковы журавли», — на окруженной массивными каменными блоками террасе возвышался храм Афродиты (ср. Павсаний, и, 5), который мореплаватели, подходившие с востока или запада, видели уже издалека. Сегодня на том месте, где когда-то встречали посетителей тысячи дев, стоит турецкая мечеть.

В 464 г. до н. э. народ эллинов вновь справлял в Олимпии великие игры, на которых победу в беге на стадий и в пятиборье одержал благородный и богатый Ксенофонт Коринфский. В ознаменование победы Пиндар — самый сильный из эллинских поэтов — сложил блистательный, дошедший до нас эпиникий, который, очевидно, был пропет в присутствии самого поэта — то ли когда победитель был торжественно встречен своими земляками, то ли во время шествия к храму Зевса для посвящения венков богу (Пиндар, *Olympia*, xiii).

Перед тем как вступить в жаркую борьбу, Ксенофонт принес обет (Афиней, xiii, 573 ел.) в случае победы посвятить храму сотню девушек. Помимо указанной Олимпийской оды Пиндар сложил гимн (W. von Christ, фрагм. 122), который был исполнен в храме; под него плясали те гетеры, что удостоились небывалой для своего сословия чести, возможной в одной лишь Греции. К несчастью, от этой оды сохранился только зачин:

Девы о многих гостях,
Служители богини Зова,
В изобильном Коринфе
Воскуряющие на алтаре
Бледные слезы желтого ладана,
Мыслью/ уносясь
К небесной Афродите, матери любви,
И она вам дарует, юные,
Нежный плод ваших лет
Обирать без упрека с любвеобильного ложа...
О, владычица Кипра,
Сюда, в твою сень
Столченный сонм юных женщин для пастьбы
Вводит Ксенофонт,
Радуюсь о исполнении своих обетов.
[перевод М. Л. Гаспарова]

Нетрудно понять, что там, где отношение к проблеме проституции было столь свободно от предрассудков, также и литература — причем в отличие от нас, безусловно, не только медицинского и судебного характера, но и беллетристика — обстоятельно трактовала тему жриц Афродиты. У греков имелась обширнейшая литература, посвященная гетерам; некоторые такие сочинения, подобно «Разговорам гетер» Лукиана, дошли до нас целиком, другие — в виде более или менее фрагман-

ных отрывков. Лукиан набрасывает чрезвычайно колоритную картину, на которой запечатлены гетеры самого разного толка и образа жизни. Махон Сикионский (расцвет — около 300—260 гг. до н.э.), который большую часть жизни провел в Александрии и был наставником Аристофана Византийского, составил книгу «Хрий» (*chreiai* — «достопримечательности»), где в ямбических триметрах занимательно и остроумно излагал всевозможные анекдоты из *скандальной придворной хроники* диадохов. Нетрудно сразу же предположить, что в этой книге, утрата которой достойна самого большого сожаления, важную роль играли гетеры, и это предположение подтверждается подробными извлечениями, сделанными из нее Афинеем. Наряду с Махоном Афиней имел в своем распоряжении немало других книг о жизни гетер, многочисленные детали из которых он приводит в своих «Дейпнософистах», или «Пире ученых мужей» (особенно в тринадцатой книге). Ниже я предлагаю вашему вниманию краткую выборку из этого раздела.

Самые знаменитые гетеры: анекдоты из их жизни, их изречения

Начнем с тех представительниц этого ремесла, которые в то же время выводились на сцене как персонажи комедии. Конечно, это не значит, что они и в самом деле выходили на сцену как исполнительницы, потому что в ту эпоху женские роли по-прежнему игрались мужчинами; мы имеем в виду тех гетер, которых комедиографы делали действующими лицами комедии.

Клепсидра (CAF, II, 182) была героиней комедии Евбула, от которой не сохранилось практически ничего. Ее настоящим именем было имя Метиха, Клепсидрой же ее называли приятели; это слово обозначает «водяные часы», и гетера получила такое прозвище потому, что она одаряла своими милостями строго «по часам», т.е. ровно столько, на сколько она была нанята.

О гетере, звавшейся Корианно, Ферекрат написал одноименную комедию (CAF, I, 162), скудные фрагменты которой показывают лишь то, что здесь высмеивалась страсть этой жрицы Афродиты к выпивке. Здесь также была задействована старая тема комедии: отец и сын влюбляются в одну и ту же девушку и ищут ее благосклонности, причем дело доходит до весьма темпераментных объяснений между соперниками, некоторые образцы которых дают сохранившиеся фрагменты.

Эвник написал комедию «Антея» (CAF, I, 781), однако мы мало что можем сказать как о гетере, носившей это имя, так и о самой комедии, от которой дошла только одна строчка: «Возьми меня за уши и подари поцелуй-с-ручкой» (см. с. 209).

Ничего определенного не известно о гетерах и названных их именами комедиях — «Талатта» (CAF, I, 767) Диокла, «Опора» (CAF, II, 358) Алексиды и «Фанион» (CAF, III, 142) Менандра.

Тот же Менандр вывел в комедии и другую гетеру — именно саму

Фаиду (САР, III, 61), в лице которой на небосклоне греческих проституток взошла первая ослепительная звезда, Фаида (Таис) Афинская могла похвастать тем, что была любовницей Александра Великого и принадлежала к немалому числу гетер, злоупотреблявших могуществом своей красоты в делах политики. Неподалеку от руин Ниневии в битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.) Александр разгромил несметное войско персов. Пока царь Дарий спасался бегством, Александр достиг Вавилона, захватил Сузы, после чего вступил в древнюю персидскую столицу Персеполь. В ознаменование победы он устроил здесь шумное пиршество, в котором приняли участие множество гетер. Среди них была и Фаида, затмевавшая всех своей красотой. Когда опьянение и сладострастие разгорячили кровь мужчин, Фаида воскликнула, обращаясь к царю, что настал момент увенчать все его прежние подвиги венцом бессмертия. Александр должен предать огню дворец персидских царей и тем отомстить за грехи, совершенные персами, которые во времена Ксеркса сожгли храм и святилища афинского Акрополя. Предложение было встречено шумным одобрением захмелевшей молодежи, справлявшей праздник победы вместе с царем; эта чудовищная мысль пришлась по вкусу даже Александру. Тут же под аккомпанемент песен, флейт и сиринг во дворец вносят факелы: во главе процессии — Фаида в облике безумствующей вакханки. Перед ними в гордом величии лежит столица Ахеменидов. Александр бросает первый пылающий *факел*, Фаида — второй, затем факелы обрушиваются со всех сторон, и вскоре удивительное строение погружается в безбрежное море огня (Диодор Сицилийский, xvii, 72; Плутарх, «Александр», 38).

После смерти Александра его любовница и гетера Фаида возвысилась до положения царицы, выйдя замуж за царя Египта Птолемея I. Мы уже говорили,¹¹ что Менандр вывел ее в своей комедии; к сожалению, дошедшие до нас фрагменты столь скудны, что о содержании мы можем только догадываться. От этой комедии сохранилась знаменитая строка, часто цитировавшаяся в древности и приводимая апостолом Павлом в его Первом послании к коринфянам: «худое общество портит добрые нравы» (φθειροῦσιν ἡθὴν χρηστὴ δμῖλαι κακαί). По другим источникам, строка принадлежит Еврипиду, и вполне может быть, что Фаида цитировала их в комедии Менандра. В другом случае она проявила прекрасное знание трагедий Еврипида, когда находчиво и остроумно ответила на грубоватый вопрос, заданный словами Еврипидовой Медеи (Ath., xiii, 585e). По дороге к любовнику, от которого пахло потом, Фаиду спросили, к кому она направляется. «Жить с Эгеем, сыном Пандиона», — отвечала гетера. Ее ответ остроумен вдвойне и действительно замечателен. У Еврипида отправляющаяся в изгнание Медея говорит, что будет искать прибежища у афинского царя Эгея, с которым, т.е. под защитой которого, она и будет жить. Но Фаида придает глаголу эротический смысл. Другая сторона шутки заключается в том, что она производит имя Эгей от корня *aeg-*, который в греческом языке имеет значение «козел» (ἄϊξ, αἰγός), а козел пахнет весьма неприятно.

Это бонмо Фаиды служит естественным вступлением к другим изречениям гетер, которые позволяют читателю познакомиться с беседами греческой *jeunesse doree*, нередко густо приправленными бесстыдными двусмысленностями. То, что гетеры были хорошо начитаны в классической литературе — последнее выдвигалось корифеем искусства любви Овидием как непреременный компонент общественного образования фешенебельных дам его времени, — доказывается не в последнюю очередь пристрастием, с которым они цитировали поэтов (ср. Овидий, «Искусство любви», Н1, 311). Ламия Афинская (Ath., xiii, 577c) была одной из знаменитейших гетер — современниц Деметрия Поли-оркета. Флейтистка по профессии, благодаря своему ремеслу и популярности она приобрела такое крупное состояние, что смогла восстановить разрушенную картинную галерею сикионцев¹²⁷. Столь щедрые пожертвования никоим образом не были редкостью среди греческих гетер; так, согласно Полемону, Коттина посвятила Спарте бронзовую телку; множество схожих примеров приводят другие древние авторы.

Однажды Деметрию пришлось направить послов к Лисимаху. Когда, уладив политические вопросы, послы беседовали с Лисимахом, они заметили крупные шрамы на его руках и ногах. Лисимах объяснил их тем, что однажды ему довелось сразиться со львом, который и оставил эти следы. На это послы, смеясь, отвечали, что и им царь Деметрий показывал на затылке следы укусов страшного зверя — Ламии (Плутарх, «Деметрий», 27).

Некий поклонник Гнафены (Афиней, xiii, 579e — 580f, 583 ел.) послал ей бутылочку вина, добавив, что ему шестнадцать лет. «Для своих лет он что-то маловат», — остроумно ответила гетера.

У Афинея имеется несколько изречений Гнафены, гораздо более остроумных и пикантных, чем способен передать любой перевод без пространных разъяснений и парафразов, так как их соль — это каламбуры, без которых они полностью теряют свою остроту. Дело Гнафены было продолжено ее внучкой Гнафенион («Щечки»). Одному видному чужестранцу, которому было под девяносто, случилось как-то раз остаться в Афинах на празднике Крона; вдруг он увидел на улице Гнафену вместе с внучкой и, так как она ему понравилась, спросил, сколько она берет за ночь. Рассудив по одежде чужестранца, что у него водятся деньги, Гнафена запросила тысячу драхм (около 40 фунтов). Старик решил, что цена непомерно высока, и предложил половину. «Хорошо, старик, — сказала Гнафена, — дай мне, сколько хочешь; я прекрасно знаю, что моей внучке ты дашь вдвое больше» (Афиней, xiii, 581).

Царицы любви: Лайда и Фрина. Существовало две гетеры по имени Лайда, и обе прославились в разнообразных анекдотах и эпиграммах, без того, однако, чтобы их ясным образом различали. Лайда Старшая была уроженкой Коринфа, жила в эпоху Пелопоннесской войны и славилась как красотой, так и алчностью. Среди ее почитателей был не кто иной, как философ Аристипп¹²⁸; по словам Проперция (И, 6, 1),

¹²⁷ Сикион расположен на Пелопоннесе, приблизительно в десяти милях к западу от Коринфа.

¹²⁸ См. роман Виланда «Аристипп», в котором Лайде отведена значительная роль.

одно время у ее дверей томилась вся Греция. Лайда Младшая родилась в Гиккаре на Сицилии и была дочерью Тимандры, подруги Алкивиада. Среди ее любовников называют живописца Апеллеса (Афинея, хiii, 588с) и оратора Гиперида. Говорили, что позднее она последовала в Фессалию за неким Гипполохом или Гиппостратом (Павсаний, ii, 2, 4; Плутарх, *Амор.*, 21, 768а), где ее якобы убили женщины, завидовавшие ее красоте (Афинея, хiii, 589b; App. Anth. Pal., 342).

Ниже мы приведем несколько анекдотов из обильнейшего запаса историй, связанных с именем Лайды, отказавшись от безнадежной попытки различить двух носительниц этого имени.

Когда Лайда была еще девушкой, она пошла за водой к Пирене — знаменитому источнику близ Коринфа. Неся наполненный сосуд на голове или на плечах, она возвращалась домой; в этот момент ее прелестные формы увидел Апеллес, и глаза художника не могли насмотреться на удивительную красоту девушки. Вскоре после этого он ввел ее в круг своих товарищей по цеху; те, однако, расшумелись и не без издевки спрашивали, что делать девушке на мужской попойке, лучше бы он привел с собой гетеру. На это Апеллес возразил: «Не удивляйтесь, друзья, скоро я сделаю из нее гетеру».

Лайда особенно славилась красотой груди, и художники со всех концов света стекались к ней, чтобы увековечить эту божественную грудь в своих картинах.

Аристипп, которого как философа часто упрекали за связь с Лайдой, дал однажды на эти упреки прославленный ответ: «Не я принадлежу Лайде, а она мне».

Кроме того, сообщали, что Аристипп жил с Лайдой на острове Эгина по два месяца в году во время праздника Посидона. Когда домоправитель Аристиппа упрекал его за то, что он тратит на Лайду столько денег, тогда как киник Диоген пользуется ее милостями совершенно бесплатно, Аристипп ответил: «Я щедр к Лайде, чтобы ею наслаждаться, а вовсе не затем, чтобы ею не мог наслаждаться другой».

Сам Диоген мыслил не столь возвышенно. Однажды он сказал Аристиппу на своем изысканно грубом языке: «Как можешь ты спать со шлюхой? Или стань киником, или прекрати с ней спать». Аристипп возразил: «Разве ты считаешь нелепым, если кто-нибудь войдет в дом, где до него уже жили?» — «Отнюдь», — отвечал Диоген. «А если, — продолжал Аристипп, — кто-нибудь взойдет на корабль, на котором до него путешествовало множество народа?» — «Разумеется, нет». — «Тогда те Эе не в чем упрекнуть того, кто живет с женщиной, которая до этого уже принадлежала многим другим».

Фрина, первоначально звавшаяся Мнесаретой, происходила из бео-тийского городка Феспии; она была самой прекрасной, самой знаменитой, но и самой опасной из всех афинских гетер, так что комедиограф Анаксилай (Ath., хiii, 558с, САФ, II, 270) сравнивал ее с Харибдой¹²⁹, которая заглатывает мореплавателей вместе со всей их снастью.

¹²⁹ Харибдой звали также некую гетеру: ср. Аристофан, «Всадники», 248.

Своим бессмертием она обязана не только исключительной красоте, но также скандальной истории, достоверность которой мы не станем сейчас обсуждать. Мы уже упоминали, что Фрина предстала перед судом. Знаменитый оратор Гиперид, взявшийся ее защищать, был уже готов признать дело проигранным. Внезапно его осенило, и он совок одежды с груди своей прекрасной подзащитной, выставив напоказ ее ослепительную красоту. «Судей объял священный трепет, и они не осмелились казнить пророчицу и жрицу Афродиты» (Афинея, xiii, 590d; ср. Гиперид, фрагм. 174 и 181).

Афинея продолжает: «Но еще более прекрасны были те части тела Фрины, которые не принято показывать, и увидеть ее обнаженной было совсем не просто, потому что обычно она носила плотно облегающий хитон и не пользовалась публичными банями. Но когда вся Греция собралась в Элевсинии на праздник Посейдона, она на глазах у всех сняла с себя одежду, распустила волосы и нагая вошла в море; именно это подсказало Апеллесу сюжет для его Афродиты Анадиомены. Знаменитый скульптор Пракситель также был одним из поклонников Фрины и использовал ее как модель для своей Афродиты Книдской».

Фрина однажды спросила Праксителя, какую из своих работ он считает лучшей. Когда же он отказался отвечать, она пошла на хитрость. Как-то раз, когда она была у него, в дом с выражением испуга на лице ворвался слуга и сообщил, что мастерская объята пламенем и что большинство работ, но не все, уже погибли. Пракситель в тревоге вскочил с места и воскликнул: «Все потеряно, если огонь уничтожил моего Сатира и Эрота!» Фрина с умишкой успокоила его и сказала ему, что он может оставаться на месте, потому что она выдумала этот рассказ, дабы узнать, какие из своих произведений он ценит выше всего (Павсаний, i, 20, 1). Эта история в весьма выгодном свете выставляет находчивость Фрины, и мы легко можем поверить в то, что обрадованный Пракситель позволил ей выбрать одну из своих статуй в подарок. Фрина выбрала Эрота, но не оставила его у себя: она посвятила его в храм Эрота, стоявший в ее родных Феспиях, вследствие чего этот заштатный городишко на целое столетие превратился в настоящую Мекку для паломников. Сколь поразительным кажется нам то время, когда благословенные богами художники дарили свои произведения — чье совершенство и поныне наполняет радостью наши души — гетерам, которые затем посвящали их божеству. Величие такого поступка ничуть не умаляет то обстоятельство, что к нему — мы вполне можем это допустить — примешивалось личное тщеславие. Наличие такого мотива доказывает тот факт, что Фрина предлагала восстановить разрушенные стены Фив, если фиванцы согласятся начертать на них надпись: *Разрушены Александром, восстановлены гетерой Фриной*, из чего нетрудно заключить, что ремесло Фрины было настоящим золотым дном, о чем ясно свидетельствуют также античные авторы (Афинея, xiii, 591d).

Обитатели Феспий выказали свою признательность за великодушное принесение в дар статуи Эрота, поручив Праксителю исполнить статую Фрины, украшенную золотом. Она была воздвигнута на колонне из пентеликонского мрамора в Дельфах между статуями царя Архидама и

Филиппа, и это не возмутило никого, кроме киника Кратета, который заявил, что статуя Фрины — это памятник греческому позору (Афиней, хiii, 591b).

Как повествует Валерий Максим (iv, 3), некоторые бесшабашные афинские юноши заключили пари, что прославленный строгостью своего нрава философ Ксенократ не устоит перед чарами Фрины. Во время пышного пира ее ловко поместили рядом с добродетельным мужем; Ксенократ уже изрядно подвыпил, и прекрасная гетера не преминула призывно обнажить свои прелести и принялась возбуждать Ксенократа словами и прикосновениями. Но все было напрасно: искусство соблазнительницы оказалось бессильным против несгибаемой воли философа; и действительно, ей даже пришлось шутливо признать, что, несмотря на свою красоту и утонченность, она потерпела поражение от старика, который был к тому же наполовину пьян. Но Фрина не потеряла голову, и когда собутыльники потребовали от нее уплатить проигранную сумму, она ответила отказом, заметив, что условия пари относились к человеку из плоти и крови, а не к бесчувственной статуе.

Из вышеизложенного видно, что греческим, а особенно аттическим гетерам было не занимать находчивости и остроумия и что их ремесло облагораживали свойственные большинству из них общественные таланты, так что мы вполне понимаем, не только почему первые люди нации не желали отказываться от общения с гетерами, но и почему никто их за это не упрекал. Напротив, любовь (Плутарх, «Перикл», 24) Перикла, который был не только могущественным государственным деятелем, но также мужем и отцом, к Аспасии приобрела чуть ли не всемирную славу, при том, что Аспасия была лишь гетерой, хотя, возможно, духовно и социально стоявшей неизмеримо выше всех других известных нам гетер.

Уроженка Милета, Аспасия рано перебралась в Афины, где благодаря красоте, уму и общительности ей удалось собрать вокруг себя самых выдающихся мужей своего времени. Даже Сократ не стыдился часто бывать у нее, а Платон в своем «Менексе» примечательным образом вкладывает в его уста знаменитую надгробную речь Аспасии. Чтобы жениться на ней, Перикл развелся с женой, и с этого времени ее политическое влияние возросло настолько, что Плутарх даже считает Аспасию зачинщицей войны между Афинами и Самосом за ее родной город Милет. Как бы то ни было, предпочтение, оказываемое ей Периклом, предоставило его противникам прекрасный повод для нападок; народ не желал ничего слышать об участии в политической жизни женщины, к тому же не афинянки, а ионийской чужестранки (Афиней, v, 220b), тем более что нравы женщин Ионии были притчей во языцех. По афинским представлениям, брак Перикла и Аспасии был мезальянсом: прекрасная милетянка считалась не законной женой, а наложницей — женой второго сорта. Поэтому она подвергалась жестоким насмешкам со стороны комических поэтов, и если народ называл Перикла «великим Олимпийцем», то за прозвищем для Аспасии — ее величали Герой — ходить далеко не пришлось. Комедиографы высмеи-

вали ее власть над Периклом, изображая Аспасию то властной Омфалой, то сварливой Деянирой, намекая тем самым на то, что Перикл, идущий на поводу у капризной чужеземной авантюристки, деградирует так же, как Геракл, когда тот рабствовал у Омфалы и находился под каблуком у Деяниры. В наши дни с Аспасией связывают всевозможные слухи, проверить которые нет никакой возможности; утверждали, что она сводила своего мужа со свободными женщинами, а по свидетельству Афиня (xiii, 569f), она, как говорили, содержала самый настоящий публичный дом. Даже Аристофан пытается связать начало великой войны с предполагаемым «домом радости», принадлежавшим Аспасии; в «Ахарнянах» (524 сл.) Дикеополь говорит:

Но вот в Мегарах, после игр¹³⁰ и выпивки,
Симефу-девку молодежь похитила.
Тогда мегарцы, горем распаленные,
Похитили двух девок у Аспасии.
И тут война всегреческая вспыхнула,
Три потаскушки были ей причиною.
И вот Перикл, как олимпиец, молнии
И громы мечет, потрясая Грецию.
Его законы, словно песня пьяная:
«На рынке, в поле, на земле и на море
Мегарцам находится запрещается».

[перевод С. Апта]

Когда Аспасию обвинили в *асебии* (нечестии) и сводничестве, Перикл взялся ее защищать и добился оправдания. По смерти Перикла она вышла за Лисикла — человека низкого происхождения, который благодаря ей приобрел большое влияние.

Свою любовницу Мильто, уроженку Фокеи, Кир Младший в честь ее великого прототипа назвал Аспасией. Она сопровождала его в походе, предпринятом Киром против брата Артаксеркса, а когда он пал при Кунаксе (401 г. до н.э.), стала добычей персидского царя Артаксеркса Мнемона; своей любезностью она очаровала и царя. Позднее она послужила причиной раздоров между Артаксерксом и его сыном Дарием. Отец отказался от нее, обусловив, однако, свой отказ тем, что она станет жрицей Анаитиды¹³¹. Это заставило сына восстать против отца, но за восстание ему пришлось поплатиться жизнью.

Чтобы дополнить то, что было сказано выше о жизни греческих

¹³⁰ Имеется в виду игра в котгаб, многочисленные разновидности которой были излюбленным развлечением во время застолий. Суть ее заключалась в том, что игрок должен был выплеснуть из кубка или изо рта немного вина на чашечки весов или в металлические миски, качающиеся над небольшими бронзовыми фигурами, так что миска опускалась на одну из фигур, затем — ударившись о нее — на другую, и так далее попеременно. В другом случае струей вина метили в плавающие мисочки, что заставляло их тонуть. Относительно описания игры см. Афиня, xv, 666, Поллукс, vi, 109, схолии к Аристофану, «Мир», 343, 1208, 1210 и схолии к Лукиану, «Лексифан».

¹³¹ Изначально — вавилонское божество, культ которого в разных странах принимал различные формы. В Армении с Анаитидой биа связана храмовая проституция (Страбон, xi, 539); в священных городах Каппадокии и Понта богине воздавали поклонение многочисленные священные рабы как мужского, так и женского пола (Страбон, xi, 559; xv, 733).

гетер, я приведу несколько новых незначительных подробностей, в избобилии рассеянных во всей греческой литературе — и в первую очередь из «Палатинской Антологии». Мекий (Anth. Pal., v, 130) посещает гетеру Филениду, которая отказывается допустить неверность своего возлюбленного, хотя потоки слез уличают ее во лжи. Разумеется, столь же — если не более — обычным для гетеры делом была измена своему любовнику или подыскание ему замены. Асклепиад жалуется, что гетера Нико, которая торжественно клялась прийти с наступлением ночи, не держит своего слова: «Клятвопреступница! Уже близится к концу время последней ночной стражи. Мальчики, погасите лампы! Она не придет» (Anth. Pal., v, 150, 164). Если мы вправе связать эти эпиграммы Асклепиаса с другой, принадлежащей тому же автору, у этой гетеры Нико была дочь по имени Пифия; однажды она назначила ему свидание, но когда он пришел, то застал ее дверь запертой; призывая в свидетельницы нанесенной ему обиды богиню ночи, он молит о том, чтобы вскоре перед закрытой дверью любовника Пифии довелось испытать то же, что чувствует он.

Наряду с неверностью и непостоянством гетер особым поводом для жалоб любовников служило их корыстолюбие, немало примеров которого мы находим в самых разных памятниках греческой поэзии. В одной эпиграмме Гедилы (или Асклепиаса) речь идет о трех гетерах — Евфро, Фаиде и Бидион, — которые дали от ворот поворот трем купцам-мореплавателям, обобрав их прежде до нитки, так что теперь они беднее, чем после кораблекрушения. «Посему, — заключает эпиграмма, — избегайте этих пиратов Афродиты, ибо они опасней сирен» (Anth. Pal., v, 161).

Эти жалобы образуют очень старый и постоянно повторяющийся мотив эротической литературы с тех самых пор, как любовь стала покупаться за золото. Чтобы указать хотя бы один пример, процитируем слова Хремила из «Плутоса» (149 ел.) Аристофана:

А вот гетеры, говорят, коринфские,
Пристани к ним бедный, так они внимания
Не обратят совсем, а для богатого
Вертеть сейчас же начинают задницей.

[перевод В. Холмского]

Пример неизменной падкости гетер на золото — чрезвычайно выразительный благодаря своей эффектной краткости — находим в письме куртизанки Филумены своему другу Критону (Алкифрон, i, 40): «Зачем утруждаешь себя длинными письмами? — пишет она. — Мне нужны не письма, а пятьдесят золотых монет. Если меня любишь — заплати; но если деньги ты любишь больше, тогда перестань мне надоедать. Прощай!»

В «Антологии» можно найти сведения и о ценах, запрашиваемых гетерами. Если вывести обобщенное заключение из эпиграммы Антипат-ра (Anth. Pal., v, 109), афинская гетера Европа в среднем довольствовалась драхмой. Но с другой стороны, она услужлива во всех отношениях и делает все возможное, чтобы доставить удовольствие своим посетите-

лям: ложе не испытывает недостатка в мягких покрывалах, а если ночь выдастся холодной, она не покусится на дорогой уголь. Басе (Anth. Pal., v, 125) останавливается на ценовой шкале более обстоятельно и с мрачным юмором заявляет, что он не Зевс, чтобы излиться золотом в открытое лоно возлюбленной, и не намерен произвести на нее впечатление уловками этого бога, который обратился в быка, чтобы умыкнуть Елену, и в лебедя — чтобы осчастливить Леду; он просто платит гетере Коринне «обычные» два обола, и дело с концом! Это, пожалуй, чрезвычайно низкая плата, и мы должны проявлять крайнюю осторожность при выведении подобных обобщенных умозаключений *a posteriori*. С этим не согласуются ни постоянные жалобы на алчность гетер, ни те весьма нелюбезные выражения, которыми их поминают. Так, Мелеагр (Anth. Pal., v, 184, 6) называет гетеру «злым постельным зверем» (κακόν κοίτης θηριον), а Македонии Гипат (v, 244, 8) отзывается о гетерах как о «наемницах радующейся ложу Афродиты».

Если бы их средние дневные, а вернее, ночные доходы не были очень высоки, они, разумеется, не смогли бы себе позволить столь дорогие обетные дары, о которых уже говорилось выше; к этому следует добавить Некоторые сведения из «Палатинской Антологии». Симонид (v, 159; Полемон у Афиная, xiii, 574c) — если эпиграмма действительно принадлежит ему — упоминает двух гетер, посвятивших Афродите украшенные вышивкой пояса; поэт обращается к некоему купцу и иронически замечает, что его кошелек знает происхождение этих дорогих даров.

Особенно часто мы слышим о посвятителных дарах гетер Приапу — и это вполне естественно, ибо Приап является богом чувственной любви. Согласно эпиграмме неизвестного поэта (Anth. Pal., v, 200, 201), в память о священном ночном празднестве прекрасная Алексо посвятила перевитые шерстяными нитями венки из шафрана, мирры и плюща «сладостно-женственному Приапу». Другой — также безымянный — поэт говорит, что гетера Леонтида, наслаждавшаяся любовью с прелестным Сфением до восхода утренней звезды, посвящает лиру, на которой она играла, Афродите и Музам. А может, этот Сфений был поэтом, стихи которого доставили ей удовольствие? Возможно, оба толкования правильны, во всяком случае, текст не позволяет решить вопрос однозначно.

Отметим также эпиграммы Асклепиада и других (v, 202, 203, 205 и т.д.), в которых речь идет о своеобразных дарах гетер.

Другому — к сожалению, также неизвестному — поэту принадлежит прекрасная эпиграмма (v, 205), посвященная гетере Нико. В дар Афродите она принесла *iunx* — то магическое колесо,

...что ведает, как из-за моря

Мужа извлечь поскорей, из дому выманить жен,

Златом отделан искусно и выточен из аметиста...

Дар, перетянутый нитью из пряжи нежно-пурпурной...

[перевод М. Грабарь-Пассек]

В жизни гетеры чрезвычайно важную роль играла, конечно же, косметика в самом широком смысле этого слова, и из множества античных источников, трактующих эту тему, я приведу несколько особенно характерных примеров. В первую очередь, это эпиграмма Павла Силенциария (Anth. Pal., v, 208), из которой следует, что, посещая своих гетер, молодые люди особенное внимание уделяли тщательному подбору одежды. Они изящно завивали волосы, аккуратно подстригали и полировали ногти и надевали самую изысканную пурпурную одежду. Лукиан (xi, 408) высмеивает стареющую гетеру, желающую скрыть морщины на лице посредством всевозможных косметических ухищрений, красками для волос, свинцовыми белилами и румянами. «Не утруждай себя, — не без жестокости добавляет он, — никаким гримом из Гекубы не сделаешь Елены». От Лукилия (xi, 68) до нас дошла язвительная эпиграмма:

Лгут на тебя, будто ты волоса себе красишь,
Никилла, — Черными, как они есть, куплены в лавке они.

[перевод Л. Блуменау]

Фрагмент из Аристофана (фрагм. 320, у Поллукса, vii, 95; CAF, I, 474) содержит полный список тех вещей, что использовались женщинами в качестве вспомогательных и косметических средств, в котором помимо прочего перечислены: маникюрные кусачки, зеркала, ножницы, грим, сода, фальшивые волосы, пурпурные оборки, банты, ленты, румяна (т.е. алкана красильная), белила, мирра, пемза, нагрудные ленты (бюстгальтеры), ленты для ягодиц¹³², вуали, косметика, изготовленная из водорослей, ожерелья, краска для глаз¹³³, мягкие шерстяные платья¹³⁴, золотые украшения, сетка для волос, пояс, мантилья, утреннее платье¹³⁵, платье, окаймленное пурпуром с двух сторон, и платье с пурпурной кромкой, платье со шлейфом¹³⁶, сорочки, гребни, сережки, кольцо с драгоценными камнями, простые серьги, серьги в виде виноградных гроздьев, браслеты, застежки для волос, пряжки, ремешки для лодыжек, цепочки, колечки, мушки, подкладки для волос, искусственные члены¹³⁷, драгоценные камни, крученые серьги и множество других вещей, о которых мы не знаем ничего, кроме названия.

Комедиограф Алексид (см. с. 102—103) в забавном отрывке описывает, сколь искусны гетеры в подаче своих существующих прелестей и имитации прелестей несуществующих.

¹³² Ὀπίσθοσφενδόνη Возможно, их использовали для затягивания слишком полных ягодиц и уменьшения их объема, либо они обвязывались непосредственно вокруг ягодиц, поднимая их и делая их более выпуклыми У Поллукса (v, 96) σφενδόνη обозначает женскую головную повязку или бинт, применяемый такими врачами, как Гален и Гиппократ, при менструации

¹³³ Так называемые ὑλόραττιο или στίμμι — пережженная и истолченная в порошок сурьма Они применялись для подведения глаз, а также для подкрашивания бровей и ресниц

¹³⁵ τριφοκαλάσιμος

¹³⁶ I ак я перевожу слово τριφοκαλάσιμος, которое, насколько мне известно, обозначает предмет женской одежды только здесь

¹³⁶ ξυστίς — длинное одеяние для торжеств.

¹³⁷ ὀλισβοί

Профессия гетеры требовала не только тщательного пользования косметикой, но также большой ловкости в поведении, знания мужских слабостей и немалой находчивости в том, чтобы извлечь из этих слабостей как можно большую прибыль. Можно сказать, что со временем для гетер были созданы самые настоящие катехизисы, которые поначалу существовали в виде устной традиции, но со временем были зафиксированы в письменном виде. До нас не дошло ни одного из этих учебников гетер, но античные произведения содержат достаточно отрывков, чтобы позволить нам составить адекватное представление о композиции таких книг. Хорошо известно стихотворение Проперция (iv, 5), в котором сводня произносит настоящую лекцию о том, какими средствами девушка может вытянуть из своего любовника как можно больше денег. «Прежде всего, — говорит сводня, — тебе следует забыть само слово «верность»; ты должна овладеть искусством лжи и притворства и не обращать ни малейшего внимания на требования скромности. Веди себя так, словно у тебя есть и другие любовники: это держит мужчину в напряжении и питает его ревность. Ничего страшного, если любовник приходит временами в бешенство и таскает тебя за волосы; напротив, это дает свежий предлог для выуживания у него денег; немало поводов предоставляет также суеверие. Скажи ему, что сегодня день Исиды или какой-нибудь религиозный праздник, в который полагается воздерживаться от половых сношений. Вновь и вновь возбуждай его ревность: пиши при нем письма, и постарайся, чтобы он всегда видел следы укусов на твоей груди и шее — это заставит его поверить в то, что они оставлены другим. Возьми за образец не назойливую любовь Медеи, но гетеру Фаиду и те методы, с помощью которых она лущит своих любовников. Строго — настрого накажи своему привратнику: если ночью он услышит стук в дверь, пусть отпирает только богатым; для бедняков дверь должна оставаться закрытой. Не отвергай и тех, что принадлежат к низшим классам, — например, моряков и солдат; пусть их рука тяжела, зато деньги дает тебе именно она. Что касается рабов, то если они пришли с деньгами в своих карманах, ты не должна презирать их лишь за то, что когда-то они продавались на Форуме. Что возьмешь с поэта, который в стихах возносит тебя до небес, но не способен принести мало-мальски щедрого подарка? Пока по твоим жилам бежит горячая кровь, а щеки не покрыты морщинами, пользуйся временем и молодостью, которая так скоротечна».

Схожий катехизис сводни находим в «Любовных элегиях» Овидия (*Amores*, i, 8). После вступления, в котором мы знакомимся со старой сводней, ее тайными искусствами и чарами, ее отвратительным ремеслом, поэт, которому удалось подслушать ее наставления, вкладывает в уста старухи разработанную до мельчайших подробностей лекцию (*προ-αυτοῦσια*) о сводничестве. «Юноша влюблен в тебя, — говорит она девушке, — конечно же, из-за твоей красоты. Если бы только ты была столь же богата, сколь и красива, я, разумеется, была бы только в выигрыше. Впрочем, момент выдался благоприятный, и юноша не только мил, но и богат. Ты краснеешь? Румянец идет к твоему бледному телу, но краска стыда тебе не к лицу; оставь ее для скромных

матрон старого доброго времени. Помни вот еще что: скромность — привилегия старых дев. Даже образец целомудрия Пенелопа ценила истинную мужскую силу. Подумай о подкрадывающейся старости и о том, что мужчины будут пользоваться твоей красотой лишь до тех пор, пока она у тебя есть; чем больше любовников, тем лучше. Твой нынешний воздыхатель — всего лишь нищий поэт; гений — чепуха, самое главное, чтобы мужчина как можно больше платил. При этом условия ты можешь ошастливать даже раба. На меня не производит никакого впечатления ни знатность твоего утонченного и благовоспитанного господина, ни его красота, которой он может пользоваться в своих интересах. Все, что тебе нужно делать, — это как следует его доить; завлекай его любовью, но заставь платить; постоянно подпитывай его надеждами на то, что он получит желаемое, затем уступи — только бы он платил. Скажись больной, только не переборщи; в противном случае перепалкой ты ничего не добьешься. Не скупись на слезы и клятвы. Помни о главном: пусть всегда что-нибудь дает тебе, твоей сестре, матери или кормилице. Никогда не уставай изобретать поводы к этому. Не забудь разжечь в любовнике ревность — от этого любовь будет лишь крепче. То, что он не хочет тебе дарить, бери у него взаймы; вытяни это у него при помощи медоточивых слов, и тебе не придется возвращать взятое назад. Ты всегда будешь благодарна мне за мою науку». Здесь поэт взрывается словами негодования: «Только бы мне добраться до твоего увядшего тела, мерзкая сводня!», и проклятия на голову старухи заканчивают попытку Овидия изложить латинским стихом мотивы, заимствованные из комедии и элегии.

Последнее предложение подтверждает правомерность моего обращения к латинским источникам при изображении греческих нравов. То, о чем говорят здесь два римских поэта (Проперций и Овидий), является общим достоянием греков, отражением греческой жизни, какой ее подавала комедия и любовная элегия александрийцев; в конечном счете это достояние перешло на вооружение римской поэзии. Мне уже ранее представилась возможность рассмотреть (по крайней мере, сжато) катехизис греческой гетеры, составленный Герондом (с. 47—49); я также упоминал «Разговоры гетер» Лукиана (с. 46), в которых интересующий нас материал содержится в изобилии. Так, в шестом диалоге мы читаем следующие наставления, даваемые матерью дочери:

«КРОБИЛА: Ну вот, теперь ты знаешь, Коринна, что это не так уж страшно, как ты думала, сделаться из девушки женщиной, проведя ночь с цветущим юношей и получив целую мину, как первый заработок. Я тебе из этих денег сейчас же куплю ожерелье.

КОРИННА: Хорошо, мама, и пусть в нем будут камни огненного цвета, как у Филениды.

КРОБИЛА: У тебя и будет такое. Послушай только, что тебе нужно делать и как вести себя с мужчинами. Ведь другого пути у нас нет, дочка, и ты сама знаешь, как прожили мы эти два года после того, как умер твой отец. Пока он был жив, всего у нас было вдоволь. Ведь он был кузнецом и пользовался большой известностью в Пирее; послушать надо было, как все клялись, что после Филина уже не будет другого

такого кузнеца. А после его смерти сначала я продала клещи, и наковальню, и молот за две мины, и на это мы просуществовали месяцев шесть, а потом то тканьем, то пряднем, то плетнем едва добывали на хлеб, но все же я растила тебя, дочка, в единственной надежде.

КОРИННА: Ты имеешь в виду эту мину?

КРОБИЛА: Нет, я рассчитывала, что ты, достигнув зрелости, и меня будешь кормить, и сама легко приоденешься и разбогатеешь, станешь носить пурпурные платья и держать служанок.

КОРИННА: Как это, мама? Что ты хочешь сказать?

Кробила: Что ты должна сходиться с юношами и пить с ними и спать с ними за плату.

КОРИННА: Как Лира, дочь Дафниды?

КРОБИЛА: Да.

КОРИННА: Но ведь она гетера!

КРОБИЛА: В этом нет ничего ужасного. Зато и ты будешь богата, как она, имея много любовников. Что же ты плачешь, Коринна? Разве ты не видишь, сколько у нас гетер, и как за ними бегают, и какие деньги они получают? Уж я-то знаю Дафниду, клянусь Адрастеей, помню, как она ходила в лохмотьях, пока дочка не вошла в возраст. А теперь видишь, как она себя держит: золото, цветные платья и четыре служанки.

КОРИННА: Как же Лира все это приобрела?

КРОБИЛА: Прежде всего, наряжаясь как можно лучше и держась приветливо и весело со всеми, не хохоча по всякому поводу, как ты обыкновенно делаешь, а улыбаясь приятно и привлекательно. Затем она умела вести себя с мужчинами и не отталкивала их, если кто-нибудь хотел встретить ее или проводить, но сама к ним не приставала. А если приходила на пирушку, беря за это плату, то не напивалась допьяна, потому что это вызывает насмешки и отвращение у мужчин, и не набрасывалась на еду, забыв приличия, а отщипывала кончиками пальцев кусочки, ела молча, не уплетая за обе щеки; пила она медленно, не залпом, а маленькими глотками.

КОРИННА: Даже если ей хотелось пить, матушка?

КРОБИЛА: Тогда в особенности, Коринна. И она не говорила больше, чем следовало, и не подшучивала ни над кем из присутствующих, а смотрела только на того, кто ей платил. И за это мужчины любили ее. А когда приходилось провести ночь с женщиной, она не позволяла себе никакой развязности, ни небрежности, но добивалась только одного: увлечь его и сделать своим любовником. И все за это ее хвалят. Так что если ты этому научишься, то и мы будем счастливы; ведь в остальном ты намного ее превосходишь. Прости, Адрастея, я не говорю ничего больше! Была бы ты только жива, дочка!

КОРИННА: Скажи мне, матушка, все ли, кто платит нам деньги, такие, как Евкрит, с которым я вчера спала?

КРОБИЛА: Не все. Некоторые лучше, другие уже зрелые мужчины, а иные и не очень красивой внешности.

КОРИННА: И нужно будет спать и с такими?

КРОБИЛА: Да, дочка. Именно эти-то и платят больше. Красивые

считают уже достаточным то, что они красивы. А тебе всегда надо думать лишь о большей выгоде, если хочешь, чтобы в скором времени все девушки говорили друг другу, показывая на тебя пальцем¹³⁸: «Видишь, как Коринна, дочь Кробилы, разбогатела и сделала свою мать счастливой-пресчастливой?» Сделаешь это? Знаю, что сделаешь и превзойдешь легко их всех. А теперь поди помойся, на случай, если и сегодня придет юный Евкрит: ведь он обещал» [перевод Б. Казанского].

В первом диалоге гетеры Гликера и Фаида беседуют о видном военачальнике, который прежде был любовником прекрасной Абро-тонон, затем Гликеры, а теперь непостижимым образом влюбился в уродку. С немалым удовольствием перечисляют они все ее уродства: жидкие волосы, бледные губы, тонкая шея с выпуклыми венами, длинный нос. Однако они достаточно справедливы, чтобы оценить ее высокую стройную фигуру и оболстительный смех. Единственное, на их взгляд, объяснение, почему бравого вояку подвел его вкус, — он околдован матерью девушки, проклятой ведьмой и отравительницей, которая знает, как совлечь луну с неба, а ночью летает по округе.

4. СУЕВЕРИЯ В ВОПРОСАХ СЕКСА

В вопросах секса, а вместе с тем и в практике гетер суеверие играет наиважнейшую роль, о которой я уже имел случай сказать, разбирая вторую идиллию Феокрита. То, что идеи просвещения не смогли одержать верх, но, напротив, суеверие оказалось неискоренимым, явствует, помимо всего прочего, из недвусмысленного предостережения против «фессалийских искусств», которое Овидий считает своим долгом высказать в «Искусстве любви» (*Ars*, ii, 99). Он говорит: «Все эти фокусы — гиппоманес (с. 79), магические травы, формулы и любовные напитки не имеют никакой силы, как показывают примеры Медеи и Кирки; обе были знаменитыми колдуньями, и тем не менее их черное искусство не сумело предотвратить измены мужей — Ясона и Одиссея». Однако такие просвещенные голоса оставались одиночками; массы твердо верили в колдовство — что имеет место и в наше время, — и племя гетер, для которых любовь была и должна была быть материальным содержанием жизни, никогда не могло полностью освободиться от суеверия.

Не притязая на то, что наше изложение будет пусть даже приблизительно полным, приведем здесь несколько дополнительных замечаний относительно греческого суеверия в том, что касается половой жизни. Согласно Плинию, сок растения *κράταβουρον* (блосница дизентерийная) был самым действенным средством для того, чтобы родился мальчик, и с этой целью родители должны были пить этот сок по три раза в день, постясь в течение сорока дней. Главкий (у Плиния, xx, 263) приписывает

¹³⁸ Когда на человека показывали пальцем, это расценивалось не как осуждение, а скорее как комплимент; ср. Персии, i, 28: *digito monstrari et dicier* «Nec est».

то же действие чертополоху. Я уже указывал на то, что *agnus castus* (Плиний, ххiv, 59; Диоскорид, *Mat. med.*, i, 134) ввиду его ослабляющего действия на половое влечение, раскладывался женщинами на ложе во время Фесмофорий (с. 78). Согласно Ксенократу (у Плиния, хх, 227), сок мальвы, как и связка из трех ее корней, возбуждали в женщине страсть. Зернышко мальвы, прикрепленное к мешочку на левой руке, служило защитой от поллюции. По Диоскороду (Диоскорид, *M.m.*, ш, 131; Плиний, ххvi, 95; ххvii, 65) мужчины, желавшие иметь сына, должны были есть большой корень ятрышника (Knabenkraut), а женщины, желавшие иметь дочь, — его меньший корень. Если пить этот корень свежим в козьем молоке, половое влечение усиливается, если есть его высушенным — ослабевают. Если под мужчину подложить растение *pesoluta* (Плиний, хxi, 184), он становится бессильным. Возбуждающее действие имел также *saturion*, если держать его в руке (Диоскорид, ш, 134; Плиний, ххvi, 98 и 96); считалось, что его корень имеет те же свойства, что и корень ятрышника. Корень дикого цикламена (Геофраст, «История растений», ix, 9, 3; Диоскорид, ii, 193; Плиний, ххv, 114), носимый в качестве амулета, ускорял роды; если беременная женщина наступала на него, он приводил к выкидышу. Этот корень использовался также в приготовлении любовных напитков. Всякий, кто принимает «морские розы» (водяные лилии), должен расплачиваться за это двенадцатидневной импотенцией (Плиний, ххv, 75). Если подложить под кровать *габротон* (кустарниковая полынь), следовало ожидать усиления полового влечения (Плиний, хxi, 162); он также являлся безотказным средством против чар, препятствующих зачатию. Человек, который носит как амулет корень аспарагуса, становится бесплодным (Диоскорид, 151).

Пепел растения *brya* (Плиний, ххiv, 72), смешанный с мочой быка, делал мужчину импотентом; по мнению магов, его можно было смешивать также с мочой евнуха. По Теокрыту (ш, 28), растение *telephilon* (опийный мак) использовалось для любовных прорицаний; лист мака складывали мешочком и, держа его тремя пальцами, ударяли по нему ладонью; если раздавался громкий хлопок, это расценивалось как доброе знамение.

Для защиты от «злого волка» (кровотечения в районе ягодичных мышц) к ягодицам следовало приложить абстинтий (вермут)¹³⁹. Сердцевина ветвей гранатового дерева, о котором Геофраст рассказывает несколько невероятных историй, повышала половую потенцию (Плиний, ххvi, 99); другим средством добиться того же результата было ношение в браслете правого яичка осла (Плиний, ххviii, 261).

Если беременная ест яички, матку или сычужок зайца (Плиний, ххviii, 248), у нее рождается мальчик. Съев заячий эмбрион, можно исцелиться от бесплодия. Если курицы сбивались на крестьянском дворе в кучу, это являлось несомненным признаком того, что их хозяин находится под башмаком у жены (Schwartz, *Menschen und Tiere im Altertum*, «Люди и животные в древности», 1888). Так как петух помог

¹³⁹ Схолии к Аристофану, «Всадники», 1578; Катон, *De agricultum*, 159; Плиний, ххvi, 91.

Лето в ее тяжелых родовых муках, его (Элиан, *Hist. an.*, iv, 29) подносили к беременной для облегчения родов; с этой же целью до бедер роженицы дотрагивались собачьей плацентой, не соприкасавшейся с землей. Если женщина поедала яичко петуха непосредственно после зачатия, она могла быть уверена в том, что у нее родится мальчик (Плиний, xxx, 123); а если кто-нибудь мочился там, где до этого помочился пес, «сила его чресел убывала» и он становился бессильным (Плиний, xxix, 102; xxx, 143).

Примечательное суеверие было связано с гиеной (Плиний, viii, 105): полагали, что раз в год она меняет свой пол, — это представление оспаривал Аристотель (*De generatione animalium*, Hi, 66). Самка краба, истолченная в ступке и перетертая с водой и солью после полнолуния, якобы излечивала карбункулы и воспаления матки (Плиний, xxxii, 134).

Если мужчине требовалось сделать импотентом, его следовало выпачкать в мышином навозе (Плиний, xxxviii, 262). Если женщина носила с собой *mullus* (съедобная морская рыба), ее менструальная кровь теряла свое ядовитое действие (Плиний, xxviii, 82). Считалось, что ворон некогда имел сношение с женщиной посредством своего клюва; поэтому если ворона вносили в дом беременной, ее ожидали тяжелые родовые муки; если женщина поедала воронье яйцо, у нее происходил выкидыш через рот (Плиний, x, 32; Аристотель, *De gen. an.*, Hi, 66; Плиний, xxx, 130). Если женщина во время зачатия поест запеченной телятины, приправленной травой *aristolochia* (Плиний, xxviii, 254), у нее родится мальчик. Верили, что зачатию способствует коровье молоко (Плиний, xxviii, 253).

Важное значение для суеверия имели также половые органы; Рисе (*Realenzyklopadie*, i, 85 ел.) собрал по этой теме огромнейший материал, среди которого находим следующее: «Обнажение женских половых органов — с каковым действием связан такой непристойный жест, как кукиш, — разрушало магические чары, и вследствие этого их изображение или символ носили в качестве амулета. Выставление этой части тела напоказ было особенно действенным против града, плохой погоды, морской бури; эффект усиливался в том случае, если в этот момент у женщины были месячные; и действительно, когда такое «заклятие» использовалось с сельскохозяйственными целями — в частности, для уничтожения паразитов — наилучших результатов можно было ожидать только в том случае, если оно произносилось в период менструации, когда злые силы, приписывавшиеся женщинам в этом положении, могли вступить в игру самым активным образом. Плиний наряду с прочими весьма наглядным образом описывает пагубное воздействие на все окружающее менструирующей женщины. Стоит ей коснуться руты, и та увядает; один только ее взгляд на огурцы и тыквы высушивает их или, в лучшем случае, делает кислыми; молодая виноградная лоза ломается от ее прикосновения, ткани в корыте чернеют, бритвы тулятся, лагунь ржавеет, у лошадей случаются выкидыши, а зеркало, в которое она посмотрится, тускнеет — хотя, если женщина будет после этого неотрывно смотреть на его тыльную часть, к нему вернется прежний блеск.

Особенно большим могуществом обладает женщина, менструирующая впервые в жизни или сразу после потери девственности; магическое действие имеют сами менструальные выделения, даже если они не вступают в контакт с объектом. Так, для предотвращения града выделения девушки сжигались на поле вместе с лавром; пропитанная ими тряпка, сжигаемая под любым ореховым деревом, заставляет дерево увянуть, а если ее расстелить вдоль дверного порога, все злые заклятия лишаются своей силы внутри дома.

Страшная сила была присуща также моче менструирующей женщины, однако свойство противодействовать любому магическому заклятию принадлежало любой моче, и в «Геопонике» говорится, что в случае некоторых лошадиных заболеваний Гиерокл предпочитал мужскую мочу¹⁴⁰. Раб одного из друзей Порфирия понимал, к примеру, язык птиц, но однажды ночью мать помочилась ему в ухо, чем лишила сына его дара. Плиний рассказывает далее, что действенность мочи как средства против заклятия повышается в том случае, если, помочившись, в нее плюнуть, и что собственная моча обладает несомненными исцеляющими свойствами. Смочив ее каплей макушку, исцелялись от укуса сороконожки; от змеиных укусов следовало пить либо собственную мочу, либо мочу мальчика, еще не достигшего половой зрелости; орехи перед посадкой помещались в нее на пять дней; менструальные пятна можно было вывести только при помощи мочи той женщины, которая их произвела; что же касается женского бесплодия, то здесь не было средства более действенного, чем моча внуха.

Эскременты не обладали той же силой, что и моча, хотя, согласно Эсхину, в запеченном виде они использовались как лекарство от многих заболеваний, а кал новорожденного, введенный в матку, был средством от бесплодия.

Целительными свойствами наделялось также особенно материнское молоко, и пес, который однажды отведал молоко женщины, недавно родившей сына, никогда не заболел бешенством. Молоко женщины, у которой родилась дочь, было только косметическим средством, но тот, кого лечили посредством бальзама, приготовленного из молока матери и дочери, на всю оставшуюся жизнь приобретал иммунитет от глазных болезней¹⁴¹.

Не лишено интереса то, что многие из этих народных снадобий вплоть до самого недавнего времени пользовались популярностью в европейской глубинке.

Мы имели уже случай указать — особенно в связи с нашими наблюдениями относительно фаллического культа, — на большое значение, придаваемое греками мужским детородным органам; данная тема

¹⁴⁰ Согласно Плинию (xxviii, 52) *sordes virilitatis* использовались также в качестве лекарства от укуса скорпиона, последствия которого, как говорится в том же месте, во время полового акта могли быть перенесены с мужчины на женщину.

¹⁴¹ Источники, излагающие эти и множество тому подобных суеверий, суть следующие: Плиний, «Естественная история», vii, 64 ел.; xvii, 266; xxviii, 38, 44, 52, 65, 67, 73, 77, 79, 81, 82, 84, 85; xxix, 65; Колумелла, *Dererustica*, χ, 358 ел.; xi, 3, 38, 50, 64; Кассиан Басе, «Геопоника», i, 15; χ, 2, 3, 64, 67; xii, 2, 5, 8, 20, 25; xvi, 2, 10; Порфирий, *De abstinentia*, iii, 3; Диоскорид, *Materia medico*, u, 99.

будет затронута также в последующих главах, так что здесь вполне достаточно сделать лишь несколько замечаний. Слово *βασκαίνει* в воспроизведено в латинском *fascinare*; оба они обозначают «заклинать», но также и «разрушать заклятье». Заклятием, которого опасались в античности больше всего, был дурной глаз¹⁴², жертвой которого может стать каждый, даже если его обладатель не питает дурных или враждебных намерений. И действительно, можно сказать, что каждый, чьи глаза выглядели или были расположены необычным образом — особенно если это наводило на мысль о дурных замыслах, — считался способным оказывать пагубное воздействие на окружающих; даже в наши дни на юге боязнь «дурного глаза» весьма велика.

Средства защиты от этой напасти были в высшей степени многочисленными, и то, что их объединяет, — это предполагаемая способность отвращать нежелательный взгляд, отпугивая его или приводя в замешательство. Считалось, что самый действенный способ вызвать такое замешательство — это заставить обладателя дурного глаза взглянуть на изображения или слепки половых органов. Разумеется, идея заключалась не в том, чтобы «глаз немедленно отвернулся, устыдившись», но в том, что враждебный глаз будет заклят и зачарован видом непристойности, так что он будет видеть только срамное и на время окажется безвредным для всего остального. Этим объясняется, почему половые органы — предпочтительно мужские — рисовались или имитировались скульптурно повсюду, где особенно опасались действия дурного глаза. Таким образом, фаллос — иногда колоссальных размеров — можно было видеть почти везде: на домах и воротах, в общественных местах, на таких предметах повседневного пользования, как сосуды и светильники, на одежде и украшениях, на кольцах, застежках и т.п.; его носили за ручку и сам по себе; считалось, что его действие иногда усиливается, если он изготовлен в форме животного, с когтями и крыльями, или если к нему прикреплены колокольчики — звон металла рассматривался как действенное противоядие? от колдовства и всевозможных демонических существ. Этим и объясняется мода на фаллические амулеты, которая современному зрителю показалась бы верхом бесстыдства, не знай он ее истинных причин. Я уже подчеркивал тот факт, что еще и в наши дни фаллические амулеты легко увидеть и приобрести на юге.

В античности амулеты в форме женского полового органа был куда менее распространенным явлением, но это объясняется просто. Греки наделяли мужчину большей силой, и поэтому его гениталии были более действенным средством против сглаза.

Вместо того чтобы изображать на амулетах настоящий женский орган, нередко его воспроизводили символически в виде фиги (греч. *σῆκον*), которую часто можно видеть на сохранившихся образцах.

Эти амулеты были самой различной величины и изготавливались из самых разных материалов; их носили открыто или тайно, по

¹⁴² *Fascinum* : например, Гораций, «Эподы», 8, 18: *minusve languet fascinum*, о чем Порфирион заявляет следующее: *fascinum pro virile parte posuit, quoniam praefascinandis rebus haec membri diffomitas apponi solet.*

отдельности или в связке, так как даже тогда считали, что «большое складывается из малого». Люди были настолько уверены в их действенности, что одно обладание ими уже рассматривалось как достаточно эффективное средство.

Разумеется, суеверия играли большую роль и в собственно половой жизни. Так называемое «завязывание узлов» (любое заклинание с целью предотвратить беременность) было прекрасно известно мудрым женщинам античности и их женской клиентуре; ненавистную соперницу посредством заговора можно было околдовать так, что у нее выпадали все волосы и она лишалась всей своей красоты (Овидий, «Любовные элегии», i, 14, 39), а ревнивые или завистливые девушки могли лишиться мужчину его лучших способностей — временно или навсегда. Используемые методы были различны — иногда это было заклинание, иногда — наркотик, например, слабый настой болиголова (Овидий, «Любовные элегии», ш, 7, 27), который следовало ухитриться подмешать в питье жертвы; иногда использовался «кукольный» метод, для которого требовалось лишь изготовить восковую куклу (там же, 29 ел.; «Героиды», 6, 21) объекта колдовства и воткнуть иглу туда, где находится печень, после чего мужчина становился импотентом, ибо древние считали печень (Феокрит, xxx, 10; Гораций, «Оды», i, 13, 4; 25, 13) средоточием чувственных желаний.

Тайные способности, в том числе способность делать мужчин бессильными, приписывались также шерстяной нити (ср., например, Anth. Pal., v, 205; Гораций, «Сатиры», i, 8, 30), перед которой, согласно Клименту Александрийскому, люди испытывали особенный страх.

Сколь широко распространились эти суеверия, явствует из того факта, что правила и предписания, посредством которых считалось возможным пробудить любовь, превратить бесплодие в плодovitость, короче говоря, исполнить все желания любящего, были сведены в систему и зафиксированы письменно, так что постепенно из книг подобного рода возникает целая литература, при помощи которой любовники могли укрыться за всегда широко распахнутыми воротами суеверия во всех мыслимых затруднениях. Нижеследующие образчики этой литературы могут представлять ныне особый интерес, так как от пронизательного наблюдателя не ускользнет тот факт, что так называемая «окультная наука» в последнее время стоит на ногах все тверже. Спиритизм и теософия суть магические слова, которые предлагают спасение известной части встревоженного человечества. Бесчисленные филиалы окультных союзов в больших городах и не очень раскрывают свои тайны адептам, трепещущим от предвкушения мистики и волшебства; мудрые женщины, умеющие с помощью изогнувшегося дугой kota предсказывать будущее по узорам на кофейной гуще или раскладу карт, не могут пожаловаться на то, что дела их идут плохо. Точно так же и в античной Греции верили, что правильное использование сил природы, а также принуждение, применяемое и против самих богов, способны одарить человека множеством благ, например, здоровьем и богатством, но прежде всего любовью, или околдовать врага и довести его до болезни и смерти. Чем с более ранней эпохой имеем мы дело, тем проще

обычные магические формулы, которые постепенно, особенно в эллинистический период, под влиянием тайной науки Востока становятся столь изощренными, что их доверяют письму. Отдельные предписания были собраны в большие магические книги, часть которых (около двенадцати), датированная позднейшим периодом греческой античности, дошла до нас. Важнейшая и самая интересная из этих книг (Richard Wiinsch, *Aus einem griechischen Zauberpapyrus*), хранящаяся ныне в Национальной библиотеке Парижа, была составлена в четвертом веке нашей эры — в то время, когда новая вера еще не полностью вытеснила старые суеверия.

Мы приведем несколько примеров из этой рукописи, столь интересной с точки зрения истории культуры, а все необходимые не филологу разъяснения будут даны в квадратных скобках. Предваряя наш образец, следует заметить, что он представляет собой любовное заклинание; здесь содержатся предписания насчет того, как снискать любовь девушки ворожкой и с помощью богини Гекаты подействовать на нее так, как это угодно заклинателю. В греко-восточной магии Геката тождественна богине луны Селене, тогда как последняя объединяется с Артемидой и Персефоной, богиней подземного мира, так что в соответствии со своими тройственными функциями Геката имеет три ипостаси; тем самым она превращается в богиню Трех Дорог, которые, согласно суеверной фантазии, с незапамятных времен населены демоническими существами. Мысль, лежащая в основе данного любовного заклинания, сводится к тому, что богиня должна «пыткой» доставить девушку к домогающемуся ее заклинателю; но чтобы богиня это сделала, в «хулительной» части девушка обвиняется в клевете на нее. Легко смеяться над такой наивностью, но не следует забывать о том, что многие наши современники ждут от богов, не говоря уже об обычаях тех племен, которые даже и сегодня воображают, что воздают своим богам тем большие почести, чем больше плюют на их образ.

Полное греческое магическое заклинание состоит из следующих частей: во-первых, восхваляется могущественное действие рецепта; затем описываются существенные части необходимого приношения или жертвы и показывается, каким образом данная жертва используется в данном заклинании; к этому примыкает формула *логоса*, или молитвы, в соответствии с которой в жертвенный огонь подсыпается новая порция фимиама. Затем принимаются меры предосторожности, чтобы чары не повредили самому заклинателю — ибо духи особенно чутки именно в такие моменты. Затем следуют указания по изготовлению амулета и вторая-молитва — с тем, чтобы сделать получение ожидаемого результата еще более несомненным, — и один или несколько стихотворных гимнов, восхваляющих могущество богини, а в качестве противовеса — стихотворение, перечисляющее злодеяния девушки, чтобы богиня приступила к ее преследованию и, как было сказано выше, «пыткой» доставила ее к молящему. Хвалебный гимн написан размером героической поэзии — эпическим гекзаметром, а стихи-поношение — ямбами, которые использовались для хулы с тех самых пор, как некая прачка, ставшая после

этого знаменитой, вернула поэта Архилоха из классических сфер поэзии к прозаичной действительности: «Посторонись, дружок, не то перевернешь лохань» (Dracon. Straton., 162, Непп.: ἀλελθ', ἀνθρώπε, τὴν σκαφὴν ἀνατρέτεις).

Пусть же теперь старая магическая книга говорит сама за себя:

«[Восхваление] Приготовление дымного жертвоприношения, очаровывающего богиню луны. Без сопротивления и в тот же день оно доставляет сюда душу [того, к кому относится заклинание]; оно приковывает врага к ложу болезни и убивает его наверняка; оно насылает блаженные сновидения и показало свою действенность в большинстве заклинаний. Панкрат, жрец гелиопольский, совершил это приношение перед лицом императора Адриана и тем доказал ему силу своей божественной магии; чары возымели действие через час, болезнь последовала через два, смерть — через шесть; самого императора он погрузил в сон, во время которого тот ясно видел все вокруг себя околдованным и сообщал об этом. Пораженный искусством пророка, он постановил выплатить ему двойной гонорар.

[Предписание] Возьми землеройку и «обожестви» ее в воде источника [т.е. «убей ее»; этого слова следовало избегать, так как оно являлось недобрым предзнаменованием]; сделай то же самое с двумя лунными жуками, но в воде потока; затем возьми речного рака, жир пятнистой девственной козы, кал собакоголовой обезьяны, два яйца ибиса, на две драхмы [около девяти грамм] камеди, мирровой смолы и шафрана; на четыре драхмы италийской альпийской травы, и фимиама, и лук без боковых отростков. Помести все это в ступку, тщательно истолки и храни смесь на случай необходимости в свинцовом сосуде. Когда захочешь ею воспользоваться, возьми от нее из сосуда, поднимись с жаровней на чердак и, когда восходит луна, принеси смесь в жертву со следующей молитвой, и немедленно явится Селена.

[Молитва] Пусть рассеется надо мной угрюмая пелена облаков и пусть передо мной ослепительно восстанет богиня Актиофида, внемлющая моей святой молитве, потому что я разоблачаю клевету гнусной и нечестивой Н.Н. [здесь заклинатель вставляет имя интересующей его девушки]. Она выдала священные таинства людям. Н.Н. еще сказала: «Я видела, как великая богиня покинула свод неба и необутой стопой, с мечом в руке шла над землей в молчании». Н.Н. еще сказала: «Я видела, как она пьет кровь». Н.Н. сказала это, не я. Актиофида Эресхигаль Небутосалевфи Форфорбаса Трагиаммон [возникшие под влиянием восточного чародейства магические имена богини]! Пойди к Н.Н., лиши ее сна, разожги пожар в ее душе и покарай ее смятением безумия, преследуй ее и приведи из любого места и из любого дома ко мне!

После этих слов принеси жертву и издай громкие крики [чтобы удержать внимание богини], спиной вперед спустись вниз, и вскоре явится душа околдованной. Ты, однако, открой ей дверь, иначе она умрет [так как ее преследует разгневанная богиня, которая достигнет ее в случае промедления].

Если же ты хочешь наслать на кого-нибудь болезнь, используй ту же молитву и добавь: «Наведи болезнь на Н.Н., дочь Н.Н.». Если она

должна умереть, тогда скажи: «Возьми дыхание, госпожа, из ноздрей Н.Н.». Если ты хочешь навести сновидение, моли так: «Приди к ней в облике богини, которой служит Н.Н.». Если же ты сам желаешь увидеть сон, скажи: «Приди ко мне, госпожа, и подай мне во сне совет о том-то и том-то», и она придет к тебе и сообщит все без обмана. Однако не пользуйся этим заклинанием необдуманно, но лишь когда у тебя имеются для этого веские причины.

[Амулет] Существуют также меры предосторожности, чтобы не случилось с тобой несчастья. Если кто-нибудь прибегает к этому заклятию неосторожно, богиня обычно заставляет его скакать по воздуху и низвергает его с высоты на землю. Поэтому я считаю полезным описать также амулет. Но храни его в тайне! Возьми лист лучшего папируса и носи его на правой руке во время жертвоприношения. На листе должны быть начертаны слова: «Мулафи Хернуф Амаро Мулландрон! Защити меня от злого духа — мужского или женского!» И все же храни его в тайне, сынок!»

В тексте оригинала за этим следуют упомянутые гимны — хвалебный в гекзаметрах, хулительный в ямбах. Хвалебный гимн весьма напоминает орфические гимны, его слова звучат торжественно и таинственно, пробуждая в некоторых душах чувство благоговейного страха. Ямбы содержат поругание, которому якобы подверг богиню объект колдовства, позволяют лучше ощутить могущество суеверия, мраком которого необразованные люди были окутаны в четвертом веке нашей эры. Для того чтобы сделать некоторые детали понятными, потребовались бы обстоятельные объяснения; однако следует сказать хотя бы о том, что верующие люди того времени полагали вполне совместимым с сущностью божества то, что оно поедает плоть и пьет кровь. Таким образом, книга заклинаний, небольшой раздел которой был нами только что приведен, представляет собой примечательный документ античности, и кто может сказать, сколь многие пользуются этими и схожими формулами, чтобы достичь — или не достичь — предмета своих желаний?

Сегодня, разумеется, никто не накладывает заклятий согласно этому предписанию; однако изменилась не сущность, а только форма, и вечно истинны слова Шиллера: «Сами боги сражаются с глупостью впустую».

5. «РАЗГОВОРЫ ГЕТЕР» ЛУКИАНА

После этого экскурса в область любовной магии мы возвращаемся к «Разговорам гетер» Лукиана. Во втором диалоге гетера Миртион жалуется своему любовнику Памфилу на то, что он бросает ее ради женитьбы на дочери судового маклера. Все его клятвы оказались пустыми, он забыл свою Миртион, и это при том, что она находится на восьмом месяце беременности — «самое худшее, что может случиться с гетерой». Она не станет подбрасывать ребенка, особенно если это окажется мальчик; она назовет его Памфилом и воспитает как свое горькое утешение. А кроме того, он выбрал себе в жены уродину с бесцветными косыми глазами.

Памфил отвечает, что она, несомненно, выжила из ума, если прислушивается к таким бабьим рассказням, или же у нее похмелье, хотя вчера она выпила совсем немного. Наконец выясняется, что всему виной — недоразумение: Дорида — чересчур ретивая служанка Миртион — видела венки на доме Памфила и слышала доносящиеся оттуда звуки свадебного веселья; она немедленно поспешила к госпоже сообщить о том, что дочь судового маклера вступила в этот дом молодой женой. Только в спешке она перепутала дом Памфила с домом его соседа. Итог размовке подводит радостное примирение; как любовники отпраздновали счастливое разрешение недоразумения, Лукиан деликатно предоставляет домыслить воображению читателя.

Ревность лежит в основе третьего диалога, который приводим здесь целиком.

«МАТЬ: С ума ты сошла, Филинна? Что это с тобой сделалось вчера на пирушке? Ведь Дифил пришел ко мне сегодня утром в слезах и рассказал, что он вытерпел от тебя. Будто ты напилась и, выйдя на середину, стала плясать, как он тебя ни удерживал, а потом целовала Ламприя, его приятеля, а когда Дифил рассердился на тебя, ты оставила его и пересела к Ламприю и обнимала его, а Дифил задыхался от ревности при виде этого. И ночью ты, я полагаю, не спала с ним, а оставила его плакать одного, а сама лежала на соседнем ложе, напевая, чтобы помучить его.

ФИЛИННА: А о своем поведении, мать, он, значит, тебе не рассказал? Иначе бы ты не приняла его сторону, когда он сам обидчик: оставил меня и перешептывался с Фаидой, подругой Ламприя, пока того еще не было. Потом, видя, что я сержусь на него, он схватил Файлу за кончик уха, запрокинул ей голову и так припал к ее губам, что едва оторвался. Тогда я заплакала, а он стал смеяться и долго говорил что-то Фаиде на ухо, ясное дело, обо мне, и Фаида улыбалась, глядя на меня. К тому времени, когда они услышали, что идет Ламприй, они уже достаточно нацеловались; я все же возлегла с Дифилом на ложе, чтобы он потом не имел повода попрекать меня. Фаида же, поднявшись, первая стала плясать, сильно обнажая ноги, как будто у ней одной они хороши. Когда она кончила, Ламприй молчал и не сказал ни слова, Дифил же стал расхваливать ее грацию и исполнение: и как согласны были ее движения с кифарой, и какие красивые ноги у Фаиды и так далее, как будто хвалил красавицу Сосандру, дочь Каламида, не Фаиду — ты же знаешь, какова она, ведь она часто моется в бане вместе с нами. А Фаида, такая дрянь, говорит мне тотчас с насмешкой: «Если кто не стыдится своих худых ног, пусть встанет и тоже спляшет». Что же мне еще сказать, мать? Понятно, я встала и стала плясать. Что же мне оставалось делать? Не плясать? И признать справедливой насмешку? И позволить Фаиде командовать на пирушке?

МАТЬ: Самолюбива ты, дочка. Нужно было не обращать внимания. Но скажи все же, что было после?

ФИЛИННА: Ну, другие меня хвалили, один только Дифил, опрокинувшись на спину, глядел в потолок, пока я не перестала плясать, уставши.

МАТЬ: А что ты целовала Ламприя, это правда? И что ты перешла к нему на ложе и обнимала его? Что молчишь? Это уж непростительно.

ФИЛИННА: Я хотела помучить его в отместку.

МАТЬ: А потом ты не легла с ним спать и даже пела, между тем как он плакал? Разве ты не понимаешь, что мы бедны, и не помнишь, сколько мы получили от него, и не представляешь себе, какую бы мы провели зиму в прошлом году, если бы нам не послала его Афродита?

ФИЛИННА: Что же? Терпеть от него такие оскорбления?

МАТЬ: Сердись, пожалуй, но не оскорбляй его в ответ. Ведь известно, что любящие отходчивы и скоро начинают сами себя винить. А ты уж очень строга всегда к нему, так смотри, как бы мы, по пословице, не порвали веревочку, слишком ее натягивая».

[перевод Б. Казанского]

Четвертый диалог начинается с предположения о том, что любовник Мелитты ей изменил. Она жалуется на эту обиду своей подруге Вакхиде и говорит ей, что молодой человек отдалился от нее без всякой причины. Она видела на стене в Керамике надпись: «Мелитта любит Гермотима», и чуть ниже: «Судовщик Гермотим любит Мелитту». Но это все чепуха; она даже не знает судовщика по имени Гермотим. Не будет ли ее подруга столь добра, чтобы подыскать ей одну из тех старух, о которых говорится, будто своими чарами и заклинаниями они способны напомнить неверному любовнику о его долге и склеить осколки разбитой любви. По счастью, Вакхида знает колдунью, «довольно бодрую и крепкую сириянку», которая уже помогла ей однажды в схожих любовных -затруднениях и не очень дорого взяла; она просит только драхму и хлеб, «...и нужно еще, — говорит Вакхида, — кроме соли, дать семь оболлов, серу и факел. Старуха берет это себе. Нужно подать ей и кратер вина, разбавленного водой; она одна будет его пить. Понадобится еще что-нибудь, принадлежащее самому Харину, например плащ, или сандалии, или немного волос, или что-нибудь в этом роде». — У меня есть его сандалии. «Она повесит их на гвоздь и станет обкуривать серой, бросая еще и соль в огонь и называя при этом имена, его и твое. Потом, достав из-за пазухи волшебный волчок, она запустит его, бормоча скороговоркой какие-то варварские заклинания, от которых дрожь берет. Так она сделала в тот раз. И вскоре после этого Фаний вернулся ко мне, хотя товарищи упрекали его за это, и Фебида, с которой он жил, очень упрашивала его. Скорее всего, его привели ко мне заклинания. И вот еще чему научила меня старуха — как вызвать в нем сильное отвращение к Фебиде: надо высмотреть ее свежие следы и стереть их, наступив правой ногой на след ее левой, а левой, наоборот, на след правой, и сказать при этом: «Я наступила на тебя, и я взяла верх!» И я сделала так, как она велела» [перевод Б. Казанского].

Пятый диалог посвящен лесбийской любви и не имеет отношения к теме нашего разговора; шестой диалог мы приводили ранее (с. 244 ел.)

В седьмом диалоге, в котором участвуют мать и ее дочь Мусарион, воспроизведен низменный ход мыслей умудренной матери-сводни, которая не способна думать ни о чем, кроме денег, тогда как ее неопытная

дочь все еще верит в идеальную любовь и мечтает о браке с самым миловидным из своих любовников, хотя он почти нищий. Наивность девушки изображена здесь столь же мастерски, как и сугубо материалистический прагматизм ее матери, которая обращается к дочери с такими словами: «Твой Херея все сидит сложа руки, разоряя нас. Но тебе следует быть мудрее, Мусарион. Ты думаешь, тебе всегда будет восемнадцать лет? Или ты воображаешь, будто Херея останется при нынешнем образе мыслей, когда разбогатеет и мать подыщет ему богатую невесту? Ты думаешь, будто, когда он увидит, что ему в руки идут пять талантов, он вспомнит о твоих слезах, поцелуях и клятвах?»

В восьмом диалоге принимают участие гетера Ампелида, которая занимается этим ремеслом уже двадцать лет, и восемнадцатилетняя Хрисида. После нескольких кратких замечаний о пользе ревности в делах любви и о том, что иногда весьма целесообразно привести любовника в ярость, Ампелида, делаясь своим богатейшим опытом, рассказывает, как она поступила однажды с одним из своих поклонников. Он никогда не давал ей более пяти драхм (около пяти шиллингов) за ночь, но, возбуждая в нем ревность, она довела его до такого состояния, что он, боясь ее измены, расстался с целым талантом (около 250 фунтов), лишь бы восемь месяцев владеть ею безраздельно.

Девятый диалог не представляет достаточного интереса, чтобы излагать его здесь.

Десятый диалог показывает, что гетер иногда посещали также и школьники; я вернусь к нему позже, так как он представляет большой интерес для истории греческих нравов.

В одиннадцатом мы застаем юношу Хармида на одном ложе с гетерой Трифеной. Но вместо того, чтобы предаваться радостям любви, молодой человек всхлипывает, как ребенок. После долгих уговоров Трифене убеждает его поведать о своем горе; оказывается, он безумно влюблен в гетеру Филематион, но предмет его страсти недоступен: отец держит юношу на коротком поводке и поэтому он не в силах заплатить ту немалую сумму, в которую Филематион себя оценила. Тогда она прогнала Хармида и, чтобы его позлить, открыла свои двери Мосхиону. Он же, чтобы заставить страдать Фыематион, пришел к Трифене. Но Трифена знает, как исцелить его недуг. Она неопровержимо доказывает, что его обожаемая Филематион выглядит юной благодаря всевозможному притворству и обману, тогда как на самом деле ей уже сорок пять. Ему не доставит ни малейшей радости лицезреть эту «погребальную урну» раздетой и тем более обладать ею. Эти откровения немедленно обращают Хармида в новую веру; молодой человек отбрасывает разделяющую их простыню, которую он положил между собой и Трифеной, чтобы уклониться от ее ласк, и, исполнившись вожделения, со словами «Черт с ней, с Филематион!» бросается в объятия Трифены.

После всего сказанного о греческих гетерах мы должны еще раз белло подчеркнуть, что общение с ними никоим образом не сводилось к однократному наслаждению (хотя, конечно, это тоже было не редкостью), но что нередко возникала привязанность, длившаяся более или

менее продолжительное время, в которой большую роль играют верность и измена, ссоры и ревность.

В двенадцатом диалоге также разворачивается сцена ревности. Гетера Иоэсса упрекает своего любовника Лисия в том, что он преднамеренно оскорбил ее, отдав в ее присутствии предпочтение другой гетере. «Наконец, — говорит она, — ...ты надкусил яблоко и, подавшись вперед, ловко метнул ей за пазуху, даже не стараясь сделать это незаметно от меня. А она, поцеловав яблоко, опустила его между грудей под повязку. Так-то ты со мной поступаешь, хотя я никогда не просила у тебя денег, и никогда не закрывала перед тобой дверей со словами «У меня уже есть кто-то», и отвергла из-за тебя многих ухажеров, а ведь некоторые из них были весьма богаты. Но помни, есть богиня, которая покарает и отомстит. И ты когда-нибудь огорчишься, может быть, услышав обо мне, что я задушила себя в петле, или бросилась головой вниз в колодец, или нашла еще какой-нибудь способ умереть, чтобы больше не мозолить тебе глаза. Торжествуй тогда, будто совершил великое и славное дело. Что глядишь на меня исподлобья и стиснув зубы? Пусть вот хотя бы Пифиада нас рассудит» [перевод Б. Казанского].

Пифиада, разумеется, становится на сторону подруги. «Это не человек, а камень» — таково ее мнение; «тебе нет извинения, ведь ты сама испортила его».

Наконец и Лисию удастся вставить слово. Он отвечает упреком на упрек и заявляет, что у Иоэссы вообще нет никаких оснований жаловаться, потому что недавно он застал ее в объятиях другого. Встав на спину другу, он забрался в ее окно, подкрался к ее кровати и заметил, что она спит не одна, что с ней лежит еще кто-то; ошупав незнакомца, он убедился, что это — «безбородый, по-девичьи нежный юноша, без волос на теле и сильно надушенный».

Маленькая драма ревности завершается удовлетворяющей всех развязкой, когда выясняется, что мнимым юношей был не кто иной, как подруга Иоэссы Пифиада, которая, чтобы не оставлять подругу в печали, провела с ней ночь. Однако Лисия это удовлетворяет не полностью; «Но на нем вовсе не было волос, и как же тебе удалось за шесть дней отрастить такие густые волосы?», — все еще сомневается он. «Да ведь это объяснить проще простого. Из-за некоторой болезни ей пришлось остричь волосы, и с тех пор она носит парик. Докажи ему, сними парик, пусть узнает, кем был в действительности тот юноша, к которому он меня приревновал». Пифиада так и делает, после чего решено устроить пир в честь примирения, в котором должна участвовать и Пифиада — без вины виноватый объект лисиевой ревности. Она охотно соглашается, с тем, однако, условием, что Лисий никому не открывает ее тайны.

В тринадцатом диалоге разглагольствует *Miles gloriosus* — тщеславный, якобы оваянный славой, но совершенно пустой вояка. Громогласно, с бесконечной напыщенностью, противореча сам себе, он похваляется своими героическими деяниями, в чем ему живо подыгрывает его столь же глупый и пустоголовый друг Ксенид. «Все это правда, — говорит последний, — да ты и сам знаешь, сколь усердно просил я тебя не

подвергать свою драгоценную жизнь такой опасности. Ведь я не смогу больше жить, если ты падешь на поле боя». Комплимент друга подвигает великого полководца на дальнейшее хвастовство. Но здесь обнаруживается поразительный эффект психологически тонкой сатиры. Вместо того чтобы подпасть под очарование его подвигов, на что он вполне естественно надеялся, чуть более гуманная и не лишенная образованности гетера заявляет, что не желает иметь ничего общего с таким кровожадным головорезом, и немедленно дает ему отставку. О том, что получилось в итоге, пусть поведает сам Лукиан:

«ЛЕОНТИХ: Но я смело выступил перед строем, вооруженный не хуже пафлагонца, весь тоже в золоте, так что сразу поднялся крик и с нашей стороны, и у варваров. Ибо и они меня узнали, как только увидели, особенно по щиту, и по знакам отличия, и по султану. Скажи-ка, Ксенид, с кем это меня тогда сравнивали?

КСЕНИД: С кем же, как не с Ахиллом, сыном Фетиды и Пелея, клянусь Зевсом! Тебе так шел шлем, и так горел пурпурный плащ, и блистал щит.

ЛЕОНТИХ: Когда мы сошлись, варвар первый ранил меня слегка, только задев копьем немного повыше колена; я же, пробив его щит пикой, пронзил ему грудь насквозь, потом, подбежав, быстро отсек мечом голову и возвратился с его оружием и его головой, насаженной на пику, весь облитый его кровью.

ГИМНИДА: Фу, Леонтих. Постыдись рассказывать о себе такие мерзости и ужасы! На тебя нельзя и смотреть без отвращения, раз ты такой кровожадный, не то что пить и спать с тобой. Я, во всяком случае, ухожу.

ЛЕОНТИХ: Возьми двойную плату!

ГИМНИДА: Я не в силах спать с убийцей.

ЛЕОНТИХ: Не бойся, Гимнида, это произошло в Пафлагонии, а теперь я живу мирно.

ГИМНИДА: Но ты запятнанный человек! Кровь капала на тебя с головы варвара, которую та нес на пике. И я обниму такого человека и буду целовать? Нет, клянусь Харитой, да не будет этого! Ведь он ничуть не лучше палача!

ЛЕОНТИХ: Однако, если бы ты видела меня в полном вооружении, я уверен, ты бы в меня влюбилась.

ГИМНИДА: Меня мутит и трясет от одного твоего рассказа, и мне чудятся тени и призраки убитых, особенно несчастного лохага, с рассеченной надвое головой. Что же, ты думаешь, было бы, если бы я видела самое это дело, и кровь, и лежащие трупы? Мне кажется, я бы умерла! Я никогда не видела даже, как режут петуха».

[перевод Б. Казанского]

После этих и немногих других слов («Прощай, герой и тысячена-чальник, продолжай убивать, сколько тебе заблагорассудится») Гимнида решительно отворачивается от сочащейся кровью похвальбы и бежит к своей матушке. Наш хвастун, рвение которого только распалилось, пытается восстановить отношения с ней при помощи Ксенида. Послед-

нему известно, что большинство подвигов приятеля — чистая выдумка, и лишь после того, как хвастун весьма неохотно сознается в том, что беззастенчиво преувеличивал, и просит передать свое признание Гимни-де, вновь появляется некоторая надежда на то, что вскоре он будет держать ее в своих объятьях.

Четырнадцатый диалог настолько важен для знания описываемой нами среды, что мы приведем его целиком:

«ДОРИОН: Теперь, когда я стал беден из-за тебя, Миртала, теперь ты не пускаешь меня к себе! А когда я приносил тебе подарок за подарком, я был для тебя возлюбленным, мужем, господином, всем! И вот, так как я прихожу с пустыми руками, ты взяла себе в любовники вифинского купца, а меня не принимаешь, и я простаиваю перед твоею дверью в слезах, между тем как он один проводит с тобой ночи напролет, лаская тебя, и ты говоришь даже, что ждешь от него ребенка!

МИРТАЛА: Досада меня берет с тобой, Дорион, особенно когда ты говоришь, будто делал мне много подарков и стал нищим из-за меня! Ну, сосчитай-ка, сколько ты мне дарил с самого начала.

ДОРИОН: Ладно, Миртала, давай сосчитаем. Первое — обувь, что я привез тебе из Сикиона, две драхмы. Клади две драхмы.

МИРТАЛА: Но ты спал тогда со мной две ночи!

ДОРИОН: И когда я возвратился из Сирии — склянку финикийского душистого масла, клади две драхмы и на это, клянусь Посейдоном!

МИРТАЛА: А я, когда ты уходил в плаванье, дала тебе тот короткий хитон до бедер, чтобы ты надевал его, когда гребешь. Его забыл у меня кормчий Эпиур, проведя со мной ночь.

ДОРИОН: Эпиур узнал его и отнял у меня на днях на Самосе — после долгой схватки, клянусь богами! Еще луку я привез с Кипра и пять сельдей и четырех окуней, когда мы приплыли с Боспора, сколько это выйдет? И сухарей морских в плетенке, и горшок фиг из Карий, а напоследок из Патар позолоченные сандалии, неблагодарная ты! А когда-то, помню, большой сыр из Гития.

МИРТАЛА: Пожалуй, драхм на пять наберется за все это.

ДОРИОН: Ах, Миртала! Это все, что я мог дарить, служа наемным гребцом. Но теперь-то я уже командуя правым рядом весел, а ты мною пренебрегаешь? А недавно, когда был праздник Афродисий, разве не я положил серебряную драхму к ногам Афродиты за тебя? И опять же матери на обувь дал две драхмы, и Лиде вот этой часто в руки совал, когда два, когда четыре обола. А все это, если сложить, — все богатство матроса.

МИРТАЛА: Лук и селедки, Дорион?

ДОРИОН: Ну да. Я не мог привозить лучшего. Разве я служил бы гребцом, если бы был богат? Да я собственной матери никогда и одной головки чеснока не привез! Но я хотел бы знать, какие у тебя подарки от твоего вифинца?

МИРТАЛА: Первое — видишь вот этот хитон? Это он купил. И ожерелье, которое потолще.

ДОРИОН: Это? Да ведь я знаю, что оно давно у тебя!

МИРТАЛА: Нет, то, которое ты знаешь, было много тоньше, и на нем не было изумрудов. И еще подарил эти серьги и ковер, а на днях две мины. И плату за помещение внес за нас. Это тебе не татарские сандалии да гитийский сыр и тому подобная дрянь!

ДОРИОН: А того ты не говоришь, каков он собой, тот, с которым ты спишь? Лет ему, во всяком случае, за пятьдесят, он лыс, и лицо у него цвета морского рака. А что за зубы у него, ты не видишь? А сколько в нем приятности, о Диоскуры, особенно когда он запоет и начнет нежничать — настоящий осел, играющий на лире, как говорится. Ну, и радуйся ему. Ты его стоишь, и пусть у вас родится ребенок, похожий на отца! А я-то уж найду себе какую-нибудь Дельфину или Кимвалию, или соседку вашу флейтистку, или еще кого-нибудь мне по средствам. Ковры-то, да ожерелья, и плату в две мины не все мы можем давать.

МИРТАЛА: Вот-то счастлива будет та, которая возьмет тебя в любовники. Ведь ты будешь ей привозить лук с Кипра и сыр, возвратясь из Гития!»
[перевод Б. Казанского]

Пятнадцатый и заключительный диалог показывает brutальные последствия ревности, выливающейся в дикие сцены побоев, которые, несомненно, не ограничиваются расквашенными носами и жестокими увечьями. Героем этого диалога также является хвастливый воин.

6. ХРАМОВАЯ ПРОСТИТУЦИЯ

Если «Разговоры гетер» Лукиана позволяют нам глубже проникнуть в жизнь и нравы греческого полусвета, то другие письменные источники дают немало дополнительных и весьма любопытных подробностей. Так, у Афиная (xiii, 573c) мы ятаем: «Как свидетельствует также историк Хамелеонт в книге о Пиндаре, в Коринфе издревле существовал обычай, по которому город, возносящий молитвы Афродите во время великого шествия, привлекает к участию в нем как можно больше гетер, и они молятся богине, а позднее присутствуют также на жертвоприношении и жертвенном пире. Это совершается в память о том времени, когда перс подвел свои огромные полчища к храму Афродиты, куда прошли также и гетеры, молясь об освобождении отечества, что подтверждают также историки Феопомп и Тимей. Когда впоследствии коринфяне установили богине посвященную плиту, которую можно видеть и поныне, с именами гетер, простествовавших тогда к храму, Симонид сочинил такую эпigramму:

Женщины эти за греков и с ними сражавшихся рядом
Граждан своих вознесли к светлой Киприде мольбы,
Слава богине за то, что она не хотела акрополь,
Греков твердыню, отдать в руки индийских стрелков.

[перевод Л. Блуменау]

И частные лица принесли Афродите обет, что, услышав их молитву, они допустят гетер в ее храм».

Так говорит Афиней, который затем в подтверждение своих слов ссылается на дар коринфянина Ксенофонта, который, как уже отмечалось (с. 232), победив на Олимпийских играх, ввел в храм Афродиты сто девушек.

Очевидно, что здесь речь идет о религиозной или храмовой проституции (см. с. 86, 132—133, 139). Храмы Афродиты Порнеи существовали в Абидосе (Афиней, xiii, 572e), на Кипре (Геродот, i, 199), в Коринфе (Афиней, xiii, 573c; Страбон, viii, 378) и в других местах, а согласно историку Демохару (Афиней, vi, 253a), племяннику Демосфена, афиняне даже посвятили свои храмы Афродиты знаменитым гетерам Ламии и Леене. В Абидосе храм Афродиты был посвящен данной ипостаси богини потому, что во время оккупации городской твердыни вражеским войском гетеры опьянили стражу вином и ласками и передали ключ от акрополя властям, так что те смогли напасть на сонную стражу и освободить город.

О храме Афродиты Порнеи в Коринфе Страбон говорит: «Святынище Афродиты было так богато, что имело более 1000 храмовых рабынь-гетер, которых посвящали богине как мужчины, так и женщины; и благодаря этим женщинам город становился многолюдным и богател; так, например, капитаны кораблей легко растрачивали здесь свои деньги, и отсюда идет пословица: «Не всякому в Коринф доступен путь».

Между прочим, рассказывают, что какая-то гетера в ответ на упреки одной женщины в том, что она не любит работать или прясть шерсть, сказала: «Да, вот такая я, а все же за это короткое время я уже успела сокрушить три ткацких станка»¹⁴³ [перевод Г. А. Стратановского].

Религиозная проституция существовала уже в вавилонском культе Милитты и в схожем служении Афродите в финикийском Библосе, современном Джейбеле. Геродот (i, 195) упоминает следующий обычай как одно из разумнейших вавилонских установлений и замечает, что он также практиковался среди иллирийских знетов (под последними имеются в виду венеты). Раз в году, говорит он, в каждом селении собирали многочисленных девушек-невест в назначенном месте, куда вскоре стекались мужчины. Затем глашатай выставлял каждую на продажу, начиная с самой красивой. После того как ее продажа приносила крупную сумму денег, он предлагал покупать следующую за ней по красоте. Однако девушки выставлялись на продажу только как законные жены (т.е. не как рабыни). Богачи и достигшие брачного возраста вавилонские юноши изо всех сил повышали ставки, лишь бы им достались прекраснейшие девушки; мужчины победнее — не придававшие большого значения красоте — могли жениться на некрасивых девушках, получив вместе с ними деньги, так как глашатай, распродав самых привлекательных девушек, предлагал брать самую уродливую и отдавал ее тому, кто соглашался принять вместе с ней

¹⁴³ Игра слов: *ιστοῦς* может означать как корабельные мачты, т.е. в данном случае моряков, так и ткацкие станки.

самое малое приданое; необходимые средства доставляла продажа красавиц, так что фактически именно они обеспечивали приданым своих менее привлекательных сестер. Но никто не мог отдать дочь в жены кому угодно; никто также не мог забрать свою попку, не предъявив надежного ручательства в том, что он действительно сделает ее своей женой. Если впоследствии оказывалось, что супруги не подходят друг другу, такой брак расторгался по закону и приданое подлежало возврату.

Геродот добавляет, что в его время этого обычая более не существовало, но вместо него был другой, позволявший обедневшему отцу выступать в роли сводника собственной дочери. То же самое уже говорилось им о лидийцах (i, 93): «В стране лидийцев все дочери занимаются проституцией, чтобы обеспечить себя приданым, и живут этим до тех пор, пока не выйдут замуж».

Если подробный пересказ сообщения Геродота больше говорит о том, каким образом вавилоняне подыскивали мужей своим дочерям, причем не только красивым и приятной наружности, но и уродливым, то рассказываемое им в другом месте знакомит нас с религиозной проституцией в подлинном значении этого слова. Он замечает: «Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться [за деньги] чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с [толпой] остальных женщин. Они приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Большинство же женщин поступает вот как: в священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать: «Призываю тебя на служение богине Милитте!» Милиттой же ассирийцы называют Афродиту. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги. После соития, исполнив священный долг богине, она уходит домой и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнить обычай. И действительно, иные должны оставаться в святилище по три-четыре года. Подобный этому обычай существует также в некоторых местах на Кипре» [перевод Г.А. Стратановского] (Геродот, i, 199; см. также Страбон, xvi, 745).

Так пишет Геродот, слова которого подтверждает так называемое «послание Иереми» в Книге Баруха (vi, 43): «[Халдейские] женщины сидят с вязаньем на улицах и сжигают благовонные глины. Если же прохожий уведет одну из них и возляжет с ней, она насмехается над соседками за то, что их не почтили, как ее, и не распустили их пояс».

На Кипре также существовали священные города Афродиты-Астарты — Пафос и Амафунт, где обыкновенным явлением была религиозная проституция, которую в своем простодушном благочестии разгневанно поносит Лактанций (i, 17). Этот религиозный обычай проник также в Армению и в культ Анаитиды, о чем у Страбона (xii, 532) мы читаем следующее: «Мидийцы и армяне почитают все священные обряды персов. В особом почете культ Анаитиды у армян, которые в честь этой богини построили святилища в разных местах, в том числе и в Аксилене. Они посвящают здесь на служение богине рабов и рабынь. В этом нет ничего удивительного. Однако знатнейшие люди этого племени также посвящают богине своих дочерей еще девушками. У последних в обычае выходить замуж только после того, как в течение долгого времени они отдавались за деньги в храме богини, причем никто не считает недостойным вступать в брак с такой женщиной... При этом они так ласково обращаются со своими любовниками, что не только оказывают им гостеприимство и обмениваются подарками, но нередко дают больше, чем получают, так как они происходят из богатых семей, снабжающих их для этого средствами» [перевод Г. А. Стратановского].

Мы завершаем список античных свидетельств о религиозной проституции заметкой из Лукиана (*Dea Syria*, 6): «В Библосе я также видел великий храм Афродиты и познакомился с распространенными здесь оргиями. Горожане верят в то, что смерть Адониса, убитого вепрем, произошла в их стране, и в память об этом они каждый год бьют себя в грудь и сокрушаются, и вся страна объята великой скорбью. Когда же они перестают бить себя в грудь и сокрушаться, они справляют похороны Адониса и утверждают, будто на следующий день он пробуждается к жизни, помещают его на небеса и обривают головы, как египтяне в ознаменование смерти Аписа. Что касается тех женщин, которые отказываются стричь волосы, то все они претерпевают следующее наказание: в назначенный день они обязаны выставить себя на продажу; на этот рынок доступ имеют одни чужестранцы, а доходы идут в храм Афродиты».

Для понимания храмовой проституции следует помнить, что, по представлениям древних, Афродита не только одаряет радостями любви, но и прямо повелевает предаваться этим радостям, так что вполне логично, если любовь является требованием ее культа. Если девушки зарабатывают себе приданое проституцией, тем самым они способствуют своему браку, а следовательно, совершают дела благочестия, и если девушки, отдающиеся за деньги, передают свои заработки в сокровищницу храма, это тоже дело благочестия, потому как эти деньги считаются благодарственным приношением богине, которая является источником всей женской красоты, зрелости и плодовитости и чувствуется таким образом в своем святилище. Нам известно немало народов и немало эпох, когда больше ценилась та девушка, которая отдавалась мужчине до замужества, чем та, что вступала в брак девственницей. Среди многих других народов мы встречаем установление, по которому *hierodouli*, т.е. девушки, занимавшиеся проституцией, некоторым образом назначались

в храм богини любви не только для того, чтобы предлагать себя посетителям, но также и для того, чтобы придать больший блеск праздникам в честь богини своими танцевальными и музыкальными талантами. Еще в римскую эпоху на горе Эрик в Сицилии существовал храм Венеры Эрицины, служение в котором отправляли *hierodouli*, о которых Страбон (63 г. до н.э. — 23 г. н.э.) не без сожаления говорит так: «Колония насчитывает в наши дни не так много мужчин, как прежде, и число священных тел [имеются в виду *hierodouli*] значительно сократилось» (vi, 272). После того как Сицилия превратилась в римскую провинцию, римляне, будучи весьма ловкими политиками, взяли храм и священных рабов под свое особое покровительство, стали помещать крупные денежные средства в храмовую сокровищницу (правда, делалось это за счет семнадцати сицилийских городов) и в качестве постоянной охраны священных рабов, а также для других целей разместили на священном участке двести солдат. Об этом повествует Диодор Сицилийский (iv, 83), который также приводит краткий рассказ о славной истории храма на Эрике.

Каждому, кто, несмотря на все перечисленные факты, продолжает относиться к греко-восточной храмовой проституции без симпатии, мы должны напомнить, что среди древних индийцев, которые уступали лишь грекам, а возможно, даже были им ровней в качестве самого умственно развитого народа мира, возникли очень похожие установления, на которые нельзя не указать ради сопоставления с Грецией. Никому еще не удавалось описать эту практику удачнее, чем датчанину Карлу Гьеллерупу, из романа которого (*Der Pilger Kamanita*, Frankfurt a. M., 1907, S. 84) я приведу следующую сокращенную выдержку: «Мой родной город Удзени славится по всей Индии своими увеселениями и шумными радостями жизни не менее, чем своими роскошными дворцами и величественными храмами. Его широкие улицы днем оглашаются ржанием лошадей и трубным ревом слонов, а ночами — музыкой лютен, на которых наигрывают влюбленные, и пением на веселых застольях.

Но особенно большой славой пользуются гетеры Удзени. Все они — от знаменитых куртизанок, которые живут во дворцах, посвящают храмы богам, открывают публичные сады для народа и принимают в своих гостиных поэтов и художников, актеров и выдающихся чужестранцев, а нередко и принцев, до заурядных шлюх — отличаются здоровой, пышной красотой и неопикуемой прелестью. На великих празднествах, представлениях и шествиях они составляют главное украшение улиц, которые изящно убраны цветами и развевающимися флажками. В кошенильно-красных платьях, с душистыми венками в руках, благоухая ароматами и сверкая алмазами, восседают они на отведенных им великолепных трибунах или расхаживают по улицам с исполненными любви взорами, совершая волнующие телодвижения и отпуская игривые шутки, повсюду раздувая яркий огонь из чувственного пыла тех, что жаждут наслаждений, — любого посмотреть, о братья!

Почитаемый царем, боготворимых народом, воспеваемых поэтами, их называют «пестрым венком возвышающегося на скалах Удзени», и это

они заставляют завидовать нам соседние города. Часто туда приезжает самая видная из наших красавиц, и даже случается, что ее приходится возвращать обратно царским указом».

7. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГЕТЕРАХ

Возможно, в Древней Греции дело обстояло схожим образом. О том, что жизнь гетер была посвящена не только добыванию хлеба насущного для себя и рабскому утолению чувственных желаний других, но что обыденность этого ремесла облагораживалась красотой, свидетельствуют наряду с прочим также празднества Афродиты, справлявшиеся гетерами в честь богини по всей Греции. Афиней (xiii, 574b) приводит на этот счет некоторые подробности, повторять которые после всего вышесказанного было бы излишним; но тот же самый урок преподают поистине очаровательные любовные рассказы о греческих гетерах. Здесь следует привести, по меньшей мере, один из них, взятый из «Рассказов об Александре» Харета Митиленского (Ath., xiii, 575b): «Однажды Одатис увидела Зариадра во сне и влюбилась в него. То же самое приключилось и с ним. Они непрестанно стремились друг к другу, потому что обоим привиделся один и тот же сон. Одатис была прекраснейшей женщиной Азии, Зариадр тоже был очень мил. Итак, Зариадр отправил посланца к ее отцу Гомарту, прося руки его дочери. Но отец не дал своего согласия, так как, не имея сыновей, хотел выдать дочь за одного из сородичей. Вскоре после этого Гомарт пригласил виднейших мужей царства наряду с друзьями и родственниками на свадебный пир дочери, не говоря при этом, за кого он ее выдает. Когда опьянение достигло высшей точки, он призвал свою дочь Одатис в зал и сказал ей так, чтобы слышали все гости: «Мы желаем ныне, наша дочь Одатис, выдать тебя замуж. Огляди зал, посмотри на всех гостей, а затем возьми золотую чашу, наполни ее вином и вручи ее, кому пожелаешь; ему-то ты и будешь женой». Но когда Одатис рассмотрела всех, она плача вышла в переднюю, где стоял сосуд для смешивания вина, так как среди присутствующих она не увидела Зариадра, хотя ранее она сообщила ему, что вот-вот должна состояться ее свадьба. Он в ту пору участвовал в походе на Танаисе, но тайно переправился через реку, сопровождаемый лишь одним колесничим, и проехал на своей колеснице около восьмисот стадий [приблизительно 100 миль]. Когда Зариадр приблизился ко дворцу, где был устроен пир, он оставил повозку и слугу и пошел пешком, одетый в скифское платье. Войдя в дом и увидев плачущую Одатис, которая медленно-медленно наполняла чашу, он подошел к ней и сказал: «Вот и я, Одатис, — тот Зариадр, по которому ты тосковала». Когда Одатис взглянула на незнакомца и поняла, что он красив и похож на человека, виденного ею во сне, она преисполнилась радости и отдала чашу ему; он же посадил ее на колесницу и увез прочь. Рабы, которые знали об этой любовной страсти, не сказали ничего; и когда отец стал их спрашивать, они заявили, что не знают, где Одатис». Эту историю часто с гордостью рассказывали негреческие обитатели Малой Азии; ее часто воспроизво-

дали художники в храмах, во дворцах царей и даже в частных домах, а многие видные граждане называли своих дочерей Одатис.

Хотя в данной истории нет речи о самих гетерах, все же она заслуживает того, чтобы ее изложить здесь, так как принадлежит к жанру «эротических новелл», рассказываемых гетерами в кругу своих любовников, с тем чтобы побудить их к большему постоянству и верности или — в зависимости от обстоятельств — к большей щедрости.

Я завершаю эту главу, посвященную гетерам, о которых все более или менее важное уже было сказано, дополнив вышеизложенное некоторыми малоизвестными подробностями, почерпнутыми из древних источников.

Идоменей (Ath., xiii, 576c; xii, 533d — FHG, II, 491), ученик Эпикура, представил в своей книге «О демагогах» скандальную хронику великих афинских политиков. В ней он, например, сообщал, что Фемистокл, в эпоху, когда пьянство было еще редкостью, однажды посреди бела дня промчался по заполненному народом рынку на колеснице, в которую вместо лошадей были впряжены четыре знаменитейшие гетеры того времени. К сожалению, ничего не говорится о том, в какие костюмы были одеты эти «жеребята Афродиты» (с. 90). По другому чтению, гетеры не были впряжены в колесницу, но восседали рядом с Фемистоклом как его спутницы. В этой связи можно вспомнить, что Фемистокл и сам был сыном гетеры Абртонон — фракиянки, на которую, как сообщает Амфикрат (Ath., xiii, 576c — FHG, IV, 300), была написана эпитафия с тем примерно смыслом, что Абртонон была только фракийской гетерой, однако же родила великого Фемистокла.

Антифан (Ath., xviii, 587b) говорил в своей книге о гетерах, что гетера Наннион получила прозвище Маска потому, что у нее были тонкие черты лица, она носила золотые украшения и дорогие одежды, но, раздетая, Наннион была чрезвычайно безобразна. Она была дочерью Короны, дочери Наннион; и так как в ее семье это ремесло передавалось по наследству уже в течение трех поколений, ее прозвали Тета («бабушка»).

Ксенофонт в своих «Воспоминаниях о Сократе» (iii, 11,1, цитируется у Афиная, xiii, 588d) говорил об учителе следующее: «Кто-то в присутствии Сократа упомянул о гетере Феодоте и сказав, что красота ее выше всякого описания и что живописцы приходят к ней писать с нее и она показывает им себя настолько, насколько позволяет приличие. Надо бы сходить посмотреть, сказал Сократ, ведь по одним слухам не представишь себе того, что выше описания... Так они пошли к Феодоте и застали ее позировавшей перед каким-то живописцем» [перевод С. И. Соболевского]. «Согласно Ксенофону, они нашли, что она превосходит все ожидания, а Сократ беседовал с прекрасной гетерой и другими присутствующими о наилучшем способе приобрести настоящих друзей. Одной красоты, говорил он, недостаточно: здесь требуются также добрая воля и здравая умеренность при оказании милостей».

Если здесь речь идет лишь о визите великого мудреца и самого выдающегося воспитателя юношества к публичной женщине, который

отнодье не обязательно закончился бы близостью, хотя это, учитывая эротическую установку Сократа, более чем маловероятно, то следует лишь перенести описанную Ксенофонтом сцену в наши дни, чтобы оценить неизмеримость контраста. Тогда поступок Сократа никому не показался вызывающим, и даже такому щепетильному писателю, как Ксенофонг, ничто не мешает совершенно откровенно упоминать о таких предметах в своих «Воспоминаниях», источником которых была его страстная привязанность к Сократу. Другие духовные вожди тогдашней Греции заходили куда дальше Сократа.

У Афиней (xiii, 589e) читаем: «Аристотель имел сына Никомаха от гетеры Герпиллиды и любил ее до самой своей смерти, ибо, как говорит Гермипп (FHG, III, 46), она с надлежащим вниманием относилась к потребностям философа; и разве прекрасный Платон не любил колофон-скую гетеру Археанассу, о чем свидетельствует он сам в посвященной ей эпиграмме?»

Афиней цитирует эту эпиграмму и заводит разговор об уже упоминавшейся любви Перикла к гетере Аспасии, дружбу с которой водил сам Сократ. Затем он продолжает: «Перикл вообще был падок до чувственных наслаждений. Он также состоял в интимных отношениях с женой сына, что засвидетельствовано его современником Стесимбротом (FHG, II, 56)». Антисфен добавляет, что Перикл входил и выходил из дома Аспасии по два раза в день. Когда позднее ее обвинили в нечестии, Перикл стал ее защитником и пытался вызвать сострадание судей, проливая больше слез и испуская больше стонов, чем если бы дело шло о его жизни. Когда же Кимон вступил в незаконную связь со своей сестрой Эльпиникой и должен был отправиться в изгнание, Перикл в награду за разрешение Кимону вернуться испросил его согласия сделать Эльпинику своей любовницей.

Сегодня, конечно же, невозможно установить, какие из этих историй, с легкостью множившихся вокруг многих других мужей, истинны; тем не менее, не подлежит сомнению — и именно поэтому я говорю здесь о подобных вещах — то, что в те дни внебрачные связи никому не ставились в упрек, но считались чем-то само собой разумеющимся и обсуждались с предельной откровенностью. Взгляд античности на эти вопросы нигде не был выражен лучше, чем в речи, приписанной — правильно ли, нет ли — самому Демосфену (*In Neaeram*, 122): «Мы держим гетер ради чувственных наслаждений, наложниц для повседневного пользования, а жен, чтобы они производили на свет наших детей и были верными хозяйками нашего дома».

Сам Демосфен тоже отличался распутством, если верить Афиней (xiii, 592e), который пишет: «Говорили, что оратор Демосфен также имел детей от гетеры. Во время судебного процесса он сам привел их в суд, чтобы вызвать к себе сострадание, но не привел их матери, хотя обычаями того времени это и дозволялось».

О других любовных связях великого оратора мы будем говорить позднее, так как они имели гомосексуальный характер.

Афиней (xiii, 594b) рассказывает такую историю о знаменитой гетере Плангон: «Так как она была исключительно красива, в нее влюбился

юноша из Колофона, который прежде любил Вакхиду с Самоса. Юноша говорил Плангон о красоте Вакхиды, и поскольку Плангон желала от него избавиться, она потребовала в подарок знаменитое ожерелье Вакхиды. Вакхида уступила его неистовому напору и отдала ему ожерелье, который он вручил Плангон. Последняя, тронутая щедростью Вакхиды, отослала ожерелье обратно и позволила молодому человеку снова насладиться своими милостями. С этого времени две гетеры сделались неразлучными подругами и сообща услаждали юношу своей любовью. Ионийцы гордились таким великодушием и впоследствии всегда называли Плангон «Пасифила» [подруга всем], что засвидетельствовано Архилохом [фрагм. 19] в одной его эпиграмме, где Пасифила сравнивается со смоковницей, питающей множество ворон».

Из «Палатинской Антологии» (о ее содержании мы подробно говорили выше, на с. 172 и далее) также могут быть приведены отдельные подробности из жизни греческих гетер. Согласно эпиграмме Руфина (Anth. Pal., v, 44, ср. v, 161), две особенно коварных гетеры по имени Лембион и Керкирион сделали самосскую гавань небезопасной; поэт выразительно предостерегает юношей от общения с этими «пиратами в юбках» в тех же словах, что и автор эпиграммы, которую мы приводили выше.

Павел Силенциарий (v, 181) с забавной серьезностью сообщает о том, как однажды после обильной попойки он отправился к дому гетеры Гермонассы и принялся украшать ее двери цветами. Но она оказалась немилосердной и вылила на него воду из верхнего окна. С комическим пафосом он жалуется на то, что она совершенно уничтожила его со вкусом уложенную прическу. Надменная, безусловно, не достигла своей цели, так как вода пролилась из сосуда, который она имела обыкновение подносить к своим сладким губкам, а поэтому жар любви проник и в воду, только еще более распалив любовника.

Бесцеремонность доходила до того, что даже на надгробных памятниках люди не боялись говорить о профессии шлюхи, и среди нескольких эпитафий подобного содержания образцом может служить эпиграмма Агафия (схолии к Anth. Pal., 8Cf): «Я была проституткой в Византии-граде и всем услуживала продаваемой мною любовью. Я, Каллироя, искушенная во всех сладострастных утехах; побуждаемый жалом любви, Фома поместил эту надпись на мою могилу и тем показал, какая страсть жила в его душе; его сердце таяло и превращалось в размяченный воск».

Хотя не лишено вероятия и даже в высшей степени возможно, что эта «эпитафия» жившего в шестом веке нашей эры эпиграмматиста Агафия является фиктивной, мы, тем не менее, располагаем множеством неоспоримых свидетельств о том, как относились к покойным гетерам в греческой античности. Афиной рассказывает (xiii, 594e), что македонянин Гарпал, назначенный Александром наместник Вавилона, украв немало золота, бежал в Афины и здесь влюбился в гетеру Пифионику, которая постепенно все более и более прибирала его состояние к рукам. После смерти ей воздвигли чрезвычайно пышный памятник; по свидетельству Посидония (FHG, III, 259), ее тело несли к могиле под хоровые песни, исполнявшиеся самыми выдающимися артистами и под аккомпанемент всевозможных инструментов.

Дикеарх (FHG, II, 266) в своей книге «О нисхождении в пещеру Трофония»¹⁴⁴ сообщает: «Путешественник, который идет из Элевсина в Афины по так называемой Священной дороге, переживает настоящее чудо. Когда он доходит до места, где перед ним впервые открывается вид на храм Афины и на город, он замечает самый впечатляющий надгробный памятник из всех, расположенных поблизости. Поначалу он, пожалуй, решит, что это могила Мильтиада, или Перикла, или Кимона, или какого другого великого афинянина и подумает, что он был воздвигнут государством на общественные средства. Что же будет у него на душе, когда ему скажут, что это гробница гетеры Пифионики?»

Это сообщение дополняется Феопомпом в его письме к Александру (FHG, I, 325), где он сурово порицает распущенность наместника Гарпала: «Рассмотри и внимательно выслушай, что рассказывают вавилоняне о пышности, которую он явил на похоронах гетеры Пифионики. Первоначально она была служанкой флейтистки Вакхиды, которая, в свою очередь, была служанкой той самой фракиянки Синопы, что перенесла проституцию с Эгины в Афины, так что Пифионику можно по справедливости назвать не только трижды служанкой, но и трижды шлюхой. Итак, Гарпал воздвиг ей два памятника стоимостью более 200 талантов (около 50 000 фунтов). Чему поражается большинство из нас, так это следующему: тем, кто пал в Киликии за твое царство и за свободу Греции, ни этот превосходный наместник, ни кто другой памятника не поставил; зато в Афинах мы с изумлением будем лицезреть памятник шлюхе Пифионике, при том что в Вавилоне памятник ей давно уже закончен. Этой девке, которая, как всем нам известно, отдавалась за гроши каждому желающему, человек, хваставшийся дружбой с тобой, осмелился назначить святилище вместе с храмовым округом и опозорить храм и алтарь именем «Пифионики-Афродиты», показав тем самым, что он не только смеется над божественной карой, но и пытается поправить твой авторитет».

Афиней (xiii, 595d) далее говорит: «По смерти Пифионики Гарпал послал за Гликерой, тоже гетерой, как свидетельствует Феопомп»; он говорит также, что «Гарпал не желал, чтобы его отличили венком, если гетера не будет увенчана вместе с ним. Он воздвиг бронзовую статую Гликеры в сирийском городе Росс на том самом месте, где ныне намеревается поставить твою статую. Кроме того, он разрешил ей жить в царском замке в Тарсе и подбивает народ оказать ей царские почести, величая ее царицей и относясь к ней со всем благоговением, какое подобает лишь твоей матери и жене». С этим согласен автор сатировской драмы «Аген» (TGF, 810); «Аген» был исполнен во время Дионисий на Гидаспе, когда Гарпал уже подвергся преследованию и бежал за море. Поэт упоминает здесь Пифионику как очень красивую женщину, к этому времени уже покойную, но думает, что Гликера живет с Гарпалом и что благодаря ей афиняне получили отменные подарки.

¹⁴⁴ В беотийской Лебадии Трофоний имел знаменитый подземный оракул (см. Павсаний, ix,39)

Затем Афиней цитирует несколько строк из этой сатиrowsкой драмы, где сколько-то упоминается «знаменитое святилище шлюх», о котором говорилось выше. Согласно этому отрывку, некие маги предлагали вывести Пифионику из подземного царства назад к Гар-палу.

Афиней продолжает (xiii, 596b): «Славившиеся красотой гетеры жили также в египетском Навкратисе. Такова Дориха, которую поносит в своих стихах прекрасная Сафо (фрагм. 138, Bergk; ср. также прелестную оду в книге Diehl, *Supplementum Lyricum*, Bonn, 1917, p. 29), потому что она, будучи любовницей брата поэтессы, способствовала его отчуждению от сестры, когда он прибыл по своим делам в Навкратис. У Геродота (ii, 135) Дориха названа «Родопис», однако историк, по-видимому, не знал, что это имя принадлежало другой знаменитой гетере, воздвигшей, согласно Кратину (САР, I, 110), в Дельфах знаменитые «обелиски» [железные вертелы]». Это явствует из Геродота, который наряду с другими замечаниями относительно Дорихи Родопис говорит следующее: «Родопис, первоначально рабыня-фракиянка, после различных приключений прибыла в Навкратис, где была любовницей своего хозяина», пока ее не выкупил за большие деньги Харакс из Митилены, брат поэтессы Сафо. После этого она оставалась в Египте и, будучи известной куртизанкой, нажила много денег, по крайней мере для гетеры, которых было, однако, недостаточно для того, чтобы построить пирамиду. Тогда Родопис «пожелала оставить о себе память в Элладе и придумала послать в Дельфы такой посвященный дар, какого еще никто не придумал посвятить ни в один храм. На десятую долю своих денег она заказала (насколько хватило этой десятой части) множество железных вертелов¹⁴⁵, столь больших, чтобы жарить целых быков, и отослала их в Дельфы. Еще и поныне эти вертелы лежат в куче за алтарем, воздвигнутым хиосцами, как раз против храма» [перевод Г. А. Стратановского].

Афиней цитирует эпиграмму Посидиппа к Дорихе, в которой говорится о том, что ее будут помнить в Навкратисе до тех пор, пока корабли выходят из Нила в море.

Афиней далее говорит (xiii, 596d): «Прелестная гетера Архедика также происходила из Навкратиса». Известностью пользовалась также гетера из Эреса, носившая то же имя, что и поэтесса Сафо, и любившая красавца Фаона, как свидетельствует Нимфид (FHG, III, 16) в своем «Перипле Азии».

Гетера Никарета из Мегар происходила из очень хорошей семьи; ее общества усердно искали ввиду того, что она была весьма хорошо образованна и училась у философа Стильпона. Знаменитыми гетерами были Билистиха из Аргоса, воздвигшая свой род к Атридам, а также Леена, возлюбленная тиранубийцы Гармодия, которая была схвачена приближенными тирана Гиппия и умерла под пытками, не выдав товарищей.

¹⁴⁵ Вертел назывался по-гречески *ὀβελός* или *ὀβελίσκος*; отсюда возникла путаница с «обелисками».

Гетера Лерна, звавшаяся также Парорамой, была любовницей оратора Стратокла. Так как она шла за любым мужчиной, желавшим получить ее за две драхмы, ее называли иногда также Дидрахмой.

Некий Гераклид написал письмо царю Птолемею IV Филопатору (письмо сохранилось, см. *Sudhoff, Artliches aus griechischen Papyrskunden*, S. 108, *Bull. Hellen.*, xxvii, 1903), в котором жалуется на поведение гетеры Псенобастис. Когда он проходил мимо ее дома, она лежала на окне и пригласила его зайти, а потерпев неудачу, вышла из дома и схватила его за руку. Когда же он отверг ее домогательства, она сорвала с него плащ и плюнула ему в лицо. Некоторые прохожие попытались встать на сторону старика; тогда она вернулась в дом и облила их из окна мочой.

Из Плавта («Менехмы», 388) нам известно, что в Эпидавре гетеры посылали своих слуг или служанок в гавань звать прибывших путешественников к ним домой; мы вправе предположить, что в портовых городах такая практика была делом обычным.

Вполне естественно то, что все гетеры питали слабость к подаркам; это уже было продемонстрировано несколькими отрывками из античных источников. Данный факт подтверждается вазописью. Так, на краснофигурной чаше мы видим юношу, подносящего ожерелье гетере, которая сидит перед ним в кресле, и можно не сомневаться в том, что она примет подарок и положит его в раскрытую шкатулку для драгоценностей, стоящую рядом с ней. «Когда кого-нибудь охватит любовь, — говорит Плавт (*Trinummus*, 242), — тогда все его добро идет псу под хвост. «Дай, мне что-нибудь, мой сладенький, — лепечет маленькая шлюха. — Дай, если ты действительно меня любишь!» И любовник отвечает: «Разумеется, дорогая, а если тебе этого мало, я дам еще!» У Алкифрона (i, 36) гетера Летала пишет своему любовнику: «О, если бы куртизанка могла содержать дом слезами! Тогда я была бы благополучна, потому что из-за тебя я проливаю их в избытке. Но при нынешних обстоятельствах мне нужны деньги, платья, утварь и слуги. От этого зависит дело всей моей жизни. К сожалению, я не унаследовала поместье в Миррине, нет у меня доли и в серебряных рудниках. Я располагаю лишь теми деньгами, которые зарабатываю, и дорого мне обходящимися подарками от моих любовников».

Легко предположить, что даже в самых примитивных публичных домах имелась баня, учитывая любовь к ней греков; к тому же об этом ясно свидетельствует Плавт (*Poenulus*, 702). Менее понятным для нас является обычай — о нем Плавт говорит в том же месте — перед соитием придавать телу гибкость, втирая в него оливковое масло. По-видимому, это делалось скорее из гигиенических соображений, чем для усиления наслаждения, так как знаменитый врач Гален посвящает не менее двух глав своего трактата «О сохранении здоровья» (*De sanitate tuenda*, iii, 11) смазыванию тела маслом перед половым сношением.

Что касается искусств туалета, которые уже были описаны нами с некоторыми подробностями, можно добавить, что у Плавта (*Mostella-*

ria, 273) старая служанка гетеры Филематион высказывает несомненно еретическую, но очень разумную идею:

Лучший запах в женщине — без запаха
Вовсе быть. Когда старухи, дряхлые, беззубые,
Мажутся, порок телесный пряча под прикрасою,
То, как только пот сольется с мазями, получится,
Точно повар много разных соусов послил в одно:
И не разберешь, чем пахнет, только чуешь скверный дух.

[перевод А. Артюшкова]

Автор сочинения «Две любви» (ошибочно приписанного Лукиану; *Amores*, 39) высмеивает искусства туалета еще более зло: «Тот, кто взглянул бы на женщин, когда они только что встали с ночного ложа, решил бы, что они противнее тех тварей, которых и назвать утром — дурная примета. Поэтому и запираются они так тщателью дома, чтобы никто из мужчин их не увидел. Толпа старух и служанок, похожих на них самих, обступает их кругом и натирает изысканными притираниями их бледные лица. Вместо того чтобы, смыв чистой струей выды сонное оцепенение, тотчас взяться за какое-нибудь важное дело, женщина разными сочетаниями присыпок делает светлой и блестящей кожу лица; как во время торжественного народного шествия, подходят к ней одна за другой прислужницы, и у каждой что-нибудь в руках: серебряные блюда, кружки, зеркала, целая куча склянок, как в лавке торговцев снадобьями, полные всякой дряни банки, в которых, как сокровища, хранятся зелья для чистки зубов или средства для окраски ресниц.

Но больше всего времени и сил тратят они на укладку волос. Одни женщины прибегают к средствам, которые могут сделать их локоны светлыми, словно полуденное солнце: как овечью шерсть, они купают волосы в желтой краске, вынося суровый приговор их естественному цвету. Другие, которые довольствуются черной гривой, тратят все богатства своих супругов: ведь от их волос несутся чуть ли не все ароматы Аравии. Железными орудиями, нагретыми на медленном огне, женщины закручивают в колечки свои локоны; излишек волос спускается до самых бровей, оставляя открытым лишь маленький кусочек лба, или пышными завитками падает сзади до самых плеч.

Затем пестрые сандалии затягивают ногу так, что ремни вонзаются в тело. Для приличия надевают они тонкотканую одежду, чтобы не казаться совсем обнаженными. Все, что под этой одеждой, более открыто, чем лицо, — кроме безобразно отвисающих грудей, которые женщины всегда стягивают повязками. Зачем распространяться и о других негодных вещах, которые стоят еще дороже? С мочек свисают грузом во много талантов эритрейские камни; запястья рук обвиты змеями — если бы это были настоящие змеи, а не золотые! Диадема обегает вокруг головы, сверкая индийскими камнями, как звездами; на шее висят драгоценные ожерелья, и до самых ступней спускается несчастное золото, закрывая каждый оставшийся обнаженным кусочек голени. А по заслугам было бы железными путами связать им ноги у

лодыжек! Потом, заколдовав себе все тело обманчивой привлекательностью поделной красоты, они румянят бесстыдные щеки, натирая их морской травой, чтобы на бледной и жирной коже заалел пурпурный цветок»[перевод С. Ошерова].

Возможно, в отдельных местах и в отдельные эпохи среди проституток и гетер было принято носить особые, броские наряды (Pauly, *Realenzyklopadie*, viii, Sp. 1353), однако это едва ли было общим правилом, как показывает множество рисунков на вазах, и с уверенностью сказать мы можем лишь то, что наряды гетер менялись вместе с модой.

Знаменитые гетеры обычно наделялись прозвищами, подобными приводимым ниже:

«Антикира» (чемерица) (Афиней, xiii, 586 ел.) считалась древним лекарством от умственных расстройств, и гетера Эойя была прозвана Антикирой потому, что имела привычку ходить с чрезвычайно возбужденными либо безумными приятелями, или, как говорили впоследствии, потому, что ее покровитель врач Никострат не оставил ей после смерти ничего, кроме пучка чемерицы.

Лайда получила прозвище «Аксина» (ось) (Элиан, *Var. hist.*, xii, 5; xiv, 35) ввиду резкости — или грубости? — ее требований.

«Афия» (анчоус) (Ath., xiii, 586ab) было прозвищем нескольких гетер из-за цвета их кожи, стройности и больших глаз.

«Кинамия» (собачья морда) (Ath., iv, 157a) — так прозвали гетеру Никион из-за выражения ее лица.

«Пагис» (удавка) (Лукиан, «Разговоры гетер», xi, 2) — прозвище гетеры Филематион, околдовывавшей мужчин своими чарами.

«Проскенион» (занавес) (Ath., xiii, 587b) — прозвище гетеры Наннион, которая имела прелестное лицо и дорогие наряды, но безобразное тело.

«Птохелена» (нищенствующая Елена) (Ath., xiii, 585b) — это прозвище гетера Каллистион получила из-за своего бедного платья. Афиней рассказывает, что однажды она была нанята неким бездельником. Когда он лежал рядом с ней, она заметила у него на теле свежие следы порки и спросила у него, что это. Он отвечал, что в детстве он вылил на тело немного горячего бульона; услышав это, она со смехом возразила: «должно быть, это был бульон из телятины»¹⁴⁶.

«Хюс» (свинья) (Ath., xiii, 583a) — так прозвали Каллистион, имея в виду, скорее всего, не ее жадность или животные привычки, но просто недостаточную ее чистоплотность.

«Фтейрофила» (Ath., xiii, 586a) — прозвище Фаностраты, которую однажды видели стоящей у своих дверей и выбиравшей у себя вшей.

Существовало множество ласкательных имен, которые любовники давали своим гетерам; характерными примерами могут служить следующие: сестренка, соловей, щеголек, виноградинка, пучина, медовые соты, коровушка, ласточка, чрево, газель, олениха, слононая кость, сладенькая, гольш, выемка (по-гречески *ἰπλάφεις* — то место на

¹⁴⁶ Плети для порки рабов изготавливались из телячьей кожи.

ипподроме, откуда стартуют кони), смоква, дорогуша, улитка, комарик, ворона, кифаристка, охотница, сучка, зайчик, зайчонок, светлячок, львица, малышка, блюдечко, волчица, лира, квашня, матушка, любительница мальчиков, пчелка, теленочек, муха, куколка, челн, клевер, девочка, ристатель и ристалище, милашка, бессонница, девчоночка, факелочек, поцелуйчик, лягушонок, каракатица, воробышек, нос картошкой, злюка, тигрица.

ГЛАВА V

МУЖСКОЙ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

1. ВВЕДЕНИЕ И ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

АНРИ БЕЙЛЬ (Стендаль) пишет в своей книге «О любви»: «Нет /хничего более комичного, чем наши представления о древних и древнем искусстве. Читая только поверхностные переводы, мы не осознаем, что они посвятили особый культ Наготе, что, на наш взгляд, представляется отталкивающим. Во Франции «прекрасным» большинство называет только женский пол. Среди древних греков не существовало такого понятия, как «галантность», зато у них была любовь, которая нам сегодня кажется противоестественной... Они, так сказать, культивировали чувство, отвергнутое современным миром».

Несомненно, именно этим чувством следует объяснить тот факт, что общеизвестные и в прочих отношениях превосходные справочники обходят данную тему почти полным молчанием. Приведем некоторые примеры: в шестисотстраничной книге Holm-Deecke-Soltau, *Kulturgeschichte des klassischen Altertums*, Leipzig, 1897, гомосексуализм не упоминается вовсе; в основательном двухтомном труде Л. Шмидта (*Die Ethik der alien Griechen*, Berlin, 1882) данному предмету уделено менее трех страниц; в четырех гигантских томах «Истории греческой культуры» (*Griechische Kulturgeschichte*) Буркхардта мы не находим почти ничего, а в новом пересмотренном издании широко известной *Pauly's Realenzyklopadie der klassischen Altertumswissenschaft* (разросшейся до десяти томов, в каждом из которых не менее 1300 страниц) составленная видным профессором университета в Бреслау В. Кроллем четырехстраничная статья «Педерастия» излагает немало безусловно правильного, однако столь неполно, что она была бы уместна скорее в сжатом очерке, а не в монументальном труде, целью которого является исчерпывающее рассмотрение культуры классической древности. Статья «Гетеры» в той же энциклопедии занимает двадцать страниц.

В результате такого подхода, свойственного всей современной литературе, у читателя, который не может самостоятельно обратиться к источникам, может сложиться впечатление, что греческий гомосексуализм был явлением побочным, чем-то изолированным, редким, имевшим место лишь кое-где и кое-когда.

Не забегая вперед, выслушаем вначале великого философа Платона, который писал: «Таким образом, многие сходятся на том, что Эрот — бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ. Я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а для влюбленного — чем достойный возлюбленный. Ведь тому, чем надлежит

всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит лучше, чем любовь. Чему же она должна их учить? Стыдиться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному, без чего ни государство, ни отдельный человек не способны ни на какие великие и добрые дела. Я утверждаю, что, если влюбленный совершит какой-нибудь недостойный поступок или по трусости спустит обидчику, он меньше страдает, если уличит его в этом отец, приятель или еще кто-нибудь, — только не его любимец. То же, как мы замечаем, происходит и с возлюбленным: будучи уличен в каком-нибудь неблагоприятном поступке, он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если бы возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство или, например, войско, они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыдного и соревнуясь друг с другом; а сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника: ведь покинуть строй или бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем при любимом, и нередко он предпочитает смерть такому позору; а уж бросить возлюбленного на произвол судьбы или не помочь ему, когда он в опасности, — да разве найдется на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдохнул бы доблесть, уподобив его прирожденному храбрцу? И если Гомер прямо говорит, что некоторым героям «отвагу внушает бог», то любящим ее дает не кто иной, как Эрот» [перевод С. К. Апта].

Для того чтобы найти подход к проблеме, решить которую значило бы подобрать ключ к пониманию всей древнегреческой культуры, прежде всего следует ознакомиться с документально подтвержденными и бесспорными фактами.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чаще всего используемое слово «педерастия» (παιδερασία) образовано из παις (мальчик) и έραυ (любить) и, следовательно, обозначает духовную и телесную привязанность к мальчику, хотя следует отметить, что, как более обстоятельно будет показано ниже, слово «мальчик» не следует понимать, исходя из современного словоупотребления. В греческом языке слово «педерастия» не имело того отвратительного призвуча, который находим в нем мы, потому что рассматривалось просто как название одного из видов любви и не имело никаких позорящих коннотаций.

Лишь однажды мы встречаем слово παιδέρως в значении «педераст», гораздо более употребителен глагол παιδεραστέιν. Лукиан однажды пользуется выражением та παιδεραστικά в значении «педерастия». Неистовая, безудержная страсть к мальчикам называлась παιδομανία, а человек, объятый этой страстью, — παιδομανής; оба слова произведены от μανία (страсть, безумие). Слово παιδολίτης (подглядывающий или шпионащий за мальчиками) имеет дополнительную шутиливую коннотацию, в которой проявляется другой оттенок значения: «тот, что

засматривается или следит влюбленным взором за светловолосыми мальчиками».

Слова παιδοτρίβης и παιδοτρίβειν, сами по себе совершенно невинные и обозначающие «наставник (наставлять) мальчиков в искусстве борьбы», употреблялись также в обеденном значении, причем второй смысл легко объясним, потому что оба слова связаны с глаголом τρίβειν.

Поздние авторы, особенно Отцы Церкви, предпочитают использовать в обеденном смысле слова παιδοφθορία, παιδοφθόρος, παιδοφθορεῖν (растление мальчиков, растлитель мальчиков, растлевать мальчиков).

В дополнение к вышеприведенным выражениям общеупотребительны были также словосочетания παιδων ἔρωс и παιδικός ἔρωс.

Слово «эфебофилия» не античное, но является новообразованием. Оно означает любовь к эфебу (ἔφηβος), под которым подразумевается молодой мужчина, достигший половой зрелости; однако прилагательное φιλέφηβος (любящий молодых мужчин), несомненно, существовало. Насколько мне известно, существительное παιδοφιλία у греческих авторов не встречается, однако глагол παιδοφιλεῖν (любить мальчиков) и прилагательное παιδοφίλης (любящий мальчиков) являются довольно распространенными.

В нескольких греческих диалектах любовник мальчика назывался различно; так, к примеру, на острове Крит, где любовь к мальчикам процветала с древнейших времен, его называли εραστής, а после того как союз был заключен, — φίλτωρ; это слово трудно перевести — возможно, «ухаживатель и друг»; мальчик, являвшийся объектом привязанности, звался ερωμένος (любимый) до тех пор, пока влюбленный искал его расположения, но если он был другом великого деятеля, его называли κλεινός (славный, знаменитый). Особняком стоит слово φιλοβούπαις, употреблявшееся по отношению к тем, кто любил мальчиков-переростков. Словом βούπαις называли «взрослого молодого человека»¹⁴⁷. Слово φιλομεῖραξ также встречается редко; оно произведено из μεῖραξ, «подросток», а следовательно, обозначает того, кто особенно любит прекрасных мальчиков. В Афинах оно было почетным титулом, которым^ был награжден Софокл.

Выражением, которое чаще всего встречается в греческих текстах в качестве обозначения возлюбленного мальчика или юноши, является та παιδικά (мальчишеское; нечто, относящееся к мальчикам), что объясняется следующим образом: в предмете своей любви человек любит именно «то, что является в нем мальчишеским», или те свойства души и тела, которые отличают мальчика: мальчик мил любовнику потому, что тот видит в нем воплощение «отрочества», «мальчишеского». Я не знаю слова, которое полностью передавало бы заключенную в этом выражении идею, и не умею придумать нового.

В дорийском диалекте любовника обычно называли ἐῖσπνηλός или

¹⁴⁷ Согласно Гесихию, слог βου имел значение «большой», а также «много»; возможно, он связан с существительным βούς, «бык, вол». Согласно тому же источнику, словом βούα спартанцы называли некоторое подразделение взрослых мальчиков (αγέλη παιδων), так что слово βούπαις вполне могло быть произведено именно отсюда.

εἰσπλήλας, буквально, «вдохновитель»); в этом слове содержится намек на то, что любовник, который и на самом деле, как мы увидим ниже, брал на себя ответственность за мальчика в любом виде связи, вдыхал в восприимчивую душу все доброе и благородное. Поэтому дорийцы употребляли εἰσπνεῖν в значении «любить», если речь шла о мальчишке. То, что это «вдыхание вовнутрь» следует понимать в вышеуказанном этическом значении, ясным образом констатирует Элиан. Еще более категоричен и недвусмыслен Ксенофонт: «Благодаря тому, что мы вдыхаем нашу любовь в прекрасных юношей, мы удерживаем их от корыстолюбия, усиливаем их наслаждение от работы, трудностей и опасностей и укрепляем их скромность и самообладание».

С этим согласуется дорийское название возлюбленного — αἴ'τας, «вслушивающийся, умственно восприимчивый».

Наряду с этими в высшей степени серьезными терминами с течением времени образовалось известное число других, обязанных своим происхождением шутке или насмешке. Они будут рассмотрены позднее; однако мимоходом отметим, что ввиду легко объяснимого вторичного значения любовника часто называли «волком», тогда как любимец звался «ягненком» или «козленком». Для древних греков волк был символом алчности и дерзкой свирепости. Так, мы читаем в эпиграмме Стратона: «Выйдя после ужина на пирушку, я, волк, нашел стоящего перед дверью ягненка, сына моего соседа Аристодика, и, обвив его руками, целовал, пока не насытил сердце, клятвенно обещая ему многие подарки».

В одной эпиграмме Платона сказано: «Как волки любят ягнят, так любовники любят своих любимцев».

Иногда любовника называли также вороном, тогда как «Сатон» и «Постой» нередко служили прозвищами любимца¹⁴⁸. Во всех сексуальных вопросах греки были потрясающе наивны — оба эти слова были серьезными фамильными именами.

3. ОТРОЧЕСТВО И ГРЕЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Рассуждая о греческой любви к мальчикам, ни в коем случае нельзя забывать об одном: что речь никогда не идет о мальчиках — детях нежного возраста (именно в таком значении это слово наиболее употребительно у нас), но только о мальчиках, достигших половой зрелости. Именно этот возраст подразумевается под словом παῖς в большинстве мест из интересующих нас греческих авторов; нередко ему даже соответствует то, что мы назвали бы «молодым человеком». Мы должны также помнить о том, что в Греции, как и в большинстве стран так называемой Сотадической зоны¹⁴⁹, половая зрелость наступает раньше, чем на севере,

¹⁴⁸ И σάθων и πόσθων являются «детскими» или ласкательными словами, произведенными от σάθη и πόσθη, которые означают *membrum virile*.

¹⁴⁹ Страны, где южноевропейский климат приводит к раннему пробуждению и явному усилению полового влечения, — Испания, Южная Франция, Италия, Греция, Малая Азия и Северная Африка.

так что мы вполне можем по-прежнему пользоваться словом «мальчик», помня, что эти мальчики уже достигли половой зрелости. Половое сношение с мальчиками в нашем смысле этого слова, т.е. сексуально не созревшими детьми, в Древней Греции, разумеется, каралось, и порой весьма сурово; об этом мы будем говорить в следующей главе.

О различных возрастных ступенях мальчиков и юношей, любимых греками, можно было бы написать отдельный трактат под эпитафией из Гете, который по отношению к этой проблеме, столь непонятной большинству людей нашего времени, проявил универсальность своего разума, знавшего и постигшего все; в «Ахиллеиде» мы читаем: «К Крониону приблизился Ганимед с серьезностью юношеского взора в детских очах, и возрадовался бог».

Нам следует также вспомнить отрывок из гомеровской «Одиссеи» (х, 277), где мы слышим о том, как Одиссей решил двинуться в глубь суши, чтобы исследовать остров Кирки. По пути его встретил Гермес (которого герой, конечно, не узнал): «... пленительный образ имел он // Юноши с девственным пухом на свежих ланитах, в прекрасном // Младости цвете» [перевод В. А. Жуковского].

Греческий поэт Аристофан («Облака», 978) восхваляет греческих мальчиков на тот же лад, разве что пушок, о котором говорит он, покрывает отнюдь не ланиты.

На вышеприведенный отрывок из Гомера указывает Платон в начале своего «Протагора»:

«Друг: Откуда ты, Сократ? Впрочем, и так ясно: с охоты за красотой Алкивиада! А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной — хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода пробивается».

Сократ: Так что же из этого? Разве ты не согласен с Гомером, который сказал, что самая приятная пора юности — это когда показывается первый пушок 'над губой — то самое, что теперь у Алкивиада?» [пер. Вл. С. Соловьева]

О различных возрастных стадиях Стратон (Anth. Pal., xii, 4) говорит: «Юношеский цвет двенадцатилетнего мальчика приводит меня в радость, но предпочтительнее мальчик лет тринадцати. Тот, кому четырнадцать, — еще более сладостный цветок Эротов, и еще прелестнее тот, кому только исполнилось пятнадцать. Шестнадцатый год — это возраст богов, а желать семнадцатилетнего — удел не мой, а Зевса. Если же кто влюблен в мальчика, который еще старше, то он более не играет, а уже требует гомеровского «он же ответил»¹⁵⁰.

Чтобы облегчить понимание эллинской любви к мальчикам, уместно было бы сказать также несколько слов о греческом идеале красоты. Фундаментальное различие между античной и современной культурами заключается в том, что античность — культура исключительно мужская и что женщина, как говорилось выше, рассматривалась греками лишь как мать их детей и домоправительница. Носите-

¹⁵⁰ То есть он ищет в любви взаимности, которую поэт подразумевает под часто встречающимся у Гомера выражением *τον δ'ἀλοειβόμενος*.

лем всей духовной жизни был в античности мужчина и только мужчина. Этим объясняется, почему греки столь непонятным для нас образом пренебрегали воспитанием и развитием девочек; с другой стороны, мальчики заканчивали образование значительно позднее, чем принято у нас. Самым своеобразным, по нашим понятиям, обычаем был тот, по которому каждый мужчина привлекал к себе какого-нибудь мальчика или юношу и, будучи близок с ним в повседневной жизни, действовал как его советник, опекун и друг, наставляя его во всех мужских доблестях. Этот обычай был особенно распространен в дорийских государствах, причем государство считало его настолько само собой разумеющимся, что для мужчины было нарушением долга не привлечь к себе юношу, а для юноши позором — не удостоиться дружбы мужчины. Мужчина был ответствен за образ жизни своего юного товарища и делил с ним хулу и похвалу. Когда во время гимнастических упражнений некий юноша вскрикнул от боли, наказан был, как сообщает Плутарх («Ликург», 18), его старший друг.

Хотя этот исконно дорийский обычай был распространен не во всей Греции, ежедневное общение юношей с мужчинами, их тесные связи с раннего утра до позднего вечера были чем-то само собой разумеющимся повсюду. Тем самым в мужчине развивалось понимание души мальчика и юноши и беспримерное рвение сеять в юных, восприимчивых сердцах семена доблести и благородства, подводя их как можно ближе к идеалу прекрасного гражданина. Для идеала мужского совершенства греки отчеканили формулу *καλὸς καὶ αὐτὸς*, «добрый и прекрасный», или «прекрасный телом и душой». Таким образом, телесному развитию мальчиков придавалось значение, которое невозможно переоценить. Мы можем без преувеличения утверждать, что греческие мальчики проводили три четверти дня в банях, палестрах и гимнасиях, которые — в противоположность немецкому значению слова — служили в основном телесному развитию. Во всех этих местах мальчики и юноши выполняли телесные упражнения обнаженными, на-что указывает этимология слова *гимнасия* (от *γυμνός*, обнаженный).

4. КРАСОТА МАЛЬЧИКОВ В ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Из необозримого множества интересующих нас мест отберем наиболее характерные. Юношеская красота воспевается уже в «Илиаде», где поэт говорит о Нирее, красотой превосходившем всех других греческих юношей. И действительно, красота Нирея позднее вошла в поговорку; бесчисленные вариации, в которых эта красота упоминается в античной литературе, собраны мной в комментарии к «Искусству любви» Овидия и статье «Homoerotik in den homerischen Gedichten» (Kraup, *Anthropophyteia*, Bd. IX, 1912, S. 291 ff).

Эстетическое наслаждение греческого глаза юношеской красотой обращает на себя внимание в другом исключительно характерном месте из «Илиады», где описывается, как отец Гектора, престарелый царь Приам, объятый великим горем, стоит перед Ахиллом, моля отдать ему мертвое

тело возлюбленного сына; и все же он не может без восхищения смотреть на юношу, который убил его милого Гектора («Илиада», xxiv, 629). Об этом отрывке Герлах (*Philologus*, xxx, 57) тонко замечает: «Следовательно, относительно красоты Ахилла мы должны создать себе более высокое представление, чем относительно прелестей Елены; ибо Приам, которому герой причинил невыразимейшие страдания, поражен этой красотой и способен восхищаться ею в тот самый момент, когда молит выдать ему тело сына».

В одном из фрагментов своей поэзии Солон (фрагм. 44) сравнивает красоту мальчиков с весенними цветами. Из Феогнидова сборника мы можем процитировать следующие строки (1365 ел. и 1319 ел.): «О прекраснейший и прелестнейший юноша! стань передо мной и выслушай от меня несколько слов»; «О юноша, которого богиня Киприда одарила пленительным изяществом и телесной красотой, что у всех на устах, прислушайся к этим словам и прими в сердце мою благодарность, зная, сколь трудно мужам переносить любовь».

Ивик (фрагм. 5), известный всем благодаря балладе Шиллера, воздает должное красоте своего любимца в следующих словах: «Эвриал, отпрыск прелестных Харит, по которому томятся светловолосые девы, тебя взрастили среди своих роз Киприда и нежноокая Пейто (Убеждение)».

Пиндар (*Nemea*, viii, 1) так воздает хвалу красоте отроков:

Державная Юность,
Вестница амвросических нег Афродиты,
Ты живешь на ресницах отроков и дев,
Одного ты вверяешь ласковым ладоням Судьбы,
Другого — жестоким.
Счастлив тот,
Кто не разминулся с добрым случаем,
Кому дано
Царить над лучшими из Эротов!

[перевод М. Л. Гаспарова]

Ликимний (фрагм. 3, у Афиней, xiii, 564c) — лирический поэт с острова Хиос — повествовал в одном из своих стихотворений о любви бога сна Гипноса к Эндимиону: «Ему так нравилось любоваться глазами Эндимиона, что он не позволял им закрыться, когда погружал юношу в сон, но, усыпляя его, оставлял их открытыми, чтобы наслаждаться их созерцанием».

Восхвалению красоты мальчиков прежде всего было посвящено творчество Стратона (*Anth. Pal.*, xii, 181):

Ложь, дорогой мой Феокл, будто Грации к нам благосклонны,
Будто бы элины трех лишь в Орхомене их чтут.
Нет! Но пятижды десять прелестный твой лик овеают —
Луницы злые, — круша душ безмятежных покой.

В стихах Мелеагра (*Anth. Pal.*, xii, 256) описывается красота различных юношей:

Юношей цвет изобильный собрав, богиня Киприда,
Сплел сам Эрот для тебя, сердце, манящий венок: Вот, посмотри-ка, сюда он вплел
Диодора лилию,
Асклепиада левкой дивнопрекрасный вложил, Розы тут Гераклита, они без шипов и
колочек,
Там сверкает Дион, цвет виноградной лозы, Вот златокудрого крокус Терона средь
листьев проглянул,
И благовонный тимьян дал для венка Улиад, Нежный Минск подарил зеленую ветку
маслины,
Лавра цветущая ветвь — это наш милый Арет! Тир священный, из всех островов
блаженнейший! Миррой
Дышит лесок, где цветы в дар Афродите даны!

[перевод Ю. Голубец]

Хвалу красоте мальчиков не стыдится петь и великий поэт Каллимах (Anth. Pal.,
xii, 73):

Лишь половина души живет... Аид ли похитил
Или Эрот, не дано ведать мне, знаю, что нет!
Снова к мальчишкам она устремилась.
О, как же стenal я Часто: «Беглянки моей, юноши, не принимать!»
У Феотима ищи. Как будто побита камнями,
Вся изойдя от любви, бродит, несчастная, там!

[перевод Ю. Голубец]

Само собой разумеющимся для греческой мысли и чувствования было то, что
даже возвышенный пафос серьезной трагедии не пренебрегал тем, чтобы при любой
возможности воздавать хвалу красоте мальчиков.

В одном из дошедших до нас фрагментов Софокл (фрагм. 757: $\delta\tau\omega\ \delta'\ \epsilon\rho\omega\tau\omicron\varsigma\ \delta\eta\gamma\mu\alpha\ \pi\alpha\iota\delta\iota\kappa\omicron\upsilon\ \pi\rho\sigma\tau\eta\upsilon$; ср. также Пиндар, фраг. 123: «укушенный мальчишеской
красотой») восхваляет красоту юного Пелопа (ег. фрагм. 433).^Даже великий
отрицатель Еврипид (фраг. 652: $\acute{\omega}\ \pi\alpha\iota\delta\epsilon\varsigma,\ \omicron\iota\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\tau\rho\nu\ \acute{\alpha}\nu\theta\rho\acute{\omega}\pi\omicron\iota\varsigma\ \phi\rho\epsilon\nu\acute{\omicron}\varsigma$) выражает
свое восхищение такими словами: «О мальчики, какая чара для души людской!»

Комедия также нередко находит повод заговорить о красоте мальчиков. Так, в
421 году до н.э. Евполид поставил на сцене свою комедию «Автолик». Герой пьесы
Автолик был юношей столь прекрасным, что Ксенофонт («Пир», 1, 9) с
восхищением говорил: «...как светящийся предмет, показавшийся ночью,
притягивает к себе взоры всех, так и тут красота Автолика влекла к нему очи
всех...» [перевод С. И. Соболевско-го].

Следующие стихи из неизвестной комедии Дамоксена (Ath., i, 15b; CAP, III,
353) описывают красоту мальчика с острова Кос: «Юноша лет семнадцати бросал
мяч. Он прибыл с Коса, с острова, где рождаются полубоги, и когда он смотрел на
сидящих, принимал или отдавал мяч, мы все разражались криками, ибо во всем, что
он делал, были соразмерность, достоинство и лад. Он был совершенством красоты;
я не видел и не слышал прежде о такой красоте. Останься

я там еще, мне пришлось бы худо, но и сейчас мне, кажется, нехорошо».

Неизвестный комический поэт (CAF, III, 451 у Плутарха, *Moralia*, 769b) оставил следующие строки: «И видя его красоту, я совершил промах... Безбородый, нежный, прелестный юноша... О, если бы мне умереть в его объятьях!»

Всякий, кто, прочитав вышеприведенные отрывки, останется при мнении, что таким восхвалением юношеской красоты мы обязаны лишь причуде поэтической идеализации, совершит большую ошибку. Греческая проза также изобилует вдохновенными хвалами красоте мальчиков. Одними письмами Филострата можно было бы заполнить целый том. Мы ограничимся следующими примерами:

(1) К МАЛЬЧИКУ. Эти розы страстно желают прийти к тебе, несомые своими листьями, словно крыльями. Прими их дружественно, как напоминание об Адонисе, или как пурпурную кровь Афродиты, или как зеницы земли. Оливковый веночек украшает атлета, высокая тиара — великого царя, шлем — воина; но роза — это украшение прекрасного мальчика, ибо она подобна ему цветом и ароматом. Не ты украсишь себя розами, но розы украсятся тобой.

(2) К НЕМУ ЖЕ. Я послал тебе веночек из роз не для того (по крайней мере не только для того), чтобы доставить тебе удовольствие, но из любви к самим розам, чтобы они не увяли.

(3) К НЕМУ ЖЕ. Спартанцы облачаются в пурпурные одежды либо для того, чтобы устрашить врага назойливостью этого цвета, либо для того, чтобы не показывать им своих ран, ибо пурпур похож на кровь. Так и вы, прекрасные мальчики, должны украшать себя одними розами: пусть будут они вашим оружием, которое посылали бы вам любовники. Гиацинт подходит светловолосому мальчику, нарцисс — темноволосому, но роза к лицу всем. Она ослепила Анхиза, обезоружила Ареса, завлекла Адониса; роза — это кудри весны, сияние земли, факел любви.

(4) К НЕМУ ЖЕ, Ты упрекаешь меня, что я не послал тебе роз. Я не сделал этого не из забывчивости, не из недостатка любви, но я сказал себе: ты мил и прекрасен, твои розы цветут у тебя на щеках, так что в других ты и не нуждаешься. Даже Гомер не увенчал главы светловолосого Мелеагра — это было бы все равно, что огонь прибавлять к огню, — ни главы Ахилла, ни главы Менела и вообще никого из тех, кто славятся в его поэмах красотой волос. К тому же, жалок удел этого цветка, ибо краток отпущенный ему срок, и скоро он увядает, и, говорят, свое происхождение ведет он от уныния. Ибо, как рассказывают критяне и финикийцы, розовый шип уколол проходившую мимо Афродиту. Так к чему же увенчивать себя цветком, который не шадит даже Афродиту?

(5) К НЕМУ ЖЕ. Как случилось, что розы, которые до того, как попасть к тебе, были прекрасны и благоухали — иначе я никогда не послал бы их тебе, — завяли и умерли, едва тебя достигнув? Я не знаю действительной причины, потому что розы не пожелали бы открыть ее мне; но может статься, они не хотели проиграть в сравнении с тобой и страшились вступить в состязание с тобой, так что они тотчас умерли,

едва соприкоснувшись с более прелестным благоуханием твоей кожи Так свет лампы блекнет, побежденный сверканием пламени, и гаснут звезды, которые не в силах вынести вида солнца.

(6) К НЕМУ ЖЕ. Гнезда дают пристанище птицам, скалы — рыбам, а глаза — красоте Птицы и рыбы скитаются, переходят с места на место, блуждают там и сям, куда бы ни вел их случай; но если красота нашла надежный приют в глазах, то она никогда не покинет этого пристанища. Так и ты живешь во мне, и я повсюду ношу тебя в сетях глаз. Отправлюсь ли за море, и ты, словно Афродита, восстаешь из пены; пойду ли лугом, ты встречаешь меня сиянием цветов. Похожи ли цветы луга на тебя? Они тоже прекрасны, но цветут один только день. Взгляну ли в небо, мне кажется, что солнце закатилось, и на его месте сияешь ты. В обволакивающих нас сумерках ночи я вижу только две звезды: Геспер¹⁵¹ и тебя.

Ввиду их необозримости невозможно перечислить все места из греческой прозы, где восхваляется красота мальчиков; мы, по крайней мере, ограничимся краткой выборкой из Лукиана.

Его «Харидем» целиком посвящен вопросу о сущности прекрасного: «Поводом для нашей беседы, о которой ты хотел бы узнать, был сам красавец Клеоним, сидевший между мной и своим дядей. Большинство гостей, которые, как я уже говорил, были людьми неучеными, не могли оторвать от него глаз; они не видели ничего, кроме Клеонима, и едва не забывали обо всем остальном, соревнуясь в восхвалении его красоты. Мы, ученые, не могли не оценить их хороший вкус по достоинству, однако так как мы считали бы себя опозоренными, превзойди нас дилетанты в том, что мы рассматривали как свою специальность, то было решено, что каждый из нас произнесет друг за другом краткие импровизированные речи. Нам показалось, что не подобает особыми славословиями в честь юноши распалять его самовлюбленность».

После этого свой панегирик красоте произносит Филон: «Все люди желают обладать красотой, хотя достойными ее считаются немногие. Те, кому действительно выпало это благо, кажутся счастливейшими из людей, а боги и люди воздают почести преимущественно им. И вот этому доказательство. Среди всех смертных, когда-либо считавшихся достойными дружбы с богами, нет ни одного, кто не был бы обязан этому предпочтению своей красоте. Только красота позволила Пелопу отведать амвросии за одним столом с богами, и именно благодаря ей Ганимед, сын Дардана, возымел такую власть над царем богов, что Зевс не позволил ни одному богу сопровождать его, когда он слетел на вершину Иды, чтобы вознести своего любимца на небеса, где тот будет пребывать с ним вовеки. Когда Зевс спускается с Олимпа к прекрасным юношам, он становится столь нежен и кроток и справедлив ко всем, что кажется, будто он отказался от Зевсова нрава; боясь не

¹⁵¹ Геспером греки называли планету Венера, которую древние считали прекраснейшей из звезд ср Сафо, фрагм. 133. *αστέρων πάντων ο κάλλιστος*, Катулл, *Ixii*, 26, *Hesperie quis caelo lucet jucundior ignis?*

понравиться любимцам в своем настоящем виде, он принимает образ кого-нибудь другого — всегда столь пленительный, что бог твердо знает: все взгляды будут обращены на него. Такие-то почести и уважение воздаются красоте.

Зевс, однако, не единственный из богов, над которым красота имеет такую власть, и каждый, кто обратится к сказаниям о богах, найдет, что в данном отношении их вкусы совпадали: Посидон, к примеру, пал жертвой прекрасного Пелопа, Аполлон — Гиакинта, Гермес — Кадма. Если, таким образом, красота есть нечто столь благородное и божественное и так ценится самими богами, то разве не наш долг — подражать в этом богам и содействовать их прославлению теми словами и делами, что нам по силам?»

В конце своей речи Филон говорит об удовольствии, которое испытывает каждый присутствующий на Олимпийских, Истмийских и Пана-финейских играх, радуя свой взор «мужеством и упорством атлетов, их телесной красотой, крепостью их членов, их проворством и ловкостью, необоримой силой, смелостью, честолюбием, выдержкой и стойкостью, их неугасимой жадной победы».

Наконец, в «Скифе» (xi) Лукиана мы читаем о юноше, который, «стоит на него посмотреть, пленит ваше сердце своей мужской красотой и благородной осанкой; когда же он заговорит, то увлечет вас, околдовав ваш слух. Всякий раз, когда он говорит на публике, мы испытываем то же, что чувствовали афиняне, глядя на Алкивиада. Весь город прислушивается к нему с таким жаром и вниманием, что кажется, будто он желает поглотить ушами и ртом все, что юноша говорит. Единственное отличие состоит в том, что афиняне вскоре раскаялись в своей восторженной любви к Алкивиаду, тогда как здесь, напротив, все государство не только любит атлета, но находит, что он достоин уважения невзирая на возраст».

5. КРАСОТА МАЛЬЧИКОВ В ГРЕЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

В какой мере идеал мальчика представлялся грекам воплощением всей земной красоты, мы способны лучше оценить на основании того факта, что в пластических искусствах специфическая женская красота изображается как приближающаяся к типу мальчика или юноши. Истинность этого утверждения легко доказуема: стоит лишь бегло пролистать любую иллюстрированную историю греческого искусства. И действительно, даже прообраз женской прелести и женской соблазнительности — сирены — довольно часто изображались похожими на мальчиков. В греческом искусстве и особенно в вазописи мальчики и юноши изображаются куда чаще и куда тщательнее, чем девушки, — это бросается в глаза каждому, кто лишь однажды возьмет в руки альбом с великими творениями вазописи; ее излюбленным предметом является прежде всего юный Эрот наряду с Гиакинтом, Гиласом и другими мальчиками-любимцами, о которых повествует греческая мифология. Следует, далее, помнить о том, что целые главы справочников по

мифологии посвящены перечислению прекрасных мальчиков, как, например, школьный учебник по мифологии Гигина (*Fabulae*, 271); здесь нужно назвать также *Erotes* Фанокла, которые будут рассмотрены позже, — поэтический каталог многих прекрасных мальчиков и их любовников.

Другим доказательством того, что эллины видели идеал красоты в мальчике и юноше, является весьма примечательный факт: надпись *καλός* (красавец) встречается на огромном множестве ваз, тогда как надпись *καλή* (красавица) относительно редка. Что касается так называемых «надписей с именами любимцев», то здесь дело обстоит следующим образом.

Во все времена существовал обычай писать, вырезать или выцарапывать имена любимых всюду, где только представляется такая возможность или позволяет наличествующий материал. Так же было и в древней Греции, и мы располагаем множеством памятников письменности, из которых явствует, что имя любимого мальчика или девушки писалось на стенах, дверях и везде, где только можно, — особенно в таких многолюдных местах, как афинский Керамик (мы говорили о нем, разбирая «Разговоры гетер» Лукиана); иногда они вырезались на коре деревьев¹⁵². Великий художник Фидий не удержался от того, чтобы почтить своего любимца, написав «прекрасный Пантарк» (Павсаний, v, 11, 3; vi, 10, 6; 15, 2; Климент Александрийский, «Протрептик», 35с) на пальце своего величественного Зевса Олимпийского. Сохранился черепок, на котором мастер по имени Аристомед нацарапал слова: «Гиппей прекрасен! Так кажется Аристомеду». (*Ἰππεὺς καλός* *Ἀριστομήδει* *δοκεῖ*, *CIGr*, 541). Сентиментальные любовники писали имя мертвой возлюбленной с добавлением «прекрасная» собственной кровью на ее могиле (Ямвлих у Фотия, *Bibliotheca*, 94 — p. 77, Becker).

Как показывает эпиграмма Арата (*Anth. Pal.*, xii, 129), на могилах писали также имена мальчиков-любимцев:

В Аргосе слава красы Филокла гремела; известна
Слава мегарских гробниц, слава коринфских колонн;
Все о той красоте до источников Амфиарая
Вписано — только к чему? Что остается в письме?
Ибо твою красу не камень расскажет — расскажет
Видевший это Арат, знает он лучше других.

[перевод Ю. Голубец]

До того, чтобы оставлять такие знаки любви также и на вазах, достаточно было сделать всего один шаг. Иногда на греческих сосудах встречается надпись «прекрасный», однако более распространены надписи «мальчик прекрасен» или «такой-то прекрасен»; то же мы находим на колоннах, щитах, бассейнах, табуретках, столбах, алтарях,

¹⁵² Имена любимцев на внешних и внутренних стенах домов: Аристофан, *Acharn.*, 142; Плутарх, *Gryllus*, 7; Лукиан, *Amores*, 16; *Anth. Pal.*, xii, 130, 49; на стенах: Аристофан, «Осы», 97; Плавт, *Mercator*, ii, 3, 174; в Керамике: Лукиан, «Разговоры гетер», 4, 10; Страбон, xiv, 674; на коре деревьев: схолии к Аристофану, *Acharn.*, 144; Каллимах, фрагм. 101; Аригенет, «Письма», 1, 10.

ящиках, бурдюках, ободках дисков и на множестве других предметов. На многих вазах приведены даже настоящие диалоги, как на одной Мюнхенской вазе, где между рисунками волнистыми буквами выведена надпись:

А. Прекрасен Дорофей, о Николай, прекрасен!

Б. Он и мне кажется прекрасным; но и другой мальчик Мемнон — прекрасен.

А. Для меня он тоже прекрасен и дорог.

Может быть упомянуто и то, что эпитет любимца *καλός* мы обнаруживаем даже на вазах, где изображены сцены в школьном классе, например, на краснофигурной чаше Дуриса, нередко бывшей предметом для подражания и хранящейся ныне в Антиквариуме старого Берлинского музея.

Хотя относительно «надписей с именами любимцев» уже существует обширная литература, их сущность и назначение не получили до сих пор адекватного объяснения. Итоги проведенных ранее исследований могут быть ясным образом обобщены в виде следующих положений:

(1) В сущности, имена любимцев были явлением, обычным лишь для аттической вазописи и только в течение около семидесяти лет в пятом веке до н.э.

(2) Надпись *καλός* (прекрасный) имеет несколько значений. Иногда художник хочет тем самым похвалить самого себя, в других случаях надпись относится к отдельным нарисованным фигурам, будучи выражением испытываемой им наивной радости от сознания того, что тот или иной образ удался ему особенно хорошо.

(3) Но чаще вазописец желал выразить свое восхищение юным любимцем.

(4) Многие заказчики требовали, чтобы художник дополнял рисунок надписью «прекрасный Гиппий» или «прекрасный такой-то» с тем, чтобы порадовать мальчика, которому они намеревались подарить вазу, похвалой его телесному очарованию, тем более что происходило это в эпоху, когда каждый юноша гордился своей красотой и считал не позором, но высокой наградой, если находилась человек, восхищавшийся его душевными и телесными достоинствами.

(5) Наконец, вазописцы надписывали на сосудах имена тех мальчиков и юношей, красотой и дикими выходками которых восторгался весь город. Мы вправе предположить, что многим гончарам удавалось быстрее распродать свой товар, если он был украшен именем мальчика, боготворимым в ту пору всеми¹⁵³.

¹⁵³ Относительно многочисленных мест, где можно было найти различные вариации на тему *καλός*, ср. *Charicles*, i, 314; относительно мюнхенской вазы — O. Jalm, *Beschreibung der Vasensammlung König Ludwigs in der Pinakothek zu München*, 1854, S. 101, где приведены различные варианты греческого текста, в том числе такой: *καλός, Νικόλα, Δωρόθεος καλός, κάμοϋ δοκεῖ ναί', χατερος παις καλός, Μέμνων. κάμοϋ καλός φίλος*; K. Wemicke, *Die griechischen Vasen mit Liebtsnamen*, Berlin, 1890 (приведена предшествующая литература).

6. ПРЕКРАСНЫЙ МАЛЬЧИК: ИССЛЕДОВАНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ИДЕАЛА

После того как мы установили основные черты греческого идеала красоты и предприняли попытку облегчить его понимание для современного наблюдателя, нам остается обстоятельнее остановиться на деталях эллинского идеала мальчика. Из всех телесных прелестей мальчика более всего греки пленялись красотой глаз, которая поэтому справляет в поэзии свой высочайший триумф. Софокл, возможно, нашел лучшие слова, говоря в одном — безусловно, труднопереводимом — фрагменте (фрагм. 433, Nauck², у Афиня, хш, 564Б) о глазах юного Пелопа:

Таким Пелоп владеет талисманом Неотразимым¹⁵⁴.

Молния во взоре Его горит и, душу согревая

Его, воспламеняет кровь мою.

[перевод Ф. Ф. Зелинского]

В драме «Поклонники Ахилла» (фрагм. 161, Nauck²) Софокл говорил о «желании, что воспламеняется взором его очей», о глазах, «мечущих дротики любви». Цитирующий эти слова Гесихий¹⁵ (ш, 203: ὀμμάτειος πόθος δια το εν τω ὀραν ἀλίσκεσθαι ἐρωτην εκ γαρ του ἔσοραν γίνεται ἀνθρώποις ἔραν. Και εν Αχιλλέως ἐρασταίς ομμάτων ἀπό λόγῃς ἴησιν) напоминает о том, что глаза любимого — врата, через которые входит любовь, ибо, по греческой пословице, «любовь возникает в людях благодар зрению».

Мы уже упоминали выше (с. 282) слова Ликимния о красоте глаз его любимца. Сафо (фрагм. 29, Bergk⁴, у Афиня хiii, 564d) молит: «Стань предо мною, друг мой, излей очей своих прелесть».

От Анакреонта (фрагм. 4, Bergk⁴) дошли стихи:

Мальчик с видом девическим,

Просьб моих ты не слушаешь

И не знаешь, что душу ты

На вожжах мою держишь.

[перевод В. В. Вересаева]

Громогласный Пиндар (фрагм. 123, Bergk⁴) начинал несохранившийся сколий словами:

В должное время, В юные годы

Надобно пожинать любовные утечи;

Но лучший блеск из глаз Феоксена —

Кто, увидев его, не вспенится страстью,

¹⁴ В оригинале ἰγγα θηρατρῖαν ἐρωτός, «магическое колесо любви, охотящееся за жертвой». Эти слова принадлежат Гшшодамии.

Сердце у того
Черное,
Из железа и стали
На холодном выкованное огне..

[перевод М. Л. Гаспарова]

Великий философ Аристотель (фрагм. SIR, Ath., xiii, 564b), сильнейший и наиболее универсальный мыслитель античности, признает: «Ни на одну другую телесную прелесть своих любимцев любящие не обращают такого внимания, как на глаза, в которых живет тайна всех доблестей мальчика».

Разумеется, лирические поэты не отстают в восхвалении любимых глаз: в одном из своих стихотворений Ивик (фрагм. 2) прославляет их так:

Эрос влажно-мерцающим взором очей своих черных глядит
из-под век на меня
И чарами разными в сети Киприды
Крепкие вновь меня ввергает.

[перевод В. В. Вересаева]

Другой раз он сравнивает глаза мальчика со звездами, которые мерцают в темном ночном небе.

Особенно часто хвалу глазам мальчика воздают поэты «Палатинской Антологии». Так, Стратон (Anth. Pal., v, 196) говорит о мальчике: «В глазах твоих, богоравный Ликин, искрится огонь; нет, мой владыка, это — лучи, сеющие пламя. Поэтому я не могу долго всматриваться в них — столь ослепительно сверкают они». В другом месте он пишет: «Мне по нраву и карие глаза, но более всего я люблю черные, с искрой во взоре».

Эта небольшая подборка отрывков, в которых восхваляются прекрасные глаза, позволяет ясно представить, с каким восхищением относились греки к телесной красе своих мальчиков. Хотя нельзя отрицать того, что греки прославляли и другие части отроческого тела едва ли не столь же часто, как и глаза, нет нужды утомлять современного читателя рассмотрением всех прелестей тела и систематически приводить подходящие выдержки из греческих авторов, анализируя все их по отдельности; достаточно будет кратко перечислить другие физические достоинства, привлекавшие особое внимание греков.

При взгляде на юношу, на щеках которого горел румянец стыдливого смущения, Софокл процитировал стих трагического поэта Фриниха (фрагм. 13, TGF, p. 723, у Афиня, xiii, 604a): «На пурпурных щеках огонь любви сияет»; сам Софокл («Антигона», 783) говорил: «На нежных щеках несет стражу Эрос».

Для греков одним из главных очарований отроческого тела были волосы. Гораций («Оды», i, 32, 9 ел.) свидетельствует о великом Алкее:

Вакха, Муз он пел и Венеру с сыном,
Что повсюду с ней неразлучен, Лика

Черных блеск очей воспевал, красавца,
Черные кудри.

[перевод Н. С. Гинцбурга]

Если верить Цицерону (*Nat. dear, i, 28, 79*), Алкей какое-то время был особенно упоен маленькой родинкой на пальце своего любимца Ли́ка.

Комедиограф Ферекрат (фрагм. 189, CAF, I, 201) восхвалял мальчика, которого украшали светлые вьющиеся волосы, такими словами: «О ты, что блещешь в завитках золотых волос!»

Когда Анакреонт пребывал при дворе правителя Самоса Поликрата, он влюбился в прекрасного Смердиса (Элиан, *Var. hist., ix, 4*), одного из царских пажей, и не уставал любоваться ослепительными локонами паренька и воспевать их темное богатство в своих стихах. Юношескому тщеславию Смердиса было чрезвычайно приятно принимать столь изобильно расточаемые ему хвалы. Но чтобы уязвить мальчика и поэта, Поликрат — то ли по тираническому капризу, то ли в приступе ревности — повелел обрезать волосы Смердиса. Поэт, однако, не пожелал обнаружить своего гнева, но повел себя так, словно мальчик по собственной доброй воле лишил себя красоты своих волос, и упрекнул его за безрассудство в новом стихотворении, которое стало тем самым еще одним выражением почтения со стороны поэта. От него сохранились только следующие слова: «Ты состриг такой прекрасный //Нежный цвет его кудрей,.. //Тех кудрей, что так чудесно //Оттеняли нежный стан» [перевод С. Лурье].

Другим его любимцем был Бафилл (ср. Максим Тирский, xxxvii, 439; Гораций, «Эподы», 14, 9), который пленил поэта не только красотой, но и своей искусной игрой на флейте и кифаре. Поликрат воздвиг статую юноши в храме Геры на Самосе, которую видел еще описывающий ее Апулей (*Florilegium, ii, 15*). ,

По античным представлениям, любовь есть не что иное, как стремление к прекрасному, и потому после всего вышесказанного нас ничуть не удивит тот факт, что чувственная любовь греков была направлена на мальчиков и что греки искали в их обществе духовной близости. К идеалу красоты присоединялись, по выражению Луки, «более богатые духовные задатки мальчиков, делавшие возможной осмысленную беседу, тогда как с девушками мужчина мог лишь шутить. Таким образом, стремление греков к обществу своих товарищей по полу имело не только социальный смысл». Древнегреческая любовь к мальчикам (*παιδοφιλία*) кажется нам неразрешимой загадкой, однако из истории этой любви и ее выражения в греческой литературе легко доказать, что самые видные и влиятельные носители греческой культуры наиболее решительным образом придерживались гомосексуальных воззрений.

Теодор Дейблер в своей книге о Спарте (Leipzig, 1923) говорит: «Каждый, кто не способен видеть в эллинской любви к мальчикам или сафическом расположении к собственному полу чего-то возвышенного и священного, отрекается от Греции. Свободой Европы и крушением персидского произвола по отношению к многообразию

естественных инстинктов человека мы обязаны парам греческих любовников в большей степени, чем прекраснейшему искусству в истории человечества... В Спарте эпохи расцвета всякое покушение на любовь к мальчикам имело бы разрушительное действие и было бы воспринято как безрассудство и предательство народа». (Ср. Lucka, *Die drei Stufen der Erotik*, S. 30; M. Hirschfeld, *Die Homosexualität des Mannes und der Weibes*, 1914).

7. ГРЕЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ К МАЛЬЧИКАМ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ

Если мальчику присущи качества, вкратце разобранные на предыдущих страницах, тогда он достоин того, чтобы стать предметом более пристального рассмотрения.

Двенадцатая книга «Палатинской Антологии» — это настоящий гимн любви к мальчикам. В литературном и историческом очерке мы к ней непременно еще вернемся, а сейчас удивляемся описанием отдельных этапов гомосексуальной любви, почерпнутым из поэтических отрывков, которые дошли до нас в составе этого сборника.

Если Стратон однажды (Anth. Pal., xii, 198) признается в том, что его пленяет «все мальчишеское», то этим он открывает не только свою душу, но и душу большинства греков.

Другой раз (Anth. Pal., xii, 192) он высказывает сокровенную мысль многих эллинов: «Меня не прельщает ни роскошь волос, ни курчавые локоны, если они произведены не природой, а усердием искусства. Нет, мне мила густая грязь на мальчишке, который только что из палестры, и нежный блеск его тела, увлажненного свежим оливковым маслом. Мне сладостна любовь без прикрас, а искусственная краса — дело женской Киприды».

Всякий раз, когда античная литература и искусство рисуют картины застоля, мы находим на них юношей, подающих гостям вино, обменивающихся с ними шутками или даже предлагающих использовать свои роскошные волосы в качестве полотенца, как — ограничимся единственным примером — сообщает Петроний (27, 31, 41). Он рассказывает о «юношах из Александрии, поливающих на руки гостям ледяную воду, в то время как другие омыают им стопы или с невыразимой нежностью полируют ногти». — В другом месте тот же автор пишет: «После того как мы наговорились, вошел очень красивый мальчик, увенчанный листьями винограда и плющом; он обходил гостей с корзинкой, наполненной виноградными гроздьями, и пел голосом, который звенел, как колокольчик. И мы целовали порхавшего вокруг нас мальчика, целовали, пока не насытилось сердце».

О том, сколь тесно идеал прекрасного мальчика связывался у греков с их пирушками, явствует из рассказа, изложенного Филостратом (i, 105, 13, Kayser): во дворце могущественного индийского царя стояли четыре изысканных треножника. Их носили бронзовые юноши, «которые были такими же красавцами, какими греки представляют себе своего

Ганимеда или Пелопея». Нередко мальчики принимали участие и в попойках — на эту мысль наводит фрагмент комедиографа Филиллия (Ath., xi, 485c; CAP, I, 783).

8. МУЖСКАЯ ПРОСТИТУЦИЯ

Во все времена и у всех народов любовь можно было купить за деньги; так будет всегда, сколь бы огорчительно это ни было в силу самых различных соображений. Мужская проституция стара, как сама любовь. Мы уже неоднократно говорили, что среди храмовых проституток можно было встретить не только женщин, но и хорошеньких мальчиков. Сколь широко была распространена мужская проституция в эпоху Солона, явствует из того, что этот великий государственный деятель, поэт и философ в своем законодательстве не только запретил педерастию для рабов, так как это самое свободное проявление человеческого самоопределения подобало только свободным, но и установил наказания для тех, кто превращал свою красоту в ремесло. Оратор Эсхин (нашим знанием этих законов Солона, многие детали предания о которых остаются неясными, мы обязаны в основном ему) говорил: «Следует опасаться, что тот, кто торгует собственным телом за деньги, легко отречется и от общих интересов государства».

Ибо сколь бы ни были греки всех времен благосклонны к отношениям между женщиной и мальчиком, основанными на взаимной симпатии, они всегда осуждали такую любовь, если мальчик отдавался за деньги. Об этом не только ясно свидетельствует Эсхин в своей знаменитой речи против Тимарха; это следует из множества высказываний других авторов. Профессиональная мужская любовь называлась *ἑταιρῆσις* или *ἑταιρεία*, а продаваться за деньги — *ἑταιρεῖν*¹⁵⁵.

Остается лишь привести некоторые из тех многочисленных текстов, в которых греческие авторы свидетельствуют о том, что повсюду находились мальчики и юноши, отдававшие свою любовь за деньги, или подарки, или за то и другое вместе. В качестве доказательства процитируем следующие строки из Аристофана («Плутос», 153): «И мальчики, как слышно, это делают — // Не по любви, а по корыстолюбию. // Да, мальчики развратные, хорошим же // Не надо денег вовсе» [пер. В. Холмского].

Поэтому мы не станем обходить молчанием жалобы поэтов на корыстолюбие мальчиков, тем более что последние ловко научились скрывать свою алчность при помощи всяческих уловок и кокетства. Так,

¹⁵⁵ Примечательно, что выбирались в точности те слова, которые изначально обозначали нечто вполне достойное: сперва мужскую дружбу, затем политические клубы; и только в самом конце мужскую проституцию (ср. аналогичную эволюцию англ. *hussy*, *ἑταιρῆσις*, например, Aeschines, *Tim.* 13; *ἑταιρεία*, Andoc., i, 100; Diod. Sic., u, 18; относительно *ἑταιρεῖν* см. словари; ср. также *ἑταιρεῖσθαι*), главным образом для мужчин, (Полибий, vii, 11, 10; Диод. Сицилийский, xii, 21), но также и для женщин (Плутарх, *Antonius.*, 18); в этом смысле употребляется также *ἑταιρίζειν*, например, схолии к Аристофану, «Женщины на празднике Фесмофорий», 254, Поллукс, vi, 168; у Плутарха, *De adul. et am. discr.*, 30, *φιλία ἑταιροῦσα* противопоставлена *φιλία ἀληθινή καὶ σώφρων*.

Стратон (Anth. Pal., xii, 212) сокрушается: «Увы мне! Почему ты снова в слезах и безутешен? Скажи откровенно; я хочу знать, в чем дело. Ты протягиваешь ладошку? Я пропал! Ты, кажется, просишь о плате? Ты не любишь больше играть печеньем с тмином, сладким сесамом и орехами, но все твои мысли о выгоде. Пусть пропадет тот, кто выучил тебя этому! Какого мальчика он мне испортил!»

С незначительными изменениями эта малоприятная тема всплывает весьма часто в произведениях, вдохновляемых «мальчишеской Музой», но нам достаточно одного показательного примера.

Особенно видные и выдающиеся мужчины едва ли могли противостоять всем предлагавшим себя юношам. Так, Каристий (Ath., xii, 542f, FHG, IV, 358) сообщает в своих «Воспоминаниях»: «Все афинские юноши страстно завидовали Диогнису, ибо он был в особой чести у Деметрия, с которым они жаждали познакомиться. Поэтому вечером, когда Деметрий выходил на прогулку, все прекраснейшие юноши города выходили туда, где он прохаживался, чтобы он их увидел».

Мальчиков можно было не только купить за деньги, но и заключить с ними договор о найме на более или менее продолжительный срок. Помимо других доказательств мы располагаем чрезвычайно интересным свидетельством в виде речи, составленной в 393 году Лисием для некоего афинянина, любившего мальчика из Платей по имени Феодот; клиент Лисия был обвинен неким Симоном, который также был влюблен в Феодота, в преднамеренном нанесении телесных повреждений, которое в те времена являлось преступлением, каравшимся изгнанием и конфискацией имущества. В этом примечательном юридическом документе самым подробным и откровенным образом говорится как о чем-то само собой разумеющемся, что мальчик был нанят по контракту для того, чтобы использоваться именно таким образом. В качестве материальной компенсации Феодот получил 300 драхм (около 12 фунтов).

Мало того. Мы имеем несколько письменных свидетельств, из которых с достаточной уверенностью можно заключить, что в Греции, по крайней мере в Афинах, существовали публичные дома или гостиницы, где содержались мальчики и юноши — вместе с девушками или отдельно, — которых можно было купить за деньги. Так, Эсхин говорит: «Взгляните на тех, что, как всем известно, занимаются этим ремеслом, сидя в публичных домах. Даже они, стыдясь, пользуются некими занавесками и запирают двери» (*Tim.*, 30).

Весьма часто обитателями таких домов становились молодые люди, попавшие в плен и после этого проданные. Самым известным тому примером является Федон из Злиды (Диоген Лаэртский, ii, 105), с которым в последний день своей жизни Сократ беседовал о бессмертии души. Федон происходил из благородной семьи и во время войны между Элидой и Спартой, будучи еще очень юным, попал в руки врагов, которые продали его в Афины, где его купил владеец публичного дома. Здесь с ним познакомился Сократ, который убедил одного из своих богатых почитателей выкупить юношу. Несомненно, весьма примечателен тот факт, что восхищавший столь многих диалог «Федон», возможно, самый волнующий из всего написанного Платоном, назван именем

молодого человека, являющегося одним из главных действующих лиц диалога, — молодого человека, который, пусть и не по доброй воле, еще недавно должен был подчиняться прихотям любого посетителя публичного дома, пожелавшего за него заплатить.

Однако иные свободные юноши добровольно кружили вокруг подобных домов, чтобы заработать денег продажей своего тела. Эсхин так упрекает Тимарха (*Tim.*, 40): «Едва детские годы остались позади, он принялся посещать баню¹⁵⁶ Эвтидика, делая вид, будто изучает это ремесло, но в действительности затем, чтобы продаться, что и показало происшедшее».

Из того, что говорит Эсхин далее, явствует, что любовники не только посещали мальчиков-проституток в публичных домах (бордели с обитателями-мужчинами упоминаются также Тимеем у Полибия, xii, 13, FHG, I, 227: τὸν ἐπί. τέγουρς ἄλο του σόματος ἐργασμένων), но и приводили их к себе домой, где они попадали в распоряжение хозяина или — во время праздников — гостей. «Есть, о афиняне, — говорит Эсхин, — некий Мисгол, в остальных отношениях человек порядочный и безупречный, который чрезвычайно предан любви к мальчикам и не может жить без того, чтобы вокруг него не вились какие-нибудь певцы и кифаристы. Едва он уразумел истинную причину пребывания Тимарха у Евтидика, он увел его оттуда, заплатив ему за это некоторую сумму, и держал при себе, так как был бесшабашен, молод, сладострастен и весьма приспособлен к тем вещам, на которые решился и которые Тимарх предпочел терпеть. У Тимарха не было никаких угрызений относительно такого поступка, он подчинился, хотя будь его требования скромнее, он не знал бы нужды ни в чем». Один из афинских публичных домов, где содержались мальчики, был расположен, по-видимому, на скалистом конусе горы Ликабет, которая возвышается над городом примерно на 900 футов; к такому выводу мы приходим на основании отрывка из комедии Феопомпа (см. *Schol. Find., Pyth.*, 2, 75, CAF, I, 740), где олицетворенный Ликабет говорит: «На моей скалистой вершине мальчики охотно отдаются сверстникам и мужчинам».

9. ЭТИКА ГРЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ К МАЛЬЧИКАМ

Несмотря на все эти факты, было бы ошибкой полагать, будто чувственность являлась единственной (или, по крайней мере, важнейшей) составляющей эллинской любви к мальчикам. Дело обстоит совершенно обратным образом: все, что сделало Грецию великой, все, что создало для греков культуру, которой человечество не перестанет восхищаться до конца времен, имело свои корни в беспримерной этической ценности, которая придавалась мужскому характеру общественной и

¹⁵⁶ В оригинале ἵατρείον, «приемная» врача, который являлся одновременно терапевтом, хирургом, владельцем бани и фармацевтом. Здесь он держал при себе ассистентов, в том числе молодежь, обучающуюся профессии врача. Здесь можно было встретить также зевак самого разного рода, приходивших поболтать или завести интересные знакомства; ср. *Achan., Var. hist.*, lii, 7; *Plautus, Amphitruo*, iv, 1, 3.

частной жизни. Мы уже указывали, сколь высокого мнения придерживался Платон о любви к мальчикам (см. Lagerborg, *Die platonische Liebe*, Leipzig, 1926), и, наконец, настало время подробнее остановиться на этических основаниях греческой «педофилии».

Эрот — это принцип не только чувственной, но и идеальной стороны греческой педофилии. Прелестный рисунок на вазе из Берлинского Антиквариума изображает эту идеальную сторону символически и поэтому был назван Рольфом Лагерборгом «экстазом любви». Мы видим на этой вазе Эрота, который воспаряет к вершинам неба, устремляя горе свой взор, и несет мальчика, мнимо противящегося ему и в то же время глядящего на него с любовью. Хартвиг с полным правом говорит следующее: «Возможно, здесь имеется в виду тот родовой Эрот, который -то приносит мальчикам цветок, лиру или браслет, то обращается к ним с полным жизни жестом или порывисто обрушивается на них: идеализированное изображение ухаживания влюбленных мужчин, которое так часто реалистически воспроизводят рисунки на чашах этого периода».

Педофилия была для греков прежде всего наиважнейшим способом воспитания юношества. Как добрая мать и домохозяйка была для них идеалом девочки, так *καλοκαυαμία*, или гармоничное развитие тела и души, являлась идеалом мальчика. Наилучшим средством приблизиться к этому идеалу была любовь к мальчикам, и ввиду того, что государство, особенно у дорийцев, ожидало от каждого мужчины, что он изберет своим любимцем юношу, а юноша, которому не удалось обрести старшего друга и любящего, — неудача, объяснимая лишь при наличии некоего нравственного изъяна, — был обречен на порицание, как мужчина, так и юноша из всех сил стремились развить в себе мужские доблести. Так как старший нес ответственность за поведение младшего, любовь к мальчикам не преследовалась, но поощрялась, чтобы стать скрепляющей государство силой и фундаментом греческой этики. Подтверждение тому, что такие этические тенденции имели место в действительности, мы находим в многочисленных памятниках греческой литературы, наилучшее из которых — уже приводившиеся слова Платона (с. 276).

Однако Платон отнюдь не предается прекраснодушным мечтам: об этом свидетельствуют исторические факты. Именно по этой причине в еврейской Халкиде (Plut, *Amat.*, 761) исполнялись песни, восхваляющие добрую дружбу; именно поэтому перед битвой спартанцы совершали жертвоприношение Эроту (Ath., xiii, 56le); именно поэтому подразделение фиванского войска, называвшееся «священный отряд» (*ιερός λόχος*), был гордостью нации и предметом восхищения Александра Великого; и именно поэтому перед выступлением на бой друзья принесли последние клятвы верности у могилы Июлая в Фивах.

Когда халкидяне воевали с эретрийцами, Клеомах пришел им на помощь во главе внушительного конного отряда; Клеомах был влюблен в некоего юношу. Сражение было жестоким, потому что кавалерия врага была прекрасно подготовлена. Клеомах спросил любимца, не желает ли он посмотреть на битву вместе с ним. Юноша отвечал согласием, поцеловал друга и надел шлем на его голову. Тогда сердце Клеомаха

исполнилось высокого духа и, презрев смерть, он вторгся в ряды врагов. Он одержал победу, но только ценой героической гибели. Халкидяне похоронили его со всеми почестями и воздвигли на его могиле колонну, чтобы она вечно напоминала грядущим поколениям о подвиге Клеомаха.

Согласно Афиною, перед битвой спартанцы приносили жертвы Эроту потому, что были убеждены: «любовь сражающейся плечом к плечу дружеской пары несет спасение и победу».

«Священный отряд» фиванцев на все времена дал наилучшее свидетельство о возвышенной этике греческой любви к мальчикам. Этот отряд, состоявший из трехсот знатных мужчин, принесших взаимные клятвы любви и дружбы, был, по сообщениям древних, создан Горгидом. В связи с этим нередко вспоминали острогу Пармена (Плутарх, *Pelop.*, 18; ср. также восклицание Филиппа), друга Эпаминонда. Он порицал Гомера за то, что в «Илиаде» (ii, 363) Нестор однажды призывает воинов строиться в битве «по филам и фратриям», и полагал, что ряды бойцов должны составляться из дружеских пар, так как такой строй будет нерасторжим и необорим. Священный отряд блестяще зарекомендовал себя в битве при Мантинее, в которой Эпаминонд пал вместе с Кефисодором, и традиции отважного отряда оставались неповрежденными вплоть до поражения при Херонее, положившего конец расцвету греческой свободы. Когда победитель, царь Филипп Македонский, взглянул на поле битвы после сражения и увидел, что тела всех трехсот имеют смертельные раны на груди, он не мог сдержать слез и сказал: «Горе тем, что подумают плохо о таких мужах!»

Нетрудно подыскать аналоги фиванского священного отряда. Мы уже цитировали слова Платона, говорившего о великих воинских доблестях и возвышенной готовности к самопожертвованию такого войска, хотя Сократ в «Пире» Ксенофонта (8, 32) соглашается с таким взглядом, пожалуй, не без оговорок. Но прочтите рассказ из «Анабасиса» Ксенофонта (VII, iv, 7) о соперничестве Эписфена и мальчика, о готовности каждого из них умереть за друга. Это был тот самый Эписфен из Олинфа, который позднее «образовал настоящее содружество прекрасных юношей и среди них проявил себя героем». В «Киропедии» (vii, 1, 30) говорится: «В других случаях уже неоднократно оказывалось, что нет более прочного боевого строя, чем составленного из товарищей или близких друзей»; это подтвердили как сражение между Киром и Крезом, так и битва при Кунаксе («Анабасис», i, 8, 25; i, 9, 31), в которой рядом с Киром пали смертью героев также его «друзья и сотрапезники». Все это подтверждается Элианом (*Var. hist.*, iii, 9), который объясняет готовность к самопожертвованию тем, что влюбленного воодушевляют два бога — Арес и Эрот, тогда как воин, не знающий любви, вдохновляем одним Аресом. Даже в *Eroticus* Плутарха, не одобряющего страсть к мальчикам, сила любви на войне показывается на многих примерах. Вельфлин (*Philologus*, xxxiv, 413) обратил наше внимание на «отряд друзей» в войске Сципиона, а Цезарь говорит о союзе юношей в стране сенти-атов, одного из галльских племен (*Bell. Gall.*, iii, 22): «...галлы называют их «солдуриями». Их положение таково: они обыкновенно пользуются

всеми благами жизни сообща с теми, чьей дружбе они себя посвятили; но если этих последних постигнет насильственная смерть, то солдурии разделяют их участь или же сами лишают себя жизни; и до сих пор на памяти истории не оказалось ни одного такого солдурия, который отказался бы умереть в случае умерщвления того, кому он обрек себя в друзья» [перевод М. М. Покровского].

Проведя эти параллели, число которых нетрудно умножить, невозможно далее считать, будто сообщаемое о священном отряде фиванцев — преувеличение. Несомненно, век данного феномена, как и самого эллинизма, был недолог. Впервые мы слышим о нем в битве при Левктрах (371 г. до н.э.), а после несчастливой битвы при Херонее (338 г. до н.э.) он прекращает свое существование. Таким образом, ему было отпущено всего 33 года.

Заслуживает упоминания и история, излагаемая Плутархом («Ли-кург», 18). Когда в битве некий юноша издал возглас боли, его друг понес за это наказание от государства.

Таким образом, влюбленный с помощью вдохновляющего его Эрота «пройдет сквозь огонь, воду и неистовую бурю» (Плутарх, *Amat.*, 760á) ради любимого (так гласит строчка из неизвестного трагика), и отвага любовника противится даже гневу богов. Когда за грехи Ниобы (Софокл, фрагм. 410m TGF, 229) ее сыновья были поражены стрелами Аполлона, друг пытался прикрыть нежное тело младшей дочери; когда обнаружилось, что усилия его тщетны, скорбящий друг заботливо оборачивает ее тело в саван. Даже об идеальном воплощении греческой героической мощи — Геракле — сообщается, что подвиги давались ему легче, когда он совершал их на глазах своего возлюбленного Иолая, гимнасий и героон которого вплоть до относительно позднего времени существовали перед Пройтидскими воротами в Фивах (Павсаний, ix, xxiii, 1; ср. также Плутарх, *Pelop.*, 8). В память о любви между Гераклом и Иолаем фиванцы справляли Нолей (Пиндар, *Olymp.*, vii, 84, и схолии ad l.), которые состояли из гимнастических и конных игр, чьим победителям в качестве награды преподносили оружие и железные сосуды.

У Павсания читаем, что афинянин по имени Тимагор любил некоего Мелеса или Мелета (i, 30, 1), который обращался с ним весьма пренебрежительно. Однажды, когда они находились на крутом горном склоне, Мелес потребовал от Тимагора броситься вниз, что и было исполнено, ибо последний ценил свою жизнь меньше, чем исполнение любого желания, высказанного любимцем. В отчаянии от гибели друга Мелес затем также бросился со скалы.

Если мы вправе делать выводы из того, что было сказано об этике греческой любви к мальчикам, то неопровержимым фактом окажется следующее: греческая любовь к мальчикам является свойством характера, опирающимся на эстетические и религиозные основания. Ее целью, в осуществлении которой ей помогает государство, является сохранение последнего и укрепление основ гражданских и личных добродетелей. Она не враждебна браку, но дополняет его как важный воспитательный фактор. Таким образом, мы вправе говорить о ясно выраженной бисексуальности греков.

Многочисленные эпитафии, нежностью языка, достоинством содержания и красотой формы возвышающиеся до благороднейших творений греческой поэзии, показывают, что перед серьезностью смерти страсть отступает, давая место просветленному, погруженному в мечты и воспоминания счастью — счастьем дружбы, которая продолжается даже за гробом.

Седьмая книга «Палатинской Антологии», в которую вошло 748 эпитафий, показывает, с каким изысканным вкусом и тактом греки украшали могилы своих мертвых героев, возводя памятники в их честь. Я уже сопоставлял ранее¹⁵⁷ эпитафии, посвященные любви к юношам, так что здесь достаточно будет привести прекраснейшую из них. Эта эпиграмма была написана поэтом Кринагором (Anth. Pal., vii, 628) в честь его любимца, которого он называл Эротом; мальчик рано умер на каком-то острове, и поэт высказывает пожелание, чтобы отныне этот и соседний острова носили имя Островов Любви:

От названий своих острова отрекались иные,
Славы не знавшие, взяв общее имя с людьми;
Пусть назовут Эротидами вас. Нисколько не стыдно
Вам, Оксейям, иметь имя такое теперь.
Мальчику ведь, кто сокрыт был Днем в этой могиле,
Имя свое и красу бог сам Эрот подарил.
Ты, гробовая земля, и море вблизи побережья,
Легкой ребенку пребудь, ты же — спокойным всегда!

[перевод Ю. Шульца]

В греческой древности не было, разумеется, недостатка в мнениях, которые отвергали любовь к мальчикам как таковую либо с определенными оговорками. Так, эпиграмма Мелеагра (Anth. Pal., v, 208), в которой содержится мысль «тот, кто дарует эту любовь, не может в то же время принимать ее сам», представляет собой отрицание такой любви. Мелеагр, несомненно, придерживался этого мнения не всегда, так как мы располагаем многочисленными его эпиграммами, в которых прославляется любовь к юношам.

В романе Ксенофонта Эфесского (п, 1) влюбленная пара, Габро-ком и Антия, попадают в руки пиратов, предводителя которых охватывает неистовая страсть к Габрокому. Но последний говорит: «Увы тебе, несчастливый дар красоты! Сколь долго сохранял я чистоту только для того, чтобы теперь постыдно уступить похоти пирата! Зачем мне после этого жить, если из мужчины я сделаюсь шлюхой? Но я не покорюсь его желаниям, уж лучше умереть и сохранить свое целомудрие!»

Раствление мальчиков в любом случае безоговорочно отвергалось. Так, в комедии Анаксандрида (фрагм. 33, 12, у Афиня, vi, 227b, САР, II, 147) говорилось: «Малое дитя в цвете юных лет — какими чарами, какими льстивыми словами ты сможешь его изловить, не пользуясь при этом хитростями рыболова?» В комедии Батона (фрагм. 5, у

¹⁵⁷ IX Band des Hirschfeldschen Jahitouchs, Leipzig, Spohr, 1908, S. 224 ел.

Афиня, ш, 103с и vii, 279am САР, III, 238) негодующий отец жалуется на философа, который испортил его сына своими лжеучениями.

Далее. В целом осуждалось и то, что мальчик отдается за деньги или любой другой вид платы. Я уже доказал это цитатой из «Плутоса» Аристофана (153 ел.), и поэты никогда не устали вспоминать о старом добром времени, когда мальчик в награду за оказанные милости довольствовался птичкой, синицей, дроздом, малиновкой, перепелом или даже мячом и тому подобными пустяками.

Здесь нужно также сказать, что женщины, как и следовало ожидать, в целом порицали все, что относится к мужской гомосексуальной любви; так, в комедии неизвестного автора некая женщина говорит: «Мне нет дела до мужчины, которому самому нужен мужчина» (фрагм. у Лукиана, *pseud.*, САР, III, 497).

Само собой разумеется, что гетеры также ревновали своих клиентов, если те вступали в гомосексуальные связи; к тому же это подтверждает беседа (Лукиан, «Разговоры гетер», 10) двух гетер — Дросиды [«росистая»] и Хелидонион [«ласточка»]. Дросида получила письмо от ученика Клиния, который пишет, что не может посещать ее более, так как учитель Аристенет следит за каждым его шагом. Она жалуется на затруднения своей подруге Хелидонион:

«ДРОСИДА: Но я погибаю от любви! Однако Дромон¹⁵⁸ говорит, что Аристенет какой-то педераст и под предлогом обучения живет с красивейшими; и что он, оставаясь наедине с Кликнем, разглагольствует, суля ему, что будто сделает его чуть ли не равным богам; и что он читает с ним какие-то речи древних философов о любви к ученикам и вообще не отходит от юноши. Дромон даже грозил, что перескажет это отцу Клиния.

ХЕЛИДОНИОН: Тебе следовало угостить Дромона.

ДРОСИДА: Я его угостила, да он и без того за меня, потому что сохнет по Небриде.¹⁵⁹

ХЪЛИДОНИОН: Не унывай, все будет хорошо. А я намерена написать на стене в Керамике¹⁶⁰, где обычно прогуливается Архитель [отец Клиния], «Аристенет возвращает Клиния», чтобы этим поддержать сплетню Дромона.

[Возможно, этим она добилась бы своей цели и разлучила любовника Дросиды с ее соперником; в то же время она чрезвычайно скомпрометировала бы возлюбленного. В древней Греции это означало бы не порицание педерастии как таковой, к чему стремится Хелидонион, обличая Аристенета, но было бы сочтено, что последний злоупотребляет своим положением учителя. В то время, как отец

¹⁵⁸ Доставивший письмо слуга Клиния.

¹⁵⁹ Служанка Дросиды. Имя означает «желтовато-коричневая» из-за ее пестрого платья.

¹⁶⁰ Керамик был излюбленным местом встреч педерастов. Множество мальчиков можно было найти в лавках брадобреев (κουρεία, Демосфен, *in Aristog.*, 52, 476; Theophr., *Charact.*, 8, 5; Aristoph., *Phytus*, 338), в лавках торговцев благовониями (μυροπωλεία, Аристофан, «Всадники», 1375), в домах врачей (ιατρεία, см. с. 295, прим.), в банях (Theophr., *Charact.*, 8, 4) и многих других местах, особенно на уединенном и темном Пниксе (Эсхин, *Tim.*, 34, 81), — холме, расположенном к западу от Ареопага и окруженном развалинами зданий, которые были очагом мужской проституции.

надеется, что наставник воспитает из его сына знаменитого человека, тот рассматривает воспитанника лишь как своего фаворита.]

ДРОСИДА. Как же ты это напишешь незаметно?

ХЕЛИДОНИОН: Ночью, а уголь добуду откуда-нибудь.

ДРОСИДА: Отлично! Только выступи со мной, Хелидонион, в поход против этого шарлатана Аристенета!»

[перевод Б. Казанского]

10. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ К МАЛЬЧИКАМ

Разумеется, в задачу настоящей книги не входит вдаваться в многочисленные теории, особенно выдвигаемые медиками, которые пытаются объяснить природу этого явления. Это было бы излишним, так как различные попытки объяснить данный феномен ясным и удобопонятным образом изложены в классическом труде Хершфельда, и к тому же любовь к мальчикам, по крайней мере греческая— а здесь мы говорим только о ней, — в целом отнюдь не нуждается в объяснении. Однако мы должны уделить известное место описанию ее исторического развития.

Утверждение Гете: «Любовь к мальчикам стара, как само человечество» находит подтверждение в современной науке. Древнейшее из известных на сегодняшний день свидетельств на этот счет обнаружено на составленном более четырех с половиной тысячелетий назад египетском папирусе, который доказывает, что в ту эпоху педерастия была широко распространена в Египте, где само собой разумеющимся считалось то, что она существует и среди самих богов.

Истоки греческой любви к мальчикам теряются в доисторической эпохе, даже во мраке греческой мифологии, изобилующей преданиями о педофилии. Сами греки относили ее возникновение к древнейшим временам своей легендарной истории. Часто встречающееся наивное утверждение, будто в гомеровских поэмах невозможно найти и следа любви к мальчикам и что это явление впервые обнаруживается в так называемую эпоху упадка, является, на мой взгляд, ошибочным, потому что в одной из моих предыдущих работ (см. *Anthropophyteia*, ix, S. 291 ел.) я показал, что узам дружбы между Ахиллом и Патроком (важнейшие места: «Илиада», xxiii, 84; ix, 186, 663; xviii, 22 ел., 65, 315, 334; xix, 209, 315), сколь бы идеальный характер они ни носили, в значительной мере присущи гомозротические чувства и действия, что гомеровский эпос изобилует несомненными следами эфебофилии и что в древности никто из греков не думал на этот счет иначе.

«Илиада», величайший из дошедших до нас древнегреческих эпо-сов, представляет собой гимн дружбе. Начиная с третьей песни, вся поэма пронизана темой любви двух юношей — Ахилла и Патрокла, которая изображается с такими подробностями, что говорить просто о дружбе невозможно. В еще большей степени это проявляется в эпизоде, когда Ахилл узнает о том, что Патрокл пал в бою. Горе

несчастливого юноши безмерно; жертва мрачных предчувствий, он стоит на морском берегу, томясь нерешительностью; слова замирают у него на устах, горе всколыхнуло всю его душу; он посыпает макушку пылью; затем, в полном изнеможении, падает на землю и рвет на себе волосы. После того как первая вспышка скорби постепенно улеглась, когда за инстинктивным взрывом страсти приходит мука исходящей кровью души, единственной мыслью Ахилла становится мысль об отмщении тому, кто лишил его любимейшего на свете существа. Он не хочет ни есть, ни пить, душа его жаждет одной мести.

Он приносит обет мертвому другу, что не справит его похорон, «пока не принесет ему доспехи Гектора, его убийцы. Разгневанный его убийством, перед тем как зажечь погребальный костер, он предаст закланию двенадцать благородных юношей — благородных сынов Трои». Но перед тем как осуществить мщение, он облегчает сердце трогательным плачем по мертвому. Помимо прочего он говорит: «Никогда не случилось бы со мной горчайшего, даже если бы мне принесли весть о смерти отца».

Все это — язык любви, не дружбы; именно так почти все древние рассматривали союз двух героев. Так, — ограничимся единственным примером, — одно из стихотворений Антологии (Anth. Pal., vii, 143; ср. Пиндар, *Olymp.*, χ, 19; Хен., *Sympos.*, 8, 31; Lucian., 7bхara, 10; Ovid., *Tristia*, i, 9, 29) гласит: «Два мужа, наиболее отличившиеся в дружбе и сражении, сын Эака, и ты, сын Менетия, прощайте!»

Из «Одиссеи» (xxiv, 78; ср. ш, 109; xi, 467; xxiv, 15) явствует, что после гибели Патрокла его место подле Ахилла занял Антилох, а это, конечно же, означает, что Гомер не способен представить себе главного героя своей поэмы без любимца. Далее из этого отрывка мы узнаем, что Ахилл, Патрокл и Антилох были погребены в общей могиле — так и в жрзни их имена часто стояли рядом.

Узы дружбы между Ахиллом и Патроком основывались, по мнению великого трагика Эсхила, на чувственности; этот автор был еще достаточно близок к эпохе гомеровского эпоса, чтобы в совершенстве понимать проникающий его дух. Одна из несохранившихся драм Эсхила носила название «Мирмидоняне» (фрагм. в книге TGF, 42 ел.; ср. Афиной, xiii, 601a, 602e); сюжет пьесы был следующим: жестоко удрученный Агамемноном Ахилл в гневе своем отказывается участвовать в битве и утешается в своем шатре радостями любви. Хор, состоящий из мирмидонян, поданных Ахилла, в конце концов убеждает героя позволить им вступить в бой под началом Патрокла. Драма заканчивалась гибелью последнего и неистовой скорбью Ахилла.

Это подтверждает и Лукиан (*Amores*, 54; ср. Plut., *Amat.*, 5; *De adul.*, et amico, 19; Хен., *Sympos.*, 8, 31; Aeschines, i, 142; Martial., xi, 44, 9), который говорит: «И Патрокл не был любим Ахиллом лишь настолько, чтобы сидеть напротив и // Ждать Эакида, пока песнопения он не окончит. //

Нет, и в их дружбе посредником было наслаждение» [перевод С. Ошерова].

Следует упомянуть, что Федр (Платон, «Пир», 179е ел.) в своей речи об Эроте изображает дело противоположным образом, делая Патрокла любящим, а более молодого и пригожего Ахилла любимцем.

Однако мы можем привести и другие доказательства, опровергающие утверждение, будто гомеровский эпос ничего не знает о гомосексуализме. Уже Гомер говорит не только о похищении фригийского царевича Ганимеда («Илиада», хх, 231), ясно давая понять, что причиной тому была его прекрасная фигура, но и об оживленной торговле мальчиками, которые главным образом покупались или еще чаще похищались финикийскими капитанами, чтобы пополнить гаремы богатых пашей («Одиссея», xiv, 297; xv, 449; ср. Movers, *Phonizien*, ii, 3, 80). Когда Агамемнон и Ахилл приходят, наконец, к примирению, Агамемнон предлагает последнему некоторые почетные дары, среди которых — несколько благородных юношей («Илиада», хix, 193). Если боевая колесница Ахилла зовется «священной» («Илиада», хvii, 464), то, как заметил уже Негельсбах, «тем самым обозначен священный характер дружбы между воином и его возницей» (*Home-rische Theologie*, S. 50).

Таким образом, гомосексуализм встречается уже в древнейшую эпоху, от которой до нас дошли некоторые известия о греках. Наскальная надпись с острова Фера (ныне — Санторин) в Кикладах достаточно хорошо показывает то, как посредством официальных документов чувственная практика гомосексуализма передавалась потомкам. Положение дел оставалось неизменным до самого конца античного мира, и в историческом очерке необходимо упомянуть лишь отдельные фазы развития.

Важной вехой является имя Солона (Эсхин, *Tim.*, 138; *Charicles*, ii, 262 ел.), который, сам будучи гомосексуалистом, издает важные законы, регулирующие практику педерастии, предусмотрев в первую очередь то, что раб не может вступать в связь со свободнорожденным мальчиком. Из этого вытекают два вывода: во-первых, законодатель признал педофилию в Афинах, и во-вторых, законодатель не желал, чтобы чувство собственного превосходства свободнорожденного уმაлялось из-за интимных связей с рабом. Кроме того, были изданы законы (Эсхин, *Tim.*, 13—15), имевшие своей целью оградить не достигшую совершеннолетия свободнорожденную молодежь от злоупотреблений. Другой закон лишал гражданских прав тех, кто склонял свободных мальчиков к профессиональной продаже собственных прелестей; проституция не имеет ничего общего с педофилией, о которой здесь идет речь и в которой мы всегда должны видеть добровольные, основывающиеся на взаимной привязанности отношения.

Далее, эти законы Солона касались лишь полноправных афинских граждан, тогда как великое множество *ксенов*, т.е. переселенцев-неафинян, имело в этом отношении полную свободу. Ввиду этого действительность законов довольно рано оказалась под вопросом; даже

суровость¹⁶¹ наказаний не слишком устрашала, так как всегда оставалась лазейка в виде *πρόφασις φίλιας*, т.е. заявления о том, что «это было сделано из любви», а юноши, разумеется, выбирали сиюминутную выгоду, не слишком беспокоясь об утрате гражданских прав, потенциально угрожавшей им в отдаленном будущем. Однако то, что эти законы писались вовсе не для того, чтобы нанести удар по педерастии как таковой и даже по ее организованным и профессиональным формам, явствует из того факта, что само государство облагало налогом тех, кто поставлял мальчиков и юношей любовникам, так же, как и содержателей женских публичных домов (Эсхин, *Tim.*, 119).

Диоген Лаэртский (*Xen., Mem.*, II, 6, 28) говорит, что Сократ, будучи мальчиком, стал любимцем своего учителя Архелая, что подтверждает и Порфирий, который замечал, что семнадцатилетний Сократ не отверг любви Архелая, так как в ту пору ему была присуща большая чувственность, которую впоследствии ему удалось преодолеть благодаря усердной духовной работе.

Ксенофонт вкладывает в уста Сократа такие слова: «Возможно, я был бы способен помочь тебе в поиске добрых и благородных юношей, ибо я знаю толк в любви; когда я полюблю человека, всем своим сердцем, я стремлюсь к тому, чтобы и он меня любил, желая его — чтобы и он меня желал, желая находиться с ним — чтобы и он искал моего общества».

В «Пире» Платона (177d, 198d) Сократ говорит: «Я сознаюсь, что знаю толк ни в чем ином, как в любовных делах» и «Я утверждаю, что весьма сведущ в делах любви»; с этими заявлениями хорошо согласуются некоторые отрывки из «Пира» Ксенофонта (i, 9, iii, 27), например: «Не припомню такого времени, когда бы я не был в кого-нибудь безумно влюблен», или описание красоты Автолика, цитировавшееся выше.

Воздействие, которое произвел на Сократа сидящий рядом с ним Критобул, описывается следующим образом (*Xen., Mem.*, i, 3, 12): «Случилась ужасная! вещь. Мне пришлось тереть плечо пять дней подряд, словно после укуса тарантула, и мне казалось, будто в самом костном мозге я различаю боль, которую причиняет тарантул».

Неужели все это слова человека, отвергающего чувственную сторону любви? Из платоновского «Алкивиада I» и «Пира» явствует также, что красота Алкивиада произвела на Сократа огромное и глубокое впечатление.

¹⁶¹ Поразительно суровым, например, было такое наказание, как смертная казнь для того, кто без позволения проникал в школу для мальчиков (Эсхин, *Timarchus*, 12). Закон гласил: «И владельцы гимнасиев не должны позволять никому, кто вышел из отроческого возраста, проникать в гимнасий вместе с ними на празднества Гермеса; в противном случае они будут наказываться согласно закону о причинении телесного ущерба», то, что этот, кажущийся нам варварским, закон существовал лишь на бумаге, достаточным образом доказывает знаменитый греческий обычай проводить большую часть дня за разговорами в гимнасиях и палестрах. Закон затрагивал также посещение гимнасиев в определенные дни, например, во время распушенных праздников Гермеса. Разъясняя упоминаемый Эсхином запрет, схолиаст замечает: «Во внутренней части школ и палестр имелись колонны и часовни с алтарями Муз, Гермеса и Геракла. Здесь была также питьевая вода, и многие мальчики, под предлогом жажды, приходили сюда и занимались развратом».

Конечно, существуют некоторые отрывки, в которых Сократ не только не восхваляет чувственную любовь к юношам, но даже пытается отговорить от нее своих друзей. Один из них содержится в беседе Сократа с Ксенофонтом, где дается предостережения от поцелуев с юношей: «А красавцы при поцелуе разве не выпускают что-то [подобно тарантулу]? Ты не думаешь этого только оттого, что не видишь. Разве ты не знаешь, что этот зверь, которого называют молодым красавцем, тем страшнее тарантулов, что тарантулы прикосновением выпускают что-то, а красавец даже без прикосновения, если только на него смотришь, совсем издалека выпускает что-то такое, что сводит человека с ума?... Нет, советую тебе, Ксенофонт, когда увидишь какого красавца, бежать без оглядки» [перевод С. И. Соболевского].

С другой стороны, невозможно скрывать, что сама греческая античность не особенно верила в то, что педофилия Сократа была чисто интеллектуальной; для нас это обстоятельство является решающим, так как люди, живущие в интересующую нас эпоху или близкие к ней, находятся в гораздо более выгодном положении для того, чтобы вынести существенно лучшее суждение, чем мы с нашими весьма и весьма фрагментарными сведениями. В юмористической комедии Аристофана «Облака», где Сократ высмеивается всеми мыслимыми способами, мы найдем не один намек, из которого можно заключить, что наставник (Сократ) был склонен к грубым чувственным формам педофилии.

Подведем итог: Сократ, как истинный эллин, всегда смотрел на красоту мальчиков и юношей широко открытыми глазами; доверительное общение с эфебами было для него совершенно необходимым, однако сам он, насколько возможно, воздерживался от того, чтобы переводить эти отношения в телесную плоскость. Он был готов отказываться от чувственного потому, что его несравненное искусство «настройки» юношеских душ и подведения их к наивысшему возможному совершенству служило ему достаточным возмещением отказа от чувственности. Такую силу воздержания он стремился поставить перед другими как идеал; то, что он требовал ее ото всех, не только не подтверждается источниками, но и противоречило бы мудрости «мудрейшего из греков».

11. МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мы начнем с критян, ибо, по Тимею (Ath., xiii, 602f), они были первыми греками, которые любили мальчиков. Прежде всего следует помнить, что, согласно Аристотелю (*De republica*, ii, 10, 1272), государство на Крите не только терпело любовь к мальчикам, но и регулировало ее практику, чтобы избежать перенаселенности. Насколько глубокие корни были здесь у любви к мальчикам, вытекает из того факта, что критяне приписывали похищение Ганимеда — которое, по единодушной традиции, было совершено Зевсом, — своему древнему царю Миносу, о чем можно было прочесть в «Истории Крита» Ахемена (Ath., xiii, 601e).

Был ли похитителем Ганимеда Зевс или Минос, несомненно, что на Крите, как и во многих других греческих государствах, похищение мальчиков долгое время было устоявшимся обычаем¹⁶². Умыкание мальчиков на Крите засвидетельствовано многими авторами: полнее всего оно описано Эфором Кимским (Страбон, *χ*, 483Г; ср. также Плутарх, *De lib educ.*, II; Платон, «Законы», viii, 836), который составил обширную «Историю греков», охватывавшую события с древнейших времен до 340 г. до н.э.

«Любовник (εραστής) предупреждает друзей дня за три или более, что он собирается совершить похищение. Для друзей считается величайшим позором скрывать мальчика или не пускать его ходить определенной дорогой, так как это означало бы их признание в том, что мальчик недостоин такого любовника. Если похититель при встрече окажется одним из равных мальчику или даже выше его по общественному положению и в прочих отношениях, тогда друзья преследуют похитителя и задерживают его, но без особого насилия, только отдавая дань обычаю; впрочем, затем друзья с удовольствием разрешают увести мальчика. Если же похититель недостоин, то мальчика отнимают. Однако преследование прекращается тогда, когда мальчика приводят в «андрий» похитителя. Достойным любви у них считается мальчик, отличающийся не красотой, но мужеством и благонаравием. Одарив мальчика подарками, похититель отводит его в любое место в стране. Лица, принимающие участие в похищении, следуют за ними; после двухмесячных угощений и совместной охоты (так как не разрешается долее задерживать мальчика) они возвращаются в город. Мальчика отпускают с подарками, состоящими из военного убранства, б, ыка и кубка (это те подарки, что полагается делать по закону), а также из многих других предметов, настолько ценных, что из-за больших расходов друзья помогают, устраивая складчину. Мальчик приносит быка в жертву Зевсу и устраивает угощение для всех, кто возвратился вместе с ним. Затем он рассказывает о своем общении с любовником, доволен ли он или нет поведением последнего, так как закон разрешает ему в случае применения насилия или похищения на этом празднике отомстить за себя и покинуть любовника. Для юношей красивой наружности или происходящих от знатных предков позор не найти себе любовников, так как это считается следствием их дурного характера... [Похищенные] получают почетные права: при хороших плясках и состязаниях в беге им предоставляют самые почетные места и разрешают носить особую одежду для отличия от других — одежду, подаренную им любовниками; и не только тогда, но даже достигнув зрелости, они надевают отличительное платье, по которому узнают каждого, кто стал κλεινός; ведь они называют возлюбленного κλεινός, а любовника — φίλῆτορ» [перевод Г. А. Стратановского].

Похищение мальчиков было издревле принято также в Коринфе, о

¹⁶² Похищение представляет собой самую примитивную форму всех брачных связей, и поэтому для любви к юношам бы изобретен этимологический миф о похищении Ганимеда Зевсом или Миносом.

чем Плутарх (*Amat. narr.*, 2, 772f) излагает следующую поучительную историю: «Сыном Мелисса был Актеон, самый прекрасный и скромный из своих сверстников, так что очень многие желали его, но больше всех Архий, чей род восходил к Гераклидам и который выделялся среди коринфян богатством и могуществом. Поскольку мальчик отказывался прислушаться к его уговорам, Архий решил похитить его силой. Во главе отряда из друзей и рабов он явился к дому Мелисса и попытался увести мальчика. Но отец и его друзья оказали жестокое сопротивление, на помощь им пришли и соседи; переходя во время схватки из рук в руки, мальчик получил смертельную рану и умер. Отец поднял мертвое тело мальчика, отнес его на рыночную площадь и показал коринфянам, требуя от них покарать виновника его гибели. Народ симпатизировал ему, но ничего не предпринял. Тогда несчастный отец отправился на Истм и бросился со скалы, призвав перед этим на голову обидчика отмщение богов. Вскоре после этого государство поразили неурожай и голод. Оракул объявил, что это гнев Посидона, которого можно умиловать, лишь искупив смерть Актеона. Когда Архий, бывший одним из послов к оракулу, услышал это, он не вернулся в Коринф, но отплыл в Сицилию и основал город Сиракузы. Здесь он стал отцом двух дочерей Ортигии и Сиракузы и был убит своим любимцем Телефом».

Такая вот история. Смысл ее ясен. Похищение мальчиков должно оставаться мнимым. Применение насилия, когда отец отказывается дать свое согласие, становится преступлением, грехом, за который карают сами боги, причем — в этом-то и заключается трагическая ирония — рукой мальчика; так за Гибрис следует Дика. Это находится в согласии с Горгинскими законами, которые сурово карают насилие по отношению к мальчику.

В Фивах обычай похищения мальчиков возводили к древнему царю Лаю, который, по фиванской версии, ввел педерастию, умыкнув Хри-сиппа, сына Пелопа, и сделав его своим любимцем (*Ath.*, xiii, 602; *Aelian.*, *Hist. an.*, vi, 15; *Var. hist.*, xiii, 5; *Apollodorus*, iii, 44).

Как в Фивах (*Xen.*, *Sytnp.*, viii, 32f; Платон, «Пир», 182b), так и в Элиде любви к мальчикам был присущ чувственный элемент, хотя она не была лишена и религиозной санкции. Плутарх также свидетельствует, что в Халкиде (Плутарх, *Amat.*, 17; здесь же приведена песня) на острове Эвбея и в ее колониях чувственность сочеталась с героическим духом самопожертвования. Сохранилась песня, приобретающая здесь популярность, а также схожая с ней эпиграмма Селевка (*Ath.*, xv, 697d), который называет любовь к мальчикам более ценной, чем брак, объясняя это тем, что она является причиной рыцарственной дружбы. Песня народа Халкиды, автор которой неизвестен, звучала так: «О юноши отважных отцов, блистающие в изяществе своих прелестей, никогда не жалейте связать свою красу с честными мужами, ибо в городах Халкиды рядом с мужской доблестью всегда цветет ваша грациозная, пленяющая сердце юность».

Согласно Аристотелю (Плутарх, *Amat.*, 761), эта песня обязана своим происхождением узам любви между героем Клеомахом и его юным

другом, о которых мы уже говорили на с. 296; возможно, она возникла потому, что халкидяне верили, будто своей победой Клеомах обязан энтузиазму, который питался и поддерживался сознанием того, что друг является свидетелем его отваги. С каким пристрастием относились халкидяне к прекрасным мальчикам, свидетельствует заметка Геси-хия, утверждающего, что *χαλκιδίξειν* является синонимом к *λαδεραστεῖν*. Это подтверждает и Афиней, который добавляет, что халкидяне, как и другие, притязали на то, что Ганимед был похищен из миртовой рощи близ их города, и с гордостью показывали это место, называемое *Harpageion* («место похищения»), чужестранцам.

Согласно Ксенофону (*Rep. Lac.*, 2, 13), любовь между мужчиной и юношей рассматривалась исключительно как супружеский союз.

По всей Греции существовали праздники, служившие прославлению отроческой и юношеской красоты, либо праздники, на которых мальчики и юноши выступали в полном сознании своей прелести. Так, в Мегарах справлялся весенний праздник Диоклии (*Dioclia*, Феокрит, xii, 30), во время которого устраивались состязания мальчиков и юношей в поцелуях; в Феспиях (Плутарх, *Amat.*, 1; Павсаний, ix, 31, 3; Ath., xiii, 601a) справлялся праздник Эрота, на котором вручался приз лучшей песне о любви к мальчикам; в Спарте существовал праздник обнаженных юношей, *Гимнопедии*, а также *Гиакинтии*; жители острова Делос (Лукиан, *De saltat.*, 16) любовались хороводами мальчиков.

Когда Плутарх (*Prov. AL*, i, 44), говоря о мальчиках пелопоннесского города Аргос, утверждает, что «сохранившие цвет своей юности чистым и непорочным, в Согласии с древним обычаем, удостоивались чести возглавлять праздничное шествие, неся в руке золотой щит», он отнюдь не имеет в виду, что эти мальчики не были любимцами мужчин, но только, что, будучи мальчиками, они воздерживались от близости с женщинами.

Очень трудно решить вопрос о любви к мальчикам в Спарте (Хеп., *Rep. Lac.*, 2, 13; *Sympos.*, 8, 35; Plut., *Lye.*, 17f; *Ages.*, 20; *Cleom.*, 3; *Institut. Lac.*, 7; Aelian., *Var. hist.*, iii, 10), так как в этом случае свидетельства древних фактически противоречат друг другу. Ксенофонт и Плутарх утверждают, что, хотя спартанская любовь к юношам основывалась на чувственном удовольствии от созерцания телесной красоты, она, однако, не возбуждала чувственных желаний. Чувственное влечение к мальчику приравнивалось к вожделению отца к сыну или брата к брату, и всякий, кто ему поддавался, был на всю жизнь «обесчещен», т.е., терял свои гражданские права.

Максим Тирский (*Diss.*, xxvi, 8), ритор, живший во времена Антонинов и Коммода, а стало быть, писавший довольно поздно, говорит, что в Спарте мужчина любил мальчика, словно прекрасную статую, что многие мужчины любили одного мальчика, а один мальчик многих мужчин.

Все это представляется невероятным не только ввиду греческих представлений о природе любви к мальчикам, описанных довольно подробно, и, прежде всего, физиологических причин, но и по следую-

щим соображениям. Самому Ксенофону (*Rep. Lac.*, 2, 14) приходится допустить, что ни один грек не верил в то, что спартанская любовь к юношам исчерпывается лишь этой идеальной стороной; аттические комедиографы постоянными выпадами также проливают свет на чувственный характер именно спартанской педерасти, что подтверждается выражениями, собранными Гесихием и Судой (s.v. κῦσολάκων, λακωνίζειν, Λακωνικὸν τρόπον), посредством которых язык повседневной жизни обозначал своеобразие спартацев в этом отношении. Однако решающим является свидетельство человека, наиболее сведущего в таких вопросах, а именно Платона («Законы», i, 636; viii, 836; ср. также Цицерон, *Rep.*, iv, 4), который категорически отвергает мысль о том, что дорийская любовь к мальчикам не имела ничего общего с чувственностью.

1. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

1. МИФИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ДОИСТОРИИ

Гимны Эроту писал уже Памф (Павсаний, ix, 27, 2), так что мы с полным правом можем говорить, что Эрот стоит у истоков эллинской культуры.

Мы уже отчасти касались (с. 161) предания об Орфее, существование которого отрицалось Аристотелем (Цицерон, *De nat. deor.*, i, 38, 107) и который, по мнению Эрвина Роде¹⁶³, символизирует союз религий Аполлона и Диониса; за окончательным исчезновением Эв-ридыки в Аиде последовало удивительное продолжение. В одиночестве Орфей возвращается на свою гористую родину во Фракию, где прославленного певца окружают восторженные толпы женщин и девушек, восхищенных его трогательной любовью к жене. Но Орфей «отвергает всю женскую любовь», потому ли, что его прежний опыт оказался несчастлив, или не желая нарушить верность жене. Он стал учить фракийцев обратить свою привязанность на любовь к мальчикам и, «пока звучит юношеский смех, наслаждаться быстротечной весной жизни и ее цветами». Так говорит Овидий. Чрезвычайно важное место, так как оно показывает, что оставшийся в одиночестве муж утешается любовью к мальчикам, и — это еще более важно — что, по античным представлениям о гомосексуальном общении, такие связи не рассматривались как попрание супружеской верности, «так как он не хотел оказаться неверным своей жене». С этого времени он так сосредоточивается на этом греческом виде любви, что не только брак с Эвридикой становится для него лишь эпизодом, но отныне все его песни посвящены исключительно прославлению любви к мальчи-

¹⁶³ *Psyche*³, ii, 52. Об Орфее см. Аполлодор, i, 14; Конон, 45; Гермесианакт в третьей книге Λεόντων (Ath., xiii, 597); Вергилий, *Georg.*, iv, 454; Овидий, «Метаморфозы», i, 10; о голове Орфея см. Фанокл (у Стробея, *Flor.*, 64,14); схожим образом Лукиан, *Adv. indoct.*, 11; Овидий, «Метаморфозы», xi, 50 ел.

кам¹⁶⁴. Таким образом, налицо парадокс: Орфей, в наши дни известный главным образом как образец супружеской верности, для античности был человеком, который ввел у себя на родине во Фракии любовь к мальчикам ; и был столь ей предан, что, сочтя себя оскорбленными, девушки и женщины напали на него, жестоко изувечили и убили. Легенда далее гласит, что его голова была брошена в море, которое в конце концов выбросило ее на побережье Лесбоса. Лесбоса? Это, разумеется, отнюдь не случайное совпадение, ибо именно здесь позднее родилась Сафо, ставшая величайшей проповедницей гомосексуальной любви среди греков.

2. ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

«Эдиподия» повествовала о том, как отец Эдипа Лай отчаянно влюбился в прекрасного Хрисиппа, сына Пелопа, и в конце концов похитил его силой. Пелоп произносит страшное проклятие похитителю (с. 92—93).

«Малая Илиада» (*Ilias Parva*, v. Kinkel, *Epicorum Graecorum Fragmenta*, Leipzig, 1877, p. 41, фрагм. 6) Лесха содержит эпизод похищения Ганимеда («Илиада», хх, 231; v, 266), юного сына троянского царя Лаомедонта, которому в виде возмещения Зевс дарит изготовленную Гефестом золотую виноградную лозу, тогда как у Гомера Ганимед — сын царя Троса, который получает взамен пару благородных скакунов.

Еще более подробно похищение Ганимеда описано в пятом из так называемых «Гомеровских гимнов» (v, 202 ел.).

3. ГЕСИОД

В своем «Щите Геракла» (57) Гесиод повествует о битве с Кикном, предстоящей Гераклу. Герой призывает своего побратима Иолая, которого «любил больше всех на свете». Обстоятельность их бесед не позволяет привести их в настоящем месте; нежность языка и весь их тон доказывают, что уже Гесиод, как и все позднейшие авторы, считал Иолая не только товарищем по оружию, но и любимцем Геракла.

Из фрагмента мы узнаем, что сам Гесиод любил юношу по имени Батрах (Суда, см. Kinkel, p. 78), на безвременную смерть которого он написал элегию.

4. ФАНОКЛ

В эпоху, не поддающуюся точному определению, Фанокл сочинил веночек элегий, озаглавленных Ερωτες η καλοί («Любовные истории, или Красавцы»). Эти элегии представляли собой то, что можно было бы

¹⁶⁴ Песни, вкладываемые Овидием в уста Орфея, суть следующие: «Любовь Аполлона к Кипарису» (86—142); «Похищение Ганимеда» Зевсом (155—161); «Любовь Аполлона к Гиакинту» (162—219).

назвать поэтической историей любви к мальчикам, уснащенной обильными примерами из мифов о богах и героях. Среди фрагментов выделяется отрывок в двадцать восемь строк (Стобей, *Flor.*, 64, 14), описывающий любовь Орфея к мальчику Калаиду и жестокое убийство певца разъяренными фракиянками. Интересно обнаружить, что христианские Отцы Церкви — такие, как Климент Александрийский, Лактанций и Орозий, — использовали стихотворения Фанокла, чтобы доказать безнравственность язычества, тогда как Фридрих Шлегель (*Werke*, iv, 52) перевел его фрагменты.

5. ДИОТИМ И АПОЛЛОНИЙ

Диотим (Ath., xiii, 603d; Schol. *Iliad.*, xv, 639; Clem. Rom., *Homil.*, v, 15; Suidas, s.v. Εἰρὺβατος) из Адрамиттия в Мисии написал в третьем веке до н.э. эпическую поэму «Подвиги Геракла», в которой он попытался доказать дурацкую мысль, будто все деяния Геракла следует приписать его любви к Эврисфею.

Аполлоний Родосский (Apol. Rhod., I, 1207; III, 114 ел.), самый выдающийся из александрийских эпиков, жил в третьем веке до н.э. Сохранилась лишь наиболее знаменитая из его поэм, именно «Арго-навтика», т.е. приключения аргонавтов, в четырех книгах. Поэма, изобилующая очаровательными подробностями, содержит рассказ о любви Геракла к Гиласу, о его похищении нимфами источника и безмерной скорби героя об утрате любимого мальчика.

Приведу эпизод, повествующий об игре Эрота и Ганимеда:

Играли они в золотые

Бабки, как то подобает мальчишкам, сходным по нраву.

Бабок полную горсть, к груди ее крепко прижавши,

Левой рукою держал Эрот ненасытный, и прямо

Он во весь рост стоял, торжествуя, и милым румянцем

Рдели ланиты его. А товарищ на корточках рядом

Молча сидел, огорчен: у него лишь две бабки остались.

Бросил одну за другой, рассердившись на хохот Эрота,

Он, но и их потерял невдолге, как и все остальные.

Прочь смущенный пошел Ганимед с пустыми руками...

[перевод Г. Церетели]

6. НОНН

Нонн, грек из Панополя в египетской Фиваиде, живший в IV или V веке н.э., является автором обширной поэмы «Дионисиака», посвященной жизни и деяниям Диониса и состоящей — ни много ни мало — из сорока восьми песен. Этот грандиозный эпос с ошеломляющей чрезмерностью описывает победоносный поход Диониса в Индию; в него влетено столько эпизодов и самостоятельных мифов, что, хотя произведение в целом, несомненно, чрезвычайно ценно и

интересно, его никоим образом нельзя считать единым. Особенно любопытно, что его автор был христианином, который, однако, создал вдохновенный гимн вакхическому, а следовательно, языческому экстазу, единственный в своем роде во всей мировой литературе. Поэтому в этой огромной поэме встречается множество гомосексуальных эпизодов, из которых, не вдаваясь в подробности, мы упомянем лишь важнейшие.

Нонн красноречиво описывает красоту юного Гермеса (iii, 412 ел.), тогда как красоте Кадма посвящено целых пятьдесят шесть строк (iv, 105). На свадьбе Кадма и Гармонии пляшут Эроты (v, 96); с очевидным удовлетворением поэт рассказывает об играх с мальчиками, в которых участвовал и находил удовольствие Дионис (ix, 96), и подробно описывает купание Диониса в обществе распущенных и сладострастных сатиров (x, 139).

Большое место отведено идиллии с мальчиком Ампелом (x, 175 до xii), красота которого обрисована страстными красками; Дионис заметил мальчика и воспылил к нему любовью; изображению этой любви и различных ее эпизодов отведено две песни. Словно второй Эрот, только без колчана и крыльев, Ампел предстает однажды перед Дионисом во фригийском лесу. Мальчик преисполняется счастья от любви, выказываемой к нему Дионисом. Между богом и его любимцем устанавливаются идиллические отношения, которые - подробно и с немалым изяществом живописуются поэтом. Дионис страшится лишь одного: как бы мальчика не увидел и не похитил Зевс, ибо Ампел прекраснее самого Ганимеда. Однако, несмотря на греческое представление о недолговечности всего прекрасного, Зевс не завидует счастью Диониса. В юношеской страсти к приключениям Ампел отправляется на охоту, смеясь над предостережениями Диониса, советующего ему опасаться диких лесных зверей. Устрашенный дурным предзнаменованием, бог спешит за мальчиком, находит его и, очарованный, заключает в свои объятия. Однако рок не медлит; некий злой дух убеждает Амπεла поспешить к неопасному на вид быку, который внезапно свирепеет и сбрасывает его с коня; падение оказывается столь неудачным, что Ампел умирает.

Дионис безутешен; он покрывает тело не подурневшего и после смерти юноши цветами и поет трогательную заплачку. Затем он молит отца Зевса ненадолго вернуть его любимца к жизни, лишь бы услышать еще раз слетающие с его уст слова любви; он даже проклинает свое бессмертие, так как из-за него он не может разделить с возлюбленным вечность в Аиде.

Самого Эрота охватывает жалость при виде отчаяния и безграничной скорби Диониса. Он является перед ним в образе сатира, ласково беседует с ним и советует положить конец скорби, полюбив снова, «ибо, — говорит Эрот, лучшее лекарство от старости — новая любовь; посему поищи вокруг себя еще более пригожего юношу, как поступил Зефир, который после смерти Гиакинта влюбился в Кипариса»; затем, чтобы утешить потрясенного бога и убедить его полюбить вновь, Эрот подробно рассказывает ему о Каламе и его любимце Карпе.

«Калам, сын речного бога Меандра, сочетался нежной любовью с Карпом, сыном Зефира и одной из Ор, юношей красоты непревзойден-

ной. Когда они купались в Меандре и плавали наперегонки, Карп утонул. Изойдя от горя, Калам обратился в тростник, в шуршании которого под дуновением ветра древним слышались звуки скорбной песни, Карп же становится плодом полей, возвращающимся из года в год».

Лакуна в тексте не позволяет узнать, какое действие возымели эти слова на Диониса. Вероятно, крайне малое, потому что за ними с пылкой чувственностью описывается сладострастный хоровод Ор, который вводится здесь лишь затем, чтобы навести поглощенного страстью бога на другие мысли. «Оргией ног, которые видны сквозь прозрачные одежды в неистовом вихре танца», завершается одиннадцатая песнь поэмы о деяниях Диониса.

В двенадцатой песни повествуется о том, как из сострадания к горю Диониса боги превращают Амπεла в виноградную лозу. Очарованный бог принимает это славное растение, посвященное отныне ему, и изобретает драгоценный дар — вино, которое он восхваляет в восторженной речи. Затем совершается первый сбор и выжимка новосотворенного винограда, после чего вакхическая оргия венчает праздник перехода от глубочайшей скорби к безудержному веселью.

Между Римом и Флоренцией была обнаружена прекрасная мраморная группа «Дионис и Амπεл» (ср. Гимерий, «Речи», 9, 560; Плиний, xviii, 31, 74), являющаяся ныне одним из ценнейших сокровищ Британского музея. Мальчик¹⁶⁵ изображен в момент превращения, когда он протягивает руку — виноградную гроздь нежно обнявшему его Дионису¹⁶⁶.

Все наши выдержки из Нонна, последнего эпического отпрыска эллинской красоты и чувственной радости, взяты из первых двенадцати книг, составляющих лишь четверть поэмы; остальные тридцать шесть песен содержат множество иных гомосексуальных эпизодов и немало описаний юношеской красоты.

II. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Поскольку лирическая поэзия является самым непосредственным выражением личных умонастроений и чувствований, постольку мы вправе ожидать, что греческой гомосексуальной любви в ней уделено немалое место; и действительно, было бы совершенно правильно говорить, что лирическая поэзия имеет свое начало в гомосексуальной любви. Но, к несчастью, от греческой лирики до нас дошли удручающе скудные крохи.

¹⁶⁵ По Овидию (*Fasti*, iii, 407), несчастье случилось с мальчиком, когда он пытался оторвать усик от виноградной лозы, обвинившейся вокруг вяза. После этого он был помещен Дионисом среди звезд под именем *Vindemitor* (Виноградарь).

¹⁶⁶ Следует указать, что специалисты Британского Музея не согласны с интерпретацией этой группы (N 1636), предложенной господином Лихтом: фигура, которую обнимает Дионис, — женская и представляет собой не Амπεла, но олицетворение вина. [*Прим. Лоуренса Доусона к английскому переводу Фриза.*]

1. ФЕОГНИД

Под именем Феогнида, который жил, главным образом, в Мегарах, в середине шестого века до нашей эры, до нас дошло собрание максим и житейских правил в 1388 строк. Последние 158 строк целиком посвящены любви к мальчикам, особенно любимцу поэта Кирну. Последний, сын Полипада, был благородным и пригожим юношей, с которым поэт был связан не только отеческой, но и чувственной любовью. Он жаждет преподать ему житейскую мудрость и воспитать из него истинного аристократа. В силу этого сборник отличается богатым этическим содержанием, из-за чего в древности он использовался в качестве школьного учебника, и в то же время содержит немало слов любви, отмеченных сильной, порой пылкой чувственностью.

Поэт колеблется между любовью и безразличием, он не может без Кирна, но ему трудно любить этого скромного юношу. Он даже грозит покончить с собой, чтобы мальчик понял, что он потерял. Другой раз он жалуется на то, что его любовь оскорблена, что он был привязан к Кирну, но не Кирн к нему. Любимец прославится благодаря ему; о нем будут петь на всех празднествах, и даже после смерти люди не забудут о нем.

2. ПЛАТОН

Под именем Платона (PLG, фрагм. 1, 7, 14, 15; ср. Апулей, *De magia*, 10), великого философа и ученика Сократа, до нас дошло несколько гомосексуальных эпиграмм. Нежная эпиграмма гласит:

Душу свою на устах я имел, Агафона целую,
Словно стремилась она переселиться в него.

[перевод Л. Блуменау]

Другая эпиграмма — это эпитафия любимцу философа Диону, «который наполнил сердце безумием любви». Две эпиграммы обязаны своим написанием красавцу Астеру («Звезда»). Поэт завидует небу, которое взирает на его Астера множеством звезд-глаз, когда юноша-звезда смотрит на звезды.

3. АРХИЛОХ И АЛКЕЙ

Даже среди фрагментов Архилоха Паросского, известного страстной любовью к Необуле, прекрасной дочери Ликамба, мы находим отрывок (фрагм. 85), в котором поэт признается, что «его одолевает расслабляющая члены страсть к мальчику».

Мы уже упоминали (с. 291) Алкея Митиленского, бывшего одновременно поэтом и героем. Если чтение Бергка правильно, в одном из

фрагментов (58) поэт в приступе злого юмора обращается к некоему Лику, говоря, что не будет более прославлять его в своих песнях. В другом из немногочисленных фрагментов (46) он просит кого-то «прислать к нему прелестного Менона, иначе пир будет нам не в радость».

4. ИВИК

Лишь немногие из тех, кто наслаждается прекрасной балладой Шиллера «Ивиковы журавли», знают, что герой этого стихотворения, смерть которого от рук подлого убийцы неизменно вызывает общее сострадание, считался в античности «самым неистовым любителем юношей» (Суда, s.v. *Ibykos*: ἐρотоμανέστατος περὶ τα νεῖρικά). О том, что он почитал мальчиков всю свою жизнь, свидетельствует Цицерон (*Tusc.*, iv, 33, 71); даже в старости эта страсть была в нем столь пылкой, что Платон («Парменид», 137a) считает необходимым это подчеркнуть; анонимный эпиграмматист из «Палатинской Антологии» (vii, 714) отзываясь о нем как о «любителе мальчиков», и в том же сборнике он упоминается в коротком списке лирических поэтов (ix, 184) как тот, кто всю свою жизнь «срывал сладостные цветы // Убеждения и любви к отрокам». Все это находит подтверждение в его поэзии, от которой сохранились лишь немногие фрагменты. Помимо отрывка, цитировавшегося выше (с. 282), приведем следующий фрагмент (1):

Только весною цветут цветы
Яблонь кидонских, речной струей
Щедро питаемых там, где сад
Дев необорванный. Лишь весною же
И плодоносные почки набухшие
На виноградных лозах распускаются.
Мне ж никогда не дает вздохнуть Эрос. Летит от Киприды он, —
Темный, вселяющий ужас всем, — словно сверкающий
молнией северный ветер фракийский, и душу
Мощно до самого дна колышет
Жгучим безумием.....

[перевод В. В. Вересаева]

5. АНАКРЕОНТ И АНАКРЕОНТИКА

Анакреонт Теосский, вечно милый и учтивый поэт, родился около 560 г. до н.э. Согласно Лукиану, он дожил до глубокой старости и умер в восемьдесят пять лет. По-видимому, даже в старости содержанием его жизни были главным образом любовь и вино. Еще александрийцы располагали пятью книгами различных стихотворений Анакреонта, большинство которых не пощадило немилосердное время. Вся его поэзия была, по словам Цицерона (*Tusc.*, iv, 33, 71; ср. Овидий, *Tristia*, ii, 363), посвящена любви. Хотя он не отвергал и женской любви — так,

например, он полушутя (фрагм. 14) жалуется на прелестную лесбийскую девушку, отказывающуюся играть с ним, — однако всю его жизнь именно эфеб, только-только достигший своего расцвета, занимал его сердце и поэзию, и нам известен внушительный список имен, носители которых ранили его сердце. После пребывания во фракийской Абдере мы находим его вместе с Ивиком при дворе Поликрата — знаменитого и уточненного любителя искусства и роскоши, правителя Самоса, который окружил себя придворной челядью из тщательно отобранных пажей (Элиан, *Var. hist.*, ix, 14). Максим Тирский говорит: «Анакреонт любит всех красавцев и восхваляет их всех; его песни полны славословий завиткам кудрей Смердиса, глазам Клеобула, юношескому цветению Бафилла» (xxiv, 9, 247, фрагм. 44). «Я б хотел играть с гобою, мальчик, милый и прелестный», — говорит он в другом месте (фрагм. 120); «Ибо мальчики за речи полюбить меня могли бы: // И приятно петь умею, говорить могу приятно... (фрагм. 45, пер. В.В. Вересаева).

О любви поэта к Смердису говорят также несколько эпиграмм (особенно Anth. Pal., vii, 25, 27, 29, 31; см. там же: 23, 23Б, 24, 26, 28, 30, 32, 33; и vi, 346); в первой из упомянутых нами, представляющей собой эпитафию, Симонид говорит:

И в Ахеронте теперь он грустит не о том, что покинул
Солнечный свет, к берегам Леты печальной пристав,
Но что пришлось разлучиться ему с Мегистием, милейшим
Из молодежи, любовь Смердия кинуть пришлось.

[перевод Л. Блуменау]

Из четырех сохранившихся фрагментов по меньшей мере четыре обращены к Смердису. Так, мы читаем о его бурном ухаживании; поэт признается, что Эрот мощно поверг его наземь, словно кузнец своим молотом.

Любовь к Клеобулу была возжжена в поэте самой Немесидой, на чем настаивает пересказывающий один из анекдотов Максим Тирский (фрагм. 3). Эта любовь наполнила поэта непереносимым жаром; он умоляет Диониса (фрагм. 2) склонить к нему сердце мальчика и признается, что любит Клеобула, тоскует по нему, ищет его одного.

Имеется фрагмент, в котором речь идет о том, что никто не может плясать под флейту, если на ней играет Бафилл, ибо невозможно отвести глаз от красавца флейтиста (фрагм. 30). Другой фрагмент •обращен к Мегисту (фрагм. 41; см. Bergk, *Die Ausgabe des Anakreon*, S. 151, Leipzig, 1834), на празднике увенчавшем чело «травой целомудрия» (*agnus castus*), о которой древние рассказывали немало глубокого и любопытного (см. Плиний, *Nat. hist.*, xxiv, 38).

Другие фрагменты посвящены любви поэта к Левкаспиду и Сималу (фрагм. 18, 22), тогда как некоторые дошли до нас без имени любимца. Мальчик у смесительной чаши должен внести вино и венки, «чтобы не уступил я Эроту в кулачной схватке». Из песни к Эроту, «которому покорствуют боги, как люди», дошло пять строк. Поэту приходится также порой страдать из-за отвергнутой любви, а другой раз он грозит, что вознесется на Олимп и пожалуется Эротам на то, что

«мальчик мой не желает делить со мной свою юность». Поэт сетует, что Эрот беззастенчиво подлетел к нему, когда он дожил уже до седых волос и увидел наконец бога с его колышимами ветром, отливающими золотом крыльями. Он шутливо угрожает Эроту, что не будет более петь ему во славу прекрасных гимнов, потому что не пожелал ранить своей стрелой эфеба, к которому влечет поэта.

Среди подражаний Анакреонту — так называемой анакреонтики, — относящихся к позднему времени и часто затрагивающих любовь к мальчикам, особо отметим песенку, в которой поэт жалуется на ласточку, ранним своим щебетом пробудившую его от грез о прекрасном Бафилле. В другом стихотворении искусно соединены содержание любовной песни с ладом песни военной:

Ты мне поешь про Фивы,
Он — про фригийцев схватки,
Я про свое плененье.
Сгубил меня не конник,
Не мореход, не пеший,
Сгубила рать иная,
Что глазками стреляет,

[перевод Г. Церетели]

6. ПИНДАР

От Пиндара, величайшего и мощнейшего из греческих лириков, жившего между 522 и 442 г. до н. в., наряду с впечатляющим количеством фрагментов сохранились сорок пять од, дошедших до нас едва ли не в идеальном состоянии, — песен победы, которые сочинялись в честь тех, кто стяжал победный венок на общенациональных состязаниях. Благочестие поэта заставляло его излагать некоторые легенды, вокруг которых образовались нечестивые наслоения, более почтительным образом. Одно из таких сказаний повествовало о том, как Тантал, пригласив на застолье Зевса, заклал собственного сына Пелопа и, чтобы испытать всеведение богов, подал на стол его плоть. Но боги превосходно распознали страшный обман, собрали вместе куски тела и вернули мальчика к жизни, сурово покарал Тантала. Такие ужасы невыносимы для благочестивого поэта; в его изложении, Пелоп не был жертвой позорного преступления своего отца, но его красота так воспламенила Посидона, что бог похитил юношу, как впоследствии Зевс Ганимеда (*Оды*, i, 37 сл.).

Так относилась античность к дружбе с эфебами, так относился к ней Пиндар. Ему мы обязаны одной из когда-либо написанных знаменитейших поэм, от которой, к сожалению, сохранился лишь отрывок (фрагм. 123; см. с. 289). Сами боги благоволили к его дружбе с юным Феоксеном. Говорили, будто Пиндар молил богов даровать ему прекраснейшую вещь на свете; даром был Феоксен, и когда однажды, поэт присутствовал на гимнастических состязаниях в Аргосе, в приступе слабости он склонился на грудь любимца и умер у него на руках.

Прах Пиндара был перенесен в Фивы, где, как рассказывает Павсаний (ix, 23, 2), он погребен в могиле на Ипподроме перед Пройтидскими воротами.

7. ФЕОКРИТ

Из тридцати элегий, дошедших до нас под именем Феокрита (около 310—245 гг. до н.э.), не менее восьми целиком посвящены любви к юношам, но и в других речь часто идет о мальчиках и о любви к ним.

Одно из стихотворений Феокрита, пожалуй, лучшее из написанного им о юношах, озаглавлено *Τα παιδικά* («Любимцы») и содержит разговор уже немолодого поэта со своим сердцем. Разум, конечно же, советует ему отказаться от всякой мысли о любви, но сердце учит, что битва с Эротом — напрасная трата сил.

Мчится юноши жизнь, быстро скользя, словно оленя бег,
Завтра к новым морям, парус подняв, он поплывет опять;
Но навек потерял он меж друзей юности сладкий цвет.
Ты же чуть вспомнишь о нем, высушит страсть даже весь мозг
в костях. Будешь видеть всегда в ночи часы рой сновидений злых.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

В другом стихотворении, которое вряд ли принадлежит Феокриту, мы читаем о последних песнях несчастливого влюбленного, который кладет конец своим мукам, кончая с собой; оскорбленный Эрот мстит его высокомерному возлюбленному, на которого, когда он купается в гимнасии, падает мраморная статуя Эроса.

Третье стихотворение, также озаглавленное *παιδικά*, представляет собой жалобу на непостоянство любимого, увещание сохранять верность и напоминание о том, что нежный цвет юности не вечен и ему грозит старость. Поэтому на любовь ему следует ответить любовью, чтобы однажды об их союзе говорили, как о любви Ахилла и Патрокла.

Нежно и трогательно стихотворение, в котором выражается радость при виде любимца после трех дней разлуки и пожелание, чтобы их любовь была подобна любви, процветавшей в Мегарах, где Диокл ввел состязание мальчиков в поцелуях (с. 77).

Возле могилы его собираются ранней весной
Юноши шумной гурьбой и выходят на бой поцелуев.
Тот, кто устами умеет с устами всех слаще сливаться,
Тот, отягченный венками, идет к материнскому дому...

О, если бы потомки сказали о них: «Равною мерой друг друга любили, как будто бы снова // Жили в тот век золотой, где любовь на любовь отвечала» [пер. М. Е. Грабарь-Пассек].

Очаровательная поэма, озаглавленная «праздник жатвы» и еще стари-

ком Гейнсием названная «царицей» идиллий Феокрита, посвящена воспоминанию о счастливо проведенном дне на острове Кос; поэт рассказывает о том, как с двумя друзьями он отправился за город. По дороге они встречают пастуха по имени Ликид, которому после краткой беседы поэт предлагает остаться и испытать свое искусство, состязаясь в песнях. Ликид охотно соглашается и запекает *propemptikon* (прощальную песнь), в которой желает своему возлюбленному Агеанакту счастливого пути по морю:

Агеанакт пусть закончит удачно свой путь в Митилену,
Даже коль южная буря к Козлятам на запад погонит
Влажные волны и к ним Орион прикоснется ногою.
Если к Ликиду, чье сердце сжигает огонь Афродиты,
Будет он добр, — к нему пламенею я жаркою страстью, —
Чайки пригладят прибой для него, успокоят и море,
Южную бурю и ветер восточный, что тину вздымает.
Чайки, любимые птицы морских Нерейд синееких,
Всех вы пернатых милее, из волн добывающих пищу.
Агеанакта желанье — скорее доплыть в Митилену;
Пусть же он будет удачлив и пристани мирной достигнет.
Я же в тот день соберу цветущие розы, аниса
Или левкоев нарву и веночек этот пышный надену.
Я зачерпну из кратера вина птелеатского, лягу
Ближе к огню, и бобы кто-нибудь на огне мне поджарит.
Ложка моя из травы, вышиною до целого локтя;
Есть асфодель, сухостебель и вьющийся цвет сельдерея.
Агеанакта припомнив, вином услаждаться я буду,
Кубки до дна осушая, губами касаясь осадка.
Будут на флейте мне двое играть пастухов: из Ахарны
Родом один, а другой — ликопеец; и Титир споет нам
Песню о том, как когда-то о Ксении Дафнис томился...

В ответ Феокрит говорит другу о том, сколь понравилась ему эта песня, и запекает другую, в которой противопоставляет свое счастье в любви злключениям своего друга Арата, знаменитого врача и поэта из Милета, влюбленного в неприступного красавца Филина:

...вы, Эроты, чьи щеки румянее яблок,
Нынче в красавца Филина метните вы острые стрелы,
Крепче метните! Зачем беспощаден он к милому гостю?
Сам же — как плод перезрелый; недаром красотки смеются:
«Горе, ах горе, Филин! тебе красоваться недолго!»
Больше не станем, Арат, у дверей до утра мы томиться,
Ноги себе обивать. Петухов предрассветные крики
Пусть повергают других, а не нас, в огорчения злые.

[перевод М. Е. Грабарь-Пассек]

Чтобы утешить друга Арата, чье врачебное искусство не способно помочь ему в исцелении ран, нанесенных Эротом, Феокрит написал пространную эпическую поэму, где обстоятельно описаны страстная любовь Геракла к Гиласу, похищение последнего нимфами источника и

отчаяние осиротевшего героя (Феокрит, 30, 23, 29, 12, 7, 13; другие гомосексуальные пассажи у Феокрита суть следующие: 15, 124; 20, 41, 6, 42; 3, 3: *καλὸν πεφύλαμεν* — обращение к любимому, столь сладостное, что его невозможно перевести (см. Геллий, ix, 9); 2, 77—80, 44, 150, 115; эпиграмма 4).

8. КОЕ-ЧТО ИЗ ДРУГИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПОЭТОВ

Праксилла, милая поэтесса здоровой веселости и чувственной житейской мудрости, рассказывала в своих стихотворениях о похищении Хрисиппа Лаем и о любви Аполлона к Карну (фрагм. 6 и 7).

Согласно Афиною, Стесихор, «сам большой сладострастник», также писал стихотворения в том жанре, который назывался в античности «песнь о мальчиках» (Ath., xiii, 601 a). Ни одно из них не сохранилось.

Вакхилид (фрагм. 13) упоминает среди мирных трудов занятия молодежи в гимназиях, праздники, исполнение песен о мальчиках.

«Сколиями» назывались застольные песни, распевавшиеся главным образом гостями после трапезы, когда вино развязывает языки, и сочинявшиеся *ex tempore*. Одна из таких импровизаций звучит следующим образом: «Стать бы мне лирой слоновой кости, тогда мальчишки пустились бы со мной в дионисийский пляс» (Сколий, 19).

Дошедшее до нас поэтическое наследие Биона из Смирны, младшего современника Феокрита, довольно незначительно. Из его стихотворения к Ликиду упомянем следующие строки: «Если кого из бессмертных воспеть захочу иль из смертных, //Только бормочет язык мой, и петь не хочет, как прежде; //Стоит же только запеть мне для Эроса иль для Ликида, //Тотчас из уст у меня моя песня, ликуя, польется»¹⁶⁷.

В другом стихотворении (viii) он обращается к Гесперу, или вечерней звезде:

Геспер, ты светоч златой Афродиты, любезной для сердца!

Геспер, святой и любимый, лазурных ночей украшень!

Меньше настолько луны ты, насколько всех звезд ты светлее.

Друг мой, привет! И когда к пастуху погоню мое стадо,

Вместо луны ты сиянье пошли, потому что сегодня

Чуть появилась она и сейчас же зашла. Отправляюсь

Я не на кражу, не с тем, чтобы путника ночью ограбить,

Нет, я люблю. И тебе провожать подобает влюбленных.

Наконец, в восьмом стихотворении перечислены знаменитые пары друзей и восхваляются те, что нашли счастье взаимной любви: Тесей и Пирифой, Орест и Пилад, Ахилл и Патрокл.

¹⁶⁷ Цитаты из Биона даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек. (Прим пер.).

III. СТИХОТВОРЕНИЯ «АНТОЛОГИИ»

Нам уже столь часто приходилось цитировать в качестве свидетельств отрывки из тысяч эпиграмм Палатинского кодекса, что в данном очерке гомосексуальной литературы следует привести лишь те эпиграммы, которые сообщают нечто особенно характерное. Так, Антистий (Anth. Pal., xi, 40) пишет: «Клеодом, сын Евмена, еще мал, но и такая кроха, он проворно пляшет с мальчиками. Посмотри, он обвязал бедра пестрой шкурой оленя, а его золотистые волосы украшает венок из плюща! Сделай его взрослым, благой Вакх, чтобы твой юный служитель стал во главе священных танцев молодежи». Эпиграмма Лукилия (xi, 217) звучит почти современно: «Чтобы избежать подозрений, Аполлофан вступил в брак и ходил женихом по рынку, говоря: «Завтра же будет у меня ребенок». Когда же он появился на следующий день, то вел за собой не ребенка, а подозрение».

Двенадцатая книга «Палатинской Антологии», полностью посвященная любви к юношам (258 эпиграмм, 1300 строк), имеет в рукописи заголовок «Мальчишеская Муза Стратона». Помимо Стратона, стихотворения которого открывают и заключают сборник, здесь представлены девятнадцать других поэтов, среди которых — весьма славные имена; кроме того, в составе книги дошло 35 эпиграмм неизвестных поэтов. Книга может быть названа гимном к Эроту; тема всюду — одна и та же, но в столь бесконечно многообразных вариациях, как сама природа.

1. СТРАТОН ИЗ САРД

(Anth. Pal., xii, 1, 2, 5, 244, 198, 201, 227, 180, 195)

Поэт, живший при императоре Адриане, составил сборник эпиграмм о красавцах, и двенадцатая книга «Антологии» содержит девяносто четыре стихотворения, подписанных его именем.

Сборник открывает не обращение к Музам, как было принято в античной поэзии, но призывание Зевса, который в глубокой древности подал пример мужам, похитив Ганимеда, и считался с тех пор покровителем любви к мальчикам. Тема, за которую берется поэт, значительно отличается от принятого прежде: «Не ищи на этих страницах ни Приама у алтаря, ни бед Медеи и Ниобы, ни Итиса в его покое и соловьев в листве, — все это велеречиво воспели поэты прошлого. Но ищи здесь сладостной любви, к которой примешаны милые Хариты, и Вакха. Серьезная мина им не к лицу».

Муза Стратона была не чужда и любви к мальчикам, но так как он не видит разницы и необходимости выбирать, поэт любит все, что прекрасно. Ничто не способно противостоять этой любви, она сильнее поэта, который часто не прочь сбросить ее ярмо, но раз за разом он понимает, что это не в его силах. Если мальчик прекрасен, а взоры его столь чарующи, словно у его колыбели стояли Хариты, нет меры радости поэта; но чем ярче красота, тем скорее наворачивается на уста сожаление о том, что она мимолетна и вот-вот исчезнет.

Великая страсть находит свое выражение также и в поэзии; ввиду этого двенадцатая книга «Антологии» содержит известное число весьма эротичных эпиграмм, которые на современный взгляд могут показаться в высшей степени непристойными.

2. МЕЛЕАГР

(Anth. Pal., xii, 86, 117, 47, 92, 132, 54, 122, 52 (ср. 53), 125, 137, 84, 164, 256, 154, 59, 106, 159, 110, 23, 101, 65, 133, 60, 127, 126)

Мелеагр из Гадары (Келесирия), о чьих эротических стихотворениях, посвященных девушкам, уже шла речь выше (с. 173), провел свою молодость в Тире. Находясь здесь, он не желал иметь дела с девушками и поэтому был особенно восприимчив к красоте мальчиков; хотя число тех, к кому он пылал любовью, весьма внушительно, больше всех он любит Минска, чье имя мы встречаем в его эпиграммах наиболее часто.

Из шестидесяти эпиграмм Мелеагра, вошедших в двенадцатую книгу «Антологии», тридцать семь обращены к мальчикам, называемым по имени, причем восемнадцати из них посвящены отдельные стихотворения; кроме того, Мелеагр упоминает многих других, так что читатель поражается его легкой впечатлительностью, даже принимая во внимание, что некоторые стихотворения суть не что иное, как поэтическая игра, лишенная какой-либо реальной основы, и что один и тот же мальчик мог выступить в нескольких эпиграммах под разными именами. Как бы то ни было, Мелеагр твердо убежден в том, что предпочтение следует отдать любви к мальчикам, и ему известно, как подкрепить этот ответ на часто обсуждавшийся вопрос посредством нового и неожиданного аргумента:

Женственная Киприда сжигает любовь к женам,
Этот мальчишка Эрот правит любовью мужской.
Мне-то за кем? За сыном? За матерью? Мнится, Киприда
Как-то сказала сама: «Верх берет дерзкий юнец».

[перевод Ю. Голубец]

Когда вспыхивает чудо Эрота, рассудок бессилен и безраздельно господствует страсть. Да это и понятно, ибо уже в самом нежном возрасте Эрот играл душой поэта, словно в кости. Однако во всем виноваты глаза поэта, жадно впитывающие отроческую красоту, из-за чего душа подпадает под власть Эрота.

Здесь уже ничем не поможешь: душа пленена и пытается ускользнуть, словно птица, рвущаяся прочь из клетки. Сам Эрот связал ей крылья, зажег в ней огонь, и жаждущему не остается ничего другого, как утолять жажду слезами. Любые стенания напрасны, ибо из-за них Эрот забирает над сердцем еще большую власть.

Но все это, полагает поэт, вполне естественно, потому что его мальчик столь хорош, что сама Афродита предпочла бы его своему сыну Эроту. Свою красоту его любимец получил от самих Граций, однажды

встретивших и расцеловавших его; этим объясняется пленительная грация его юного тела, его милый лепет и немой, но красноречивый язык его глаз. Когда он далеко, когда ему пришлось отплыть в морское путешествие, тоска по нему приходит на смену любви. Тогда поэт завидует кораблю, волнам и ветру, которые могут наслаждаться лицезрением его единственного любимца; как бы хотелось ему превратиться в дельфина, чтобы нежно донести мальчика на своей спине к желанной цели.

(а) «Любовь принесла ночью под мой покров грезу о нежно смеющемся мальчишке восемнадцати лет, все еще носящем хламиду; и я, прижимая его нежную плоть к своей груди, срывал пустые надежды. В памяти моей еще теплится желание, и в глазах моих еще жгчет сон, схвативший для меня в погоне этого крылатого призрака. О душа, несчастливая в любви, перестань наконец понапрасну лелеять мечты о красавцах».

(b) Нот, мореходам попутный, страдальцы влюбленные, схитил
Подпуши у меня, — он Андрогета унес.
Трижды блаженны суда и трижды благодны воды.
Счастлив четырежды ветр, отрока морем неся. Если б дельфином мне стать!
На плечах перенес бы по морю,
Чтобы он смог увидеть Родос, где отроков сонм.

[перевод Ю. Шульца]

Как не хочется поэту преждевременно пробуждаться от таких снов! Глупый петух, своим криком разрушивший мир мечты! Будь ты проклято, грубое создание, — пафос поэта оборачивается здесь комизмом.

Однажды поэт пускается в плавание по морю. Все опасности моря уже счастливо миновали, поэт радостно покидает качающийся корабль и ступает на твердую землю; и вновь Рок является перед ним в образе хорошенького мальчишка: новая любовь — новая жизнь.

Другой раз он говорит:

Терпким медом сладимы, становятся сладостны вина;
О, как приятен союз сладостно—пылких сердец!
Сладостный Алексид Клеобула пылкого любит —
Разве Киприда и тут мед не смешала с вином?

[перевод Ю. Голубец]

О Минске¹⁶⁸ («мышонке»):

Мальчик прелестный, своим ты мне именем сладостен тоже,
Очарователь — Минск; как же тебя не любить?!
Ты и красив, я Кипридой клянусь, красив совершенно.
Если ж суров, — то Эрот горечь мешает и мед.

¹⁶⁸ Минском звали одного из пажей Аотихоха; см. Полибий, v, 82, 13.

И в другом месте:

Знаю всего я одну красоту. Глаз мой — лакомка хочет
Лишь на Минска смотреть; слеп я во всем остальном.

[перевод Ю. Шульца]

Но особенно восторгается поэт красотой глаз Минска: (а) «Тир, я Эротом клянусь, питает красавцев; Минск же //Всех их затмил, воссияв, словно как солнце меж звезд». (б) «Дивная прелесть сверкнула; он пламя очами швыряет. //Или Эрот подарил мальчику громы в борьбе? //Здравствуй, Минск! Страстей огонь ты людям приносишь — // Мне же сверкай на земле благостным только огнем!» [перевод Ю. Шульца] (с) «О Минск! В тебе пристань обрел корабль моей жизни. //И последний души вздох посвящаю тебе. //Юноша милый, поверь мне, клянуся твоими очами, — //Светлые очи твои даже глухим говорят: //Если ты взгляд отуманенный бросишь, — зима предо мною, //Весело взглянешь — кругом сладкая блещет весна!» [перевод В. Печерина]

Прежде поэт сам посмеивался над слишком влюбчивыми глупцами, но Эрот не склонен с ним шутить:

Пойман теперь я, не раз смеявшийся прежде над теми,
Кто среди буйных пиров к отрокам страстью болел.
Вот, Минск, и меня Эрот перед дверью твоею
Здесь поместил, надписав: «Благоразумья трофей».

Однако не один Эрот радуется своему триумфу — Минск тоже с ликованием поздравляет себя с победой над упрямцем:

Был я еще не достигнут страстями, как стрелы очами
Выпустил в грудь мне Минск, слово такое сказав:
«Вот, я поймал наглеца и гордо его попираю.
Хоть на лице у него царственной мудрости знак.
Я же ему чуть дыша отвечал: «Не диво! И Зевса
Также с Олимпа Эрот вниз совлекал, и не раз».

[перевод Ю. Шульца]

Но поэт вскоре позволяет обратить себя в новую веру, и теперь, когда он уверен в любви своего Минска, его счастье омрачает лишь одно — опасение, как бы мальчика не похитил Зевс.

Из многочисленных стихотворений, посвященных другим звездам, приведем лишь некоторые:

Жажущий, я целовал дитя нежнейшее летом,
Жажду свою утолив, так напоследок сказал:
«Зевс, наш отец, ты пьешь нектар на устах Ганимеда,
Видно, напиток такой стал для тебя как вино?»
Так и я, Антиоха лаская, — милей он всех прочих, —
Пью сей сладостный мед из Антиоха души.

[перевод Ю. Голубец]

Если взгляну на Ферона, в нем вижу я все; если вижу
Все, но не вижу его, — мне не видать ничего.

[перевод Ю. Шульца]

В полдень я на пути повстречал Алексиса, недавно
Волосы снявшего лишь летом при сборе плодов.
Двое лучей тут меня обожгли: один — от Эрота, —
Впрямь у мальчишки из глаз; солнца — вторые лучи,
Эти — ночь усыпила, а первые — те в сновиденьях
Образ его красоты все разжигают сильней.

Сон, облегчающий многих, принес мне одни лишь мученья,
Эту являя красу, льющую в душу огонь.

[перевод Ю. Шульца]

Боль мне сердце терзает — самым копчиком ногтя
Резвый, беспечный Эрот больно царапнул его.
Молвил с улыбкой он: «Вот и снова сладостна рана,
Бедный влюбленный, и мед жарко горит от любви!»
Если в толпе молодой вдруг вижу я Диофшга,
С места не сдвинуться мне, сил не осталось моих.

[перевод Ю. Голубец]

3. АСКЛЕПИАД

(Anth. Pal., xii, 135, 162, 163)

Асклепиад Самосский считался учителем Феокрита, который высоко ценил его как поэта и человека. Эпиграммы, дошедшие под его именем, отмечены изяществом формы и нежностью чувства; одиннадцать эпиграмм сохранились в «мальчишеской Музе» «Антологии»; вот одна из них:

Страсти улика — вино. Никагора, скрывавшего долго
Чувства свои, за столом выдали чаши вина:
Он прослезился, потупил гл[^]за и поник головою,
И на висках у него не удержатся венки.

[перевод Л. Блуменау]

В другой эпиграмме поэт изображает Афродиту, которая дает малышу Эроту уроки чтения и письма. Однако итог ее усилий оказывается весьма отличным от ожидаемого; вместо текста ученик вновь и вновь перечитывает имена двух красивых мальчиков, которые связаны тесными узами сердечной дружбы; нежное восхваление отроческой дружбы мы встретим также в принадлежащей тому же автору эпиграмме 163.

4. КАЛЛИМАХ

(Anth. Pal., xii, 102)

Каллимах из североафриканской Кирены жил между 310—240 гг. до н. э. Он является самым выдающимся эпиграмматистом александ-

дрийского периода. После обучения в Афинах вместе с уже известным нам поэтом Аратом мы находим его в Александрии: поначалу Каллимах — прославленный преподаватель и грамматик, затем, при дворе Птолемея Филадельфа, он становится одним из деятельнейших сотрудников всемирно известной, широко разветвленной библиотеки. Его литературная деятельность была посвящена главным образом науке, но он не был чужд и поэзии. В оставленных им эпиграммах отчетливо слышится эротическая нота, и в двенадцатой книге «Антологии» мы находим ни много ни мало — двенадцать стихотворений Каллимаха, воспевающих красоту хорошеньких мальчиков и посвященных таинствам Эроса. Он знает, как осветить неисчерпаемый предмет с поразительно интересной новой точки зрения:

Ищет везде, Эпикид, по горам с увлечением охотник
Зайца или серпы следов. Инею, снегу он рад...
Если б, однако, сказали ему: «Видишь, раненый насмерть
Зверь здесь лежит», — он такой легкой добычи б не взял.
Так и любовь моя: рада гоняться она за бегущим,
Что же доступно, того вовсе не хочет она.

[перевод Л. Блуменау]

5. ДРУГИЕ ПОЭТЫ

Наряду с указанными выше великими поэтами в двенадцатой книге «Антологии» своими эпиграммами о любви к мальчикам представлены двадцать четыре поэта второго ряда.

От Диоскорида (II век до н. э.) помимо прочих до нас дошла такая эпиграмма (171):

Ты, в паломничий путь Евфрагора красавца унесший,
Вновь вороти его мне, сладостный ветер Зефир,
Долго его не д^ржи; ведь даже короткое время
Тысяч^летьем сочтет любящий в сердце своем.

[перевод Ю. Шульца]

Риан Критский (расцвет — III век до н.э.), раб по происхождению, был поначалу зрителем в борцовской школе. О предпочтении, которое он оказывал юношам, можно судить по его стихам: так, нам известно, что служение Аполлона царю Адмету объяснялось им эротическими причинами (ср. Каллимах, «Гимны», II, 49). Из одиннадцати сохранившихся эпиграмм шесть посвящены мальчикам; они несколько фривольны, зато остроумны и исполнены изящества. Он добился успехов в области филологии, подготовил ценные издания «Илиады» и «Одиссеи» и прославился как эпический поэт, особенно как автор поэмы о второй Мессенской войне.

Мы уже цитировали его стихотворение, где он говорит о «Лабиринте мальчиков, из которого нет спасенья»; к этому можно добавить еще один образчик его творчества:

Дексиник, ловивший в тени под зеленым платаном
Черного клеєм дрозда, птицу за крылья схватил;
И со стенанием громким кричала священная птица...
Я же, о милый Эрот, юное племя Харит,
Я бы на месте дроздов, — лишь бы в этих руках оказаться,
Рад бы не только кричать, — слезы сладчайшие лить.

[перевод Ю. Шульца]

Одна из эпиграмм Алкея Мессенского (xii, 64) нежна и отмечена тонкостью чувства:

Писы хранитель, о Зевс, Пифенора, Киприды второго
Сына, венком увенчай ты под Кронийским холмом!
Ставши орлом, у меня не похити, однако, владыка,
Отрока кравчим себе, как Дарданида давно.
Если ж угодный тебе я от Муз приготовил подарок,
То о согласье скажи дивного отрока мне.

[перевод Ю. Шульца]

Алфей Митиленский (там же, 18) становится на оригинальную точку зрения в следующей эпиграмме из шести строк: «Несчастливы те, в чьей жизни нет любви, ибо без любви трудно что бы то ни было сделать или сказать. Я, например, слишком медлителен, но попадись мне на глаза Ксенофил, я полетел бы к нему быстрее молнии. Посему прошу всех: не робейте, но следуйте сладостному желанию: любовь — оселок души».

Автомедонт (там же, 34) берет шутливый тон в следующей эпиграмме: «Вчера я ужинал с наставником мальчиков Деметрием, блаженнейшим из мужей. Один отрок сидел у него на коленях, другой выглядывал из-за плеча, третий, вносил блюда, а последний подливал вино, — восхитительная четверка. Я спросил его в шутку: «Что, друг любезный, по ночам ты тоже с ними занимаешься?»

Звен (Anth. Pal., xii, 172; ср. Катулл, 85) находит новую формулировку для неподражаемого *Odi et amo* Катулла: «Если ненависть — боль и любовь — боль, то из двух зол, я избираю рану боли благой».

Юлий Леонид (Anth. Pal., xii', 20) воспользовался собственной удачной находкой:

Зевс, должно быть, опять удалился на пир к эфиопам, Или же златом проник в
милый Данаи чертог.
Диво великое: как красу Периандра увидев,
Юношу милого Зевс вновь не восхитил с земли?
Или мальчиков бог больше, как прежде, не любит?..

Наконец, отберем три (xii, 87, 116, 123) из тридцати пяти анонимных эпиграмм, дошедших в составе двенадцатой книги «Антологии».

Бог ужасный, Эрот, никогда ты меня не направишь
К женщине — страстью к одним юношам пылко горю!
То я Демоном пылаю, то должен завтра Йемена
Видеть — так вот всегда длятся мученья мои!

Если бы я только двоих и видел! Как будто из сети
Страстно рвется ко всем зренью безумное вновь!

[перевод Ю. Голубец]

Другой раз страсть проводит поэта невредимым сквозь все опасности после буйной попойки:

Пьяный пойду и спою очень громко ... Прими же, мой милый,
Этот венок, ведь он весь страсти слезою омыт!
Долог мой путь пребудет, ведь час уже поздний — спустился Мрак ...
А мне Фемисон¹⁶⁹ светит, как светоч в ночи.

[перевод Ю. Голубец]

Автор следующей эпиграммы также неизвестен:

Стал победителем в бое кулачном отпрыск Антикла
Менехарм, и ему десять повязок я дал,
После поцеловал, окровавленного в состязанье, —
Сладостней тот поцелуй меда и смирен мне был.

[перевод Ю. Голубец]

Сорвав, таким образом, лишь малую часть цветов, столь пышно благоухающих в двенадцатой книге «Антологии» (*Musa puerilis* Стратона), мы подошли к 1ак называемой кинедической поэзии, важнейший представитель которой — Сотад — у же был предметом нашего рассмотрения (с. 178).

Первоначально слово *кинед* (κίναςδος) обозначало «любитель мальчиков» и имело обценный смысл; затем так стали называть профессиональных танцоров в некоторых непристойных балетах, которые известны нам из Плавта и Петрония и по фрескам Виллы Дория Памфили в Риме; они танцевали под аккомпанемент в высшей степени вольных, а с современной точки зрения, бесстыдных песен. От них сохранились только крайне незначительные фрагменты. Кулачный боец Клеомах из Магнесии влюбился в актера-кинеда и находившуюся у того на содержании девушку, что навело его на мысль вывести их персонажами своих диалогов (кинедическая поэзия: см. Плавт, «Хвастливый воин», 668 [ш, 1, 73]; Петроний, 23; O. Jahn, *Wandgemälde des Columbariums in der Villa Pamphili* (Philol. Abhandl. der Münchener Akademie, viii, 254 ел.); относительно истории Клеомаха см. Страбон, xiv, 648a).

Согласно Афиною (xv, 697d), «у всех на устах была песня, прославлявшая любовь к мальчикам»; автором песни, от которой сохранилось две строчки, был Селевк (начало второго века до нашей эры): «И я тоже люблю мальчиков: это прекраснее, чем изнывать под супружеским ярмом, ибо в душегубительной битве тебя прикроет от удара друг».

¹⁶⁹ Фемисоном звался также любимец царя Антиоха I. Он происходил с Кипра и любил наряжаться молодым Гераклом — набрасывать на нагие плечи львиную шкуру и вооружаться луком со стрелами и дубиной. Фемисону, принявшему такой облик, люди приносили жертвы (Питерм у Афины, vii, 289 ел.).

IV. ПРОЗА

Излишне давать здесь исчерпывающий очерк греческой прозы, перечисляя те места из нее, что касаются педерастии, так как о греческих прозаиках нами сказано довольно. Поэтому достаточно будет назвать несколько сочинений, уделяющих этому предмету особое внимание.

Под именем Демосфена до нас дошел трактат, озаглавленный *Erotikos*, который, очевидно, под влиянием Платона «Федра», представляет собой восторженное восхваление в эпистолярной форме мальчика по имени Эпикрат. При всей своей приятности и занимательности трактат этот, как показала филологическая критика, не принадлежит великому оратору. Важнейшим гомосексуальным прозаическим произведением древнегреческой литературы является «Симпосий» («Пир») Платона, написанный через несколько лет после праздничного застолья, устроенного трагиком Агафоном для своих друзей — Сократа, Федра, Павсания, Эриксимаха и Аристофана — по случаю победы в драматических состязаниях 416 года до н.э. После того как с едой было покончено и гости приступили к вину, Федр предлагает побеседовать о силе и значении Эроса. Так это прекраснейшее и колоритнейшее из творений Платона приобретает форму единственного во всемирной литературе гимна к Эроту, сущность которого самым увлекательным и глубоким образом рассматривается с разнообразнейших сторон. Прибегнув к остроумно изобретенному мифу, Аристофан определяет любовь как стремление половины некогда единого первоначального человека, которого бог поделил надвое к другой своей половине. Кульминационной точкой является речь Сократа, определяющего любовь как жажду бессмертия, оплодотворяющую лоно женщины семенем, а душу мальчика и юноши мудростью и доблестью. По определению Сократа, Эрот достигает высочайшего мыслимого идеала — чувственное и духовное сливаются в удивительной гармонии, из которой с логической последовательностью вытекает следующее требование: по-настоящему хороший учитель должен в то же время быть хорошим педофилом (любителем мальчиков), иными словами, посредством взаимной любви и общих усилий учитель и ученик должны стремиться к наивысшему возможному совершенству. Не успеваешь Сократ закончить свою речь, возможно, прекраснейшую из всех написанных на греческом и любом другом языке, как в дом Агафона вторгается слегка подвыпивший на другой пирушке Алкивиад и произносит знаменитый, искрящийся самым пылким восторгом перед любимым учителем панегирик Сократу, в котором тот возносится на вершины сверхчувственной духовности и почти сверхчеловеческого самообладания.

По сравнению с «Пиром» платоновский диалог «Алкивиад» выглядит почти бесцветным. Речь здесь идет о прекрасном, но испорченном всеобщим обожанием Алкивиаде; в диалоге развивается мысль о том, что будущему советчику народа надлежит прежде всего решить для себя, что является для народа справедливым и полезным.

Любовь к мальчикам составляет предмет платоновского «Федра», названного именем любимца его молодости. В полдень на берегу Илисса

под раскидистым платаном, когда вокруг стрекочут кузнечики, протекает разговор, который постепенно подводит собеседников к сократовскому определению Эроса: педофилия представляет собой стремление к истинно прекрасному и миру идей.

До сих пор не решено окончательно, правильно или нет приписан Платону диалог *Erastae* («Любовники»), названный так потому, что участвуют в нем поклонники двух мальчиков, с которыми Сократ беседует о том, что многознание не имеет ничего общего с истинным философским образованием.

Одной из очень популярных в философской литературе тем является рассмотрение вопроса, всегда ли любовь мужчины к женщине должна ставиться выше любви мужчины к мальчику. Из многочисленных сочинений, посвященных этой проблеме, в первую очередь следует назвать дошедший под именем Лукиана трактат (Лукиану, несомненно, не принадлежащий) *Erotes*, или «Две любви».

Внутри прелестного рамочного повествования протекает спор между двумя друзьями, коринфянином Хариклом, отстаивающим любовь к женщинам, и афинянином Калликратидом, защищающим любовь к мальчикам.

Выступающий в роли третейского судьи Ликин в конце концов выносит суждение, наилучшим образом характеризующее греческое понимание любви: «Браки полезны людям в жизни и, в случае удачи, бывают счастливыми. А любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, является, по-моему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а любить мальчиков пусть будет позволено одним только мудрецам. Ведь ни одна женщина не обладает полной мерой добродетели. А ты, Харикл, не сердись, если Коринф уступит Афинам» [перевод С. Ошерова].

То, что *Erotes* пользовались в античности большой популярностью, явствует из того факта, что это произведение нашло нескольких подражателей, наиболее известный из которых — Ахилл Татий. В заключительных главах второй книги его романа обсуждается тот же вопрос, что лег в основу псевдолукиановых *Erotes*, причем обсуждение протекает схожим образом, принимая форму речей «за» и «против».

В романе Ксенофонта Эфесского о любви Габрокома и Антии имеется гомосексуальный эпизод. Гиппофой рассказывает о том, как в своем родном городе Перинфе он страстно любил мальчика по имени Гиперанф. Однако мальчика покупает богатый торговец из Византии Аристомах. Гиппофой следует за ними, убивает Аристомаха и бежит вместе с любимцем. Близ Лесбоса их корабль настигает неистовая буря, во время которой Гиперанф тонет. Находящемуся вне себя от горя Гиппофою не остается ничего иного, как воздвигнуть мертвому любимцу прекрасный надгробный памятник, после чего отчаявшийся любовник подается в разбойники.

Философ Максим Тирский, живший при императоре Коммодe (годы правления 180—192), в своих многочисленных сочинениях не раз обращался к рассмотрению проблемы любви к мальчикам. Так, мы располага-

ем его *δῶναι*, или беседами об Эросе Сократа. Эту же тему разрабатывал до него гермафродит Фаворин — ученейший и знаменитейший философ эпохи Адриана.

1. ЛЮБОВЬ К МАЛЬЧИКАМ В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ

После всего, что на основании письменных источников было ранее сказано о греческой любви к мальчикам, нетрудно предположить, что она играла значительную роль также в эллинской мифологии. В действительности весь круг греческих сказаний о богах и героях столь изобилует гомосексуальными мотивами, что Р. Бейеру удалось написать на эту тему целую монографию¹⁷⁰. Поведать о связях с мальчиками греческих богов и героев — поистине благодарный труд, потому что эти предания принадлежат к прекраснейшим жемчужинам греческой поэзии. Однако соображения места и тот факт, что ценная диссертация Бейера является хотя и не исчерпывающим, но вполне достаточным сводом гомосексуальных мотивов в греческой мифологии, побуждают нас отказаться от сколько-нибудь полного и связного изложения этого материала. Поэтому мы должны отослать читателя к работе Бейера и заметить, что уже в античную эпоху составлялись более-менее подробные каталоги мифических любовников. Остатки этих списков сохранились у Гигина, Афиней и других авторов; однако самый полный список приводится благочестивым и ученым Отцом Церкви Климентом Александрийским: «Зевс любил Ганимеда; Аполлон — Кинира, Закинфа, Гиакинта, Форбанта, Гиласа, Адмета, Кипариса, Амикла, Троила, Бранха, Тимния, Пароса и Орфея; Дионис любил Лаонида, Амπεла, Гименя, Гермафродита и Ахилла; Асклепий любил Ипполита; Гефест — Пелея; Пан — Дафниса; Гермес — Персея, Хриса, Ферса и Одриса; Геракл — Абдера, Дриона, Иокаста, Филоктета, Гиласа, Полифема, Гемона, Хона и Эврисфея».

Из этого списка, в который включены имена лишь некоторых богов, читатель получает представление о том, сколь ошеломляюще многочисленны педофилические мотивы в греческой мифологии.

2. ШУТКИ И ОСТРОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОМОСЕКСУАЛИЗМОМ

До сих пор мы рассматривали греческую любовь к мальчикам с ее серьезной стороны, но знаменитое изречение Горация «ничто не мешает говорить истину с улыбкой на устах» столь же справедливо "и отношении греческой эфебофилии, сколь и в отношении всех фено-

¹⁷⁰ R.Beyer, *Fabulae Graecae quatenm quave aetatepuerorum commutatae sint*, Leipziger Doktoiaibeit, 1910.

менов человеческой жизни. Последняя давала множество поводов для шуток, немалое количество которых сохранилось до нашего времени. Вполне естественно, что мишенью шутки и насмешки является не духовное содержание любви, но — в значительно большей мере — ее чувственный аспект; я воспроизведу некоторые из тех нередко весьма талантливых острот, что дошли до нас.

Слово *кинед*, уже объяснявшееся нами, постепенно превратилось в прозвище для тех «полумужей», которые своим женоподобным поведением и жестами, подкрашиванием лица и другими косметическими ухищрениями заслужили всеобщее презрение. Одна из сатир на них в «Палатинской Антологии» (xi, 272) гласит: «Они не желают быть мужчинами, хотя родились не женщинами; они не мужчины, ибо позволяют пользоваться собой как женщинами; они мужчины для женщин и женщины для мужчин». Часто подвергается осмеянию их манерность, как, например, у Аристофана (*Thesmoph.*, 134 ел.):

Ответь тогда мне на вопрос, о юноша,
Ты пришел откуда женственный?
Где родина твоя? Что это за наряд?
И что за смесь всего, что только может быть?
Хоть барбит при тебе, но в платье женском ты,
Под сеткой волосы, а с маслом взял сосуд,
И пояс женский... Как все это совместить?
Ведь невозможны рядом зеркало и меч!
^ужчиной ли растешь, скажи, дитя мое?
Но где твой член мужской, где плащ и башмаки?
Ты женщина? Но груди где твои тогда?
Что скажешь? Ты молчишь, не хочешь отвечать?
Тогда по песням я определю тебя.

[перевод Н. Корнилова]

Описывая поведение кинеда, Менандр едко намекает на Ктесиппа, сына Хабрия, о котором говорили, будто он продал даже камни с могилы отца, лишь бы не отказывать себе в привычных удовольствиях (фрагм. 363).

В комедии такие женоподобные персонажи имеют женские имена. Так, Аристофан, говоря о женщине по имени Сострат, использует вместо формы мужского рода «Сострат» форму женского «Сострата», говоря о женоподобном Клеониме, называет его Клеонимой («Облака», 678, 680). Кратин высмеивает «мальчиков для утех», называя их «девчоночками»; в других случаях перед мужским именем иногда ставился артикль женского рода (САР, I, 29).

Для изобретения новых метких прозвищ требовалось, несомненно, большее остроумие; из обильного их запаса в первую очередь можно указать на весьма распространенное грубое слово *καταβύων ὠψ πύη* — «задница»), известное всякому читателю греческой комедии; столь

же распространенным было еще более грубое ругательство εὐρύπρωκτος («широкозадый»)¹⁷¹.

Не требующее объяснений слово στρόβιλος ("pirouette") у Аристофана¹⁷² встречается лишь однажды, тогда как прозвище βῆταλος обнаруживается значительно чаще. Значение слова проясняет отрывок из Эвполида, у которого оно используется как синоним к πρωκτός («зад»). Оно употреблялось также как имя собственное, и Плутарх писал о женоподобном флейгисте Батале, осмеивавшемся в комедиях Аристофана. Более безобидны такие прозвища, как παιδοπίτης («заглядывающийся на мальчиков») и турроλίτης («заглядывающийся на мальчиков с золотистыми кудрями»), часто встречающиеся в комедии.

Шутливым прозвищем педофилов было слово ἀλφιστής, первым значением которого является название некоторого вида рыбы. Сатирический перенос значения Афиной (vii, 281) объясняет таким образом: эта бледно-желтая, местами окрашенная в пурпурный цвет рыба «всегда попадаетея рыбакам не одна, а парами, причем одна из них плывет за хвостом другой. Так как они всегда следуют друг за другом, некоторые древние писатели перенесли их название на людей с неумеренной и извращенной чувственностью». Шутка выигрывает еще и оттого, что у Гомера и позднейших писателей это слово используется весьма часто, являясь эпитетом достойных мужей. В остроумной, но непере译имой эпиграмме Стратона, использующего музыкальные термины в непристойном значении, также обыгрывается педерастическое значение слова ἀλφιστής (Anth. Pal., xii, 187).

3. ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Фаний Эресский рассказывал такую историю: «В нижнеиталийском городе Гераклея мальчик по 5 имени Гиппарин — статного вида и благородного происхождения — был любим Антилеонтом, который, несмотря на многочисленные попытки, не мог снискать его расположения. В гимнасии он всегда находился рядом с ним, вновь и вновь твердя ему о том, как сильна его любовь, и заявляя, что пойдет ради него на все и исполнит любое его приказание. Мальчик в шутку велел ему принести колокол, который как зеницу ока охраняла стража, поставленная гераклейским тираном Архелаем; он думал, что такую задачу Антилеонту выполнить не под силу. Однако Антилеонт тайно прокрался мимо стражников, подстерег и убил хранителя колокола и принес свою добычу мальчику, который принял его с распростертыми объятиями и с этого времени обращался с ним самым дружественным образом. Случилось, однако, что в мальчика влюбился сам тиран; Антилеонт, конечно же, был очень этим опечален, зная, что у Архелая достанет власти, чтобы осуществить свои желания. Опасаясь за своего любимца, он посоветовал

¹⁷¹ Гротескной гиперболизацией является слою λακκόπρωκτος, от λάκκος — «цистерна».

¹⁷² «Мир», 864, где речь идет о «кручении и извивах» сыновей Каркина (трое из них были плясунами). Στροβίλον используется здесь вместо παιδών.

ему для вида уступить требованиям тирана. Сам же он подкараулил Архелая и умертвил его. Совершив это, он пустился бежать и, конечно же, ускользнул бы, если бы не натолкнулся на стадо овец, которое его задержало. Так как теперь город был свободен от власти тирана, народ Гераклеи воздвиг Антилеонту и его любимцу бронзовые статуи и издал закон, запрещающий прогонять по улицам овечьи стада» (FHG, II, 298, 13).

Наконец, учитывая, сколь высоко ценилась юношеская красота, мы ничуть не удивимся тому, что прекрасные мальчики использовались также для уплаты дани. Уже у Гомера Агамемнон вызывается послать нескольких юношей в качестве примирительного дара оскорбленному Ахиллу.

У Геродота (ш, 97) мы читаем о том, что эфиопы были обязаны ежегодно направлять персидскому царю, помимо чистого золота, 200 стволов эбенового дерева, 20 слоновых клыков и пятерых мальчиков; раз в четыре года колхи посылали ему 100 мальчиков и 100 девочек; оба вида дани существовали еще во времена Геродота.

Эти мальчики служили персидской знати в качестве пажей, виночерпиев и фаворитов. Из другого места у Геродота (ш, 48) явствует, что им грозила еще худшая участь; Геродот повествует здесь о знаменитом правителе Коринфа Периандре, который послал 300 мальчиков с Керки-ры (Корфу), сыновей самых выдающихся мужей на острове, ко двору царя Алиатта в Сарды, чтобы их там оскотили и использовали как евнухов. Историк рассказывает и о том, как самосцы, на которых была возложена обязанность переправить этих мальчиков к месту назначения, спасли пленников, и в память об этом событии учредили праздник, справлявшийся еще во времена Геродота. Из другого места, весьма примечательного с точки зрения истории культуры, явствует, что существовали лица, сделавшие оскотление мальчиков своим ремеслом. Геродот (viii, 104 ел.) говорит: «Вместе с этими мальчиками царь отправил и их воспитателя Гермотима, родом из Педас, самого главного из царских евнухов. Педасийцы! же живут севернее Галикарнакасса. У этих педасийцев, по рассказам, случается иногда нечто диковинное: всякий раз, как жителям города или их соседям угрожает в скором времени какая-нибудь беда, у тамошней жрицы Афины вырастает длинная борода. И это случалось у них уже дважды.

От этих-то педасийцев и происходил Гермотим. Он отомстил за нанесенную ему обиду самой страшной мезтью, которую я только знаю. Гермотим был взят в плен врагами и выставлен на продажу в рабство. Купил его хиосец Панионий, который зарабатывал себе на жизнь постыднейшим ремеслом: он покупал красивых мальчиков, оскотлял их, приводил в Сарды или в Эфес на рынок и там перепродавал за большие деньги. У варваров же евнухи ценятся дороже, чем неоскотленные люди, из-за их полной надежности во всех делах. Панионий оскотил уже много других мальчиков, так как этим ремеслом он жил, в том числе и Гермотима. Впрочем, Гермотим не во всем был несчастлив: из Сард вместе с прочими дарами он прибыл к царю и спустя некоторое время достиг у Ксеркса наивысшего почета среди всех евнухов» [перевод Г. А.

Стратановского]. Евнухи играли заметную роль при персидском дворе также в правление царя Дария. Вавилон и остальная Ассирия обязаны были посылать в виде дани 1000 талантов серебра и 500 осклопленных мальчиков.

Город Лебадия в Беотии — сам по себе ничем не примечательный — издревле являлся священным оракулом Трофония, дававшим прорицания во сне. Павсаний, который сам обращался за советом к этому оракулу, подробно рассказывает (ix, 39, 7) о различных приготовительных шагах, предписываемых, по исполнению торжественных обрядов, желающим спросить оракула. Наряду с прочими приготовлениями вопрошающего подводят к реке Теркине, бегущей через долину, где «два мальчика лет тринадцати из числа горожан, называемые Гермесами, моют его и умащают маслом, делая для него все то, что исполняется обыкновенно мальчиками-рабами». Прозвище мальчиков объясняется, возможно, тем, что Гермес являлся богом-покровителем мальчиков и юношей, ввиду чего ни один греческий гимнасий не обходился без алтаря и статуи этого дружественного бога¹⁷³

Милая эпиграмма Никия из «Антологии Плануда» описывает, как в гимнасиях мальчики украшают статую Гермеса, «который поставлен покровителем прелестного гимнасия, ветками ели, гиацинтами и фиалками».

От трактата *Erotika* Клеарха из Сол на Кипре дошла такая сентенция: «Лысец не может быть надежным другом, ибо время разоблачает ложь того, кто притязает на дружбу. Истинный любовник — это лысец любви, влюбленный в цвет юности и красоту».

¹⁷³ Согласно Плутарху («Кума», 7), мальчик, помогающий при жертвоприношении жрецу Юпитера, звался «Камиллом, тогда как у греков Гермес-помощник часто зовется Кадмиллом (Καδμῖλος), ср Сервий, комм к «Энеиде», **χ**1, 543 и 558, и схолии к Аполлонию Родосскому, **ι**, 917 Интересно отметить, что в «Деяниях Апостолов» (χiv, 12) после исцеления Павлом «мужа, хромого от чрева матери своей» в Листре, восторженная толпа называла его Гермесом (Меркурием), сошедшим на землю.

ГЛАВА VI

ИЗВРАЩЕНИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ

Каким здоровьем отличалась половая жизнь греков, явствует из того факта, что те проявления сексуальности, которые обычно объединяются понятием *Psychopathia Sexualis*, играли в ней чрезвычайно скромную роль. Данное утверждение не соответствует действительности, если считать гомосексуализм патологией; но, как показано в предыдущей главе, последнее — по крайней мере в отношении греческого гомосексуализма — совершенно недопустимо.

Однако и в Древней Греции не было недостатка в извращенных формах любви; от автора сексуальной истории читатель вправе потребовать их научного описания; я же позволю себе быть кратким, потому что относящийся к этому вопросу материал собран в знаменитых книгах Розенберга, Блоха и Форберга.

1. МИКСОСКОПИЯ

Поскольку даже названия данного извращения в Древней Греции не существовало, постольку и само это явление, суть которого состоит в возбуждении и удовлетворении посредством тайного подглядывания за половым актом, было столь редким, что я не знаю ни одного места из греческих авторов, которое можно было бы здесь привести; я также не могу сказать, именуется ли изображение *вуайера* в греческом искусстве. Если, как указывалось выше, Кандавл находит удовольствие в том, чтобы показать другу свою супругу обнаженной, то здесь речь может идти лишь о миксоскопии в самом широком смысле слова, потому что Гигес не жаждет насладиться этим зрелищем, но становится объектом искушения со стороны мужа, неважно, желает ли тот получить удовольствие от ожидаемого сексуального возбуждения зрителя или хочет только удовлетворить свое непомерное тщеславие, похваляясь обладанием столь красивой женщиной.

2. ТРАНСВЕСТИЗМ

Для тех, кто получает сексуальное удовольствие, показываясь в одежде противоположного пола, был изобретен термин «трансвеститы». Это извращение, в конечном счете восходящее к эмбриональной андро-

¹⁷⁴ От *μῖσχος* (соитие) и *σκολ-* корня от глагола *σκέπτιν* — взирать.

гинности любого человеческого существа, было не чуждо грекам, хотя в наших источниках о нем говорится сравнительно немного. Я уже неоднократно упоминал трансвеститские обряды религиозного культа. На празднике Котитии в Афинах, справлявшемся в честь богини чувственности Котис, или Котитто, мужчины плясали, надев женское платье, причем церемонии, которые поначалу указывали на сексуальное лишь символически, со временем превратились в оргии, так что, по Синесию (*Calviti Encomium*, 856), «участник оргий Котис — все равно, что кинед». Наряду с облачением в женское платье сексуальное возбуждение мужчины, по-видимому, усиливало ношение женского парика. Итальяские праздники Котис, упоминаемые Горацием (*Epod.*, 17, 56), пользовались особенно дурной славой, однако в этих оргиях участвовали, как представляется, только женщины.

В одной из эпиграмм Асклепиада (*Anth. Pal.*, xii, 161) говорится о хорошенькой девушке по имени Доркион («маленькая косуля»), любившей носить мальчишескую одежду, и «в хламиде, едва прикрывающей плечи и колени, мечущей из глаз огонь любви».

Ктесий сообщал, что наместник Вавилона Амар любил появляться на людях в женском платье и украшениях; когда же он наряжался таким образом, во время трапезы его развлекали 150 флейтисток и танцовщиц (Афинея, xii, 530).

3. ЭКСГИБИЦИОНИЗМ

Если под эксгибиционизмом понимать сознательное выставление напоказ половых органов перед представителями своего или противоположного пола, то нетрудно понять, что данное извращение было в Древней Греции большой редкостью. В ту эпоху было вполне достаточно возможностей видеть людей полностью нагими, так что мало кому пришлось бы в голову удовлетворять свое сексуальное любопытство или разжигать в себе сладострастные желания, выставляя напоказ собственную наготу. В противоположность фактам, наблюдаемым врачами и юристами в наши дни, если в Древней Греции и говорилось об эксгибиционизме, то лишь о женском. Древнейшим примером тому является Баубо, жена Дисавла из Элевсина, у которого нашли пристанище Деметра и юный Иакх, пытаясь найти похищенную Аидом дочь богини Персефону. Чтобы развеселить горюющую мать, Баубо снимает с себя одежды, доставляя тем самым столь сильное наслаждение Иакху, что Деметре приходится рассмеяться даже против воли.

Преднамеренные обнажения при исполнении кордака (см. с. 114) также были не лишены эксгибиционистского характера.

Диодор (i, 85) рассказывает о египтянках следующее: если после смерти священного быка Аписа жрецы находят нового, то в течение сорока дней смотреть на него позволено только женщинам, которые, однако, делают это, «приподнимая свои одежды и показывая богу срамные части».

Большинство изображений Приапа и Гермафродита производят впечатление откровенного эксгибиционизма.

Все перечисленное выше современная медицинская наука может рассматривать как эксгибиционизм весьма условно. Единственное известное мне место, где говорится об эксгибиционизме в собственном смысле слова, — это Теофраст, описывающий характер Наглеца (*Char.*, 11): «Такой бесстыдник при встрече с женщинами любит задира́ть свой хитон, показывая им свой срам».

4. ПИГМАЛИОНИЗМ

Мифическому царю Кипра Пигмалиону так понравилась изваянная им статуя девушки, что он влюбился в создание из слоновой кости и не знал покоя до тех пор, пока Афродита в ответ на его непрерывные мольбы не оживила статую, после чего царь породил вместе с этой девушкой сына Пафа, именем которого назван знаменитый город на Кипре. Отсюда любовь к статуям и другим произведениям искусства получила название «пигмалионизм» (см. Овидий, «Метаморфозы», х, 243 ел.).

Один из случаев пигмалионизма подробно описан в *Erotes* Лукиана (хv ел.). Юноша из превосходной семьи влюбился в прославленную статую Афродиты Книдской, созданную Праксителем, проводил дни напролет в ее храме и «не уставал беспрестанно глядеть на образ богини. С губ его украдкой срывались кроткие вздохи и страстные любовные жалобы. Знаком все > усиливающейся страсти была оставляемая им на стенах и коре деревьев надпись «прекрасная Афродита». Он почитал Праксителя как самого Зевса и положил по обету к стопам богини все, что имел ценного и дорогого».

Это был не единственный случай, когда юноша влюбился в Афродиту Книдскую. Филострат (*Vita Ap.*, 276) сообщает, что схожую историю рассказывал Аполлоний Тианский, который пригласил юношу к себе и излечил его от этой страсти. Аполлоний втолковал юноше, что людям не подобает любить богов, и в предостережение напомнил ему об Иксионе, который понес в подземном мире страшную кару из-за своего вожделения к Гере. «Таким образом Аполлонию удалось излечить это безумие, после чего юноша совершил жертвоприношение, чтобы заслужить прощение богини».

Элиан рассказывает о некоем молодом и знатном афинянце, «который безумно влюбился в статую Агате Тихе, что стояла перед пританеем. Он целовал и обнимал ее, а затем бросился к советникам и молил продать ему статую. Когда его предложение было отвергнуто, он украсил статую лентами, венками и драгоценностями, совершил жертвоприношение и после беспрестанных жалоб покончил с собой» (*Var. hist.*, ix, 39).

Согласно Плинию (xxxvi, 22), юноша с Родоса по имени Алкет влюбился в обнаженную статую Эрота, воздвигнутую Праксителем в Парии на Геллеспонте.

5. ПОРКА, САДИЗМ, МАЗОХИЗМ

Порка обычно сочетается с религиозными мотивами, ибо наивный или распаленный ум верит в то, что, добровольно унижая себя самобичеванием или даже частичным членовредительством, он совершает нечто, особенно угодное богам. Именно этим объясняются рассмотренные выше случаи самобичевания и самооскопления, являвшиеся составной частью различных культов, таких, как шумные оргиастические празднества Кибелы (см. с. 145 ел.). Практика самооскопления нашла литературное выражение в многочисленных эпиграммах «Палатинской Антологии».

Современная сексология доказала, что подобные жестокости, сколь бы странными на первый взгляд они ни казались, в конечном счете имеют своим истоком стремление к сексуальному возбуждению; тем самым связь между сексуальностью и религией находит новое и весьма неожиданное подтверждение. На мой взгляд, именно этим объясняется такой широко известный обычай, как порка спартанских мальчиков на алтаре Артемиды Ортии, аналогом которого является бичевание девушек на Скиерях (празднике Диониса) в аркадской Алее, а также упоминавшийся выше (с. 90) праздник «нечестивой Афродиты».

Мне ни разу не случалось находить в древнегреческой литературе садистских или мазохистских сцен. Это еще одно доказательство вновь и вновь подчеркиваемого автором книги тезиса о здоровье греческой жизни; что касается римской литературы, то найти в ней описание подобных явлений труда не составит.

Предание о Геракле и Омфале носит мазохистский характер. Могучий герой становится рабом лидийской царицы Омфалы. Служа ей, он унижается до того, что исполняет женские работы под надзором Омфалы, облаченной в львиную шкуру. Однако здесь мы едва ли можем говорить о мазохизме в собственном смысле слова, так как его существеннейшая характеристика, именно сексуальное наслаждение, испытываемое угнетенной стороной, в истории о Геракле и Омфале нигде не выдвигается на передний план.

Плутарх пишет, что Деметрий Полиоркет носил на шее явные следы укусов гетеры Ламии, ничего не говоря о том, чтобы эти укусы возбуждали Деметрия (Плутарх, «Деметрий», 27); к тому же сам по себе этот рассказ совершенно недостоверен.

6. СОДОМИЯ

Согласно совершенно ошибочному, однако прочно устоявшемуся определению, содомией называется сношение с животными; упоминания о ней нередко встречаются в греческой античности, однако либо только в сказках и романах, либо, как в случае с сицилийскими пастухами у Феокрита, речь идет исключительно о временной замене естественных половых контактов.

Из преданий содомического характера упомянем: Зевс сходится с Ледой в образе лебедя, с Персефоной — в образе змея; Пасифая влюбляется в быка и отдается ему, рождая затем Минотавра — «быка, бывшего наполовину человеком, человека, бывшего наполовину быком», как отзывается о нем Овидий (*Ars am.*, ii, 24).

7. НЕКРОФИЛИЯ

Что касается омерзительного извращения, заключающегося в насилии над трупами, то из греческой античности я могу привести на этот счет лишь три примера. О соитии Дамойты с утопленницей уже говорилось выше (с. 166). В другом случае дело касается не греков, но египтян. Геродот (ii, 89) сообщает, что некий бальзамирщик был обвинен в совокуплении с трупом красивой женщины, который был доверен ему для бальзамирания. После этого общепринятым стал обычай передавать бальзамирщикам тела особенно красивых или знатных женщин только через три или четыре дня после смерти.

Наконец, тот же Геродот (v, 92) говорит о том, что знаменитый коринфский тиран Периандр надругался над мертвым телом своей жены, которую он — возможно, случайно — убил.

ГЛАВА VII.

ДОПОЛНЕНИЯ

1. ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ И КАЛЛИПИГИЯ

От Мелеагра до нас дотла такая эпиграмма (Anth. Pal., v, 92):

Если Каллистион ты обнаженной, о путник, увидишь,
Скажешь: «Двойкий звук стал теперь звуком одним!»¹⁷⁵
[перевод Ю. Шульца]

Кондитерские изделия часто изготавливались в фаллической или ктенической форме.

Как мы уже указывали, мужчины предпочитали, чтобы женщины удаляли волосы вокруг гениталий, что достигалось посредством выщипывания или выпаливания. Комедиограф Платон говорит о «выщипываемых рукой кустах мирта» (САР, i, 648), а согласно Аристофану («Лисистрата», 827), женщины использовали для этой цели зажженный светильник. Эта процедура — если наше истолкование правильно — запечатлена на рисунке, изданном Моллем; для той же цели применялась также горячая зола. Депиляция вошла в обычай, очевидно, потому, что в противном случае густой волосяной покров южанок не позволял видеть их гениталии. Как бы то ни было, множество мест свидетельствуют о том, что греческому мужчине нравилось не покрытое волосами, но гладко выбритое лоно. Так, у Аристофана Лисистрата (*Lysistr.*, 148 ел.) говорит:

Когда сидеть мы будем надушенные,
В коротеньких рубашечках в прошивочку,
С открытой шейкой, грудкой, с щелкой выбритой,
Мужчинам распаленным ласк захочется,
А мы им не дадимся, мы воздержимся,
Тут, знаю я, тотчас они помирятся.

[перевод А. Пиотровского]

Аналогичным образом Аристофан нередко рассказывает о том, как желание охватывает женщину:

¹⁷⁵ Согласно схолиасту, диграф *пси* (ψ) был изобретен сиракузянином Эпихармом. Если ψ перевернуть верхом вниз, получившийся знак вполне можно истолковать как изображение половых органов; следовательно, мы должны видеть в Каллистионе гермафродита. Менее правдоподобным выглядит толкование, по которому в данном имени следует заменить две буквы: К на Θ , а т на χ , получив тем самым имя *Thalhschion*, «с крупными ягодицами».

Но когда убеждающий сладко Эрот и Киприда,
рожденная морем,
Золотую тоску в наши груди вдохнет и расплавит
желанием члены
И упругую силу мужам подарит и протянет их
руки к объятьям,
Вот тогда назовут нас Эллады сыны
Разрешительницами сражений.¹⁷⁶

[перевод А. Пиотровского]

Хотя игра слов непереводаима, следует сказать, что в «Женщинах на празднике Фесмофорий» (особенно 246, 1119, 1185) постоянно упоминается красота ягодиц. В «Лисистрате» (1148) спартанский посол восклицает: «Сколь невыразимо прекрасны ее ягодицы!», а в «Мире» (868) раб говорит: «Помыта девочка — как хороши ее ягодицы!» Кокетливое покачивание ягодицами, которым, согласно фрагменту из комедии, женщины увлекали мужчин, называлось по-гречески *περιτφοκτία*.

Благодаря рисункам на вазах и пассажи из Геронда (vii, 13) нам известно, что данной части тела приходилось страдать, когда детей наказывали прутом или палкой; в Неаполитанском Национальном музее хранится ваза, на которой нарисованы два полуобнаженных юноши, лежащих на кушетке и глядящих на женщину, которая, приподняв платье, показывает нагие ягодицы.

2. КАСТРАЦИЯ, ОБРЕЗАНИЕ, ИНФИБУЛЯЦИЯ

О самооскоплении галлов — жрецов сирийской богини — Лукиан (*De Syr. dea.*, 50) рассказывает следующее: «В установленные дни народ собирается в храме; множество жриц и упомянутых мною мужей, посвятивших себя богам, справляют мистерии, режут себе руки и бьют друг друга по спине. Многие из тех, что стоят рядом, играют на флейтах, многие бьют в барабаны, другие поют восторженные стихи и священные песни. Это совершается вне храма, и ни один из участников этих церемоний не входит в храм. В эти дни происходит также посвящение жриц; когда отыграют флейты и будут исполнены церемонии, многих жриц охватывает безумие, и некоторые из тех, что пришли только посмотреть, совершают затем деяния, о которых я намерен сообщить. Юноша, чей черед теперь наступил, сбрасывает с себя одежды, с громким воплем врывается в гущу собравшихся и поднимает меч — один из тех, что, как я думаю, стояли здесь для этого несколько лет. Схватив меч, он немедленно оскопляет себя и бежит по городу, неся в руках отсеченное мечом. Из дома, в который он бросил свою ношу, ему выносят женское платье и украшения». Так обстоят дела при самооскоплениях. Когда восторженное опьянение улетучивалось, скопцы приносили множество даров «великой матери»: кимвалы и литавры, нож, которым совершено нечестивое деяние, и «светлые волосы, которые

¹⁷⁸ Собственно говоря, «Лисимахами»; *Lysistr.*, 551 ел.

юноши дотоле так гордо откидывали назад». Так гласит анонимная эпиграмма из «Антологии» (vi, 51); с ней согласны и другие источники.

Хотя этот оргиастический культ имеет азиатское происхождение, однако, как и родственный ему культ Реи Кибелы, он рано достиг Греции, пусть и в смягченной форме, так что самооскопление — если оно вообще имело место — было явлением чрезвычайно редким.

Самооскопление могло совершаться и по другим причинам, описанным Виландом, который, безусловно, отстает от античных источников, в его «Комбабе» (Leipzig, 1824).

Лукиан донес до нас такой рассказ, слышанный им о жрецах «Сирийской богини». Когда Стратоника, жена ассирийского царя, предприняла паломничество с целью построить храм, царь пожелал дать ей в защитники своего близкого друга Комбаба. Тщетно умолял его юноша, из-за молодости своей опасавшийся оставаться наедине с прекрасной женщиной длительное время, оставить эту затею. Все, чего он добился, — это отсрочки в семь дней, по истечении которых в присутствии нескольких свидетелей он передал царю запечатанный ларец с просьбой надежно его хранить, потому что в ларце спрятано самое драгоценное из того, чем он обладал. Царь также запечатал ларец и передал его на хранение своему казначею. Затем паломники тронулись в путь, и случилось именно то, чего так опасался Комбаб. Стратоника, столь долго не знавшая радостей супружества, влюбилась в статного юношу, который отверг ее предложения, после чего повторилась история Федры или жены Потифара. Отвергнутая женщина в письме возводит клевету на своего скромного спутника, или, как ближе к правде жизни думает Лукиан, царя наводят на подозрение другие, после чего Комбаба отзывают назад и заключают в темницу за соблазнение жены царя. Когда приходит день суда, Комбаб просит царя открыть доверенный ему ларец, потому что там заключено доказательство его невиновности. Царь находит печать неповрежденной, открывает ларец и видит внутри набальзамированные гениталии своего несчастного друга. Царь обнимает его, проливая реки слез, и воздает ему высочайшие почести. Позднее была воздвигнута бронзовая статуя Комбаба в мужском платье, но с женской фигурой. Говорят, именно этим было положено начало обычаю, по которому многие галлы прибегали к самооскоплению, а затем всегда носили женское платье и посвящали себя женским занятиям (Лукиан, *De Syr. dea*, 19 ел.).

В своей книге «О наслаждении» Гераклид Понтийский сообщал, что некий Диний, торговец благовониями, вел весьма распущенную жизнь и промотал свое состояние. Истощив физические силы, он собственноручно отрезал свои органы похоти, жалея, что они более не могут ему послужить (Ath., xii, 552).

Как повествует «Одиссея», жил в древности «на твердой земле» царь по имени Эхет (деспот),¹⁷⁷ «мужегубитель». Бродягам и нищим грозили,

¹⁷⁷ Слово «Эхет» означает «тиран» и вошло в поговорку; согласно Евнапию и Суде (s.v. *Ἐχέτος*), в правление императора Валента прозвища «Эхет» удостоился консул Фест.

что их сошлют к Эхету, «который безжалостным ножом отрежет им нос и уши, вырвет детородный член и бросит на съедение псам» («Одиссея», xvii, 85).

Мы не знаем, имелась ли в виду под Эхетом некоторая историческая личность. Однако не подлежит сомнению, что кастрация в Древней Греции была родом наказания. Так, Одиссей карает своего неверного козопаса Меланфия, отрубив ему нос, уши и руки и бросив вырванные гениталии на съедение псам («Одиссея», xxii, 474).

Если в случае с Меланфием мы можем говорить не о кастрации в собственном смысле слова, но скорее о жестоком истязании перед казнью, то все же имеется немало примеров настоящей кастрации, производившейся главным образом над юношами, которые, как предполагалось, будут добывать себе пропитание ремеслом евнухов. Так, согласно Гелланику (фрагм. 169, FHG, I, 68), первыми к осклоплению мальчиков прибегли вавилоняне, а в Персии, по Ксенофону (*Сymp.*, vii, 5, 65), эта жестокость была введена Кирос Старшим. Согласно широко распространенному мнению, зачинателем этой практики была женщина, не кто иная, как ассирийская царица Семирамида (Аммиан Марцеллин, xiv, 6, 17).

Евнухи использовались также в роли храмовых рабов при святилищах Кибелы и Артемиды в Сардах и Эфесе (Геродот, v, 102). Угрожая кастрировать ионийских мальчиков, перед морским сражением у острова Лада персы пытались склонить на свою сторону ионийцев, а, победив, привели угрозы в исполнение (Геродот, vi, 9, 32).

Изредка кастрация осуществлялась из соображений сладострастия; подобная практика была грекам неизвестна, но о мидянах Клеарх (*Ath.*, xii, 514d) сообщает, что «в целях возбуждения похоти они осклопляют тех, что живут рядом с ними».

Грекам было хорошо известно, что половое влечение — средоточием которого является^ конечно, мозг, а не половые органы, — ни в коей мере не притупляется посредством осклопления; это доказывает эпиграмма Стратона (*Anth. Pal.*, xii, 236), в которой говорится о евнухе, содержащем целый гарем из мальчиков.

У Филострата (*Vita Ap.*, i, 33) читаем: «Евнухам также не чуждо чувство любви, и страстное желание, проникающее в них через глаза, ничуть не угасает, но остается горячим и пылким».

Изредка кастрации подвергали женщин с тем, чтобы сделать их бесплодными. Несомненно, в данном случае речь не идет о Греции в собственном смысле слова. Так, в своей «Истории Лидии» Ксанф говорил о том, что «лидийский царь Адрамитт был первым, кто приказал кастрировать женщин, дабы использовать их вместо евнухов-мужчин» (*Ath.*, xii, 515e). Данное место не вполне ясно, однако мы вправе предположить, что дело касалось удаления яичника, после чего женщина становилась неспособной к зачатию.

Замечание Страбона (xvii, 284) о том, что «египтяне обрезают новорожденных мальчиков и удаляют женскую часть у девочек, как это принято и у евреев», имеет, по-видимому, иной смысл; очевидно, Страбон имеет в виду обрезание крайней плоти клитора — обычай,

который до сих пор распространен среди некоторых арабских, коптских, эфиопских, персидских и центральноафриканских племен. В отдельных случаях подобное обрезание являлось вполне разумной процедурой, так как «у африканских женщин клитор иногда выдается наружу и имеет вид кожного лоскута».

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что кастрация не была для греков чем-то неизвестным, однако они прибегали к ней в исключительно редких случаях. Тонкий вкус эллинов восставал против подобного варварства, к тому же, в отличие от жителей Востока, они не ценили последствий кастрации, так описываемых Лукианом (*Amor.*, 21): «А те, жалкие и несчастные, чтобы дольше быть мальчиками, перестают быть мужчинами: двусмысленная загадка двойственной природы, они не остались тем, кем родились, и не приобрели качеств того пола, в который перешли. И то, что делается, дабы продлить им цветение юности, заставляет их чахнуть и преждевременно стариться. Они считаются детьми — и одновременно успели стать стариками, даже недолгое время не побыв мужчинами. Так нечистое сластолюбие — наставник во всяческой мерзости — изобретая одно бесстыдное наслаждение за другим, доходит до такого порока, который и назвать прилично нельзя; лишь бы ни один вид беспутства не остался неиспытанным!» [перевод С. Ошерова]

Оппонента этим взглядам мы находим в лице Ксенофонта, который выражает совершенно иное мнение. В «Киропедии» (vii, 5, 60 ел.) Кир приходит к выводу о том, что не существует более надежных и преданных друзей, чем евнухи. Нет нужды подробнее вдаваться в данный ход мыслей, потому что это привело бы нас к рассмотрению не греческих, но восточных представлений.

Весьма частым явлением перед исполнением физических упражнений была в Греции инфibuляция. Крайняя плоть натягивалась на головку члена и надежно перевязывалась бечевкой или узкой лентой. Делалось это затем, чтобы защитить головку члена от повреждений, возможных в случае оттягивания крайней плоти при занятиях гимнастикой.

На одной из ваз мы находим изображение юноши в палестре, занятого инфibuляцией. Если на вазах особенно часто изображаются инфibuлированные сатиры, делается это, по большей части, шутки ради — фибула здесь выступает, если можно так выразиться, в качестве «пояса целомудрия». У римлян (о чем нередко упоминают источники) существовал род застежки (*fibula*), которая продевалась сквозь крайнюю плоть с тем, чтобы сделать невозможным соитие, но я не припомню, чтобы о чем-нибудь подобном упоминал какой-либо греческий автор.

3. АФРОДИСИАКИ

В античности было известно немало средств усиления эрекции и лечения импотенции. Древнейшим свидетельством у классических авторов является, возможно, то место из Еврипида, где Медея говорит

престарелому Эгею, что у нее имеются лекарства, которые помогут ему обзавестись потомством («Медея», 718). Древние знали множество средств, содействующих как можно более частому повторению полового акта, таких, как *сатирион* (*satyrion*, вероятно, разновидность ятрышника), истолченный перец, смешанный с семенами крапивы, старое вино, в которое добавляли растертый в порошок *пиретрум* (*pyrethron*, постенни-ца). Овидий указывает (*Ars*, ii, 415), что эти средства вредят организму; безвредными он считает лук, дикую капусту (*brassica erica*), яйца, мед и плоды пинии.

Эти, а также многие другие афродисиаки были известны и грекам. В греческих магических папирусах сохранились многочисленные рецепты, целью которых является усиление способности к эрекции. Богатый материал, относящийся к такой любовной магии, имеется также в большом Луврском папирусе и в «Анастасии» (*Brit. Mus., Gk. pap. i, 90*), изданных Уэсли.

Не имеет смысла перечислять все афродисиаки, использовавшиеся греками, или подробно их рассматривать; мы ограничимся некоторыми примерами.

Само название «пиретрум» свидетельствует о том, что в нем следует видеть растение, «возжигающее огонь любви». Среди греческих эротических стимулянтов чаще всего упоминается лук, и комедиограф Алек-сид (CAF, II, 399), перечисляя особенно эффективные средства, называет его в одном ряду с мидиями, крабами, улитками и яйцами. Дифил говорит: «Лук трудно переварить, хотя он питает и укрепляет желудок; он очищает, но ослабляет зрение и к тому же возбуждает половое влечение».

В одной из эпиграмм Лукиана (46) говорится о кинике, который отказывается от люпина и редиса, «ибо добродетельный муж не вправе быть рабом своего желудка». Но когда на стол подают кислый белоснежный лук, он с жадностью на него набрасывается. Возможно, Виланд прав, полагая, что здесь высмеивается чувственность киников.

В 414 г. до н.э. Аристофан поставил на сцене комедию «Амфиарай», в которой описывалось, как «в высшей степени суеверный» (*δεισιδαιμονα εν τοις μάλιστα*) старик вместе со своей молодой женой совершает паломничество к оракулу Амфиарая в Оропе, на границе между Беотией и Аттикой, куда обращались за помощью особенно те больные, которые после поста, воздержания от вина и принесения жертвы получали долгожданное откровение. Именно таким образом желанная молодая сила была возвращена старику из комедии Аристофана. О том, как это в точности произошло, скудные фрагменты сообщают мало вразумительного; однако, сведя воедино некоторые разрозненные отрывки, мы обнаруживаем, что перед стариком ставили тарелку с чечевицей, имевшей, как очевидно считалось, стимулирующее действие¹⁷⁸.

¹⁷⁸ Данная комедия не просто шутка, но, как и все комедии Аристофана, имеет серьезную политическую подоплеку. Можно считать по меньшей мере весьма вероятным, что под превратившимся в импотента стариком подразумевается афинский народ, который за семнадцать долгих лет войны значительно ослаб и для исцеления которого бышо испробовано множество более чем сомнительных средств.

Местный массаж как способ восстановить потенцию нередко упоминается в комедии; впрочем, это средство во все времена пользовалось популярностью, и о нем, пусть и не всегда оказывающемся действенным, часто говорят античные авторы.

Живший в четвертом веке врач Феодор Присциан написал сохранившийся медицинский трактат, в котором говорит о лечении мужской импотенции (ii, 11): «Окружите пациента хорошенькими девочками и мальчиками; также давайте ему читать книги, которые будят сладострастие и в которых вкрадчиво излагаются любовные истории».

4. ОБЩЕННОСТЬ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Греческий язык изобилует общенными выражениями и более или менее остроумными сальностями и каламбурами, внушительное число которых Мориц Шмидт собрал в своем editio major Гесихия (v, 88). Совершенно естественно, что встречаются они по большей части в комедии, примеры чему приводились уже неоднократно, так что здесь я ограничусь некоторыми дополнительными замечаниями.

Во «Всадниках» Аристофана (1384 ел.) встречается следующая сцена:

КОЛБАСНИК:Прими ж за это от меня скамеечку.

(Входит мальчик со скамеечкой.)

И мальчика, чтоб за тобой носил ее.

А пожелай, так встанет сам скамеечкой.

НАРОД: Счастливец я, бывшее возвращается.

КОЛБАСНИК: Что скажешь ты, как мир я поднесу тебе

На тридцать лет?

Эй, нимфы мира, выгляньте!

(Вбегают танцовщицы, НИМФЫ МИРА.)

[перевод А. Пиотровского]

Между тем у Аристофана и в Древней комедии αἰσχρολογία, т.е. откровенное и неприкрытое высказывание непристойностей, как правило, встречается заметно чаще, чем ὑπόνοια, т.е. замаскированная общенность и двусмысленно-непристойный способ выражения, больше подходящий для Новой комедии, на что справедливо указывал Аристотель.

С характерным примером мы встречаемся в любовном романе Ахилла Татия (viii), где часть речи жрицы Артемиды состоит исключительно из непристойностей, высказываемых невинными, на первый взгляд, словами.

В одной из эпиграмм «Палатинской Антологии» (v, 99), адресованной танцору, используется музыкальная терминология, под которой таится общенный смысл.

Мы с уверенностью можем говорить о том, что обычная всегда и везде привычка писать более или менее непристойные слова, выражения, стихи и рисовать картинки на стенах публичных уборных существовала также и в Древней Греции, хотя по вполне естественным причинам мы

и не располагаем непосредственными свидетельствами на этот счет. Как сообщает Калинка, эпиграмма необсценного характера была обнаружена на стене отхожего места в Эфесе.

5. ИНЦЕСТ

Взгляды греков на инцест, как и взгляды всех наивных народов, отличались от современных меньшей строгостью. Это показывает греческая мифология, ибо Зевс, отец богов и людей, является мужем своей сестры Геры. Однако общественное мнение отвергало инцест, хотя, пожалуй, нигде и никогда в Греции не существовало суровых наказаний за него. От Исея мы узнаем, что запрещались браки между родственниками по восходящей и нисходящей линии, а в более древнюю эпоху под запретом находились также браки между братьями и сестрами; позднее такие браки допускались при условии, что жених и невеста происходят от разных матерей. Не считая этих ограничений, браки между родственниками были не редкостью, а в консервативных аристократических семьях вплоть до V века не был чем-то неслыханным даже брак между родными братом и сестрой, о чем свидетельствует супружество Кимо-на и Эльпиники. Примеру египтян, среди которых подобные браки существовали всегда, подражали жившие в этой стране греки, ценившие этот обычай за то, что приданое остается в семье. Хорошо известно, что царь Птолемей II (285—247 гг. до н.э.), женившись на своей сестре Арсиное, принял прозвание Филадельфа. Чтобы сохранить приданое в семье, было также законодательно закреплено, что дочь-наследница (*ἐπίκληρος*), т.е. девушка, в руки которой переходило все родительское имущество, обязана выйти замуж за ближайшего неженатого родственника.

Естественно, что нередко имели место случаи вырождения. Так, Андокид (*De myst.*, 124) порицает некоего афинянина следующими словами: «Затем он женился на дочери Исхомаха и, не прожив с ней и года, он овладел также ее матерью, жил с матерью и дочерью, держа обеих в своем доме». Говорили, что Алкивиад вел себя еще безумнее, если верить тому, что сообщает о нем Лисий (см. с. 15).

Как бы то ни было, общественное мнение не одобряло инцест как таковой, о чем можно судить по многочисленным мифологическим преданиям, внушающим к нему отвращение. Достаточно напомнить общеизвестный миф об Эдипе, который — разумеется, не подозревая об этом — женился на своей матери Иокасте, или миф о Кавне, который любил собственную сестру Библиду.

Мотивы инцеста нередко выводились на сцене, как, например, в трагедии Еврипида «Эол» (TGF, 365 ел.). Драма не сохранилась, но ее содержание известно по рассказу Сострата. Царь Эол имел шестерых дочерей и шестерых сыновей, старший из которых — Макарей — был влюблен в свою сестру Канаку и заставил ее отдаться ему. Когда об этом прослышал отец, он послал дочери меч, которым она и закололась. Тем же мечом с собой покончил Макарей. Когда во время представления

прозвучал стих «Ничто приятное нас не позорит и не пятнает», в театре тут же поднялся ропот, так как зрители негодовали на эту фривольную и возмутительную выходку; успокоить их удалось лишь Антисфену, который переделал стих таким образом: «Позорное останется позорным, приятно оно нам иль неприятно».

За непристойность «Эола» часто порицает Аристофан. В другом месте он присоединяет к существительному «инцест» прилагательные «предосудительный» и «варварский». Однако данный мотив был намечен уже у Гомера, который изображает шестерых сыновей Эола мирно живущими в браке со своими шестью сестрами¹⁷⁹.

Наконец, следует отметить, что инцест во сне — даже инцест гомосексуального вида — отнюдь не был какой-то редкостью, по крайней мере, если мы вправе делать выводы на основании той обстоятельности, с которой он описывается и истолковывается в сонниках.

6. СКАТОЛОГИЯ

Термин «скатология», обычно используемый в современной сексологии, происходит от слова σκάω (gen. σκατάς) — «нечистоты», «кал». Неаппетитные выделения человеческого тела, даже экскременты привлекают воображение детей и тех, кто всю жизнь остается ребенком, в значительно большей мере, чем многие себе представляют. Главным местом, где проявляются и удовлетворяются скатологические наклонности, являются общественные уборные, стены которых зачастую и в наши дни испещрены грубыми или эротическими надписями и рисунками. Само собой понятно, что и в Древней Греции дело обстояло таким же образом, хотя мы, разумеется, не можем это детально доказать. Однако существенным различием между двумя эпохами является то, что тогда скатология находила открытое выражение в литературе и искусстве, а не только в подпольной порнографии, как сегодня. Нетрудно уразуметь, что большинство примеров скатологии встречаются в комической и сатирической поэзии, хотя нет недостатка и в серьезных текстах, которые затрагивали бы процесс выделения продуктов человеческой жизнедеятельности. Так, мы уже говорили об указаниях простодушного крестьянского поэта Гесиода относительно того, как следует мочиться.

Схожим образом и Геродот сообщает, что среди персов было запрещено плевать или мочиться в присутствии другого лица (i, 133).

Когда маленькие дети желали помочиться, их мать или кормилица говорили σέΓυ, если же они хотели облегчиться, говорилось βρῖν.

О мочеиспускании часто заходит речь в комедии. Так, в «Облаках» Аристофана (373) простец Стрepsiад объясняет дождь, предположив, что

¹⁷⁹ Среди мифологических мотивов нередко встречается инцест между отцом и дочерью, как, например, в случае с Гарпаликой, изнасилованной собственным отцом и покаравшей насильника страшной мезтью (Парфений, 13), или как в жутком рассказе о Микерине и его дочери (Геродот, и, 131); ср также Лисий, «Алкивиад», i, 41. Аристофан («Ось», 1178) упоминает ближе неизвестного Кардопиона, который состоял в кровосмесительной связи со своей матерью.

это Зевс мочится сквозь сито. В «Лисистрате» (402) корифей хора старцев жалуется на женщин, которые «окатили нас из ведра, так что теперь нам приходится выжимать свою одежду, словно писавшимся». В «Женщинах в народном собрании» (832) гражданин объявляет, что теперь он будет настороже и «не позволит женщинам его описать». Мочащиеся мальчики упоминаются в «Мире» (1266).

Ночной горшок по-гречески обычно называется *ἀρίς*. На буйных пирушках иногда случалось, что один из гостей кричал мальчику-слуге: «Неси ночной горшок!» Согласно отрывку из Евполида (см. выше, с. 13), родителем этого нововведения считался Алкивиад, тогда как Афинея (xiii, 519e) приписывает его сибаритам¹⁸⁰.

Исходя из современных представлений, мы должны были бы счесть невозможным, чтобы этот сосуд упоминали даже серьезные трагические авторы. Но уже у Эсхила-Одиссей говорит: «Вот этот плут метнул в меня однажды потешный снаряд, вонючий ночной горшок, и не промахнулся; он попал мне в голову и потерпел кораблекрушение, расколовшись на куски и издавая совсем не такой запах, каким пахнут сосуды с благовониями» (фрагм. 180; TGF, 59). Мы не знаем, где искать корни этого отрывка — в трагедии или, как предполагал Велькер, в сатирической драме. Афинея, цитирующий эти строки (i, 17), порицает Эсхила за то, что тот заставляет гомеровских героев предаваться сумасбродствам своего времени, однако Софокл, в «Собрании ахеев» (фрагм. 140; TGF, 162), предположительно сатирической драме, также изображал аналогичные сцены, пользуясь схожими выражениями.

Существовали и другие названия для ночного горшка, такие, как *οὐράνη*, *ἐνοῦρήθρα* и *οὐρήτρις*. Женский горшок напоминал формой лодку и поэтому назывался словом *σκᾶφον* (Аристофан, *Thesm.*, 633), которое перешло в латинский язык как *scaphium* (Ювенал, vi, 264; Марциал, xi, 11). Среди художественных изображений можно упомянуть вазу из Берлинского Антиквариума, на которой мы видим красивую девушку в дорийском хитоне. Склонив голову и вытянув указательный палец правой руки, она подает знак юноше в образе Эрота, который спешит к ней с довольно вместительным «судном». На одной из помпейских фресок изображен пьяный Геракл и стоящий позади него Силен, мочащийся ему на правую ногу. Беспутные пьяные сатиры, использующие в качестве ночного горшка сосуды, которые изначально предназначены для иного применения, — эта сценка часто воспроизводится в греческой вазописи.

Невоздержность на попойках вновь и вновь приводила к необходимости воспользоваться своего рода плевательницей, называвшейся *σκᾶφη* или *λεβήτιον*. Во фрагменте из комедии Аристофана (49; CAF, I, 404) гость просит принести перо, чтобы пощекотать в горле, и плевательницу. На вазах нередко изображаются юноши и мужчины, которых рвет.

¹⁸⁰ Пример еще большей безвкусицы приведен у Петрония, 27, который рассказывает о богатом выскочке Тримальхионе. Рядом с ним стоят два оскопленных мальчика, один из которых держит в руках серебряный ночной горшок (*matella*). Когда Тримальхион щелкает пальцем, раб ставит горшок под него. Опорожнив свой мочевого пузырь, он велит подать воды, моет руки, а затем вытирает их о волосы хорошенького мальчика.

Экскременты и их отталкивающий вид также нередко упоминаются в комедии; наиболее распространенный латинский термин — *сагаге*, греческий — *χεῖζειν* или *κακκᾶν*, последний глагол характерен для детского языка.

Не лишено остроумия и благодаря удачному звукоподражанию производит сильное впечатление описание акта опорожнения желудка в «Облаках» Аристофана (385 ел.). Сократ рассказывает здесь Стрепсиаду, что гром обусловливается столкновением облаков и пытается пояснить это на примере его тела:

СОКРАТ: Объясню тебе все на примере

тебя самого же. До отвала наевшись рубцов отварных на гуляний панафинейском, Ты не чувствовал шума и гуда в кишках и бурчанья в стесненном желудке?

СТРЕПСИАД: Аполлон мне свидетель, ужасный отвар! Все

внутри баламутится сразу, И гудит, словно гром, и ужасно урчит, и шумит, свистит и клокочет. Для начала легонько, вот этак: бурр-бурр, а потом

уж погромче: бурр-бурр-бурр. Тут нельзя удержаться, до ветра бегу, а в утробе как гром: бурр-бурр-бурр-бурр.

[перевод А. Пиотровского]

Преуспевший раб из «Плутоса» пользуется для подтирания свежим чесноком (817).

Наиболее гротескной скатологической сценой в театре является, возможно, сцена из «Лягушек» (479), в которой Дионис от страха накладывает в штаны, а Ксанф обтирает его губкой.

Из памятников изобразительного искусства упомяну рисунок из Помпеи, так описываемый Хеллигом: «В камышах стоит гиппопотам, с широко раскрытым ртом вперившийся в нагого карлика, который, стоя на краю лодки, выпятил ягодицы и облегчается на шею животного. В то же время он удовлетворенно вытягивает руки и оглядывается на зверя, как бы задавая ему вопрос».

Пожалуй, еще чаще, чем выделение экскрементов, предметом шуток и насмешек становится в гротескной поэзии преднамеренное или невольное испускание ветров. Соответствующее греческое существительное — *ή λорδίη*, глагол — *πέρδομα*, а также *βδόλος* и *βδέω*.

Во «Всадниках» Аристофана имеется очень забавная беседа, труднопереводимая ввиду того, что она построена на игре слов (639 ел.).

7. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В греческой литературе мы часто встречаем офресиологические тексты, или тексты, в которых речь идет о сексуальных запахах (см. «Лисистрата», 686).

Филострат пишет к мальчику, прося того позднее вернуть посланные ему розы, которые он рассыпал на своем ложе, «потому что тогда они будут источать не только запах роз, но и благоухание твоего тела» (*Ep.*, 18).

Обитатели Аргире в Ахайте рассказывали, что Селемн был прекрасным юношей, которого любила морская нимфа Аргира. Спустя непродолжительное время красота его поблекла, после чего нимфа его покинула, а он умер от любви и был превращен Афродитой в ручей с целительными свойствами, так что любой мужчина или женщина, омывшиеся в нем, навсегда излечивались от любовных мучений. Передающий этот рассказ Павсаний (vii, 23, 2, 3) добавляет: «Если бы он был хоть немного правдив, то великие богатства были бы для людей менее ценны, чем воды Селемна».

Согласно Элиану (*Var. hist.*, xii, 63), Архедик полюбил в Навкратисе некую гетеру. «Однако она была очень высокомерна и запросила кругленькую сумму; получив деньги, она уступила его желаниям лишь ненадолго, а затем отказалась иметь с ним что-либо общее. Таким образом, юноша, который был не особенно богат земными благами, так и не смог заполучить предмет своих желаний. Но однажды ночью ему приснилось, что он держит ее в объятиях, и он тотчас исцелился от своей страсти».

Эту же историю рассказывает и Плутарх (*Demetr.*, 27), который добавляет, что гетера затем потребовала плату за эту «ночь любви», хотя все было лишь сном. Судья постановил, что юноша должен принести деньги в сосуде, но что гетера при этом может лишь протянуть руку за его тенью — решение, найденное представительницей того же братства Ламией в высшей степени несправедливым, потому что юноше сон принес удовлетворение, тогда как тень сосуда совершенно не удовлетворила гетеру.

Относительно «мужских родов» Диодор Сицилийский (v, 14) сообщает: «Если на острове Кирн (Корсика) женщина рождает ребенка, роженице не уделяют ни малейшего внимания. Но мужчина ложится в постель, как если бы он заболел, и проводит определенное число дней, словно оправляясь от родов». Аполлоний, автор «Аргонавтики», это подтверждает (И, 1011) и добавляет, что мужчины лежат в постели с перевязанными головами, а женщины готовят для них пищу и омовения, как для рожениц.

То же самое Страбон (ш, 165) сообщает о кельтских, фракийских и скифских племенах, а затем рассказывает о женщине, которая поденно работала в поле вместе с мужчинами. Вдруг она почувствовала, что вот-вот разрешится от бремени, отошла в сторонку, родила, а затем вернулась к работе, чтобы не лишиться своего заработка. Когда хозяин заметил, что работа дается ей тяжело, он, заплатив, отослал ее домой. Тогда женщина обмыла дитя в ручейке, запеленала его в то, что у нее было, и понесла младенца домой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЫ ДОСТИГЛИ конца наших странствий, в ходе которых автор попытался дать описание греческой «морали» в узком смысле данного слова; он надеется, что ему удалось хотя бы отчасти справиться со своей задачей. В работе, которая адресуется не только к ученому, но и к любому образованному неспециалисту, собран и переработан материал, который с помощью приводимых повсюду ссылок на источники может быть перепроверен каждым, кто хоть сколько-нибудь разбирается в данном предмете, что позволит ему глубже проникнуть в мораль древних греков; вывод, который извлечет такой читатель, будет, по-видимому, двояким. Во-первых, он узнает, что эротика — это корень и первопричина греческой культуры во всех ее проявлениях. Эротика является преобладающим компонентом не только любовной жизни в собственном смысле слова, но и религиозных воззрений, искусства и литературы, общественной и гражданской жизни, развлечений и удовольствий, праздников и театральных представлений, коротко говоря, всего. Поэтому эротика — это ключ к пониманию греческой культуры вообще, а знание греческой эротики — необходимое условие для более глубокого познания Древней Греции. Таким образом, настоящая работа необходима для заполнения лакуны в наших познаниях о греческом народе, с существованием которой мириться долее невозможно.

Но если эротика — первопричина древнегреческой культуры и средоточие эллинской жизни, тогда с логической неизбежностью следует вывод, что греки относились к эротике как к чему-то само собой разумеющемуся с такой наивностью и естественностью, которые нам сегодня трудно даже вообразить. Слово «грех» чуждо языку эллинов, и равным образом их «нравственность» касалась лишь несправедливости и преступления. Для грека «нравственность» не имела отношения к проблемам сексуальной жизни, за исключением тех случаев, когда речь шла о несовершеннолетних или применении насилия. В остальном каждый имел право распоряжаться своим телом по собственному усмотрению. Чем занимаются друг с другом люди, достигшие зрелости, в те времена не интересовало ни судью, ни общественное мнение; никого поэтому не возмущало то, что сексуальные вопросы обсуждаются совершенно открыто, без тени притворства и смущения.

Поразительный вкус греков к красоте, их дионисийское восхищение прелестью человеческого тела облагораживали в их глазах каждую манифестацию сексуальности, если только она основывалась на истинной любви или стремлении к красоте.

Поэтому педерастия была для них не пороком, но лишь иной формой любви, в которой они видели не противницу брака, но необходимое и признанное государством его дополнение; они говорили

о ней с той же простотой, с какой она была введена в круг философских интересов такими великими умами, как Сократ, Платон и Аристотель. Так как сексуальное не сделалось запретным плодом, не было покрыто тайной и не признавалось нечистым и греховным, а почти ничем не сдерживаемая чувственность греков всегда облагораживалась влечением к красоте, их сексуальной жизни были присущи не только бьющая через край сила, но и завидное здоровье. Что это действительно так, можно с уверенностью заключить из того факта, что сексуальные извращения, играющие столь прискорбную роль в современной жизни, были в древней Греции редкостью и что в классических сочинениях чрезвычайно трудно обнаружить даже случайные их следы.

Предпринимая и осуществляя нашу задачу, мы полагали, что греческую мораль должен знать и понимать каждый, кто желает составить правильное суждение о жизни и культуре эллинов, и что это желание должно быть дополнено серьезной волей к тому, чтобы проникнуться духом греческой древности, вместо того чтобы превращать в мерило греческой этики совершенно чуждые ей представления нашего современника. Но если человек способен духовно освободиться от современных предрассудков и вжиться в древнегреческое мышление, то ему откроется возвышенная этика эллинов, высший закон которой гласил: *καλὸς κἀγαθός*, что означает

«прекрасный телом и душой».

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ

Греческие жизненные идеалы 7

Всемогущество чувственности в греческой жизни 9

ГЛАВА I. СВАДЬБА И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ 17

1. Греческая женщина 17

2. Свадебные обычаи 30

3. Дополнительные сведения 43

ГЛАВА II. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 57

1. Одежда 57

2. Нагота 62

3. Гимнастика 65

4. Конкурсы красоты и дополнительные замечания о наготы 68

5. Купание 71

ГЛАВА III. ПРАЗДНЕСТВА 74

1. Общенациональные празднества 74

2. Другие празднества 79

3. Андрогинизм 87

4. Дальнейшие замечания о народных праздниках 90

ГЛАВА IV. ТЕАТР 93

I. Аттическая трагедия 93

1. Эсхил 93

2. Софокл 95

3. Еврипид 96

II. Аттическая комедия 97

1. Фереkrat 97

2. Евполид 98

3. Аристофан 99

4. Алексид 103

5. Тимокл 104

6. Менандр 104

Ретроспективные и дополнительные замечания о трагической и комической поэзии 105

III. Сатировская драма. Пантомима. Балет. 107

ГЛАВА V. ТАНЕЦ И ИГРЫ В МЯЧ 112

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ГЛАВА V. МУЖСКОЙ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ 227

1. Введение и замечания общего характера 277

2. Терминология 278

3. Отрочество и греческий идеал красоты 280

4. Красота мальчиков в греческой литературе 283

5. Красота мальчиков в греческом искусстве 287

6. Прекрасный мальчик: исследование греческого идеала 289

7. Греческая любовь к мальчикам: дальнейшие этапы 293

8. Мужская проституция 294

9. Этика греческой любви к мальчикам 296
10. История греческой любви к мальчикам 302
11. Местные особенности 306

I. Эпическая поэзия

1. Мифический период доистории 310
2. Эпический цикл 311
3. Гесиод 311
4. Фанокл
5. Диотим и Аполлоний 312
6. Нонн

II. Лирическая поэзия 314

1. Феогнид
2. Платон 315
3. Архилох и Алкей
4. Ивик 316
5. Анакреонт и анакреонтика
6. Пиндар 318
7. Феокрит 319
8. Кое-что из других лирических поэтов 321

III. Стихотворение «Антологии» 321

1. Стратон из Сард 322
2. Мелеагр 323
3. Асклепиад 326
4. Каллимах
5. Другие поэты 327

IV. Проза 329

1. Любовь к мальчикам в греческой мифологии 331
 2. Шутки и остроты, связанные с гомосексуализмом 332
 3. Детали и дополнительные замечания 334
- ГЛАВА VI. ИЗВРАЩЕНИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ

1. Миксоскопия 337
2. Трансвестизм
3. Эксгибиционизм 338
4. Пигмалионизм 339
5. Порка, садизм, мазохизм 340
6. Содомия
7. Некрофилия 341

ГЛАВА VII. ДОПОЛНЕНИЯ 342

1. Половые органы и каллипигия 342
 2. Кастрация, обрезание, инфибуляция 343
 3. Афродисиаки 346
 4. Общественность: терминология и практика 348
 5. Инцест 349
 6. Скатология 350
 7. Частные вопросы и дополнительные замечания
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 355

НИ 337

Научно-популярное издание

Ганс Лихт

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Зав. редакцией *Е. Узлова*

Научный редактор *Д. Торшилов*

Редактор *Т. Беленовская*

Художник *Н. Орехов*

Технический редактор *Т. Кулагина*

Художественный редактор *В. Чернецов*

Компьютерная верстка *В. Свинцицкого*

ЛР 060106 («КРОН-ПРЕСС»)

Подписано в печать с готовых монтажей 11.10.95.

Формат 70x100V6. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Гарнитура «Тайме». Усл. печ. л. 32,5. Тираж 15000 экз.

Заказ 57482

АО «КРОН-ПРЕСС»

103030, Москва, Новослободская, 18, а/я 54.

По вопросам реализации обращаться по адресу:

Москва, Огородный проезд, 6

АО «МОКРОЙ»

Телефоны: 218-08-78, 218-52-00, 289-15-92

Посетите магазин «КРОН-ПРЕСС» по адресу:

Москва, ул Новослободская, 18

Телефон: 972-14-23

Типография АО «Молодая гвардия» 103030, Москва, Сущевская, 21

ISBN 5-232-00146-9